ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10

1992

10 НОВЫЙ МИР 1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. **№ 10 (810)** **Октябрь, 1992 г.**

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — **Апрель Семнадцатого** 3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — **Из новой тетради,** стихи 56
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — **Прокляты и убиты,** роман. Книга первая 60
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ — **Искушение жизнью,** стихи 107
СЕМЕН ЛИПКИН — **Записки жильца,** повесть. Окончание 109
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ — **Древесный — осиновый — северный свет,** стихи 171

ПУБЛИЦИСТИКА

РОЛЬФ ЭДБЕРГ — **Капли воды — капли времени.** Перевел со шведского Л. Жданов. *Валентин Распутин* — Миллионолетия Рольфа Эдберга 175

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — **Откровения от нашего имени** 214
ВИКТОР ЖИВОВ — **О сомнительном и недостоверном в историософии Н. А. Бердяева** 216

В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — **Эра пустяков, или Как мы наконец пришли к легкой музыке и куда, возможно, пойдем дальше** 222

(См. на обороте)

МОСКВА 1992

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИВАН ЕСАУЛОВ — **Праздники. Радости. Скорби.** Литература русского зарубежья как завершение традиции 232
ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ — **Утопия одиночества.** Владимир Набоков и метафизика 243

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВИКТОР КАМЯНОВ — **Трудное прощание.** Казенная эстетика умирает, но не сдается 251

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 255
SUMMARY 256

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Редакция располагает ограниченным количеством экземпляров «НОВОГО МИРА» № 1—9 за 1992 год для розничной продажи.
Цена договорная.
Тел. (095) 200-08-29

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany. Tel 089/26 30 76, fax 26 30 77

© Журнал «Новый мир», 1992.
© A. Neimanis • München, 1992.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

НАРОДОПРАВСТВО

Выход... один — революция, революция кровавая и неумолимая... Мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что... приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами... С полною верою... в славное будущее России... первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик «в топоры»!

Прокламация «Молодая Россия». 1862

УЗЕЛ IV

АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

(12 апреля — 5 мая)

КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ

(ст. ст.)

21 марта — Разгром двух русских дивизий на р. Стоход

— Германское мин. ин. дел затребовало у мин. финансов ещё 5 миллионов марок «для политических целей в России»

— Ф. Платтен по поручению Ленина вошел в конспиративный контакт с германским послом в Берне

World © Aleksandr Solzhenitsyn. 1991

Печатается по изданию: Александр Солженицын. Собрание сочинений. Т. 19. Вермонт—Париж. YMCA-PRESS. 1991. Сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. Номер главы, снабженный двумя штрихами, например «9"», означает монтаж печатных материалов того времени.

Историческая эпопея «Красное Колесо» недавно завершена автором и вошла в 11—20 тома его собрания сочинений. В России осуществлены журнальные публикации: «Август Четырнадцатого. Узел I» («Звезда», 1990, № 1—12), «Октябрь Шестнадцатого. Узел II» («Наш современник», 1990, № 1—12), «Март Семнадцатого. Узел III» («Нева», 1990, № 1—6 и 1991, № 6—12; «Волга», 1991, № 4—11; «Звезда», 1991, № 4—8).

Мы предлагаем вниманию читателя главы 1—91 из «Апреля Семнадцатого». Продолжение этого IV Узла намеревается напечатать журнал «Звезда» в 1993 году. — *Прим. ред.*

24 марта	—	**На Западе Страстная пятница**
	—	**Соединенные Штаты объявили войну Германии**
	—	**Германское правительство сообщило ленинской группе согласие на их проезд в изолированном вагоне**
25—28	—	**Съезд партии к-д в Петрограде**
27	—	**Выезд группы Ленина—Зиновьева из Цюриха в Германию. Германский посол в Берне: «Крайне необходимо, чтобы немецкая пресса полностью игнорировала происходящее».**
29—3 апр.	—	**Всероссийское Совещание Советов в Петрограде**
30	—	**Группа Ленина плывёт в Швецию. Император Вильгельм распорядился: если Швеция не примет их — перепустить через Восточный фронт**
31	—	**Встреча Плеханова на Финляндском вокзале**
1 апреля	—	**День Ленина в шведской глуши, скрытый от биографий (встреча с Парвусом?)**
2	—	**Первый день православной Пасхи**
3	—	**Встреча Ленина на Финляндском вокзале**
4	—	**Ленин в Таврическом дворце выступает с тезисами («апрельскими») об углублении революции**
8	—	**Встреча на Финляндском вокзале Чернова, Дейча, Авксентьева, Савинкова**

ВСТУПЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ — 1

24 марта

ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЕОРГА V СТАМФОРДАМ —
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАЛЬФУРУ

...должен умолять вас передать премьер-министру, что все, что Король слышит и читает в прессе, показывает, что присутствие императора и императрицы в этой стране не понравится публике и конечно ухудшит позицию Короля и Королевы... Бьюкенен должен сказать Милюкову, что недовольство в Англии против приезда императора и императрицы так сильно, что мы должны отказаться от нашего прошлого согласия на предложение русского правительства...

ДОКУМЕНТЫ — 2

31 марта

ПОСОЛ В ПЕТРОГРАДЕ БЬЮКЕНЕН —
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАЛЬФУРУ

...Я полностью согласен с вами... Будет намного лучше, если бывший император не поедет в Англию.

1

Это возникло перед сибирскими социал-демократами внезапно: к Церетели, в два дня ставшему хозяином Иркутска, пришли спрашивать: пропускать ли подошедшие на станцию эшелоны снаряжения из Владивостока — на фронт? И Церетели, нисколько не задумавшись, воскликнул: «Конечно пропускать!» Так родилось то, что через несколько недель стали дразнить «революционным оборончеством».

Война! Сколько о ней переговорено и передумано в эти годы ссыльными. Их всех объединяло страстно отрицательное отношение к этой безумной войне, особенно бессмысленной для России, которая не нуждалась ни в вершке территориальных приобретений. Но — не состоялась надежда, что социалистические партии Европы будут бороться каждая с империалистическими стремлениями у себя дома: дико, но оказалось, что там рабочий класс испытывал больше общности с национальной политикой своих правящих классов, чем с международными задачами пролетариата. Только мы, русские, были ото всего этого свободны! — и не желали быть такими близоруко-практичными и не принципиальными, как наши западные братья. Однако мало было надежды, что эта война окончится в условиях народных восстаний,— а тогда чьей же стороне желать победы? Из Европы приходили издания, что Ленин выставлял «национализм наоборот»: желать и добиваться поражения России. Но сибирские социалисты (как Церетели с товарищами по партии — Даном, Войтинским, Вайнштейном, Горнштейном, Ермолаевым, так и дружно с эсером Гоцем) приняли линию абсолютного нейтралитета. (То есть они конечно сочувствовали бы западным демократиям, но вместе с ними победит и царизм? — а это ужас. Надежда только, что коренные интересы российской буржуазии непримиримы с самодержавием и будут расшатывать его.)

И вдруг — грянула революция! И получила по наследству эту войну. И русские социалисты из гонимой безответственной оппозиции вдруг превратились в хозяев революционной страны. И это вызвало психологический перелом к войне, его даже ещё не сформулировали теоретически, а внезапно это вот так проявилось у Церетели.

Когда во Второй Государственной Думе 2 июня 1907 года уже видно было, что остаются считанные минуты или до ареста фракции с-д, или до разгона Думы,— молодой стройный грузин, недоучившийся студент, но уже и вождь московского студенчества, но уже и лидер думской фракции с-д — Ираклий Церетели, с благородным изяществом движений, независимостью в поставе головы, волоокий, черноокий, в 11 часов вечера ещё успел получить слово, последний раз взбежал на трибуну и полнозвучным гневным голосом бичевал это правительство военно-полевых судов, это торжество безграничного насилия, когда штык поставлен в порядок думского дня. В тот день государственная громада самодержавия казалась непробиваемо вечной, а наши груди, особенно уже тронутые горловой чахоткой,— обречёнными на раздав.

А вот, не прошло полных десяти лет, как в столицу Сибири Иркутск, к малосмысленным обывателям и ртутно-восприимчивым ссыльным стали притекать, частными поздравительными телеграммами, известия о немыслимом и мгновенном крушении этого проклятого самодержавия. Чего угодно ждали — но только не этого! И вдруг политические ссыльные, до сих пор лишь на частных квартирах да летом на дачах перекипавшие в своих кружках спорами о социалистических установках (ну, правда, иногда выпускали журналы, а Гоц умудрялся — и регулярную газету циммервальдского направления),— в три дня были признаны как единственная тут власть. И сразу же возглавил Церетели комитет общественных организаций, устанавливал 8-часовой рабочий день, на площади перед городской думой выступал к выстроенному гарнизону и затем пропускал войска маршем мимо себя, и восторженно они рявкали комитету, и неохоче — командующему Округом.

Надо было испытать этот переход после шести лет тюрьмы (по слабому здоровью Ираклию заменили каторжные работы тюремной отсидкой), потом четырёх лет усольской ссылки (вполне ужитой и плодотворной, 60 вёрст железной дорогой от Иркутска, и можно поехать в любой день, однако же вечного безнадёжного поселения, если не бежать за границу),— и к этому вдруг сказочному мгновенному крушению векового строя (да прочен ли успех? да слишком легко достался), к этому состоянию опьянения и властного напряжения.

Но с первых же дней — и острая тревога за судьбы революции. С этой орущей солдатской массой на самом деле не было понимания, это не рабочий класс, это — стихия без определённых социальных идеалов, она даже не отдаёт себе отчёта в совершающемся и таит в себе опасность как анархии слева, так и контрреволюции справа. Российские социал-демократы давно знают из марксизма: революция не может совершить прыжка от полуфеодального российского строя и сразу к социалистическому, предел возможных завоеваний сейчас — демократизация страны на базе буржуазно-хозяйственных отношений. Но такое внезапное присоединение к рабочему классу многомиллионной вооружённой армии заманивает социалистические партии на самые крайние эксперименты, навязать волю социалистического меньшинства всей стране — а это может привести ко взрыву и контрреволюции, и будет распад революции.

Уже на десятый день этой лихорадочной бессонной иркутской обстановки у Ираклия пошла горлом кровь, и пришлось слечь. Надо же, чтобы в самые сияющие дни жизни — отказало здоровье! Телеграммами звали в Грузию друзья, родные,— но нет, тянуло ехать в самый центр революции! Потащился из Иркутска в Петербург «поезд Второй Думы», на станциях его встречали оживлённые толпы, народ искал вождей,— но у Ираклия продолжалось кровохар-

канье всю дорогу, он не выходил с речами, только тихо беседовал в купе с членами местных советов.

Да обгоняя медленное движение поезда, они хватали встречные, всё свежее, «Известия» Петроградского Совета, глотки революции. Уже было ясно, что авторитет Совета стоит гораздо выше Временного правительства. Резкие статьи «Известий» диктовали недоверчивое отношение к буржуазии. Но одни статьи противоречили другим — кто их писал? кто печатал? — получалось, что у Совета нет своей ясной программы. И рвалось сердце — скорее туда, и скорее покончить с этим хаосом и неопределённостью! Теперь, когда революция переходит от отрицательных задач к положительным,— нужна прежде всего ясная программа, особенно о власти и о войне. С радостью и гордостью читали, перечитывали Манифест 14 марта — то международное слово, которого всю войну чаяли миллионные замученные массы во всём мире. Да! конечно — не безоглядное оборончество. Но и — не свержение Временного правительства. И как это трудно будет объяснить сейчас рабочим массам в Петрограде: что вот при безусловной победе революции надо самоограничиться в требованиях? как объяснить рабочим важность этого нематериального, неосязаемого влияния технически образованных культурных кругов?

И в первый же вечер возврата в неузнаваемый теперь Таврический дворец, откуда был вырван и сослан,— Церетели говорил так в речи. И папаша Чхеидзе потом упрекнул добродушно, что в такой оголённой форме мы тут ещё не говорили, не решались ясно выразить линию Исполнительного Комитета относительно войны.

Да ещё не такой и «папаша», хотя принял Ираклия как сына,— ему всего 53 года, но очень истрёпан. Особенно он исходил и тратился в публичных выступлениях (в дни революции забыл и свою палочку), а в простых беседах выказывал осмотрительность взглядов, совсем не было в нём того революционного кремня и железа. А ещё нужны были ему силы на большое будущее: по своему сегодняшнему положению почти несомненно Чхеидзе будет председателем Учредительного Собрания, если и не будущим российским президентом.

Церетели, как и все члены всех с-д фракций четырёх Дум, сразу получил в ИК совещательный голос. А войдя туда, за два дня увидел себя и готовым вести Исполком за собой. До сих пор самой видной фигурой тут был, кажется, Нахамкис-Стеклов. Но он же, оказывается, и издавал эти бестолковые заплутанные «Известия». А при всей своей видности он, ближе присмотреться, был решительно неспособен к серьёзному политическому делу. (Керенский пригласил негласно встретиться на квартире у Соколова и нервно жаловался, что Стеклов и другие левые дискредитируют его систематически. Но сам он не решался предпринять против них. Он хотел бы — чужими руками.)

Сибирские циммервальдисты приехали с нежностью к Манифесту 14 марта: он действительно соответствует принципам революции: и борьба за демократический мир — и одновременно защита страны. Но оказавшийся автором Манифеста юркий въедчивый проницательный гомункулус Гиммер-Суханов — теперь деятельно возился повернуть ИК к одному лишь требованию мира, без забот об обороне страны. И собрал подписи под такой платформой, и на многолюдном заседании ИК 21 марта с холодным раздражением, маленький, выговаривал своим крупнотелым товарищам, что Исполнительный Комитет не выполнил обязательства, взятого в Манифесте: не борется против империализма Временного правительства, но приспосабливается к военной идеологии Милюкова — Гучкова. Он не отрицал оборончества в лоб, но: что всякая активность в укреплении армии отвлекала бы нас от борьбы за мир, а поэтому — все наши силы борьбе за мир; обороной пусть занимается без нас кто хочет, а мы откроем массовую кампанию в армии и в рабочем классе — против империалистической политики Временного правительства.

За свои три дня в Петрограде хоть и заметил Церетели бестолковость деяний и бросаний ИК, всё же с изумлением оглядывался: так даже без попытки соглашения с Временным правительством предлагают тотчас его отстранять, что ли? — и никто не даст этому едкому гному отпора?

Не гному! — над задымленной комнатой ИК нависал террор обезумелых крайних интернационалистов, а остальные не смели в полный голос спорить с ними. И Церетели, по струне негодования и при полной сибирской безбоязнен-

ности, с десятью годами тюрьмы и ссылки за спиной, поднялся в свои полные полуторный рост и стать:

— Революция — не должна отдавать своих завоеваний на разгром извне! В условиях русской революции нельзя сравнивать оборончества — с поддержкой империализма! А кто же будет защищать страну до заключения мира? Оборона страны — не чуждое нам дело и не компромисс, она одна из основных задач революции. Никогда ещё российская демократия не имела такой силы внутри страны — а значит и такой ответственности перед человечеством.

Он выговаривал эти мысли то одним складом фраз, то другим, совсем не коротко и, может быть, не лучшим образом — и видел, как менялись лица исполкомовцев,— но и сам ещё не понимал, какой силы взрыв произвёл тут.

Он заварил два дня бурных прений. Против его непредвзятой сибирской трезвости — растерялись большевики, и даже узкомыслый Шляпников, с его примитивной рабочей ненавистью к буржуазии, не осмелился повторить призыв свергать Временное правительство и заменять его рабоче-крестьянским. (Упускалось, упускалось время слиться с большевиками в одну партию! Не с кем тут разговаривать! — скорей бы Ленин приехал!) А полупарализованный Лурье, с болезненным неуспеванием губ, век, движений лица за энергичным смыслом слов, лишь поучал неопытного сибирца, что вся Европа созрела к миру, и надо только кинуть смелый клич,— как говорил Дантон: спасение революции в её смелости!

Но как возвысились голоса искренних оборонцев, задавленных до сих пор тут! Богданов осмелел указать, что ведь молчит Германия, молчит Европа, никто на наш Манифест и не откликнулся, а все воюют! А Гвоздев предупреждал, что если будем молчать об обороне — натравят на нас солдат. (Этих двух рабочегруппцев особенно резко упрекали слева за сотрудничество с Гучковым.) И Гольдман-Либер произнёс пылкую революционно-оборонную речь: главная опасность для нашей революции — от Германии. Теперь и папаша Чхеидзе сюда склонился, и легко-надувной Скобелев заговорил о «государственно-революционном расчёте». И ещё, и ещё, и почти кто ни выступал — все были за оборону. (И уже уму нельзя было представить: да кто ж из них тут придумал и подписал «приказ № 1»?) Брамсон горячо горевал о разгроме на Стоходе (как раз случился он в первый день этих прений). И разумеется — поручик Станкевич: что разлагает армию всякая постановка вопроса о мире, что солдат и стоек в походе и в бою только до тех пор, пока никто не внушил ему возможности мира, и в европейских армиях этого не допускают,— и как же смеем мы начинать «кампанию за мир» в армии? Солдат не призван произносить слово «мир». Резолюция Гиммера полезна только немцам. Но даже и резолюция Церетели — лозунг обороны, *параллельный* лозунгу мира, уже разлагает армию. (Станкевич очень был прямолинеен, и даже, может быть, слишком, и веяло от него чем-то чуждым нашей партийно-социалистической психологии,— не наш, не полностью наш.) А высокий, сухощавый, хорошо сохранившийся старик Чайковский, энесовец и кооператор, тот даже и перехвалил Церетели за государственный дух, и что надо изгнать из советской среды предрассудок против обороны, враг занял десятки наших губерний — а нам внушают мир. И отвоевание Армении, мол, вовсе не империализм, и нужда в проливах есть законное стремление России к открытому морю. От таких похвал справа пришлось Церетели уже и защищаться. И — нет, отвечал он Станкевичу, армия стала фактором политики, и её уже не отстранить от задач революции и от кампании мира в ней.

Но так били интернационалистов, что стало вырисовываться нечто более широкое: в ИК создавалось новое разумное большинство, которого до сих пор не было, менялось само лицо ИК.

И должно быть, потому, что почуял это неотвратимое,— сенсационно выступил Нахамкис. Этот мясник, жаждавший крови главных генералов, гремевший в «Известиях», что Ставку надо судить и вешать, этот видный крупный широкоплечий бородач — трусливо славировал к большинству и объявил себя сторонником активной обороны. (Да вот что: не был он на самом деле ни левым, ни правым, а персонифицировал собой политику «от случая к случаю». И увидя бесповоротность образования нового большинства — поспешил к нему примкнуть.)

И так разваливался большевицко-гиммеровский фронт левых. И оставалось им хитрить: просить включить в резолюцию борьбу за мир как идеал, а после

голосовки изобразить такое понимание, что завтра эту кампанию за мир против империалистического правительства мы и открываем всенародно...

Э, нет. Прежде мы, Контактная комиссия (а Церетели, с первого дня такой видный и значительный, уже вошёл и в неё), будем переговариваться с правительством.

Это всё — Гиммер мутил. Замысловата была его позиция от первых же дней революции: пустить буржуазию в правительство, перевязав её левыми путами, и тут же начинать против неё всенародную борьбу — но и так, чтобы не сразу свергнуть. Однако такая путаная сложность могла удерживаться в голове Гиммера, но не может удержаться при крупных массовых течениях,— вот почему его мартовская игра уже была отыграна.

23 марта на грандиозных похоронах жертв сквозь миллионную толпу Церетели продвигался в одном автомобиле с Верой Фигнер. На всём пути её приветствовали с такой сердечностью, будто все лично знали её, многие подходили и пожимали ей руку. Её глаза сияли счастьем: освобождённый народ помнил и воздавал почести соратнице Желябова и Перовской! Ираклий был глубочайше растроган — не представлял он такой молодой революционной веры и такого воодушевления несметных манифестантов!

Но вот насмешка! Не в какой-нибудь день, но именно в этот день народного торжества, через ночь после того, как ИК с таким трудом свергнул интернационалистов и провёл свою поддержку обороны,— именно в этот день Милюков дал своё наглое интервью о расчленении Австро-Венгрии, изгнании Турции из Европы и о проливах. Он — издевался над революционерами? над Манифестом 14 марта?

А вечером Контактная комиссия заседала с правительством в Мариинском дворце. (Скобелев и Нахамкис брали с собой толстые портфели, но набитые газетами и ненужными бумагами.) Церетели с интересом следил за лицами и повадками министров, никого он их раньше не знал. Нашёл он, что как они ни были внешне любезны, а под тем — осмотрительны. Ничего не поделать, представители буржуазии, и с ними надо востро. Доброжелательный князь Львов поразил тем, будто он совсем не понимает: о каких целях войны можно говорить, когда немцы стоят на нашей земле? и кто же в мире сомневается в демократизме нашей политики? Церетели, хотя и новичок тут, сразу взялся проникнуть сквозь этот классовый эгоизм: как же можно не считаться с народным настроением? Если есть непорядок на заводах или в армии, то лишь от неясности с целями войны: все опасаются затяжной войны из-за чужих целей. Совет только и может оказать влияние на усталые массы, если внушит им уверенность, что новых жертв требует спасение страны, а не завоевания,— и об этом правительство должно опубликовать декларацию, тогда и Совету будет легче мобилизовать рабочих и солдат защищать революцию от внешнего врага. Энергичный Некрасов и Терещенко отозвались, что рады получить поддержку Совета в обороне. И тут Церетели показалось, что этим самым коллеги по кабинету уже и отделяются от Милюкова (как Керенский на следующий день выразил и публично). А Милюков — завёл, завёл с профессорским апломбом: Россия нуждается сохранить доверие союзников, а декларация, требуемая ИК, может быть истолкована ими как начало сепаратной акции, министр иностранных дел не может взять на себя ответственность за такой акт.

Короче, видно было, что не согласен он на одну оборону, нет, хочется ему прихватить к России нечто.

Но не могли же министры не понять разумно, что без соглашения с Советом им не устоять? И Церетели — с новой силой убеждения: мы и не требуем шагов, ведущих к разрыву с союзниками. Пусть Россия заявит об отказе от завоевательных планов, а после этого обратится к союзникам с предложением пересмотреть программу действий. Даже если мы не убедим их дипломатически — мы подействуем на них кампанией через печать.

Вдохновенно видел Церетели этот выход: вот так — неожиданно, необычно и достойно может выйти Европа из своей небывалой войны!

Скобелев тут неглупо пошутил:

— Вы же сами, Павел Николаич, в прошлом году против Штюрмера объясняли нам с думской трибуны, как трудно, как небывало тонко и трудно было убедить Англию признать наши претензии на Константинополь. Так если теперь мы от него откажемся — почему вы думаете, что они будут так задеты?

А Милюков корил встречно, что вот же не откликаются европейские социалисты на Манифест.

Но тут — не было правды, одна увёртка. Хорошо! — восклицал Церетели, зная это убедительное своё состояние, когда пылают глаза,— хорошо, пусть мы не преуспеем никак в Европе — но зато мы все сплотимся внутри страны, а это главная наша сила!

И недоверчиво, недружелюбно молчавший Гучков тут сказал:

— Для единства армии — я согласен.

И Шингарёв, подвинутый сердцем: ваша вера — передаётся мне! согласен и я — если вы сумеете сплотить массы к обороне. Но — можете ли вы нам это гарантировать?!

Тут — не ответить на одном пыланьи. Конечно, никто не может дать гарантии заранее, имея дело с миллионами солдат. (Да когда уже так испорчено нами самими, только это не вслух.) Но настроение большинства революционной демократии — поддержать.

А Милюков — один, по-прежнему, упирался, ничем не растроганный, ничем не захваченный. Когда он упирается — он абсолютно несдвигаем.

Решили, что правительство ещё будет обсуждать и пытаться выработать декларацию.

Через два дня Контактная комиссия снова поехала в Мариинский дворец. Милюков сидел непроницаемый, а Львов прочёл проект декларации правительства. Как будто, как будто так, по тону, а нет, — был тут уклон от ясного ответа по главному пункту. «Не отнятие у них национального достояния» — это смутно: а чьё достояние Галиция? Армения? а может быть, и Константинополь? Да вы напишите ясно: *Россия отказывается от захвата чужих территорий!* — и всё.

Как стопор держал их всех Милюков. Они, мол, уже сделали — максимум уступок. И сам момент прямого обращения к союзникам министр иностранных дел должен резервировать за собой.

Да это — пусть, это и лучше, что декларация сперва — к народу, поднять энтузиазм тут у нас. Но вы — откажитесь ясно от завоеваний!

И когда уж так успел Милюков приобрести все приёмы дипломата? Не прямым ходом, а крюком: а вы — толкуйте текст по-своему, а министерство иностранных дел — по-своему.

Да — не по-своему! Да не толковать! Нужно открыто для народа изменить направление внешней политики! Без этой поправки декларация неудовлетворительна — и мы объявим о непримиримости взглядов Совета и Временного правительства!

Зияет бездна непоправимого разрыва. Большинство министров и даже Гучков понимают: ради единства — надо уступить. Но как же окостенело владеет буржуазными умами законность старых целей войны!

Спорили, спорили. Около полуночи вызвали Чхеидзе к телефону. Он вернулся с мёртвым лицом, еле на ногах, и снова сел к совещанию. Церетели, рядом, шёпотом спросил: что? Оказалось, звонила жена: Стасик, единственный сын, в гостях у товарища играл с ружьём и тяжело ранил себя. «Так езжайте домой!» Но Чхеидзе блуждал взором: решается судьба революции, как же уехать?

Сын!?!

Так и сидел, сидел на совещании — со всклокоченными редкими волосами вокруг лысины, бесформенно заросший по щекам и вкруг губ, затрёпанная бородка, — сидел до конца, и пытался участвовать, и никому не пожаловался!

Такой железной выдержки от усталого старика нельзя было ждать!

А кончили, в два часа ночи, всё равно без соглашения. Ираклий проводил земляка домой — он сильно ослабел в руках, в ногах.

А на лестнице встретили носилки, принесшие бездыханное тело сына.

В этот последний час заседания — он и умер.

Николай Семёнович упал на лоб мальчика.

На другой день Исполнительный Комитет без дебатов единогласно постановил: считать декларацию правительства неудовлетворительной.

Наступал — великий необратимый разрыв. Раскол бессмертной Февральской революции!

И в этот самый момент позвонил телефон — и князь Львов сообщил, что правительство приняло поправку, высылает.

Привезли. Весь до слова тот самый отвергнутый текст — упорен же Милюков! — но после «не отнятие у них национального достояния» — почерком князя вписано карандашом, не остро очиненным: «не насильственный захват чужих территорий».

Вырвали!

Во взглядах мировой фанатично-империалистической буржуазии — какой же это будет поворот! — 27 марта — первый отказ воюющей державы от всяких захватных завоеваний!

ДОКУМЕНТЫ — 3

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К НАСЕЛЕНИЮ

4 апреля 1917

...Постановлением Временного Правительства от 18 марта даровано полное освобождение от суда всем призванным до сего времени к отбыванию воинской повинности, но уклонившимся от нее... а равно и солдатам и матросам, находящимся ныне в побегах и самовольных отлучках, за исключением бежавших к неприятелю, — если они добровольно явятся в войска до 15 мая. Все эти лица будут освобождены от суда и наказания, хотя б они до 18 марта совершили обманные действия, повреждение себе здоровья... умышленную порчу, промотание, отчуждение выданного им казенного имущества и оружия... Все не явившиеся к 15 мая будут отвечать по всей строгости законов.

...ко всем гражданам Свободной России — с призывом способствовать направлению в войска этих лиц... Пусть те, чьи мужья, сыновья и братья честно стоят в рядах армии, придут на помощь местным властям и помогут собрать... Пусть будет стыдно тому, кто из малодушия...

Министр-председатель князь Львов
Военный министр Гучков

2

Светлую заутреню стояла Вера в своей Симеоновской, с няней, — и навстречу пасхальной радости молилась, молилась, чтобы дал Господь сил в её тоске.

Раньше думала: трудно решиться. Трудно решиться — Михаилу Дмитриевичу отказать.

Нет: трудно — после отказа жить.

Да, люди — слишком слабые существа, чтобы жить без освещающего фонаря: что о каждом нашем поступке и даже мысли каждой — знает Бог, а после смерти и те люди узнают, на которых мы злоумышляли, — и не укрыться, и не укрыться.

И ещё б, наверно, не собрала бы Вера в себе такого решения — если б не как всё поползло вокруг. Вместе с долгожданной бескрайней радостью Революции ворвалось — да на пятки ей наступая, да оттесняя её самоё, — беспорядочное, безоглядное, вседозволенное, бесстыдное — теперь всё можно. (И почему же??)

И вот ещё от этого — теперь-то никак не могла Вера взять своё счастье, отнять от *тех двух*, почти и не встретив их сопротивления.

Теперь-то особенно не могла, в этом потоке.

Но даже оттого ещё горше — как будто она отказала не добровольно, а вынужденно.

Оглушённая.

У крупных соборов заутреню служили в этом году ещё и открыто на папертях. В Казанском и Исаакиевском шли, как обычно, пышные архиерейские службы — со знатью, с членами дипломатического корпуса и даже нового правительства, и в Исаакиевский в этом году пускали без пропусков, — но туда не тянуло Веру, да и, в Москве выросши, петербургских соборов не смогла Вера полюбить, не прилегает душа.

А на улицах, в разных местах, в эту пасхальную ночь много стреляли в воздух — солдаты, или пьяные, или озорные — и среди богомольцев со свечками была паника.

Нева вскрылась на Страстной. Проходили льдины со снежными бахромами, левый берег очистился, у правого лёд ещё держался. При резком ветре с моря ещё подступала вода на прибыль, ломая лёд. Становились и заморозки по ночам. А как раз на Пасху привеяли тёплые дни, быстро изникал снег, дружно сливала с погрязневших улиц вода. (И впервые во время таянья вода в водопроводе стала мутна, что-то на главной станции мешало очищать.)

В ночь на третий день Пасхи ещё прошёл тёплый дождь, и в Светлый вторник стояла почти летняя теплота. Вера с сослуживицей отправились в лёгких пальто погулять в парк в Лесной — и там слышали зябликов и жаворонков, уже прилетели.

Но и туда и обратно через весь неметенный (только на Невском стали подметать) неубранный Петроград, где слой мусора, где невывезенные кучи, однако весь в красных флагах, нужно было пройти пешком: на трамваях висели гроздья и гроздья, на остановках сгущались сотни и сотни, и никакой очереди, а толпою, и солдаты, и мужчины кидались карабкаться, отбивая, отталкивая женщин. Милиционеры, с белыми повязками, вяло стояли вблизи, но ничего поделать не могли, да и не хотели!

Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции, теперь ещё эта Пасха не вовремя, сбивает темп, необходимый повсюду, и «Речь» призывала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник. Но всё равно типографы несколько дней не печатали газет, и почта не разносилась, из Москвы письма идут по две недели, и, говорят, миллионы их неразобранных на почтамте.

Говела Вера в этом году на пятой неделе, а с Вербной субботы и ещё на два дня Страстной выпал ей праздник особого рода: дали ей гостевой билет на кадетский съезд в Михайловский театр. И — такое облегчение было: уйти от своего внутреннего, забыться, как нет его.

Очень было торжественно! Говорили: это — смотр гвардии российского либерализма. Сколько-нибудь знаменитые в России имена — все были тут, и многие из них в президиуме, и почти все министры, но они опаздывали, приходили потом порознь — Милюков, Мануйлов, Шингарёв, — и каждого встречал шквал аплодисментов, прерывая оратора. (И только один Маклаков появился как-то незамеченным, скромно сел под ложей журналистов.) Делегаты съезда (триста с чем-то, не ото всех городов сумели приехать, а ещё от самого ЦК как бы не полсотни) сидели в желтокресельном партере, петроградские члены партии — в ложах бельэтажа, литерные ложи набиты журналистами, а в ярусах балкона, прослоенных рядами светильников, — гости. У входа в театр даже стоял часовой (но — одиночный, и лишь для парада, никого не задерживая). В вестибюле убрано кадетским партийным зелёным цветом, и студенты и курсистки-распорядители с зелёными повязками проверяли билеты, указывали места. Большинство делегатов — зрелого возраста, в проседи, в лысинах, с благообразными лицами адвокатов, врачей, членов управ, земского типа.

Открывать съезд вышел дюжий большеголовый князь Павел Долгоруков, но сбил ноту общего подъёма тем, что стал читать по бумажке, заикаясь. Сперва все встали почтить память положивших голову за народную свободу. Потом — впервые в истории кадетских съездов! — Долгоруков предложил «ура» в честь армии и телеграмму генералу Алексееву. Потом избрали председателем съезда Винавера, а он выступил ещё с телеграммами — союзникам и президенту Вудро Вильсону. И читал телеграмму от «Нестора партии» Петрункевича (не смог лично участвовать, но просит присоединить его голос за демократическую республику, ого), — и тут же оглашали телеграммы от съезда Петрункевичу и Короленке. А потом выпустили с первым докладом хрупкого изящного Кокошкина — с тонкой задачей доказать, почему 12 лет в кадетской программе стояла конституционная монархия, и это было правильно, а теперь пришло время поставить республику, притом демократическую.

И Кокошкин доказал: монархия прежде сохранялась кадетами только из условий политического момента, на уровне понимания масс, а ныне этот символ стал не нужен населению, во время войны монархия разоблачила себя тем, что стала против Отечества. И это самое решительное изменение в программе тут

же легко приняли бурными аплодисментами, затем и поднимая делегатские карточки. А профессор Лосский выступил даже так: теперь и октябристы вынужденно станут республиканцами, но буржуазными, а мы — демократы и, если хотите, даже социалисты. (По залу прокинулся как бы испуг.) Но мы отвергаем социальную революцию, мы, как фабианцы, за общество эволюционного социализма. И пылкий, всегда такой левый Мандельштам из Москвы объявил, что деление кадетов на левых и правых — кончено, партия отныне едина, и пора ей назваться «республиканско-демократической», чтобы быть точными, и вовсе это ложный предрассудок, будто для установления республики предполагается долгая культурная и политическая жизнь народа.

Два месяца назад кадеты ничего подобного не выговаривали, а сейчас — да, это казалось уже несомненным. И высокий, статный, за пятьдесят, а видом свеж, с благородными чертами, даже и на трибуне перед залом углублённо-задумчивый, сам с собой, князь Евгений Трубецкой (очень было смешно, когда Мануйлов назвал его «товарищ Трубецкой») тоже поддержал, что форма правления России уже решена жизнью, а думать надо только — как упрочить республику от военной угрозы и от анархии.

Но что ж тогда достанется Учредительному Собранию?.. Сколько ни было блестящих ораторов в партии, но с докладом об Учредительном Собрании выпустили снова Кокошкина, — и откуда в этом слабом теле таилось столько настойчивости? И он убедительно объяснял, как сложна процедура выработки принципов и Положения о выборах, ещё сложней сами выборы в неподготовленной стране, это — задача не четырёх месяцев. Итак, иметь терпение.

На второй день съезда было много однообразных докладов с мест, как именно власть там и сям перешла в руки народа. А потряс и прокалил съезд — Родичев. Он вышел на трибуну сразу в ударе, в экстазе: «Пройдут века — а народы Земли будут помнить 1917 год!» — и гремящим голосом, пенсне отблескивало от люстр, увлекал, не давая времени вдумываться в отдельные фразы. Что враг не пришёл в Петроград лишь потому, что за нас заступился английский флот, и сколько английских и французских костей похоронено в Галлиполи, чтоб открыть нам дорогу к Константинополю, и мы не смеем нарушить обязательств перед союзниками: «Россия — с нами! не смущайтесь криками дерзких! умейте им возражать! Века будущего смотрят на нас!»

Как говорил! Зал был ошеломлён. Винавер тряс Родичеву руку: «Россия гордится вами! Тысячи сердец захвачены!» — а по предложению Трубецкого съезд постановил распубликовать эту речь в миллионах экземпляров. (А на утро, странно, прочла Вера газетные отчёты о речи — длинна, а мыслей мало, даже совсем нет. Вот что делает дух оратора!)

Неожиданная заминка вышла, когда оренбургский делегат возразил: «Мы, русские мусульмане, любим Турцию, не хотим ей конца», — и если партия не изменит свой взгляд на проливы, то мусульмане откажутся от партии кадетов. Растерялись в президиуме, но кто же вышел отвечать? — снова находчивый и непреклонный Кокошкин: ислам тут ни при чём, ведь Мекка же восстала против Турции, а сейчас проливами владеет даже не Турция, а Германия, а если мы откажемся от перекройки карты Европы, от неотложных нужд нашей зерновой торговли — наш народ вынесет нам суровый приговор.

Да не политикой же Вера жила. Но тут, в лепно-бархатном зале, под потолочным плафоном с амурчиками, так единствен разогрелся политический воздух, как будто ни в каком кислороде, ни в каких птичках на зелёных ветках не нуждались сидящие тут, — а только в торжестве кадетской зелени, своего оттенка. Столько блистательных умов — и все собраны в одном зале, сразу. Даже не наплывёт такая мысль, что это всё — мужчины, которые выбирают же себе подруг и совсем не безразлично смотрят на женщин, — нет, в плотном электрическом воздухе зала как будто плавали лебедями одни интеллекты — и о чём бы речь ни пошла, то всё интересно. И главное: что в этом зале решат — то и будет близкая судьба России.

На третий день Винавер делал доклад о власти — приносил низкое спасибо петроградскому гарнизону за революцию. Мы должны поддерживать революционный подъём и во имя подъёма примиряться с временными неурядицами переходного периода. Революция — не спектакль, а мы не зрители, эксцессы неизбежны, и надо иметь мужество считаться с ними. Поддерживать тех, кто может впасть в уныние. Поддерживать бодрость и отразить всякую угрозу

контрреволюционных сил — это и есть основной тактический лозунг минуты. Но Совет рабочих депутатов переступает границы критики и начинает прямо вмешиваться в функции правительства. Наш ЦК обращался в Совет дважды — и письменно и устно, что его «приказы» сеют раздор, граничащий с безумием и преступлением. И анархия уже вспыхивает в разных местах страны. Общественное мнение должно поднять голову и высказываться громче.

Однако тут же стали Винавера уверенно поправлять. Худо-унылый клинобородый князь Шаховской: что объявляя республику, мы именно сблизились с нашими соседями слева, разногласия устраняются, их программа-минимум как раз и совпадает с нашей сегодняшней, они благоразумны. И надо с ними блокироваться. И даже крестьянство, аморфные слои народа, в сущности, недалеки от кадетства, но левые партии быстрее вербуют там сторонников, и нам тоже надо вести пропаганду. А то в деревнях царит тьма и уже хотят делить землю. Неприемлем для нас только максимализм большевиков, но и большевики становятся с каждым днём всё благоразумней. И — снова порывистый Мандельштам: как мы близки к левым партиям и как неисчислимы заслуги Совета рабочих депутатов.

Но не доспорили: тут-то и появился под громовые овации Милюков — и Мандельштам, его вечный оспорщик слева, приветствовал его как дорогого и мудрого вождя, и это вызвало новый восторг зала.

Большой овацией был встречен и Некрасов — молодой, а тоже растущий в партийные вожди. Он гордо, звонко клялся, что Временное правительство — погибнет, но не сдастся. (Овация.)

И снова затем Милюков: что 27 февраля дело переворота висело на волоске, но и вне Прогрессивного блока нашлись люди с государственными умами, Совет рабочих депутатов проявляет удивительную способность распоряжаться массами, и это даёт лучшие надежды на будущее. А скоро Совет пополнится и людьми заграничного опыта, и они помогут в нашей тяжёлой борьбе.

А в другой раз была речь Шингарёва, и ещё же доклад по аграрному вопросу, и прения по нему (тут Вера уходила в библиотеку). Постановляли открыть в Москве памятник незабвенному Муромцеву, а прах Герценштейна перевезти из Финляндии на родину, в Россию.

Поток выступлений тянулся и в четвёртый день, и требовали больше кадетских ораторов на народные митинги, не опускать рук перед крайними течениями и не допускать двоевластия в стране. И провинциальные делегаты благодарили ЦК за его линию, а ЦК благодарил провинцию за поддержку, и Винавер отдельно благодарил министров, и потом весь съезд, и особенно кадетскую молодёжь,— и пусть враги говорят, что мы на ходу перестраиваем свою программу: только мёртвые не двигаются.

И когда уже он закрыл съезд — долго не расходились, кричали приветствия Центральному Комитету, организаторам съезда и министрам.

А Веру — за все четыре дня и изо всех выступавших — больше всего тронул князь Евгений Трубецкой. Он и выступал чуть не четыре раза, каждый день, так непохоже на его обычную сдержанность. Один раз — о республике. Другой раз — вообще о революции, в философском плане. И что наша революция — редкой душевной красоты. В Великой Французской мы видим якобинство и гильотину, а у нас — полная отмена смертной казни! И это сближает кадетов с соседями слева: когда в стране единое настроение, единое воодушевление — отчего бы нельзя объединить вместе все революционные партии? Князю рисуется чисто деловая междупартийная конференция — и так бы уничтожилось двоевластие, и соединились бы цензовые элементы с нецензовыми. В том-то и суть, что наша революция — не какая-нибудь классовая, буржуазная, но строго общенациональна, и этот национальный характер русской революции ещё ясней ощущается в провинции, нежели в центре, стоит туда поехать и окунуться. (Он только что ездил в Калужскую губернию.) И ещё выступал: что демагогические большевицкие лозунги совсем не трудно разоблачать, даже о конфискации земель: на самом деле для трудового крестьянства аграрная программа кадетов очень выгодна. Надо крестьянам объяснять, что конфискация земель на даровщинку притянет в деревню много случайных — рабочих, прислугу, мелких чиновников, и придётся на крестьянина не больше, а меньше; а потом начнётся небывалая земельная спекуляция, и опять создадутся имения.

По своим свежим калужским впечатлениям он особенно выразительно предупредил:

— Глухая деревня, не тронутая образованием, выражает свою мысль очень неясно. Может быть и потому, что сегодня идти против общего течения не всегда безопасно. Деревня — говорит обиняками, но к ним надо прислушиваться, чтобы заранее предупредить опасности. Я бы сказал: это, может быть, не столько монархические чувства, сколько монархические сомнения: как будем жить дальше, без царя, без полиции?.. Нас пугают деревенским красным петухом — а на самом деле деревня гораздо больше хотела бы порядка, чем разбоя.

Но в общем шуме, мелькании, пестроте съезда эти слова мелькнули, как и не услышанные, никто на них потом не отозвался. А Вера очень приняла: ой, ведь всё наше будущее — в деревне, как она себя поведёт. И от голоса оратора, благородной, вдумчивой, некрикливой манеры говорить. Да и просто потому, что он был — кумир библиотекарш с Александринской площади, признанный гениальный человек, философ, не знаешь с кем и сравнить из живущих.

А на днях он пришёл в библиотеку вновь — и книги, им заказанные, подготавливала как раз Вера, они и стояли, разбирали у конца прилавка, и ещё две соседки, чуть издали, старались слышать — так всем был интересен Евгений Трубецкой. К Вере он был очень доброжелателен (хотя в минуты самопогружения мог не узнать, или спутать, или завеситься незначащей рассеянной улыбкой; про покойного отца князя Евгения говорили, что тот по отвлечению мысли задувал не свечу у кровати дочери, а саму дочь, это у них семейное философское было). В этот раз был вполне внятен, внимателен. Вера напомнила ему его замечательные слова на съезде, о деревне. Он доверчиво посмотрел глубокими голубыми глазами, так почти полную минуту смотрел на Веру, уже, может быть, и не видел её? — нет, видел. И вдруг:

— Я даже сам не ожидал, насколько у меня врезаны деревенские впечатления. Не калужские, сейчас, а именно — детские. Странно, вы знаете, но этот месяц великих событий я живу — как будто больше в прошлом. Я... — Поколебался? — Приехал в Петроград на заседания Государственного Совета. А тут — революция. И в гостинице «Франция» на Морской, под эту музыку пулемётов... возвещающих рождение новой России... меня почему-то охлынуло созерцание России старой, милых отошедших...— Закрыл глаза. Открыл, ещё голубей и полней.— Это не бегство от настоящего, нет. Это — искание точки опоры для настоящего. Связь с отошедшими — должна сохраняться всегда. И я в своём номере, под стрельбу, под шумы — два дня писал, не отрываясь. Всё в один порыв написал.

Хорошо, что не в «Астории» остановился, подумала Вера.

— Стал вспоминать от самого раннего детства, от дедушек, бабушек. Моего дедушки Петра Иваныча Ахтырка — величественная ампирная усадьба, для парада, не для жизни. Жить — мы теснились в одном флигельке,— но какой дворец над запруженной Ворей, остров, лодки, какой парк вековой, беседки, мостики с берёзовыми перильцами. Ахтырка осталась в душе как звуковая симфония... Каждая дорожка в парке, каждая лужайка, поворот реки — как будто *звучат*. Каждое место связано с особым мотивом, и музыкальный образ неразрывен со зрительным.

Вера замерла, чтоб он не остановился, чтоб — ещё, чтоб никто не прервал.

— А в залах висело множество потемневших, закопчённых, да и дурно намалёванных портретов предков, в орденах и лентах, а то с гончими собаками, в золотых рамах. Я их терпеть не мог. И уже после смерти дедушки прострелил из лука портрет императора Александра Павловича, в пурпурном одеянии и с любезно-кислой улыбкой.

Тёмно-русые волосы Евгения Николаевича были гладко обровнены, ни единого волоса вздыбь, бородка с усами соединены в плавных линиях, всё лицо породистое — такое покойное, не прорезаемое ни гримасой, ни раздражением, всё как поле для мысли. (Хотя видела Вера раз и как он отчаянно хохотал, сгибаясь до колен.)

— После отмены крепостного права дедушка жил ещё десять лет, но был совершенно потрясён. И в июльский престольный праздник устраивал высочайший выход на большое парадное крыльцо, садился в кресло и смотрел на подваливший народ. Как мальчишки и парни лазят на высокие шесты, намазанные мылом, доставать гармоники, картузы, красные кушаки,— и один за другим

сползают, не достав, пока догадливые не натрут тайком ладони смолой. Когда все подарки сняты — начиналась раздача бабам и девкам — бус, платков, лент. Они выстраивались чинно в ряд, подходили по одной, целовали дедушкину руку, лежавшую на подушке, а из другой его руки получали подарок. Но дарилось — только бывшим своим крепостным, и для того стояли около очереди две бывших кормилицы, пропускали лишь своих, а чужих — в сторону, прочь.

И нежно-болезненно излегли губы:

— А мы, дети, с крыльца швыряли пряники в народ и забавлялись, как мальчишки барахтаются на песке, ловя их. И — я нарочно метил так, чтобы попадать им в головы...

ДОКУМЕНТЫ — 4

ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

4 апреля 1917

Солдаты! Мы свергли старый строй, потому что в нем царили произвол и насилие... где на каждом шагу попирается чужое право — не может быть порядка...

Теперь этот порядок особенно необходим на железных дорогах. Между тем со многих дорог приходят сообщения о бесчинствах и насилиях, которые допускаются группами солдат по отношению к пассажирам и ж-д служащим. Разбиваются окна, занимаются чужие места в пассажирских вагонах, переполняются до того, что прогибаются рессоры, лопаются оси. К служащим предъявляются под угрозами требования, противоречащие безопасности движения, и был случай, когда машиниста, под угрозой кровавой расправы, принудили отправиться на размытый перегон.

Солдаты! Вы должны ясно понять... Покажите себя вполне достойными добытой вами свободы...

Министр-председатель кн. Львов
Военный министр Гучков
Министр путей сообщения Некрасов

3

Живя заветами своих духовных кумиров — Чернышевского, Добролюбова, в минувшие годы только жмуриться мы могли перед светлым видением будущего в России социализма,— и грядущая радость того преображённого мира настолько была выше наших, твоей, моей жизни, что не вилась эгоистическая мысль: а какую именно роль получу там сам? какой именно пост?

Но вот вдруг далёкий Идеал — прикатил! вот уже уверенно он ступает по России! И теперь естественно встаёт: что за место я в этом строе займу? Уже дождавшись этой поры горячего народного счастья, уже войдя под сень Революции,— втройне обидно, если товарищи тебя отталкивают и не дают тебе влиять на события соразмерно твоим силам крайне левого лидера.

Когда мы изучаем историю, кажется вот так просто: приходит решительный человек и берёт власть, как будто она только его и ждала. Но когда ты входишь в события и протягиваешь совсем же не слабые руки эту власть взять — не даётся! Не берётся.

В чём дело? Какие же тут особенные методы? или особенные качества?

В прежние века надо было хорошо владеть холодным оружием, значит, иметь крепкие плечи да сидеть на коне. Но сейчас вот и плечи у тебя широкие, а это не нужно. Теоретические мысли, быстрота их словесного изложения? Но история показывает, что не обязательно этим владеть самому, достаточно рядом такого иметь вот Гиммера.

Так что? — момент? Угадывать точный момент для каждого шага, когда короче шагнуть, а когда дальше? Но какой же был лучший момент, чем войти 27 февраля в ещё не созданный Исполнительный Комитет ещё не родившегося Совета рабочих депутатов? И возглавить переговоры с будущим правительством — и положить свою лапу на стол санкцией: существуйте! — только на наших условиях. Какой же выше пост — не правительство, а выше правительства: ты его создал и допустил? От самого первого дня — какое же положение было

сильней? В масштабе всей России соперничать мог только Керенский — но он не опирался на Совет. Так разве упущен момент?

Ключевые позиции? Так самые лучшие позиции ты и занял, два лучших опорных пункта: в твоих руках бесконтрольно «Известия» — лицо Совета, на всю страну виднее, чем сам Совет. И — Контактная комиссия, реальный рычаг направлять правительство,— и ты там, среди пяти исполкомовцев, и твой голос там — ведущий, и ты с презрением диктуешь министрам. Разросся Исполнительный Комитет, избрали бюро из 7 человек — и ты в нём.

И это — *ты* сформулировал теперь уже знаменитую формулу поддержки Временного правительства: «постольку поскольку». Нужно было кому-то прочесть Манифест ко всем народам — и это именно ты его прочёл с высокого помоста. Нужно было кому-то, не меря часов, встречать и встречать фронтовые делегации, олицетворяя перед фронтом весь Совет,— и это именно ты делал.

А власть — не взялась? Нет, не взялась.

То в Контактной комиссии Чхеидзе или даже дурачок Скобелев возражали ему перед министрами, что он высказал своё частное мнение, а не Совета. То перед военными делегациями его оспаривали Филипповский или Богданов. (Они тоже, неутомимые, всюду встревали.) А как принудить их подчиниться? — Нахамкис не знал. Не сумел.

Или вклинился в ИК совсем чужой пролетариату поручик Станкевич. И едва ли не по каждому поводу въедливо оппонировал и стал придираться к «Известиям», и не только он один, против «Известий» складывалась интрига. (А надо сказать, Нахамкис и правда не на всё успевал, вот на газету. Статьи в неё он катал на ходу, на самих же заседаниях ИК. Он мог направить её как угодно, не отчитываясь, но не хватало методичности сидеть над каждым материалом. Без него заправляли там его верные помощники.)

Насторожился. Надо было озаботиться укрепить свою позицию. Но тут как раз — тут как раз приехал Церетели. И это была — катастрофа и поворотный пункт для всего Исполкома. По своей прежней думской славе Церетели сразу без выборов вошёл и в Исполком и в Контактную комиссию (и уже шестерым тут становилось тесно, кого-то будут выталкивать) и всюду заговорил таким полным уверенным голосом, как будто с первого дня тут везде и состоял. Так уверенно, будто заранее знал и предвидел все эти ситуации.

И понял Нахамкис, что упустил он свои счастливые недели — возглавить советскую власть, а затем, может быть, и всю Россию. Упустил. Не хватило — точной сообразительности? смелости? Как она берётся: власть? Вот пойди попробуй.

Нужен гений? Да, ты не гений. Гении заранее умеют понять ход исторического процесса, выдвигаемые им задачи, найти точки приложения накопившейся социальной энергии. Но мы, марксисты, и не поклонники героического в истории. Историю делают массы, а их только надо направлять.

Но это — не каждому, вот, удаётся.

На вершине — очень трудно стоять.

Вот когда пожалел он, что все годы колебался *внефракционным,* ни меньшевиком, ни большевиком, никем. Он был всю жизнь — одиночка, никогда ни с кем не объединён, и в этом считал свою свободу. А теперь оказалось: никакой поддержки, ни партийных коллег, ни даже друзей.

А с Церетели вместе приехал ещё и Гоц. Затем и Дан. И Либер. И это наполнение вождями, вождями всё более оттесняло первичного Стеклова.

А Церетели внезапно открыл полемику против Гиммера по вопросу о войне и мире, да с такой резкостью, какая не принята была в Исполнительном Комитете,— бесстрашно шёл на немедленный разрыв между центром и левой! И его стали поддерживать правые оппортунисты. А — где же Стеклов? Грозило ему остаться на островке отшвырнутого меньшинства?.. Это уже и вовсе был бы политический конец. И он решил тут же сделать крупный шаг, пока льдины ещё не разошлись,— и переступить на ту, большую: поддержал Церетели, что надо крепить оборону, армию.

Вот уж никогда не болел социал-патриотическим сифилисом. А пришлось прикоснуться.

Он — перескочил, но по виду это был уверенный шаг неизменно идущего человека, знающего своё верно. (А в дородное тело его на самом деле вкралась большая неуверенность.)

Он рассчитывал, что так удержится в лидирующей группе — с Чхеидзе и Церетели. Но нет! Опять подвела проклятая безфракционность. Подготовили десять человек президиума для Всероссийского Совещания Советов (оно требовалось, чтоб укрепить петроградский СРСД как лидера России) — и от головки ИК вошли Чхеидзе и Скобелев, от меньшевиков — Церетели, Богданов и московский Хинчук, от эсеров Гоц,— а от кого же Стеклов? Ни от кого. И не вошёл. (А как наметили — так и будет. Какие там свободные выборы в зале? Что эта толпа понимает?)

За месяц революции это был первый крупный его неуспех. Невыбор в первый ряд. (Весь март он думал: будет 1-й съезд Советов, и его выберут председателем Всероссийского Исполнительного Комитета. К тому съезду и вело это Совещание. А вот...)

Докладчиком? Но по войне и миру опять-таки Церетели, уже везде впереди. Только отношение к Временному правительству признали по праву за Стекловым, его доклад, и то ещё в соперничестве с Сухановым, который тоже претендовал.

И этот доклад — был теперь его главный таран. Этим докладом надо было как-то так ударить, чтобы выйти снова в первый ряд — перед близким съездом Советов. А Исполком — сотряхнуть, показать, как владеешь массой.

И готовил, больше ночами, писал разящие фразы! А на Совещании (в Белом зале не попав и в ложу) из депутатского кресла грузно присутствовал и наблюдал за всеми комедиями первого дня: овацией Бабушке, её бессодержательной речью, как она «вошла в этот храм Свободы», и как на стуле её выносили из зала, и полдня ушло на похороны чхеидзевского сына, а вечером деловые прения снова перебил скакунчик Керенский — для него ни очереди, ни регламента, и как жалко болтал — о чём? даже непонятном для всех этих солдат (впрочем, есть и с университетскими значками): «хотелось вырваться из моей работы во Временном правительстве, чтобы немножко подышать воздухом среды, от которой я пришёл и с которой останусь навсегда», «я недавно в разговоре с иностранным дипломатом сказал...», «я уверен, что наша уверенность и моя уверенность...», «я пошёл во Временное правительство не потому, что хотел там быть, а провести волю пославших меня»... Он, сукин сын, «не хотел» идти во Временное правительство только потому, что боялся советских коллег, и больше всего, как чувствовал Нахамкис, боялся именно его, избегал даже встретиться в коридоре. Но — и с какой же бесстыдной хлестаковской лёгкостью он карабкается и обходит препятствия! — поучиться! — что ни шаг, только увенчивается наградами, в награду взял себе и Бабушку, в речи на вокзале приплёл, что ездил на Лену чуть не к ней в ссылку, а она его никогда и не видела, но: «дорогой друг Керенский, мы вас любим и умрём вместе с вами!» (При её возрасте — небогатое обещание.)

Именно такой лёгкости и не хватало Нахамкису, тяжеловесу.

Совещание Советов, из-за обилия фронтовых делегатов, убедительно пошло в пользу продолжения войны (правильно он сделал, что перескочил) — никто не сбивал, кроме немногих большевиков. Но и большевики не посмели тут ясно выразить, чего ж они хотят, и Каменев, и Ногин: вот будет всемирное восстание пролетариата и кончится война,— а если не будет?? Этот пропуск заметило всё Совещание, и простаки в шинелях.

Но и видно же было, как Церетели безмерно преувеличивает «победу над буржуазией» — декларацию правительства 27 марта, и какое теперь с ним достигнуто единство. Он даже так оппортунистически поворачивал, что на узко-классовых интересах стоят лишь «некоторые круги буржуазии», они и «толкают» Временное правительство, а само правительство вот сделало решительный шаг по пути, указанному демократией, и отказывается от имперских намерений. Но — *wer A sagt, muss auch B sagen.* И не оставалось теперь Стеклову другой линии на Совещании, как поддержать Церетели: да, поражение на фронте было бы концом русской революции. Он выступил в прениях — 5 минут, рядовой оратор, это не лидер и не докладчик, но и в 5 минут успел: что Церетели блестяще развил аргументы, что *мы* побудили правительство сделать шаг значительной важности, мы стали — колоссально ответственная сила, а резолюция Каменева — всего лишь общая схема интернационалистических принципов, но не даёт ответа на наболевшие вопросы сегодняшней минуты.

Мог он рассчитывать, по крайней мере, что нейтрализовал Церетели относительно своего доклада? (Всё же он попробовал не напечатать в «Известиях» речь Церетели, а только когда тот пожаловался в ИК.)

Такая спешка и перегрузка была у головки ИК, что не проверяли у докладчиков заранее ни содержания, ни даже тезисов, на это Стеклов и рассчитывал. А тут — как раз безфракционность помогла: тезисами не должен был делиться и ни с кем. Но, однако, Исполком стал уже настолько предусмотрителен, что по каждому главному докладу заранее утверждал будущую резолюцию, которую в зале и проведём. И проголосовали резолюцию, что правительство «в общем и целом» заслуживает поддержку «постольку поскольку», стекловская же собственная формула! — но тем связали Стеклову руки: эта резолюция была — совсем не то, что он хотел говорить и как он хотел ударить. Ему самому оставалось решить: говорить ли всё, как жгло его?

И он решил, что — да. Резолюция — связывала, но в стране, но в Петрограде не было равновесия, правительство не годилось никуда, не стояло на ногах. Резолюция — связывала, но можно так горячо построить доклад, что Совещание само отвергнет резолюцию — и повалит дальше вперёд, за докладчиком! Сам доклад, весь простор манёвра — оставался за ним, а там — как удастся, куда вытянет. Но — тряханёт он и зал, и Исполком! А горячности ему не придумывать: она всю войну не утихала, клокотала в широкой груди Нахамкиса, затаившегося под корой снабженца Союза городов лишь временно. Эта горячность вот недавно гнала его перо, когда он писал для «Известий»: «Ставка — центр контрреволюции», «Генералы-мятежники». Эта горячность напрягала его брови, когда кто-нибудь при нём только называл имена Гучкова или Милюкова. Он верил, он знал, что плетутся, плетутся контрреволюционные интриги — в каждом армейском штабе, и в каждом обывательском подпольи, и в самом сердце правительства,— и он часто произносил в Исполкоме, и перед военными делегациями, и перед случайными группами слушателей — одну и ту же фразу, которая, может быть, станет такою же знаменитой в русской революции, как дантоновские во французской: *«Совет не сложит оружия, пока не добьёт контрреволюцию!»* (А если бы даже не было её — то для раската революции её надо было травить.)

Так что ж, вслед за докладом Церетели, что правительство послушно-хорошее,— теперь предстояло ударить по нему, что оно враг?

Неизбежно так!

Но это будет и речь его жизни. Тут он может взять реванш и вернуть себе лидерство.

Исполком будет в ярости! — но бессильной, если увлечь зал!!

Он готовился к докладу по кускам — но даже и не готовился: всё нагорело, плавится в нём — и само польётся. Всё, что нам грозит — и что грозило, и что было. Это особенно важно: как было. Рассказать! Ведь никто не знает. Только оживляя раннемартовские дни, он сам является во весь размер. Пришло в голову: показать собранию этот клочок чуть не обёрточной бумаги, на которой крупными буквами он написал свои исторические 9 пунктов для правительства. Прежде, чем «отношение к Временному правительству», надо было объяснить, как *он создал* это правительство.

И — вышел на всеизвестную думскую кафедру прославленного Белого зала. (Неудачно только, что время позднее, десять вечера.) Перед ним сидела не Дума, но — сильнее Думы. Ещё не всероссийский съезд Советов — но многие туда изберутся, полновластные в своих городах. (Правда, военных было чересчур уж, неприятно.)

— ...Товарищи, слышатся голоса, упрекающие Совет в слишком мягком, я сказал бы снисходительном, отношении к Временному правительству. Даже и в том, что Совет допустил само образование этого Временного правительства и не постарался так или иначе сам стать на его место.

(Говорят ли так? Разве только большевики. Говорят скорей, что Совет парализует правительство.) Так вот:

— Я позволю себе обратиться к истории этих отношений и хотя бы в самых схематических очертаниях набросать тот процесс нарастания взаимоотношений, как он вылился под давлением требований жизни.

И — открыт путь для жгучего рассказа:

— ...Временное правительство не возникло по классическому революционному образцу и, между прочим, потому, что процесс русской революции хотя пошёл очень быстро, всё-таки несколько затянулся...

Тут — некоторое облачко, но можно согнать его и с полной откровенностью.

— В течение двух-трёх дней нельзя было с уверенностью сказать, что переворот завершён и старый режим действительно уничтожен. В эти смутные два-три дня мы как-то не мыслили о создании правительства... А когда через два дня начало с достаточной ясностью определяться, что восстание несомненно победоносно, мы были заняты группировкой своих сил, а думский комитет пригласил наших представителей... о образовании Временного правительства в конкретных очертаниях. И вот, товарищи, за исключением очень немногих, я сказал бы даже неуверенных, голосов, подавляющее большинство нас склонялось не вступать в правительство, но предъявить ему определённые политические требования и осуществить контроль...

И вот, всё живей встаёт, веет над этим залом —

— ...знаменитое ночное заседание. Да вот, товарищи,— вытащил из пиджака и развернул,— знаменитый исторический документ на клочке плохой бумаги... наши 9 требований... С которого почти буквально, что́ неизвестно ни большинству русского населения, ни тем более всей европейской и вообще заграничной прессе,— почти буквально Временное правительство списало свою знаменитую программу.

(Слышите вы там, министры!)

И — поднял мятую бумагу, и терпеливо показал залу во все стороны, и оборачивая её. Это и была ось вращения, это был его аттестат лидерства.

— Во́т этот документ! Я не пущу его в ход, по рукам, так как он может пропасть, а мы представим его в музей истории.— И так сладко самому.— Если вы хотите — я его оглашу, но тогда я превышу назначенные мне полчаса.

Голоса из зала: «Просим! Просим!» А президиум вынужден помалкивать.

И Нахамкис живительно почувствовал себя снова на своей упущенной вершине. Он стал медленно читать, пункт за пунктом, как стояло у него — и как Милюков исправил: вот тут карандашом, вот тут карандашом...

— Вот, товарищи, вы видите, что эти знаменитые 9 пунктов заключали в себе ещё и знаменитый пункт 3-й: «Воздержание от всех действий, предрешающих форму будущего правления».

И подколоть кадетов (подробно и многократно), как они тогда стояли ещё за монархию и боялись демократической республики, это сейчас они перекинулись.

— ...Хотели нам, победоносной русской демократии, навязать романовскую монархию, в частности Милюков настаивал провозгласить императором наследника Алексея, а регентом Михаила Александровича... Но тот русский народ, который совершил революцию, он поручил нам заявить, что признаёт единственной формой правления демократическую республику. А мы заявляли, что, несмотря на имеющуюся в наших руках физическую силу, не заставляем их немедленно эту республику провозгласить, но чтоб и не провозглашать монархию. Мы не добились от них включения этого пункта, но всё-таки могли понимать результаты так, что они не предпримут никаких шагов. Вы можете поэтому представить себе, как мы были поражены и возмущены, когда узнали, что Гучков и Шульгин едут в Ставку, чтобы там заключить с Романовыми какой-то договор. Я забегаю вперёд — (а намерен рассказывать теперь всё последовательно) — но должен сказать, что наш Совет дал повеление своим комиссарам остановить поезд, который заказали Гучков и Шульгин.

Шумные восторженные рукоплескания! Сила Совета! И —

— ...должен сказать, к чести рабочего класса и вечной его славе, что именно рабочие железных дорог первые подняли тревогу...

Тут и богатая память советского вождя отказала: совсем не тот был поезд, а — родзянкин. И вот — не связалось у него, и со вздохом:

— К сожалению, каким-то образом эти господа проскочили и сделали то, что вам известно... Но Михаил Александрович, как остроумно выразился один из товарищей солдат, «встал на нашу точку зрения» — да только потому, что знал: штыки революционной армии и ружья успевшего вооружиться пролетариата заговорят очень громко, если будет сделана попытка навязать нам монархию!

Но при такой силе рабочего класса — отчего же Совет не брал власть, как, теперь ясно, надо было?

— Я постараюсь на это ответить. Во-первых, теоретически. Было совсем ещё неясно, восторжествует ли революция хотя бы в форме умеренно-буржуазной. Вы, товарищи, которые не были здесь, в Петрограде, представить себе не можете, как мы жили: окружённые вокруг Думы отдельными солдатскими взводами, не имеющими даже унтер-офицеров, мы узнаём в то же время, что старые министры на свободе и собираются где-то, не то в Адмиралтействе. Нам не было известно настроение войск вообще, царскосельского гарнизона. Мы получали слухи, что с севера на нас идут пять полков, а с юга генерал Иванов ведёт 26 эшелонов, а на улицах раздавалась стрельба, и мы могли допускать, что слабая группа, окружавшая Таврический дворец, будет разбита, и с минуты на минуту мы ждали, что вот придут и если не расстреляют нас, то заберут. А мы, как древние римляне, сидели и заседали...

Но это не главное, конечно.

— Была другая сторона, более существенная, политическая. Эта политическая сторона распадается на две части. Когда либеральная буржуазия окажет решительное сопротивление своей собственной политической программе, не то что чаяниям и требованиям трудящихся масс,— в этот момент перед нами может стать вопрос о захвате власти. Но цензовая буржуазия во Временном правительстве сознала, что надо идти на широкие демократические уступки. Я не буду излагать в беллетристической форме и не буду рассказывать о потрясающих сценах...

Зал захвачен. Успех! Уже и вторые полчаса текут, но Чхеидзе не смеет сигнализировать докладчику.

— ...все мы, товарищи, прекрасно знакомы с историей революций, все мы далеки от сентиментализма,— я говорю, от политического сентиментализма. Тем не менее, при всём скептицизме, в высшей степени поучительное зрелище перерождения в дни революционного пожара психологии цензовых буржуазных слоёв, которое совершилось перед нами. Я расскажу вам одну мелочь, в высшей степени характерную. Очень любопытно, что всем вам известный Родзянко до того был потрясён событиями, что потерял способность сопротивляться самым крайним нашим требованиям, а только говорил: «По совести ничего не могу возразить»... Но ещё любопытнее поведение Шульгина, организатора чёрной сотни, который в 1905 проводил подавление революции, а теперь, потрясённый, подошёл ко мне и сказал: «Ничего не могу возразить»... Но дело не в этом. Для нас не было психологических причин самим стать на их место, крайние революционные партии не могут принимать участия в буржуазном правительстве в эпоху капиталистического строя. Да и взять в такой момент ответственность за ведение войны, переговоры с империалистическими правительствами? — Совет рабочих и солдатских депутатов не мог, мы предполагали, что наши силы будут более продуктивны вне министерства.

Теперь сокровенная история была рассказана — а вот времена поближе:

— Но после первых же дней мы перестали видеть правительство, мы спохватывались, что оно что-то делает вне нашего контроля и есть некоторая задержка в осуществлении наших требований, и в речах некоторых министров мы уловили нежелательный оттенок. Мы посчитали нужным дать им толчок, мы заявили, что считаем необходимым приступить к практическим шагам: издать закон, объявляющий вне закона всех генералов — врагов русского народа, кои дерзнут поднять святотатственную руку на завоевания революции. И нам было обещано, что этот декрет будет издан. Но, товарищи, он до сих пор не издан.

Нахамкис ступил на стезю своей любимой ярости — против генералов, и его занесло, уж он и путал от души: да, он писал такие статьи в «Известиях» и настаивал в Контактной комиссии, но никто никогда ему не обещал, и даже свои советские смотрели диковато. Однако вот — он лил сильным голосом, и никто не поправил его из президиума — и в тёмных провинциальных и фронтовых делегатов переливалась та же ярость: генералы-изменники, генералы-предатели, очевидно поимённо известные,— а Временное правительство их щадит?

— Но когда был возмутительно освобождён генерал Иванов, который вёл на революционный Петроград несколько эшелонов войск, оказался на свободе без ведома Совета...

Удар по Керенскому, но тот силён, назвать нельзя, а вот по кому, самому ненавистному:

— ...Жизнь убедила нас создать постоянный орган давления на правительство, а главным образом — на деятельность военного министра, до сих пор внушающего нам — а может быть, и вам, товарищи?? — величайшее опасение.

И захолонули сердца: как? и военный министр?? и он — тоже изменник???

— До последнего времени он даже не появлялся на общих заседаниях совета министров, когда мы туда являлись с нашими требованиями, а должен сказать, что три четверти наших вопросов касались военного министра. Мы всё время получаем сведения с фронта, и это не секрет, что авгиевы конюшни старого режима среди командного состава неэнергично чистятся.

Аплодисменты! Да! Да!

— И постоянно к нам являются делегации с вечными жалобами, что офицеры-реакционеры и главным образом генералы ведут открытую контрреволюционную пропаганду! И даже — организацию контрреволюционных сил!!!

Он уже бил — на весь полный размах! Он бессознательно копировал столь удачную, столь последственную первоноябрьскую речь Милюкова, с этой самой кафедры, 5 месяцев назад,— но теперь против самой милюковской компании.

Кто бы уж там вспоминал о регламенте! кому б теперь, хоть и квёлому председателю, разрешили бы перебить!

Думал ли Нахамкис тут, сейчас, на Совещании,— свалить Гучкова, а там пойдёт само, арестуют Ставку? Да жгло его, что головы главных генералов так до сих пор и не полетели! Бить — так бить, вспоминай всей генеральской сволочи до дна:

— Я, товарищи, напомню вам о приказе генерала Алексеева, который угрожал немедленным военно-полевым судом всем так называемым «бандам» — чисто революционным отрядам, позволявшим себе разоружать железнодорожных жандармов. И напомню о приказе Радко-Дмитриева... И о приказе Эверта, осмелившегося признавать Николая Николаевича Верховным главнокомандующим...

Зал — в руках. А что есть революция? Революция — вот это и есть — передвижка масс, ещё не осевших, ещё не утерявших своего движения,— и довольно бывает одной речи! одного толчка! одной фразы!

А — какой?

«К оружию, граждане»?.. «Бей их»?..

Не хватало... Не хватило чего-то... У самого не хватило — находчивости? дерзости? прыжка?

А в голове — мешает план доклада, сколько ещё не сказал, а пропустил, надо вернуться... (А в конце — всё равно неотвратимо сползёт к жалкой резолюции...)

— Главное сопротивление из военного министерства!.. теперь — уже от вашего авторитетного властного слова, всей демократии России, зависит, чтобы наше воздействие оказалось ещё более активным и действительным...

Не то. Не Дантон.

Но — с новым напором:

— Для нас не секрет, что по мере возвращения жизни в нормальное русло начинается несомненно и организация контрреволюционных сил! Та кампания клевет и инсинуаций, которая ведётся против нас в буржуазной прессе...

«Анонимы в Совете»... — да кнутом по всем шавкам, задрожите!

— ...Её направляют какие-то скрытые силы из какого-то объединяющего центра! Есть какой-то *объединяющий центр*, из которого как по команде даются сигналы и лозунги. Вы знаете знаменитую кампанию по поводу Приказа № 1?.. Вы знаете попытки дискредитировать гарнизон Петрограда, подавший сигнал нам всем к свободе,— под предлогом, что он здесь уклоняется от несения военной службы, тогда как он на страже свободы? Совершенно очевидно, что контрреволюционные силы начали скопляться вокруг пока ещё скрытого, но какого-то *центра,* готовят обход революционной демократии!

Громогрозно:

— И нам *известен* этот организующий центр контрреволюции!!! Но мы его пока не назовём. А впоследствии. И ему должен быть дан отпор — и я надеюсь, что этот съезд скажет своё авторитетное слово. Но ввиду того что эта контрреволюционная агитация прикрывается именем Временного правительства — я надеюсь, этот съезд выскажет, что для Временного правительства пришла пора

дезавуировать кампанию — и тогда мы увидим, насколько мы можем дальше оказывать доверие Временному правительству.

Чуть пониже прежнего, а ещё прекрасный плацдарм, ещё можно крикнуть «к оружию!» —

но нет этой лёгкости, но нет этой дерзости, но почему такое тяжёлое тело, тяжёлый голос, тяжёлый план доклада?

Да и не план, оратор сам заблудился, он потерял напористый порядок мыслей. Опять к этим первым пылающим дням революции.

— Революционная армия, впервые сбросив вековой гнёт крепостнической казарменной дисциплины, естественно, в процессе революционной горячки не могла удержаться, при осуществлении своих гражданских прав, от некоторого рода актов, насильственных актов против своих командиров. И мы призывали солдат и матросов остановить часто, может быть, справедливый гнев народа. Никто не заподозрит нас в кровожадности! Мы первые скорбим о насилиях. Но нашлись политические деятели из «ответственных», которые позволили внести первую ноту раздора. Я говорю о знаменитом приказе Родзянко к солдатам, здесь толпившимся вокруг Таврического дворца и охранявшим ядро русской революции,— возвратиться по казармам и вновь поступить под команду своих офицеров! Народ призвали к насилию этим неосторожным политическим актом. Права солдат оказались не обеспечены — и стихийно вырвалось бурное стремление солдат как-нибудь оформить свои права. В Совет рабочих депутатов начали появляться первые ласточки войсковых частей — и они выдвинули вопрос о конституции в казармах.

Аплодисменты! Сегодняшняя армия это хорошо понимает.

— И Приказ № 1 был подлинное творчество народных масс,— сами солдаты выработали этот акт! И где применялся Приказ № 1 — там-то и установились нормальные отношения между офицерами и солдатами.

Аплодисменты. Да зал — всё время сочувствовал и шёл за ним!

— А между тем в этом акте усматривается первый признак ужасающего «двоевластия»?

Зал — шёл за ним, и надо было энергично вести его к удару! Но по какому-то недостатку хваткости ума зацепился за это двоевластие, о котором жужжали буржуазные газеты, и стал объяснять подробно двоевластие. (Шло дело к полуночи, Чхеидзе задрёмывал, но не прерывал.)

— Бессовестные клеветники! Когда Приказ № 1 был издан — никакого Временного правительства не существовало — а кто этот слабый думский комитет? кем избран? Да сама Дума была избрана, вы знаете, третьиюньская. Да даже по основным законам династии Романовых Дума была только часть власти, вместе с Государственным Советом и царём, а какое право за думским комитетом? — (Аплодисменты.) — Он был бледным слабым созданием цензовых слоёв, тогда как наш Совет вышел из здоровой широкой стотысячной массы.

Уже так устоялся язык их всех, советской верхушки: никогда не выдавать вслух «Исполнительный Комитет», а всегда — Совет. У трёхтысячного Совета плечи широкие.

— Ещё можно сказать, что мы вмешивались в исполнительную власть, когда организовывали военные силы и производили аресты — но и в то время правительства не было. А что следует разуметь под двоевластием? Это не двоевластие, а законный народный контроль, чтобы заставить их считаться с требованиями революционного народа. Я позволю себе напомнить, что когда они становились на ноги, они ждали санкций народа, тогда они в этом видели спасение. Да до сих пор Временное правительство сплошь и рядом обращается к нам с просьбой разделить с ним власть — например, чтобы наши делегаты ехали в Балтийский флот и остановили то, что министерскими приказами остановить невозможно,— так что к двоевластию они даже взывают.

Исчерпано, защитил. А попутно он где-то упомянул династию Романовых — и в не собравшемся в остриё, в недомобилизованном его уме это зацепилось счастливой попутной находкой — да! царя же! царя! — и он потянул за леску:

— ...Эта династия, самая зловредная и пагубная из всех, обладает колоссальными средствами, награбленными у народа, скопленными в заграничных банках, и эта династия после ареста не была лишена своих средств. Мало того, мы получали сведения, что ведутся переговоры с английским правительством, чтобы Николая и его семью отпустить за границу. И когда мы от наших товарищей

железнодорожных служащих получили известие, что по царскосельской дороге движутся два литерных поезда с царской семьёй в Петроград,— мы подозревали, что ему подготовлен путь через Торнео на Англию. Что мы должны были делать? Испугаться призрака двоевластия или принять самые энергичные меры помешать побегу тирана?

Мобилизовали петроградский гарнизон, заняли вокзалы, разослали радиотелеграммы по всей России — арестовать и задержать! («Браво!» Аплодисменты. «Честь и слава вам, товарищи!»)

— ...Лишь впоследствии, из разговоров с Временным правительством, мы узнали, что оно их уже арестовало...

(А можно было — и во всех газетах прочесть, за сутки раньше тревоги.)

— И тогда — (впрочем, тоже на пять дней раньше) — мы сделали Временному правительству заявление, что не из мотивов личной мести и возмездия, заслуженного этими господами, но во имя интересов русской революции признаём необходимым немедленный арест всех без исключения членов бывшей царской фамилии, пока не последует отречение их от капиталов, которые они держат за границей и которых нельзя иначе оттуда достать...

Бурные аплодисменты.

— ...Отречение их всех за себя и за своих потомков навеки от всяких притязаний и лишение их навсегда прав российского гражданства!

Бурные! неистовые аплодисменты! Зал ревёт.

И это была — последняя возвышенная площадка для атаки! для поворота истории всей российской революции! Он снова возжёг раннемартовскую горящую атмосферу! И зал был — в руках докладчика!

Но эту площадку Нахамкис, по дефекту гениальности, разорвал с прежними, он не слил её с контрреволюционным подпольным центром, с мятежной Ставкой и теми генералами, которых надо обезглавливать подряд, подряд.

А между тем — шёл третий час его исторического доклада, и заполночь. И ощутил на шее висящий жернов обязательной резолюции. Никуда ведь дальше не взлететь. И даже бычья шея его стала гнуться. И ослабел голос:

— Временное правительство... интересы либеральной и отчасти демократической буржуазии... пусть, может быть, вполне честное, я допускаю — лично вполне честное... Но парализующая оппозиция тех слоёв, из которых оно вышло... А мы морально и политически обязаны довести революцию до конца... в живой и тесной связи с массами... и постоянно воздействовать на Временное правительство... И черносотенная, и либеральная буржуазия сознают всю важность нашего Совета, он подготовляет такой режим, который не будет улыбаться этим господам...

И — снижаясь, снижаясь:

— Я надеюсь, вы примете резолюцию, которую я имею честь предложить вам от имени Исполнительного Комитета.

«...Признавая, что Временное правительство... проявляет стремление идти по пути, намеченному... настаивая на постоянном воздействии Совета в смысле побуждения его к самой энергичной борьбе с контрреволюционными силами... признаёт политически целесообразной поддержку Временного правительства *постольку, поскольку*... неуклонно к упрочению завоеваний революции...»

Близко к часу ночи еле промямлил Чхеидзе перерыв Совещания до завтра, но члены ИК кинулись в свою комнату и возмущённо, и бешено на Стеклова: как посмел он всё извратить? Сворой мелких стояли вокруг — а тополь-Церетели в рост ему, горели чёрные глаза.

«Как посмел?» — это хоть и не спрашивай, сказано, не воробей. Стеклов устойчиво протестовал: докажите, что́ я нарушил? в чём отошёл от резолюции? Революция — беспощадна, ибо ей приходится спасать высшие ценности человечества, не взирая на лица. А на э т и х из Временного правительства история уже отточила свой топор.

И большевики поддержали его, очень довольные.

И опять выручила безфракционность: никакой фракции он не изменил.

А со следующего утра потекли прения по докладу. Взгорячённых, записалось ораторов больше ста двадцати. Сперва давали по 10 минут, потом уже только по 5, и вовсе обрезали список. Не такие простаки сидели в зале, как можно было думать по шинелям (да среди них немало было и опытных социалистов). Многие сразу заметили и с этого начинали. Доклад товарища Стеклова был *против*

резолюции Исполнительного Комитета, из всей истории отношений с правительством выводы прямо противоположны резолюции, и ни одного слова в её защиту докладчик не сказал. После доклада товарища Стеклова резолюция совсем неудовлетворительна. Докладчик достаточно обрисовал, что представляет собой это правительство, он внёс в наши умы огромную смуту. Приходится поставить в вину Исполнительному Комитету (это иронически), что он выпустил докладчика, который всё время опровергал резолюцию, вместо того чтобы её защищать. (И тут сильные рукоплескания.) Эта резолюция несомненно не имеет никакого отношения к докладу товарища Стеклова, и если бы он задался целью дать резолюцию, противоречащую всему его докладу,— то лучше бы он сделать не мог. (Рукоплескания и тут.) Докладчик может себя поздравить с результатом.

И правда — мог! Его — поняли! Он этого и хотел. А Исполком — с натянутым носом.

Правда, Брамсон выступил с язвами: есть некоторый налёт субъективности в той картине, которая рисовалась тут докладчиком, эти опасения контрреволюции явились, может быть, отражением тех серьёзных душевных потрясений, которые перенесли многие из нас и сам докладчик в первые дни революции. А Пумпянский даже польстил, на какую высокую ступень политической мудрости поднялась русская демократия, имеющая за своей спиной Якутку.

И — два дня — три заседания — катил вал прений по докладу Стеклова (во раскачал!) — и один только Гендельман, московский эсер, резко напал на Стеклова: что это был не деловой анализ, а какой-то фельетон, которым увеселяли собравшихся, для ответственного деятеля недопустимо, разные мелкие факты, товарищ Стеклов сорвал аплодисменты, как не дали увезти Николая Романова за границу втайне, а какая тайна, если за день до того Керенский в Москве заявил, что лично сам повезёт царя в поезде до границы? (И правда, теперь вспоминается. Да столько событий в дни революции, кто это может всё запомнить и увязать?) И непонятна фигура умолчания: почему же не назвать центр контрреволюции, если он известен?.. Но тут же, с таким же запалом, отвечал ему Эльцин: пусть доклад был и фельетонного характера, это неважно, важны факты, которые привёл товарищ Стеклов, а они не были опровергнуты, а выводы мы сделаем и сами,— и странно, что эти выводы не нашли места в резолюции. Буржуазия всегда была, есть и будет лицемерной, обманной, и, кажется, не Церетели поймал Милюкова, а Милюков Церетели на декларации 27 марта.

И правда, показалось Нахамкису (во второй день прений, но это пришлось на 1 апреля...), что он переиграл Исполнительный Комитет! Выступало полтора десятка солдат и провинциалов, и чем примитивнее, тем больше они были взволнованы его докладом. Задача в том, чтобы мы продолжали наше давление на Временное правительство. Никаких соглашений с ним, никаких с ним совместных работ, а только организованное давление! Резолюция, которую нам предложил уважаемый докладчик, конечно не будет принята. Нет, сказать этому правительству: довольно травли трудящихся! Это политические враги, которым мы доверять не можем, и не можем поддерживать резолюции. Считать только себя, нас вот тут, законной властью революционного народа, а Временное правительство — исполнителем временных задач. Мы, армия и рабочий класс, имеем право вершить судьбы России и только временно не мешаем правительству, покуда оно осуществляет нашу собственную программу, которую здесь нам развернул товарищ Стеклов.

Мол, общее впечатление от доклада: что правительство не вызывает доверия, да! мы дышим атмосферой контрреволюции, она организуется за спиной правительства, и само правительство — попуститель контрреволюционных попыток! — аб-со-лют-ное недоверие правительству, вышедшему не из среды революционной демократии!! — аплодисменты! Заметили многие, что Стеклов совпал с большевиками, и пусть!! — но гремели и кроме большевиков, да как! Контрреволюция — это движение против петроградского Совета! Дать ей отпор! Выше и выше поднять революционную волну, чтоб не дать ей снизиться! Наша цель — не поддерживать правительство! Наша резолюция должна быть манифест к народу — а не такая! Если и может стать какая-нибудь задача — то в форме *захвата власти* и установления революционного правительства!

Ещё ли — мало? Чего ещё хотеть докладчику? Да забурлило больше, чем он мог ожидать.

Ещё! Ещё несколько толчков! А вот:

— Товарищи! Пора перестать играть в прятки! Если действительно наше правительство считает себя не самодержавным, а поставленным революционным народом,— оно обязано *сюда явиться!* и дать отчёт всем нам, революционной России!!

Достигнуто? Победа?! Героическо-трагический момент Великой Революции??

И уже председатель ставит на голосование пятисот делегатов в зале:

— Есть предложение призвать сюда, в эту залу, всё правительство в совокупности для дачи объяснений по обсуждаемому вопросу и освещения всей картины деятельности правительства.

И ведь — придут, презренные! Ведь не посмеют не прийти!

Но, из президиума:

— Мы можем призвать правительство каждую минуту. И, если понадобится, мы пойдём в этом отношении и дальше. Но Исполнительный Комитет сейчас не находит необходимым это делать.

Церетелевские оппортунисты захватили Исполком...

По залу — бурные перекрики.

Церетели отвёл удар, размазав перед делегатами ещё новую теорию: будто во Временное правительство входит буржуазия разумная, и вот она пошла на огромную уступку во внешней политике, и охотно работает с Контактной комиссией, а те буржуазные круги, которые пытаются натравить население на Совет рабочих депутатов,— эти неответственные корыстные круги вне правительства. (И даже похвалил, как товарищ Стеклов *прекрасно выявил* эти корыстные круги,— а атаку сбил.)

Да и из фронтовиков вылезали с чумазыми мозгами: один — не видит никакого сдвига Временного правительства вправо, а другой:

— Не надо, товарищи, афишировать давления на правительство и вызов ему. Давить, давить, да и раздавить не трудно. Не надо опьяняться властью. Надо помнить, что мы здесь — не вся Россия, и не вечно длятся времена революции, придёт другое время.

Так — и в прениях раздвоилось.

— Позвольте баллотировать предложение о вызове Временного правительства.

Напряжённое голосование.

Отвергнуто.

Сорвалось. На «явке правительства» — перебрали.

И сорвалось.

Великий момент Российской революции — не сложился.

А заседания — всё рваные, с перерывами, а в перерывах — жужжат и вьются фракции (а Стеклов — опять ни в одной, свободен), то разлетаясь по маленьким комнатам, то собираясь вместе, в давке, бестолочи, и негодуют: «Возмутительный, дезорганизаторский поступок Стеклова! Резолюция теперь опорочена! Теперь неизбежно сдвигать ещё левей!» (А он стоит тушей, выдерживает. А Каменев лукаво улыбается, поглаживает клинышек бородки.)

И — пересоставляли резолюцию. Путали её, удлиняли, разбивали по пунктам, каждая фракция отстаивала какой-нибудь пункт и оттенок (большевики не участвовали),— и постепенно становилось всё строже и неумолимей для правительства — и постоянный политический контроль над ним, и воздействие, и энергичное побуждение к решительным шагам, и, браво, ничего уже не оставалось там ни от правительства, ни от какой его независимости, а зато: всей демократии сплотиться вокруг Советов, и расширять и упрочать завоевания революции, и не принимать на себя ответственность за деятельность этого правительства (и довольный Каменев снял с голосования свою большевицкую резолюцию), но — но *в целом оказывать ему поддержку.* Меньшевики с эсерами всё лучше слаживались и сговаривались, меньшевики для себя тут находили то утешение, что всё же Временное правительство остаётся как оно есть, свергать не надо, и Совету не надо брать на себя ответственность власти, чего очень боялся Дан. (А ещё кто-то впопыхах, незаметно изъял и: что правительство представляет интересы буржуазии.)

Но — кому же эту резолюцию идти читать покорно с кафедры? Да разумеется докладчику.

Резолюцию — что ж, охотно, он в общем выиграл её. Но выиграл — не на ту ступень, какую надо. Переворота — не совершил. Хотя добился бессилия правительства. И несомненно утвердил себя.

И — вышел, здоровенный, и крепким сильным голосом, но без крепости в груди и без огня читал изменённый набор пунктов. А от себя добавил, с последней надеждой на ещё одну вспышку бунта в зале:

— В общем и целом правительство свои обязательства выполняло — под нашим постоянным давлением. А контрреволюционные силы не дремлют, и уже сейчас начинается определённая кампания, грозящая если не лишить русскую демократию всех плодов завоеваний, то ограничить их и обкорнать.

Но победа слишком не полная, и надо успеть шагнуть и в сторону Церетели:

— Хотя при известных условиях может и правительство дать отпор контрреволюционной агитации... Временное правительство стоит левее кадетской партии. Нельзя говорить о его банкротстве или неспособности. Вопрос о замене его более левым демократическим пока не стоит. После этого, я думаю, вы примете единогласно эту резолюцию, которую я имел честь перед вами огласить.

Всё же голоса:

— Да это — ещё новая резолюция! Дайте перерыв!

А Стеклов невесело:

— Это — та же резолюция. Исполнительный Комитет лишь обратил внимание на указания Совещания, и переделал.

Заседания рваные ещё и потому, что 31 вечером — приезд Плеханова, и нужна была торжественная встреча. Заодно когда-то надо было устроить встречу всего петроградского Совета с участниками Совещания, оттуда вожди ИК пошли на вокзал, ночь пропала, на следующее утро продлили Совещание с трёх дней до шести, продолжались прения по докладу Стеклова, а остальной десяток вопросов ещё и не начинали обсуждать.

От приезда Плеханова многие социалисты, Бурцев особенно рьяно, ждали какого-то поворотного революционного чуда: вот приедет Сам! вот рассудит! Он могуче вмешается сейчас в политическую борьбу, веско выскажется по всем жгучим вопросам! Праздник всего Освободительного движения! На Финляндском вокзале собралось тысяч десять, публика — во всю длину платформы, женщины с красными розами, впереди цепью милиционеры с винтовками и солдаты. Команда «на караул», марсельеза,— а из вагона Церетели, Скобелев, Чхеидзе и Бурцев на руках вынесли — маленького измученного старичка, ошеломлённого встречей. В парадных комнатах приободренный и даже сияющий (насколько мог после смерти сына) Чхеидзе приветствовал приезд Отца русской социал-демократии, который внесёт умиротворение в расколовшуюся социал-демократическую семью. И ещё несколько ораторов, всё о том же: что своими знаниями и авторитетом он наконец объединит русскую социал-демократию. А он еле-еле собрал силы ответить, что не сомневается в светлом будущем России, которое вот теперь и наступит,— и понесли его дальше опять на руках, к внешней толпе, в автомобиль и в Народный Дом.

Нахамкис — не поехал за ним туда, не ожидая яркой речи (а не было и никакой). Он уже тут, на вокзале, понял: отработанный старик, совсем не тот, какой ещё 15 лет назад крепился в Швейцарии, и Нахамкис тогда чуть не поклонялся ему. Нет, ничего он уже не даст, ни на что не повлияет.

И это подтвердилось через день, когда привезли его в Белый зал на Совещание, и он, подсобрав силы, произнёс слабым голосом речь. И — что за жалкая речь! Вспоминал Лассаля, и зачем-то Фохта, и даже Дарвина, трусил пылью старины, и про свой литературный талант, и про свою былую боевитость, и как он всё предвидел о русском рабочем классе, и как это всё посеяно Великой Французской революцией... Посеяно-то посеяно, но, мямля эту речь, не представлял Плеханов динамики здешней обстановки, и как она ждёт себе твёрдого направления. Ещё похвастался, что он и есть *социал-патриот*, так и вышло бестактно.

Отстал старик. Обогнала его революция. Уже он не вождь.

Но не покидала Нахамкиса горечь, что и собственный его напор истощается. Не удержался вождём якобинского крыла. А теперь, обозлясь, и вовсе затрут его в ИК.

И оставалось только: напечатать свой доклад в полумиллионных «Известиях» крупным шрифтом, для малограмотных. Пусть работает так. Пусть усваивает Россия.

****

ВИДЕЛ БОГ, ЧТО НЕ ДАЛ КАБАНУ РОГ

****

4

До самой этой войны князь Павел Дмитриевич Долгоруков был убеждённый пацифист, даже председательствовал на мировом пацифистском съезде в Стокгольме. Хотя в десятилетие и вспыхивали войны — то русско-японская, то на Балканах, то итало-турецкая, но они казались судорогами прежней злобной жизни человечества или недоразумениями, вовремя не устранёнными мешкотными дипломатиями,— а так зримо разливалось над землёй торжество Разума, наконец достигнутое блудным человечеством к началу XX века!

Открытие европейской войны потрясло душу князя, как взорвало её прямым попаданием снаряда, наполнило чёрными клубами отчаяния. О, совсем не достигнут тот век Разума, и ещё когда будет! И какие же затаённые силы злобы и коварства открылись в Центральных империях! Теперь князь Павел служил обороне России как мог, рыдал над нашим отступлением Пятнадцатого года, а потом всё более наполнялся всенародным гневом от осиного гнезда мясоедовщины, от распутинщины, от того, что царизм перестал быть оплотом против внешнего врага, не работал для победы, как надо, а может быть, даже лицемерно работал для поражения, даже, может быть, в прямом союзе с Вильгельмом. И в ответ, в торжественном немом договоре всех действенных сил страны, в тревоге за её державное будущее — народилась оздоровляющая, дивно бескровная, национальная революция, расчищая теперь все пути к победе России! Восстали ради общенародного идеала, и революция была подлинным детищем всего народа. Верный признак: раз страна приняла переворот как должное — значит он назрел в глубинах народной жизни.

И добрых две-три недели князь Павел был как переполнен пасхальным звоном изнутри. Так он дожил и до кадетского съезда в конце марта — величайшего торжества партии и всей русской общественности за столетие — и среди других вождей выстраивался на сцене Михайловского театра при воодушевлении всего зала. И Винавер возгласил основную задачу партии: отпор контрреволюционным силам справа.

Но уже и перед тем, оказывается, звучали в столицах сперва незамеченные, а потом всё более разочаровывающие голоса. Стало так объясняться публично, что революция была не порывом к общенародному идеалу, но лишь продолжением революционных усилий столетия, и цель её — освободиться от каких-то «буржуев», демократизировать не только общественный строй, но и все имущественные отношения — до самого малого имения, родового очага, фруктового сада, отъёмной рощицы, лошадей, инвентаря, самой земли, большого завода и мелкой фабрики, и «буржуями» стали клясть и нас, радикально-прогрессивные круги, да всех подряд, кто в котелках и с крахмальными воротничками, мешая мародёров тыла и беззаветных земских деятелей, чёрную сотню — и Милюкова, и даже социалиста Плеханова, и девиц на высоких каблуках. После всего нашего общественного пылания — и получить эту пощёчину «буржуй»?

Да очнитесь, соотечественники! Да неужели же мы мерзавцы своего отечества? Да такое ли время теперь, чтобы мы оттеснили общенародные идеалы классовыми интересами? пассивно бы отнеслись к патриотическому долгу? Да надо же поумерить свои аппетиты! надо же работать для родины!

В пасхальные дни казалось, что примирение всё же наполнило сердца. Святую ночь встретил князь Павел в Кремле, на Соборной площади, во всенародном христосовании. И всю Светлую неделю провёл в Москве. Но нет, успокоение оказалось коротким, а с фронта приходили самые тревожные сведения. А князь Павел был привычный гость фронта, он ещё и на японскую войну ездил уполномоченным дворянской санитарной организации, и на этой бывал не раз уполномоченным от Согора (по глазам освобождённый от воинской

службы, а брат-близнец Пётр служил). И теперь князь Павел получил от думского Комитета делегатскую бумагу для объезда Западного и Юго-Западного фронтов, и после Красной горки в понедельник выехал. (Ещё холодно, в бобровой шубе и шапке.)

В поезде (почему-то отменены спальные места — что, увеличилось население России? или сократились расстояния?) было много военных — офицеры после лечения и солдаты то ли из отпусков, то ли, видно, возвратные дезертиры, неласково принятые у себя в деревнях и вот предпочетшие бродяжничеству оседлый армейский быт с пайком. А навстречу-то им — катили поезда, переполненные разнузданными солдатами,— с пением, гиканьем, насмешками и площадной бранью к тем, кто сумрачно ехал в сторону фронта.

Боже мой, предвестья были самые дурные, хуже, чем достигали слухи в Москву. И как же мог за сорок дней так извратиться народный идеал революции в свою противоположность? Всё-таки всегда было ощущение, что Россия — наш дом. А сейчас всё везде как на проходе.

Сперва князь Павел посетил казачью дивизию Краснова, нисколько не разложенную: казаки строго парадировали, гаркали «здравия желаем», «ура» и качали депутата.

Но ничего подобного дальше ему уже не встречалось. Командиры полков бывали растеряны и своими полками уже не владели. На глазах старых генералов и седых офицеров проступали слёзы. Положение офицеров было ужасное. Иногда князю Павлу советовали вовсе не выступать, но он велел собирать, подымался на пень и начинал: «Христос Воскресе!» Всё же многие сотни глоток отвечали: «Воистину». И с этого князь и вёл, что гул московских пасхальных колоколов ещё стоит в его ушах и он привёз полку не только привет Государственной Думы, но чаяния из сердца России. А там переводил, чтоб не верили ложным призывам: что нельзя вести окопную войну, не двигаясь вперёд. И иногда так трогал речью, что собирали для правительства полные фуражки серебряных рублей и даже Георгиевских крестов (князь всегда изумлялся, как они не жалеют Георгиев?). А то спрашивают: «А как же нам говорят?.. А вот слышно...» — и дальше из социалистических листовок. Или обида: как же так, они служат, воюют, их ранят, убивают — а там землю будут делить? А иногда, особенно если в сумерки и из задних рядов, кричат: «Довольно повоевали! Пора мир и по домам!» — «Хорошо тебе говорить, приехал да и назад, а каково нам вшей кормить в окопах?» — «Да чего его слушать, наступать не будем!» А позовёшь объясниться ближе — никто из задних рядов не идёт,— а офицеры стоят потупившись, и жалко смотреть на них.

Что же: теперь понятие национальной чести — тоже становится «буржуазный предрассудок»? Именно теперь, после переворота, когда мы могли особенно сблизиться с союзниками,— нас отрывают от них?..

И так от одного полка к другому качаются чувства: то — всё пропало, то — ещё можно всё исправить.

А в Елецком полку застал особое положение: полк прогнал своего командира, тот живёт при штабе корпуса, а избран молодой ротный. Командир корпуса очень просил князя поехать образумить полк: если б уладить, чтоб хоть на несколько дней мог вернуться старый командир, самозваного в сторону, а сразу затем назначат нового подходящего. Князь поехал. Самозванец и не появился перед ним, все офицеры мялись, запуганные. Кое-как через старшего по чину созвал именем правительства и Думы не то чтобы полк, а человек 350. Начал беседу христосованием, рассказал про виденную дисциплину казаков, и что надо додержаться до Учредительного Собрания, не нарушая воинский устав,— и ничего о смещении командира. «Могу ли я рассказать правительству, что вы не будете слушать вздорных людей, не нарушите долг? постоите за Россию и свободу?» — «Вестимо постоим». Разошлись. Пошёл князь добиваться, где же самозванец. Еле нашёл, скрывался. Объяснил ему, что приехал без какой-либо власти, доброволец-посредник, обращается как русский человек к русскому, советует явиться к командиру корпуса, а иначе Елецкий полк вовсе расформируют. Тот упрямо: «Если кто и может поддержать в полку дисциплину, то только я».— «Но ведь даже приказ № 1 не даёт права выбирать командиров, это начало разложения, а дальше вас заменит демагог-писарь».— «Не я хотел, меня выбрали». Ни к чему не пришли.

Когда отъехали — шофёр сказал князю: а солдаты думали, что депутат приехал арестовать их выборного командира,— и на беседу имели при себе ручные гранаты, на случай.

* * *

Как теперешний солдат —
Он не хочет воевать.
Стала жизнь свободная,
Война — неугодная.

ДОКУМЕНТЫ — 5

ВОЗЗВАНИЕ К СОЛДАТАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

7 апреля 1917

Солдаты!.. Массовое дезертирство начинает принимать опасный характер... Распространяемые в армии преступные воззвания о предстоящем теперь же переделе земли... Солдаты! Не ослабляйте армии, покидая ее ряды, не верьте слухам. Вопрос о земле будет разрешен только Учредительным Собранием... Ныне оставление рядов армии является отступничеством от начал свободы, так недавно завоеванной.

Военный министр А. Гучков

5

Станкевич сам охотно вызвался готовить доклад об Учредительном Собрании ко Всероссийскому Совещанию Советов. Он много думал об Учредительном Собрании, ещё и раньше.

Да долгими годами — кто из русских интеллигентов не думал о нём, кто не возглашал этого волнующего сочетания слов? В самые мрачные годы царизма всплывало оно перед нами багряным солнечным восходом — началом эры свободы и счастья. Тут довлели нам, конечно, исторические реминисценции — от идеи Руссо об Общественном Договоре — и как Генеральные Штаты в 1789 объявили себя Учредительным Собранием и поклялись не расходиться, пока не выработают конституции. (А наша Государственная Дума, и выборная, не посмела так.) Правда, в толще народа и не понимали, зачем бы оно, но наверх так гипнотически проникло, что вот и Михаил Александрович отрёкся прямо в пользу Учредительного Собрания, которое предполагается непременно.

Ещё никем не созданное. И никогда на Руси не бывалое.

Чем оно займётся? — да, кажется, всем. Оно установит — вообще все российские порядки. Кажется, ни одной стороны жизни не осталось, о которой бы не возлагали надежд на Учредительное Собрание, что решит — Оно. Не только конституцию, не только взаимоотношения народов России, но и все порядки с земельной собственностью, но и все социальные отношения, но и все государственные законы, а между прочим и всякое нынешнее многовластие, и идущую войну, и будущий мир.

Когда оно будет собрано? В первые дни марта и учёные юристы, как Кизеветтер, заявляли: через месяц или два. Значит, к началу мая. Спустя неделю Временное правительство известило Исполнительный Комитет, что предельный срок созыва — середина лета, а ИК считал этот срок слишком отдалённым и торопил. (А больше всех торопили большевики, им-де особенно жаждалось Учредительное: не оттягивать, чтоб не остыли революционные страсти.) А размыслив о трудностях выборов, когда 10—12 миллионов самого активного населения в армии,— так не лучше ли отложить на после войны, тогда выборы можно провести спокойно? — стали поговаривать в правительстве. И вот сейчас, на кадетском съезде, Кокошкин заявил: неправильно предполагать, что можно собрать даже за 4 месяца, то есть в конце июля. Да во время летней страды — какие выборы? кто из крестьян поедет голосовать? — Станкевич тоже думал, что раньше сентября уж теперь никак не получится. И в конце же марта, через месяц после революции, постановило правительство начать созывать пока Особое Совещание по изготовлению проекта Положения о выборах, человек 60—70 лучших юристов и представителей общественности (Исполнительный Комитет ещё и не начал подбирать туда кандидатов от себя), и это Совещание будет не один же месяц вырабатывать, как всё лучше устроить, и будет рассылать консультационные вопросники во все политические и общественные организации: одинаковые ли устанавливать условия для пассивного и активного права? мажоритарная или пропорциональная система? можно ли баллотироваться в нескольких избирательных округах? сколько установить членов Собрания? с какого возраста избира-

тельное право? как быть с цензом оседлости? а как будут избирать военнослужащие — по избирательным округам или воинским частям? а если части — в бою? (А вот уже требуют: не лишать избирательных прав и дезертиров.) И пока это Особое Совещание, само тоже громоздкое, как парламент, всё соберёт и переработает, а потом составление избирательных списков и сроки обжалования их, и сроки для избирательной агитации, чтобы не было упрёка, что воле народной не дали проявиться должным образом,— так и подкатит глубокая осень, а по осенней российской распутице разве поедет деревня голосовать?.. Тогда уж — на зиму?

Жарко желалось Учредительное Собрание, но подумаешь над ним пристально: для России, не знавшей таких выборов никогда, да во время войны, да после революционного расшата, когда не осталось на местах нигде самоуправления,— как же проводить всероссийские выборы, ещё и без местных властей? А прежде избирать местные власти — тоже надо: положение о выборах, избирательные списки, опротестование, агитация?..

В прежних мечтах наших никогда это всё не обдумывалось.

Станкевич эти недели внимательно следил за проблемой. А когда поручили доклад — считал честным не скрыть перед Совещанием Советов всех трудностей. Да, Учредительным Собранием увенчается победное здание революции, это будет в полной форме воплощение принципа народовластия. Это будет акт становления совсем нового государства. Но сейчас для организации выборов у нас даже нет ячеек местной власти. И не следует закрывать глаза: нации России явятся в Собрание не дружной толпой, а со старыми взаимными тяжбами и требованиями, подчас исключающими друг друга. А тут — кипит война. А тут — властный клич из деревни о земле! И — продовольственный кризис. И — транспортная разруха. Любая одна из этих проблем заняла бы всё внимание и силы вполне подготовленного и делового законодательного собрания, не такого, каким будет совсем неопытное наше. А — с какого возраста избиратели? Все сходятся, что не ниже 20 лет, но под ружьём есть и 18-летние — можно ли при подаче голосов разделить товарищей по оружию, идущих равно умирать? А если голосует 18-летний солдат, то как лишить 18-летнего рабочего на руднике? А — как лишить избирательного права беженцев, жертв войны? А как посмотрят на их участие местные жители? (Беженцы требуют и — посылать бюллетень по прежнему местожительству.) Участие женщин — кажется несомненным, это будет наше лучшее завоевание в мире,— а вот демократические голоса указывают, что русская деревенская женщина в своей большей части до сих пор ещё плачет, что нет на престоле Николая Романова. Она и заголосует нас всех. И все деревенские женщины сплошь — под влиянием священства. (Впрочем, если выборы будут в сборных пунктах уезда, то какая женщина бросит избу, детей — и поедет в город голосовать?) Деревня темна, и она может поразить нашу революцию сюрпризом. А как провести всеобщее тайное голосование при массовой неграмотности? Если б мы могли успеть справиться с задачей просвещения тёмных масс — нам не был бы страшен случайный результат голосования. Но с другой стороны, если мы будем откладывать и откладывать, то упадёт революционное настроение. И другая есть опасность: что неграмотная масса будет забита малыми, хорошо организованными группами. (А «Известия» наводят, что и в армии «может не найтись достойных кандидатов», и — дать армии, и каждой местности, право избирать не своих, а приезжих из городов, то есть делегатов подменных.) Вся будущность российской свободы ставится на карту: как мы подготовим эти выборы?

А ещё же — где быть Собранию? Настойчиво выдвигают Москву, выступают деятели, пишут газеты: только первопрестольная Москва, ибо в ней одной чувствуется настоящий пульс русской национальной жизни, она бесконечно дорога русскому сердцу, а у Петрограда — чиновный и интернациональный характер, он в чуждом климате, в стороне от России и её производительных центров, и противостоит ей, никогда не пользовался её доверием, только так и мог развиться Двор, похожий на немецкий, и космополитическая каста бюрократов, мертвящая иноземная мерка на все благие начинания земской России. Но перенести Учредительное из Петрограда — это перестройка всего административного аппарата, масса технических трудностей,— да и не хочет ни одна социалистическая партия.

А пока мы ломаем голову надо всеми этими проблемами и тянем — а жизнь идёт, и что-то надо решать, и вон Временное правительство без всякого Учредительного Собрания утвердило акт о самостоятельности Польши. Немало.

Всё это готовился сказать Станкевич в докладе — но была ещё одна сторона, о которой говорить ли Совещанию Советов и как? — это сами Советы. Везде развалилось местное управление — но почти повсюду возникли Советы (где сомнительно выбранные, а где и — самоназначенные). Советы! — как они будут вести себя при выборах в Учредительное? Ведь не безучастно. По меньшей мере, они будут контролировать выборы — но насколько беспристрастно? А верней всего и агитировать, и активно участвовать? — так они полностью и определят состав Учредительного Собрания. Ведь Советы — это тоже как бы всенародность, и — зачем им вторая всенародность, в виде Учредительного? Одна всенародность — отменяет другую. Но пока Учредительное соберётся отменить Советы — у этих уже кадры, они вовладались, у них навыки властно распоряжаться,— неужели они теперь упразднятся?

И к чему тогда весь доклад?

Что-нибудь об этом Станкевич решил намекнуть. Предупреждающе для умных.

Но — так потекло Совещание, что скомкался и уже на хвосте, без значения и последствий проскользнул его доклад: не оставалось уже времени, ни тем более на прения, проскочило это Учредительное Собрание как курьерский мимоходный поезд, мало кем и разгляженный, а при голосовании подготовленной резолюции уже не было и половины Совещания — разъехались на Пасху. (В тот же день вылез Громан предлагать ни много ни мало как государственное регулирование всего народного хозяйства,— Чхеидзе не допустил не только прений, но даже выступить по мотивам голосования, немедленно принять — и всё.) Ещё десятку вопросов не досталось и столько. Топор-Богданов отрубал прения, возражения, несогласия — читал в готовом виде десяток неосуществимых сейчас рабочих законов как «минимум наших пожеланий», всё прогонял без поправок и «единогласно», но с большой страстью обсуждали внутрисоветское представительство, сколько куда от кого выбирать депутатов, и не упустили постановить, что Советы должны существовать на средства от государства.

А скомкали всё потому, что Совещание было размахнуто без расчёта и проведено без разума. Никогда не начинали в назначенный час, а на полтора позже, и зал сидел без дела и кричал: «Просим начинать!» Церетели выходил извиняться: президиум задержался потому, что принимал ряд депутаций, или расследовали погромный инцидент, или один член президиума, срочно вызванный по делу в город, по рассеянности унёс с собой список записавшихся ораторов. (Станкевичу стыдно было за ИК.) Первый день заседаний чуть не весь ушёл на приветствия и на провожденье гроба Стасика Чхеидзе на вокзал, в Батум. Часа два то ждали Бабушку, то слушали её искренно благостное: «Все мы дети одного народа, зачем стали ссориться? Все партии теперь должны слиться». Потом же ещё — Вера Засулич, и её отдельно. А то — набилось в зал без всяких делегатских билетов, и Чхеидзе долго жалобно *апеллирует к их политической совести,* оставить зал. И ещё один вечер полностью убили на приветствия. Собрали людей из дальних мест — и растянули на неделю, наворотили невозможное число вопросов и секций, и никто ничего не разбирал. (Хорошая репетиция к Учредительному.)

А между тем: как много можно было тут понаблюдать и поучиться, проверить политику. Это и был — народ, разбуженный революцией, вот он, пришёл! Меньше рабочих, гораздо больше военных, весь думский зал — защитного цвета, и на хорах битком набито солдатами. И лица — хорошие, бравые, не подлые, не затаённые. Конечно — говорить не умеют, у большинства мысли расплываются, это скорее — чувства, и не чёткие, и не уложенные во фразы. А то — выскочит маленький солдат с громовым голосом и рубит тоном приказа, без колебаний. И слушают его внимательно.

Но в президиуме сидят — только штатские, десять партийных вождей. На трибуну то и дело выскакивают вовсе не простецкие, а уже знающие пропаганду назубок. Да даже одни и те же выступают и по второму разу, и по третьему, особенно от партий, Пумпянский ли, сумевший себя выдать делегатом от Читы (по телеграфу, что ли, его избрали), то от Москвы большевик Ногин да эсер Гендельман, и непременно каждый выпечатывает: «мы, представители рабочего класса». А простаков отрезают от прений десятками, большинство делегатов немы, только мычат да аплодируют, а ход резолюций им не подвластен, их согласуют фракции партийные закулисно.

Так вот так — и ведётся всякое народное движение? Вот это и есть народный форум?..

О войне — всё же было две дюжины ораторов, два заседания, Станкевич напряжённо следил. Тут звучали очень чистые голоса фронтовиков: «Отечество в опасности» — это не фраза, это крик больной души и отчаяния. Опасность революции не в монахах Почаевской лавры, а в военном разгроме. Наши солдаты требуют определённого: война продолжается, как быть? что делать теперь? И что значит — защита страны? — объяснить, что это не есть простая защита окопа. Вот люди уже отказываются ходить в разведку.

А в докладе Церетели, по социал-демократической осмотрительности, конечно было смазано: что же значит «продолжать защищаться»? А в содокладе Каменева от большевиков вовсе было смазано, что и защищаться надо,— а только призывать Европу ко всеобщему миру, ещё настойчивей, чем Церетели, и всё благополучно кончится мировой революцией. И за большевиков многие говорили, из Кронштадта особенно резко: декларация Временного правительства 27 марта выпущена сквозь зубы, неясная и смутная, не верить, зорко смотреть, не доверяться, как нас убаюкивает либеральная буржуазия. Революция — не закончена, и впереди главная борьба на внутреннем фронте.

Им в ответ фронтовые голоса: большевики не представляют положения дел в окопах, золотой сон о братстве народов. Нам чужих земель не нужно, но и свою не допустим отдать, все ляжем на поле брани, отразим немца грудью! (И бурные аплодисменты зала.) От Особой армии: стоять до честного мира! Почему немедленное заключение мира поднимается со стороны тыла, а не фронта? Надо ещё подумать, что нам выгоднее, может быть — продолжать страдать в окопах? От 12-й армии: мы привыкли умирать и будем умирать теперь за новые идеалы. Отрицая войну, нам остаётся её продолжать, будем теперь убивать и умирать за торжество Интернационала.

Большевик: зачем войну продолжать? мы что — на службе у англо-французской буржуазии? С места: а у кого на службе большевики? вон! долой! — и Скобелев едва

успокаивает собрание. Конечно, бормочет следующий большевик, мы будем защищаться, пока вы скажете нам, но лучше бы кончить войну поскорей.

Не удержался, пошёл в прения и Станкевич. Здесь, при стольких солдатах, нельзя выразиться так ясно, как он отвечал Церетели на ИК, что всякая постановка в армии вопроса о мире — вредна, но поддержать же крепких: мы страстно хотим мира, но не допустим позора! А если в ответ на протянутую руку о мире — мы встретим смертельный удар? Гинденбург высказал, что наша революция — проявление слабости нервов,— опровергнем это стойким сопротивлением.

Уловки, хитрости большевиков очень заметны были: при их тут малочисленности им мало было занять третью часть прений, но проигрывая резолюцию, они перенесли усилия на её поправки, один Ногин выступал с тремя подряд и до того разозлил зал, что кричали: «Вон его! Довольно большевиков! Надоели!» И все их поправки были отвергнуты.

Но штатский президиум, все эти «представители рабочего класса» без единого рабочего, и Церетели первый средь них, боялись и всяких других поправок, о возможности и наступать,— а всю резолюцию провели чохом, в их заранее подготовленном виде.

Так наблюдал Станкевич «разлив демократии» и как ведут массу.

После доклада ломовитого Стеклова почти каждый из двух десятков выступавших советовал. Одни — что надо, пока не поздно, вождям Совета самим идти в министры; в эту острую минуту твёрдые руки вождей русского пролетариата должны быть у руля, как и западные социалисты входят повсюду в правительство. Не ждать, пока над родиной будет громовый удар. Если правительство шатается, падает,— то чему поможет контролировать, да ещё *давить*? — надо устроить самим такое правительство, которое не шаталось бы, не падало и внушало доверие.

Станкевич и от начала сам так думал, он был — за коалицию. Вот и в массе простых людей зрело это простое хозяйственное сознание, обгоняя социалистических вождей, запутанных в нитях своей догматики и не готовых к решению: что медвежью услугу окажем стране, если будем не доверять правительству, рабочий знай своё дело, солдат своё, а министр своё. Не надо стараться захватывать всё, что только можешь захватить, не имеем права быть законодателями для всей России.

Но нахватанные, натасканные дудели дружно: коалиционное министерство (так и выговаривали, знали) — это не решение задачи, рабочий класс не может взвалить на себя ответственную власть; мы своих вождей не должны посылать в министерство творить буржуазное дело, служить ширмой для буржуазии. Коалиционное министерство есть понижение революционности, гребня революционной волны, на которой мы стоим.

Но — покинули коалицию, когда-нибудь потом. Все страсти вились вокруг доклада Стеклова. Правда, громить Временное правительство — это была уже не новость: на многих заводах и во многих воинских частях его поносили последними словами социалистические агитаторы, и фронтовые гудящие солдатские митинги уже приучены были обсуждать: доверять или не доверять правительству. Но Стеклов в докладе далеко перешёл эти границы: он дразнил зал как быка красным, он прямо кидал в зал огонь, что Временное правительство контрреволюционно, а Гучкова назвал *тёмной силой,* как недавно обзывали только распутинский кружок,— и солдатская доверчивость впитывала такое о своём военном министре.

Нет, окоротить его! Один выход — окоротить. А для того всего верней вышибить из-под него «Известия».

Об «Известиях» много было что сказать, да это и каждому видно, если б кто из советских собрался повнимательней и потрезвей посмотреть свой собственный орган. Газета, по сути, никем не *ведётся,* этою работой себя товарищ Стеклов не нагружает. Никакой системы, никакого своего поиска материалов, а печатается месиво из того, что случайно притекло. Нельзя понять, что делается вообще в России, почти совсем нет общероссийских событий, а уж международных и не спрашивай, читать просто нечего. И среди этой скудости вдруг большая статья «Задачи социального законодательства в Финляндии»,— с чего? Или на полторы страницы какой-то митинг в Лондоне — и никогда больше об этой Англии ни слова. Или вдруг анонимный учитель — с детальной критикой нового состава совета министерства просвещения,— и ни слова больше никогда ни о просвещении, ни о других министерствах. Никакой градации важных и неважных сообщений. Рядом может стоять: из захолустной провинции, из Стокгольма, и опять из провинции. Какая-нибудь важная телеграмма вдруг печатается с опозданием в три недели. Но сказать, чтоб отражалась жизнь самого Совета рабочих депутатов — так тоже нет, и этого не узнаешь: если раз в две недели напечатает отчёт о каком заседании, так ещё с опозданием в пять дней (обо всех заседаниях Совета гораздо раньше и подробней прочтёшь в буржуазных газетах). Один раз в месяц — вдруг протокол ИК, и тоже на 5 дней позже. 23 марта под давлением общества постановил ИК опубликовать всё-таки свой состав, не известный никому в России,— так товарищ Стеклов это дело самовольно оттянул ещё на 6 дней (и почти все раскрыли свои псевдонимы — но не он, он так и записался Стекловым). Из чего же состоит газета? Из скучнейшего нечитаемого набора однообразных воззваний, приветствий, резолюций, протоколов полковых заседаний, докладов о деятельности солдатских комитетов, подробных программ мелких профсоюзов, объявлений мелких организаций, партий, групп о самых мелких делах, затем — благодар-

ности, извещения, «к сведению»,— просто печатают всё подряд, что пришлют серяки, а в самой редакции никто не работает. Вдруг из номера в номер, а то и в одном и том же, повторяется один и тот же, буквально, материал. Заголовок «На областной конференции» — и так до конца непонятно, какой области и какой партии. Отрывочные сообщения-ребусы: в Одессе осуждают поведение думца Тулякова в Николаеве,— какое? за что? как грязная сплетня. Искажения даже в материалах Совещания Советов. Потеря и путаница строчек. Грубейшие опечатки: последняя декларация Временного правительства приписана на месяц раньше, к 27 февраля, или: «12-я армия успешно организуется как контрреволюционная сила» — бред какой-то. А ведь по «Известиям» вся Россия судит о Петроградском Совете, этой своей необычной, странной новой власти,— и что же выводят? Позорное лицо. А между всей этой серостью время от времени как крупные нашлёпы — погромные статьи самого Нахамкиса, всегда без подписи, но всегда легко идентифицируемые,— тяжёлая лапа, безапелляционно грубые выражения.

Станкевич был уверен, что сокрушит Нахамкиса на Исполкоме, уж слишком всё явно. Ему обещали, что выслушают на первом же заседании ИК после Пасхи, 4 апреля. Но на это заседание внезапно явился скандально приехавший накануне Ленин, привёл с собой выводок — Зурабова, Зиновьева с бабьим голосом и постоянного тут Шляпникова, и все они стали выступать один за другим по внеочередному вопросу: о положении швейцарских эмигрантов. (Они выступали, а лысый, хитрый, очень неприятный Ленин сидел позади у стенки и молчал, как бы нитки невидимые водил.) А Зурабов и Зиновьев говорили даже не от себя, и даже вовсе якобы не для обеления большевицкого вождя и собственного проезда через Германию — но от «швейцарских товарищей-интернационалистов»: это именно они просят, чтоб Исполнительный Комитет давил на Временное правительство, чтобы то вступило в переговоры с германским правительством о пропуске всех оставшихся политических через Германию в обмен на немецких военнопленных из России.

Просьба была — неожиданна и ошеломительна. «Давить на Временное правительство» Исполнительный Комитет и привык и готов был в любую минуту. Но — давить, чтобы вступать в прямые переговоры с Вильгельмом?? Это было — дико, сразу видно, но и что возразить духу интернационализма? При прежнем руководстве Исполком бы растерялся, как и сейчас растерялись Чхеидзе и Скобелев, а Нахамкис сидел крупно в стороне и довольно разглаживал бороду. И Гиммер не выскакивал ни с какой свежей идеей. А Станкевич хотя и возмутился, но не числил за собой права на первый ответ, да и не выдержал бы настолько интернационального тона, мог бы испортить. И спасло дело то, что был теперь тут Церетели, так быстро вошедший в авторитет и руководство. И нельзя сказать, чтоб он был отточенно умён или владел бы отточенно речью,— ни то, ни другое,— а вот какая-то верная у него была душа, чутьё. Он быстро всё ощутил и первый ответил, и умело повернул: против Исполнительного Комитета и так уже ведётся тёмная агитация, а если мы примем такую резолюцию — её выгодно используют против нас. Пойдут толки, что мы — в союзе с Вильгельмом и Германия транспортирует к нам революционеров в своих целях. (Косвенно он так и Ленина осадил.) Давайте примем другую резолюцию: обратим внимание Временного правительства, что нашим товарищам затруднительно ехать из Швейцарии, и пусть оно само ищет способа их возвращения. Косоглазый Ленин ещё перекосился, а за Церетели осмелел и Богданов, прямо вскрывая ленинский замысел: против Ленина уже начат буржуазный поход за проезд через Германию, свяжут и нас с ним. Пусть заботится правительство, как эмигрантам ехать через Францию—Англию, а мы — тех, кто самочинно едет через Германию, должны осудить!

Тут Ленин не выдержал закулисной роли, вскочил сам и резким, злым, нечистым голосом стал оправдываться, что никаких обязательств Германии они не давали, проект проезда предложил товарищ Мартов, а все переговоры вёл товарищ Платтен, и политические цели германского правительства не имеют ничего общего с задачами, которым служат русские революционеры. А вот Исполнительный Комитет и сам даёт пищу для инсинуации и клеветы,— а чтобы пресечь буржуазную ложь, надо именно принять резолюцию, предложенную товарищем Зиновьевым.

Ну да, взять на себя резолюцию и обелить ленинцев.

А на Исполнительном Комитете ещё же сидели солдаты, несколько человек. И один из них ото всех тут же и вылепил, что они — против проезда через Германию и против такой резолюции.

И как большевики ещё ни настаивали — резолюция их не выиграла. Хотя согласился ИК все их мотивы объяснить в «Известиях». То есть, вообще-то, проявили слабость, переезд не осудили.

Затянулось заседание, и отложили доклад Станкевича на следующий день. А на следующий день утром в очередных «Известиях» можно было прочесть не только пространную оправдательную (и анонимную) статью большевиков «Как мы доехали», но ещё и исключительно сочувственную, явно самого Нахамкиса, статью о ленинском приезде. (Такой теплоты «Известия» ещё ни к кому не проявляли.) И Станкевич так понял, что, уже терпя потеснение в ИК, Нахамкис искал себе союзников в большевиках. Да уже и раньше из выступлений на Совещании Советов он печатал крупно, отдельно только Каменева. А в этот день четыре страницы из восьми отвёл своему погромному докладу против правительства. Ещё решительней пошёл Станкевич на новое заседание, 5 апреля.

Но и в новом заседании начали не с «Известий», а с отчёта Контактной комиссии. А после бури с докладом Стеклова против Временного правительства — не было сейчас в ИК напряжённей вопроса, чем отношения с правительством. И кто же делал тут снова доклад? — опять же товарищ Стеклов. И он, кажется, вышел — выиграть теперь тот бой, проигранный им на Совещании. Накануне вечером встреча в Мариинском дворце была очень напряжённая. ИК предъявил министрам и своё недовольство, почему назначен Верховным Алексеев без уведомления ИК? И почему так медленно идёт гучковская чистка командного состава? И о двусмысленных телеграммах, напечатанных в газетах, которые косвенно поощряют слухи против Совета, так вот условия ИК: печатно опровергнуть от имени правительства; и произвести следствие — раскрыть источники слухов; и принять меры, чтобы такие слухи и заметки не появлялись впредь; и допустить комиссара Исполнительного Комитета для контроля телеграмм, исходящих из Ставки. (Министры ни по одному условию не ответили определённо, лишь признавали те телеграммы бестактностью, но уверяли, что правительство тут ни при чём. Встречно же они добивались узнать, как относится ИК к ленинскому проезду через Германию, ИК отказался разговаривать на эту тему, а Милюков непримиримо заявлял, что действия Платтена враждебны русскому государству.) И если к этому добавить, что в Петрограде Корнилов продолжает приводить войска к присяге, чем ставит в невыносимое положение революционные части, отказавшиеся от присяги; и, хуже всего: что правительство, прежде тянувшее, теперь окончательно отказалось выплатить 10 миллионов на нужды Совета,— отношения стали невозможными и требуют решительных мер!

Сегодня на ИК остро выскочил Гиммер: что отношения неблагополучны, да, но ИК только регистрирует в пустой след самоуправства правительства и склоняется перед фактами. На их отказы в наших просьбах мы не реагируем энергично. Вот с Платтеном — недопустимый прецедент! — надо всем нашим авторитетом добиться его пропуска со шведской границы в Россию. Надо вообще взорвать гласностью всю ситуацию, надо протоколировать каждый шаг контактов с правительством!

Разумный Церетели возразил, что у него — иное впечатление, правительство очень во многом идёт навстречу, обмен эмигрантов на военнопленных не принят и самим ИК, и нет оснований взрывать ситуацию. В менее официальном порядке достигнешь большего.

Большевики и межрайонец Кротовский требовали — разрывать и взрывать, кончать с теорией «бережения правительства»! И особенно настаивать на пропуске Платтена в Петроград. Прошёл момент, когда мы должны были поддерживать правительство! Оно нас всё более игнорирует. Публично отказать ему в поддержке!

Три дня назад на Совещании сами же провели резолюцию о поддержке, и вот уже выстраивался целый ряд (а во главе опять с Нахамкисом): атаковать правительство и валить. Рядовое заседание ИК грозило стать ключевым моментом всей революции. И Станкевич, позабыв свою задачу с «Известиями», уже хотел вмешаться на защиту Церетели — как ловко выступил Богданов. Он указал, что ИК ослабил себя сам тем, что даёт бой и терпит поражение на самых невыгодных вопросах. Когда часть армии уже присягнула — глупо и проигрышно было поднимать вопрос об отмене присяги. И глупо и проигрышно лезть в петлю об обмене и о Платтене, следовать за ленинской группой, которая не посчиталась с интересами российской революции, а только со своими желаниями. И совер-

шенно глупо устраивать публичность из того, что нам не дают государственных 10 миллионов,— мы не найдём поддержки общественного мнения.

Церетели выразил, что на этом и кончится обсуждение, что всё ведь только что решено на Всероссийском Совещании,— но нет, к чёрту то Совещание и всякий порядок, началась почти свалка (видно, у большевиков с Нахамкисом было сговорено — сегодня опрокинуть), большевики настаивали, но даже и умеренные Брамсон, Дан потеряли голову от ускользающего блеска этих 10 миллионов, а Красиков снова кричал, чтобы Контактная комиссия вела переговоры под протокол и министры бы подписывали каждый протокол (совсем уже превратить министров в пешек!). Но даже и Нахамкис очнулся ему в возражение, что тогда министры станут слишком осторожны в переговорах, невыгодно для нас же, а Гиммер язвительно развивал идею протоколов, даже присяжных протоколистов — нотариуса с двумя писцами. Кричали, спорили с разных сторон — и Чхеидзе не только потерял управление заседанием, но собственную ослабевшую старую голову, неделю назад похоронившую сына, потерял от гвалта и закруженно предложил: вообще отменить Контактную комиссию и вообще не встречаться больше никому с правительством, а встречаться с ним только в письменной форме... Заседание ошеломилось, смолкло. Брамсон очнулся из первых: это лишает нас всех выгод непосредственных встреч! хорошо, пусть не надо протоколов, но члены Контактной комиссии чтобы вели записи скрытно от министров. (На коленях под столом, что ли?)

И предложение Красикова провалили, но с ничтожным перевесом, а брамсоновское приняли.

И так все чуть ли не лежали вповалку, когда дошло до доклада Станкевича об «Известиях». За время свалки у него уже мелькало, что опять неудачно, упущено, будет некстати. Но тут он встал — и со своим отличным самообладанием и холодной насмешкой вывалял дебёлого Нахамкиса всеми боками, не раз вызвав дружный смех уставших исполкомовцев. А смех-то больше всего и убивает. Нахамкис, зарвавшись против правительства,— с этой стороны не ожидал, и в такой форме. Вызванные редактора «Известий» стали от Нахамкиса отрекаться и проговариваться, какой же царит в редакции ералаш. Церетели — поддержал Станкевича. Нахамкис оправдывался обескураженно, бессвязно, ещё хуже себя выставил.

Назначили комиссию, Станкевич — Дан — Гиммер, расследовать редакцию и реорганизовать. (Добить! — наметил Станкевич.)

Но был и смешной момент. Помахивая сегодняшним номером «Известий», Станкевич высмеял, что редакция зовёт: найти и выловить авторов анонимных листков, когда сами на каждом шагу анонимны. Но по Исполнительному Комитету прошло недоумение: а разве неправильно?

— Странно сказать,— вслух подумал кто-то,— а нам таки нужна и своя контрразведка.

ДОКУМЕНТЫ — 6

7 апреля 1917

ПРИКАЗ

...Различными местными исполнительными комитетами арестовываются офицеры, и их места замещаются другими лицами без ведома и без согласия высших начальников... Я не могу допустить самоуправных действий. Предлагаю вопрос о всех справедливых претензиях к начальствующим лицам доводить до сведения старших начальников, чтобы тщательное и всестороннее расследование установило степень виновности каждого данного лица.

Военный и морской министр А. Гучков

6

Первородный грех нашей революции — крестьянский строй в России. Из-за этого — у нас мало социалистических сил, и когда население, стряхнувшее кандалы царизма, было спрыснуто живой водой революции и могло бы развернуть чудеса самодеятельности — то и в провинции и в армии инициативу

захватывали злобно-буржуазные элементы. Разве мужику в серой шинели доступно понять пролетарские требования, например 8-часового дня? — такой нормы нет ни на фронте, ни в деревне. И во второй половине марта на почве шкурных интересов натравлены были солдаты на рабочих: что те не желают работать и игнорируют интересы фронта. Это была крайняя опасность для революции, когда военные делегации повалили проверять работу на заводах! — крепость революции сама стала под удар крестьянской стихии. И надо было с величайшей тактичностью преодолеть чернозёмный атавизм и стихийно-примитивный, но объективно-необходимый шовинизм этой нечленораздельной массы и взяться за прямое дело социалистического просвещения, вырвать вооружённого мужика из-под вековой власти буржуазии и пронизать его ослепительными лучами революционной гордости. Да в самом Совете большинство было мужицко-обывательское, мужицко-оппортунистическое. И началась — атака всех социалистических партий на мужицко-солдатские мозги, через газеты, листки, посылку делегаций на фронт, митинги и тщательную проработку революционной конъюнктуры в самом Таврическом — со всеми приезжающими (а их приезжало всё больше) военными делегациями: захватить поддержку бессловесных масс. И надо сказать, что в марте Исполнительный Комитет воплотил в себе эту волю пролетарской демократии: если и не всех просветил-убедил, то своим авторитетом заставил следовать за собой. Солдаты были примирены с рабочими требованиями, опасная битва за армию — выиграна. Армия оказалась в руках Совета, и теперь уже никакие шакалы реакции и патриоты по найму, никакие Тьеры и Кавеньяки не задушат российскую демократию! К концу марта силы революции достигли своей высшей точки — всё в руках Совета.

И Гиммер торжествовал, едва ли не более всех! Дело Февраля и весь мартовский путь он считал почти своим собственным творением (хотя со стороны никто этого не заметил и не понял) — и потому-то он был так настороже ревнив и ответствен к неверному направлению событий, всё время черпая ему исправления из лаборатории своей политико-социалистической мысли.

А чья ж это была февральская идея, органически неосознанно усвоенная Советом: мы пока уступаем буржуазии власть, даже заставляем их взять её,— но при жёстком над ними контроле создаём себе условия для будущей победы. И вот за март мы с лозунгами Циммервальда завоевали и действующую и тыловую армию — и теперь вся сила в наших руках, мы — в победном положении!

Однако: сумеет ли Совет эту победоносность использовать, вот вопрос.

Лозунг «революция продолжается!» — для Временного правительства непереносим. Тысячу раз презренные злостные лицемеры буржуазии, все слуги толстой сумы и бульвара, теперь кинулись проповедовать бургфриден внутри страны и защиту отечества снаружи,— а что есть эта «оборона отечества», если не гнусное удушение революции? Под флагом защиты отечества или даже «защиты революции» проступает знакомая нам классическая идеология империализма. Ведь буржуазия не способна открыто, честно бороться идейным оружием: в открытой борьбе она всегда проиграет. И вот она выдвигает — защиту отечества и революции, и конечно «освобождение Бельгии, Сербии, Армении, Курляндии и Польши» — вовсе даже не обязательное для окончания войны, но под этим предлогом подчинить себе армию, вырвать её у Совета ради диктатуры капитала и между тем оплевать своего классового врага. Для того и бьют они в алармистский патриотический набат, в нём большая буржуазная пресса наступает как тёмная туча, и в этой нехитрой механике загоняют революцию в прокрустово ложе буржуазной диктатуры.

И что изумительно, обнаружил Гиммер: сами эти интеллигентские межеумки или даже их интеллектуальные светила, как Милюков, могут субъективно этого и не понимать! На днях был случай: в перерыве заседаний Контактной комиссии сказал Гиммер Милюкову: «Революция развернулась так широко, как хотели мы и не хотели вы. Закрепить политическую диктатуру капитала вам не удалось. У вас — нет реальной силы против демократии, и армия к вам не пойдёт». А Милюков с совершенно искренней печалью на лице возразил: «Да разве можно так ставить вопрос! Армия должна не идти *к нам*, а сражаться на фронте. Неужели же вы в самом деле думаете, что мы ведём какую-то буржуазную классовую политику? Мы просто стараемся, чтобы всё не расползлось окончательно». И Гиммер был поражён: вот так номер, Милюков, кажется искренно, не знает, что ведёт классовую политику! — и это глава русского империализма, вдохно-

витель мировой войны! Как же коварно состроены устои капитализма, что даже его правящие лица могут не сознавать, что они — части механизма эксплуатации!

Но малейший признак саботажа революционных решений ослабил бы революцию. И даже частичные уступки в вопросе о мире или о земле повели бы к беспощадной диктатуре капитала. Вот почему вся конъюнктура выдвигала на передний план демократическую внешнюю политику, это важнейший фронт столкновения демократии с империалистической буржуазией: если революция не кончит войны, то война задушит революцию.

Вот почему не утихала тревога Гиммера от самого 14 марта, от опубликования его детища — Манифеста. Уже тогда сразу он резко выговаривал Чхеидзе (и тот не находился ответить) за его незаконные оборонческие комментарии с трибуны Морского корпуса: «не выпустим винтовки, защитим свободу до последней капли крови». И Совет не подхватил конкретных лозунгов мирной агитации, не издал о том обязательной для всей России директивы, но сползал на то же неоформленное чхеидзевское оборончество. А это и была капитуляция демократии на милость классовых врагов.

В тревоге иногда хаживал Гиммер вместе с любителем того Соколовым на ежедневную обработку военных делегаций в Таврическом: соприкоснуться с солдатчиной, обычно колеблющейся массой, ещё равно расположенной, но и подозрительной и к правительству и к Совету, её можно было склонить и туда и сюда, состав преимущественно плебейский, идейный багаж самый ничтожный. (Впрочем, некоторые военные делегации явно были подстроены буржуазией, так гладко они выступали, и всё за войну и против «двоевластия»; и пугали «анархией».) И разъясняли им тут, что «война до конца» — это империализм, а призывы к единовластию — это попытка ущемить Совет, и уходили они совсем другими, чем приходили, и уносили готовые резолюции для митингов в своих частях. (Но, конечно, приходилось научным социалистам и выслушивать с застывшей улыбкой возражения какого-нибудь краснолицего курносого парня, стриженного в кружок, недурную модель для русского Иванушки-дурачка.)

Нет, дремать нельзя! И Гиммер решил будировать этот вопрос в ИК. Для того собрал подписи циммервальдистов-интернационалистов, членов ИК, и внёс на ИК проект: открыть по всей России интенсивную всенародную кампанию в пользу мира, и защищал на ИК, что такая кампания не сопряжена ни с малейшим риском ослабления фронта, напротив, спаяет солдатские массы, если наши мирные предложения никем не будут приняты: только тогда армия и удостоверится, что она проливает кровь действительно за революцию и свободу. Но — не может быть, чтобы наших предложений не приняли: германский пролетариат несомненно поддержит их!

Но — всё провалил приехавший Церетели, навек открывая свою мелкобуржуазную сущность,— а ведь считался до того дня авторитетным циммервальдистом. Все на ИК были просто ошеломлены: таких резких выступлений в поддержку войны тут ещё не бывало, даже враги Циммервальда невольно приспособлялись к его ветру. И это был если не поворотный пункт в истории Совета, то грозный предупреждающий гонг: что расслоение демократии на пролетарскую и мелкобуржуазную есть закономерный объективный неизбежный процесс, и он очевидно не минует и Исполнительный Комитет.

С тех пор дело мира было изъято из плоскости массовой борьбы и передано в плоскость келейного соглашения: Церетели с почётом взяли в Контактную комиссию. И там родилась известная декларация 27 марта. Но где же тут достижение? Как будто не ясно, что никакая буржуазная бумажка не имеет ценности, а реальные уступки надо вырывать не мирным соглашением, а давлением масс. Так можно извратить и уничтожить все основы интернациональной политики Совета и погубить великий Манифест 14 марта.

Можно было бы поправить дело на Совещании Советов, если бы дать боевую классовую резолюцию о войне, и Гиммер с Лурье добились попасть в комиссию по составлению той резолюции,— но уж как завёлся в рабочем движении оппортунистический поссибилизм — его легко не вырежешь. При поддержке безвольного Чхеидзе Церетели и здесь овладел положением, и Совещание объявило своё одобрение акту 27 марта. Но всё же вставили в ту резолюцию не «защиту отечества», а «защиту революции».

Гиммер сидел на Совещании в правительственной ложе, и беспокоило его глаз обилие военных делегатов, с особой неприязнью он наблюдал прапорщи-

ков — и явно же переодетых кадетских адвокатов, а каждый нагло говорил «от имени такой-то армии» или «корпуса». Президиум избрали без поправок, в том составе, как его наметил ИК, с попартийным представительством. А в нём, конечно, выдавался стройный волоокий Церетели, всегда хорошо слушаемый оратор. У него были вид и повадка безусловно благородные, при гневе его прекрасный голос звенел, а на лбу вздувалась синяя жила, с кавказским темпераментом он бесстрашно скакал во все пропасти. Конечно, это был замечательный вожак человеческого стада, но как политический мыслитель — маленький, одержимый утопической примитивной идеей. У этого столь известного социал-демократа не было настоящего пролетарского пьедестала, и это сказывалось на каждом шагу.

Возмущённые яростным докладом Стеклова, правые в ИК в час ночи собрались назначить противоположного содокладчика — и на кого же нахомутать? — на Гиммера! Гиммер — отбивался, он революционер, а не соглашатель! (Он сам нисколько не был против угроз, которые Стеклов раздарил буржуазии: не только надо было угрожать, но и действовать!) Однако весь ИК рассчитывал на Гиммера как на теоретика и писателя, и пришлось на следующее утро представить в ИК тезисы: Временное правительство — классовый орган буржуазии, а Совет — классовый орган демократии, и между ними неизбежна непримиримая классовая борьба, но форма этой борьбы пока может быть и не свержение, а — давление, контроль и мобилизация сил. И очень одобрил эти тезисы Каменев, но летучее заседание ИК и первый Церетели решительно отвергли, и так спасся Гиммер от содоклада.

Гиммеру же как известному экономисту-аграрнику поручили доклад по земельному вопросу и погнали его в земельную секцию, а там сидели одни солдаты, тупорылые землееды, и вырабатывали «закон о земле», даже понятия не имея о земельной ренте, не стал Гиммер с этими дураками и спорить. Да испытывал он до странности сильную неприязнь к этому мужицкому делу. Да не нужен был ему и доклад (к счастью, удалось спихнуть его Церетели), и вообще не получались у него общественные выступления, а его излюбленный приём был — агитация по кулуарам, поодиночке, и так он готовил сторонников перед обсуждением и голосованием.

И в такой вот напряжённой борьбе, неразличимо ночь от дня, протёк и весь март, и советское Совещание на переломе к апрелю, обедал где попало, а ночевал чаще тут, на Песках, у своего революционного дружка Никитского, к себе на Карповку в заполуночное время не добраться. И как-то ночью совсем замученных Чхеидзе, Дана и Гиммера развозил по квартирам автомобиль — и вдруг все разом увидели, и все трое испугались: шла большая ночная толпа, и у всех зажжённые свечи, и все поют! Что ещё за демонстрация? — ИК не назначал её и не был информирован, чего они хотят?? А шофёр сказал: да Пасха завтра. Ах, Па-асха... Ну, совсем из головы.

И гордился Гиммер своим положением внефракционного, всегда неповторимо-одиночного, но уже охватывала и тоска: да почему же он такой роково-неповторимый и совсем уже отдельный? Нельзя вести борьбу дальше без прочных союзников — с кем-то надо соединиться. Вот, со Стекловым не получалось никак. Очень бы хотелось блокироваться с Каменевым, и чаще всего совпадали с ним установки, но Каменев недостаточно боевой, например, его проект резолюции Совещания против войны был испорчен фразой: «Империалистическая война может быть окончена только при переходе политической власти в руки рабочего класса». Кажется — революционно-непримиримая фраза, а как её понять? А пока власть не у нас — значит, за мир не надо бороться? Да, если человек всю жизнь социал-демократ, он, конечно, никогда не «извне» рабочему классу. Но беда, что среди революционеров редко кто добросовестно занимается революционно-социалистической культурой. Каменев как раз занимался ею, тем и был симпатичен, остальные большевики — никуда не годились. А вне большевиков Лурье, Шехтер — боевые, но недостаточный уровень, тем более Кротовский. А Эрлих, Рафес, Канторович — социал-предатели. Искать в эсерах? Александрович — исключительно боевой, просто гневный кипяток, но в теории лыка не вяжет, и выступать не умеет, и только всё грозится: «А вот приедет на них Гоц!», «А вот — приедет Чернов!» Ну, приехал вот Гоц — и что? Разве младший брат Гоц похож на своего бессмертного старшего? Никакой он не теоретик, никакой самостоятельной мысли, ни малейших ресурсов вождя,

выступления его бессодержательны, а так, техник, организатор. А вот — приехал Дан и доизбран в ИК. Связывал Гиммер и с ним надежды — всё-таки выдающийся представитель в Интернационале, и вся жизнь его слита с социал-демократией, и верный классовый инстинкт, и теоретическая мысль, хотя, надо признаться, писатель не блестящий и оратор не первоклассный. Но — сказывается, что он из родоначальников меньшевизма и столп ликвидаторства. Из сибирской ссылки выглядел интернационалистом, а приехал — и в ИК сразу укрепил Церетели. Нет людей!

Объективный тон в Исполнительном Комитете становился всё неблагоприятней. Маленькая решительная циммервальдская группа — сам Гиммер, Стеклов и ещё человека два, начавших революционный курс Совета, вот уже были оттеснены и не направляли советской политики. Отцвёл светлый период половины марта, когда господствовала революционная линия. Состав ИК всё расплывался в мелкобуржуазную сторону и метался между пролетариатом и плутократией, верх брало интеллигентски-обывательское большинство, *правые мамелюки,* как обозвали их Гиммер с Лурье. Можно ли было в февральские пламенные дни ожидать такого коварного поворота, что наедут свои же оборонцы и построят над Советом мелкобуржуазную соглашательскую диктатуру, толкающую революцию в болото? Вместо ожидаемой капитуляции цензового правительства перед Советом — капитулировала революционная политика Совета?

А надвигалось — и ещё опасней: в последний вечер марта на Финляндском вокзале встречали из-за границы Плеханова. Очень-очень опасался Гиммер вреднейшей роли оппортуниста и социал-патриота Плеханова в дальнейших событиях нашей революции! И — чужд был торжеству его встречи, не поехал на вокзал с другими членами ИК. Но тут же самого разобрало любопытство: как же всё-таки не посмотреть? И — поехал в Народный Дом на Кронверкском, куда Плеханова должны были привезти с вокзала. Из-за этого приезда не было в тот вечер делового заседания советского Совещания, однако чтобы чем-то занять приехавших делегатов и петербургский Совет — собрали их в большом зале Народного Дома, Чхеидзе и Церетели провозгласили им грядущее победное шествие мировой революции, после чего вожди уехали на вокзал, а на сцене в президиуме осталось несколько безымянных солдат — и потёк бесконечный ряд приветствий от неумытых, из провинции, из воинских частей, и от поляков, и от казаков, от латышей, евреев, эстонцев,— всем уже надоевших приветствий, заболтались, кому что в голову вскочит, шёл час за часом, и ничего не случалось, и собранию, заброшенному своими руководителями, совсем уже нечего было делать,— безынициативная масса, тоскливо предоставленная сама себе. Гиммер, никому не известный, сидел зрителем в зале. Уже начались и нетерпеливые возгласы против ИК: зачем их сюда собрали? А поезд ещё опоздал, и на вокзале было много приветствий от вождей — старейшему вождю, а тут — всё тянулись и тянулись дежурные приветствия. А потом с вокзала все члены ИК поехали по домам, а сюда, в собрание, Плеханова привёз один Чхеидзе, сам спотыкаясь от усталости. Вывел старика из-за декораций и представил его: изгнанник! теперь завершит дело освобождения России! — и поднялась шумная овация, а потом стихла внимательно,— и весь этот зал, Советы столицы, провинции и армии — Плеханов мог взять одной энергичной речью вождя. И много бы напортил потом. Затаив дыхание ждали, что скажет старик. А он, измученный, неподвижно стоял в глубине сцены в шубе, как чучело, и только кланялся и ни слова не промолвил. И тут обрадовался Гиммер: нет, не бывать Плеханову вождём, всё упущено, не годен. (Через день проводили его в Белый зал на советское совещание, и опять Чхеидзе объявлял глуповато: «Кровавый Николай хотел стать изгнанником в Англию или подальше, а мы сказали — нет, посиди, пока приедет Георгий Валентинович, наш дорогой учитель, товарищ, изгнанник». И Плеханов держался за руки с западными социалистами и слабым голосом речь произносил,— нет, никакого впечатления. Сдал, не опасен. А следом и заболел.)

А через три дня после Плеханова — да приезжал Ленин!

Вот тут у Гиммера заколотилось сердце невыносимо. Как он ни разногласил порою с Лениным, как тот ни поносил Гиммера «пустейшим болтуном, каких много в наших буржуазных гостиных», впрочем, помягчел за войну — «один из лучших представителей мелкой буржуазии»,— но так был крепок в Ленине лево-циммервальдский ветер, такой был в нём несравненный революционный напор,— затаённо мечтал Гиммер именно в Ленине найти себе крепчайшего

союзника! А тут ожидалась отвратительная буржуазная кампания против Ленина за проезд его через Германию, и готовился Гиммер в своей начинаемой с Горьким газете дать отпор этим патриотическим лавочникам, этому морю обывательской пошлости из бульварных газет: а что оставалось Ленину делать? а какие у него оставались пути на родину — по милости Милюкова, заблокировавшего союзные границы антивоенным революционерам? перед грязной политикой слуг союзного капитала совесть эмигрантов остаётся чиста!

Снова отправлялся на встречу президиум ИК, Чхеидзе и Скобелев, а Гиммера не взяли. Но Ленина-то он хотел встречать непременно! — и поехал на вокзал сам по себе.

Площадь перед Финляндским вокзалом переполняла необъятная толпа, еле пропускала трамваи, а уж больше никого. Масса красных знамён и расшитое золотом большое знамя ЦК РСДРП. Выстроены воинские части, и немало, это не разрозненные солдаты, как-то сумели их привести большевики, мастера организации. В разных местах площади играли оркестры, урчали-пыхтели многочисленные автомобили и даже два-три пугающих корпуса броневиков,— а с Симбирской улицы выезжало ещё новое светящееся чудище: прожектор (первый раз в жизни видел Гиммер на ходу),— ехал, покачивался и высвечивал полосы крыш, домов, столбов, проволок, трамваев и человеческих фигур.

А дальше — всё строже большевицкий распорядок, и в вокзал пускали не всех, много проверок на дверях, и на перрон не всех, и почти никого в парадные царские комнаты. На перроне под навесом построили несколько арок и оплели их красным с золотом, и свисали флаги, надписи, лозунги. Двумя шеренгами стояли матросы, готовые взять на караул, а в конце платформы, где ждали вагона,— оркестр и члены ЦК и ПК с цветами. А несколько главных выехали и вперёд, встречать на Белоострове.

Это всё они правильно устроили: тем триумфальней надо было встретить Ленина, что его будут поносить за проезд через Германию.

Предъявляя членское удостоверение ИК, Гиммер сумел всё осмотреть, проникнуть повсюду, а затем и в царские комнаты, единственный тут не командированный исполкомовец. На днях потерявший сына Чхеидзе сидел понуро-потерянно, дремля, а вечно весёлый Скобелев как всегда сиял и шутил. А Церетели — вообще отказался приехать, из принципа.

Поезд в этот раз опоздал ещё больше, долго ждали. Но вот подошли фонари паровоза, с дальнего конца перрона раздалась марсельеза, приветственные крики — и оттуда сюда пошли, пошли под музыку, между шпалерами, не различить, но со многими цветами. А впереди суетился Шляпников как церемониймейстер: «Позвольте, товарищи, позвольте!.. Дайте, товарищи, дорогу!.. Дайте же дорогу!» Чхеидзе и Скобелев стали в позы посреди царской комнаты.

Крепкие парни донесли Ленина на руках до самого входа. А сюда Ленин даже не вошёл, а семеняще вбежал, как будто не с поезда, а на поезд,— в круглой чёрной шляпе, сам рыжий,— и Коллонтай поднесла ему красный роскошный букет. Ещё за ним вошли десятка три, один молодой, курчавый, мешковатый, сунули и тому букет, но много меньше,— и большевики заперли входную дверь, не пуская с перрона лишнюю публику. А дверь от вокзала и так заперта, только она стеклянная широкая двустворчатая, и через неё глазели многие, впритиску.

На середине комнаты Ленин, в порыве движения, почти наткнулся на Чхеидзе, неожиданное препятствие, и остановился. Может быть, узнав Чхеидзе, клятого им уже много лет, он не задержался бы,— но Чхеидзе, в своей глубокой угрюмости, начал приветственную речь. Однако радостных слов там было мало, а уже с третьей фразы зазвучало, что для защиты революции необходимо не разъединение, а сплочение рядов демократии, идти сомкнутыми рядами для закрепления революционных завоеваний, защиты от посяганий, и Исполнительный Комитет надеется, что эти цели разделяет и приветствуемый.

А Ленин, сильно возбуждённый встречей, даже из приличия не внял этому нравоучению ни минуты, даже не смотрел на Чхеидзе, а уверенно покрутил быстрой головой, поправил цветы в букете, глянул на лепной потолок, на стоящих в этой комнате, ища аудиторию, и, кое-кого всё же тут насчитав, а ещё любопытных за стеклянной дверью, ответил им:

— Дорогие товарищи солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице передовой отряд всемирной пролетарской армии! Грабительская империалистическая война есть начало гражданской войны по всей Европе. Заря

всемирной социалистической революции уже загорелась! Да здравствует социалистическая революция!

Гиммер так и задрожал: как же он сам, в своих будничных хлопотах по российской революции, пропустил этот всеевропейский процесс? Как будто пламя поднесли к самому лицу: как? уже загорается и повсюду? Ош-ш-шеломительно! И как же это по-циммервальдски! Оч-чень, оч-чень...

Но на этом речь и кончилась, никакие события тут не развернулись, Ленин и на копейку не оказал внимания Исполнительному Комитету (и Гиммера не заметил, не отличил) — а уже распахивали перед ним дальше те стеклянные двери — и он нёсся на парадное крыльцо, и дальше туда на площадь, под тысячные крики, несколько оркестров и прожекторы.

Как комета пронёсся Ленин! Как комета! — и совершенно зачаровал Гиммера, и увлёк за собою в хвост, уже в самый последний хвост, позади всех, никакой речи, никакого приезда уже не свидетелем, а только литься, литься в самом конце процессии,— впрочем, на ту же Петербургскую сторону, где и сам жил. Но и от Троицкой площади Гиммер не повернул к себе на Карповку, а пошагал до самого дворца Кшесинской, сиявшего огнями, даже снаружи иллюминованного и со многими красными знамёнами, а с балкона охрипший Ленин договаривал уже не первую речь:

— ...истребление народов ради наживы эксплуататоров... Защита отечества — фальшивый лозунг, это защита одних капиталистов против других.

Ах, как прямо, как оголённо, как бесстрашно! Святые истины о войне, и без всяких прикрытий! Но и — как же недипломатично, даже топорно. Да! Так можно быстро двинуть солдатскую массу к сознательности — но и можно вызвать на себя резкий отпор шовинизма.

И потянуло Гиммера дальше — ещё, ещё присмотреться, прикоснуться.

У калитки дома стояли двое рабочих-здоровяков, стражами. А третий спрашивал, поглядывал, соображал, кого пустить, с разбором. Предъявил Гиммер членский билет ИК — впустили. Там дальше — знакомые большевики по Исполкому (а мешковатый приехавший оказался Зиновьев), представили возбуждённому Ленину — и он по фамилии узнал: «А, Гиммер-Суханов, как же, как же, полемизировали!»,— и даже позвали на 2-й этаж пить чай с большевицкими генералами (не всякого бы члена ИК пригласили, ох не всякого). И всё лучше становилось Гиммеру среди них, рядом с победно озарённым Лениным,— и сам себя он щупал, не верил: не сон ли это? Да, может, и кончаются его агасферские скитания. А что? — с большевиками и особенно с симпатичным Каменевым у него совсем не много расхождений, не в главном, и почти всегда они голосуют вместе. За чаем Ленин, не стесняясь в выражениях, нападал на Исполнительный Комитет, на всю советскую линию,— так, после Манифеста 14 марта она только изгибалась вправо, и того заслуживала. Особенно Ленин нападал на Церетели, Чхеидзе, и это верно, и на Стеклова, что уже несправедливо, называя его «отъявленным социал-лакеем». Между тем торопили кончать чай, на 1-м этаже собралось около двухсот большевиков — петербургских и с советского Совещания, — хотели ещё приветствовать Ленина и ожидали политической беседы с ним. Втиснулся туда и Гиммер. И была — не беседа, но целая речь, видно, хорошо заготовленная, отработанная, каждый элемент давно отстоялся в Ленине, он защищал его не раз, а теперь наносил с готовым сокрушающим напором. И — какая же речь!..

Большевики только слушали зачарованно, разинув рты. А на маленькую голову Гиммера, прикрытую войлоком волос, вся мощь речи, по её первизне, обрушилась камнепадом. Он был совершенно афраппирован. Даже он! — даже он не успевал схватывать всех поворотов и потом, ночными улицами бредя к себе домой, тёр голову, пытался очнуться и собрать возражения.

Громоподобная речь! Изо всех логовищ поднялись стихии, дух всесокрушения, не ведая сомнений и мелких людских трудностей. Всемирная социалистическая революция готова разразиться со дня на день. Кризис империализма может быть разрешён только социализмом и только гражданской войной. Оппортунисты Совета, *революционные оборонцы*, ничего не могут реального сделать для всеобщего мира. (Ленин и их отбрасывал целиком во вражеский стан! — кружилась голова.) Манифест 14 марта хвастает «революционной силой демократии»,— какая же это сила, когда во главе России поставлена империалистическая буржуазия? Манифестами капитал не свергнешь. (Он и гиммеров-

ский Манифест погребал под теми же обломками!) Какая же это свобода, если тайные договора до сих пор не опубликованы? Какая же свобода печати, если в руках буржуазии оставлены типографские средства? Совет — только называется «рабочих депутатов», но руководится социал-патриотами, слугами буржуазии. Прежде всего надо сделать Совет из мелкобуржуазного — пролетарским, и тогда не надо нам парламентарной республики, не надо нам буржуазной демократии и даже не надо никакого правительства, а будет у нас республика Советов рабочих, солдатских и *батрацких* депутатов! (Крестьянских — вообще не назвал, и это сильная мысль!) И так — валились умопомрачительные фрагменты. Земля? — «организованный захват» немедленно повсюду. Заводы? — вооружённые рабочие будут и стоять у станков, и руководить производством. И — свирепо громил социалистов Европы, даже тех, кто и борется, но слабо, против своей буржуазии, даже и правых циммервальдийцев: только *левые* циммервальдийцы стоят на страже пролетарских интересов и всемирной революции, все остальные — предатели рабочего класса! и само имя социал-демократии теперь запятнано предательством!

Заплетая слабыми ногами, брёл Гиммер по пустынному ночному Каменноостровскому. «Республика Советов» — что это значит? Система свободных общин? И куда девать это идиотское крестьянство? Сумеют ли, ой, сумеют ли рабочие и батрацкие Советы против воли большинства населения устроить социализм? Нашей мелкобуржуазной структуре, крестьянской раздробленной отсталости — как дождаться мировой социалистической революции? Да, конечно! — Ленин тысячу раз прав, что грядёт мировая революция,— но абстрактное её прокламирование, без практического употребления в сегодняшней политике только путает все реальные перспективы, и даже вредит. И даже крайне вредит. Захватывающая смелость, что Ленин совсем не считается с социал-демократической программой. Но он и не доказал, что понимает практическое положение дел в стране. И нет в его речи конкретного анализа социально-экономических условий для социализма в России. Да позвольте, да даже нет вообще экономической программы? А как же без неё?.. Нет, стать союзником Ленина невозможно: он перемахивает все разумные границы.

Нет, не годится Гиммер ни в какую партию, он — слишком лавровская, «критически-мыслящая личность».

А на другой день, 4 апреля, ему досталось прослушать эту речь ещё раз: пока не разъехались участники Совещания, в Таврическом было назначено давно ожидавшееся объединительное заседание социал-демократов — большевиков, всех оттенков меньшевиков и внефракционных, с целью воссоздать единую с-д партию, где от большевиков намечено было выступать Джугашвили. А теперь, разумеется, Ленин с разгону ринулся туда. Не кончилось бы Совещание — он выпыхнул бы это всё Совещанию, но теперь ещё сардоничнее получилось: на *объединительное* заседание его вынесло с непримиримо раскольной речью, с худшим расколом партии, чем когда-нибудь было до сих пор за 15 лет,— и тем непримиримее он швырял фразы, чем резче была реакция собравшихся.

Бедный Гольденберг, больше всех хлопотавший объединять социал-демократов, чуть не плакал от всеоплёвывающей речи Ленина. Социал-демократы в думском Полуциркульном зале, сперва ошеломлённые, потом стали перебивать, протестовать, негодовать — «бред сумасшедшего! демагогия!», а большевики аплодировали тем громче, а разъярённый Богданов кричал им: «Стыдно аплодировать галиматье, вы позорите себя! — ведь вы марксисты!» Порядок дня *объединения* весь пошёл насмарку, все остальные выступали только в споре с Лениным — Дан, Войтинский, Лурье, Юдин. Церетели горячо убеждал, что если б захватили власть в первые дни, то уже теперь были бы разгромлены; надо исходить не из того, что можно захватить, а что можно закрепить. А расторжение договоров с союзниками привело бы к разгрому Интернационала. Гольденберг объявил, что Ленин выставил свою кандидатуру на 30 лет пустующий трон Бакунина, изжитки примитивного анархизма, скачок в откровенную анархию, и поднял знамя гражданской войны внутри самой социал-демократии. Стеклов высказал, и Гиммер так думал: что русская революция прошла мимо Ленина, но когда он познакомится с положением дел в России, то сам откажется от своих построений. (Гиммер не хотел выступать против Ленина, но думал: безусловно, в атмосфере реальной борьбы Ленин быстро акклиматизируется и выбросит большую часть анархистского бреда.) В ответ из большевиков выступала только одна Коллонтай,

встреченная смехом и издевательствами, Ленин от заключительного слова и ответов на возражения отказался (это и всегда его слабость — прямой устный спор, без заготовки). А в кулуарах большевики пошёптывали: да, абстрактно мыслит Ильич, пожалуй, к вам мы ближе, чем к нему. Но вслух — не смели. А полтора десятка большевиков — и с собрания демонстративно ушли, возмущаясь Лениным.

Так сгустились приезды революционных вождей из-за границы, что через пять дней Гиммер попал ещё на третью такую встречу — Чернова, и в этот раз, вместе с Гоцем, официальным представителем от ИК, почему-то Чхеидзе и Скобелев не сочли Чернова достойным их встречи.

Ну, эсеровская встреча отставала от большевицкой по организации и по пышности. Хотя были на площади и войсковые части и рабочие колонны, и на платформах 6-тонных автомобилей толпилась молодёжь, но порядка меньше, и не было прожекторов; на перроне на тех же готовых арках заменили большевицкие лозунги на «землю и волю» и «в борьбе обретёшь ты право своё». Правда, на встречу приехал Керенский (и адъютанты кричали перед ним: «Граждане! Дорогу министру юстиции!»), но поезд ещё сильней опоздал, и Керенский не дождался, оставил за себя Зензинова. Царские комнаты были переполнены, вход свободен, и очень интеллигентный состав публики. Масса была желающих ораторов приветствовать вождя эсеров, и тут создалась импровизированная комиссия — кому дать слово, кому нет, и вокруг неё шум и препирательства.

Чернов появился, как всегда жизнерадостный, с этакой русацкой наружностью, непрерывно улыбаясь во все стороны улыбкой сильного человека, вот и с огромным букетом,— и под клики и марсельезу еле протиснулся через толпу в царские комнаты. Пока произносили ему первую речь от партии — досмотрелся Гиммер в завороте толпы, что с ним вместе приехали (об этом заранее не объявлялось) старый Дейч (весьма соглашательская фигура, опасная давним авторитетом, будет подкреплять Плеханова), Фундаминский, Авксентьев и ещё какая-то подтянутая энглизированная фигура (оказался Савинков). Что же делать? Этих — он и не полномочен приветствовать от ИК и сам не хотел, и решил обращаться к одному Чернову. (А узнали ли Гиммера? Из-за того что щуплый, вёрткий и бритый, его иногда принимали за Керенского. И Чернов сейчас вылупился изумлённо — но он-то не мог принять его за Керенского? Потом оказалось: объявили Суханова, а Чернов знал по снимкам одного Суханова — думца, с большой бородой, и недоумевал.) А приветствие (пришлось назвать «великим теоретиком социализма из самых недр революции») Гиммер заострил по-боевому, самое нужное: как ценят в ИК заслуги Чернова в отстаивании *интернационального* социализма (понимай — Циммервальда), и что сейчас в революции *эти позиции в жестокой опасности* — и отстоим их от внешних и *внутренних* врагов! А Чернов охотно стал отвечать и отвечал так длинно, что все тут, в тесноте, изнурились. И при том выявил странную повадку жеманничать и закатывать глаза. Потом вышли на рёв площади, была речь на площади (из автомобиля, стоя), и поехала головка эсеров (сопровождаемая броневиками) в штаб-квартиру на Галерной, и наверняка не для грознопрограммной речи, а хорошо повеселиться, в стиле своего плотоядного вождя. И он тоже на другой день выступал, перед пленумом Совета, но не с грозным расколом и под овации мощной эсеровской фракции. У Гиммера было и личное доброжелательство к Чернову, когда-то заметившему его именно как писателя, и они в этих днях пообедали вместе, обсуждая пути действий,— но насколько Гиммер был сотрясён крайним раскольничеством Ленина, настолько он был разочарован, что Чернов уж и вовсе не собирался никого раскалывать, а — объединять всех народников. Как, ещё и эту плесень лепить к Циммервальду? Впрочем, кажется, Чернов больше напускал на себя оптимизма и самоуверенности, чем было у него.

Отчаянье! — первому теоретику ИК не было ни союзников, ни приложения сил. Теперь он решил перенести их в свою газету, «Новую жизнь», которую вот-вот, на днях, начнёт выпускать, не столько вместе с Горьким, сколько прикрываясь его громким именем,— и близко к «Правде», но не сливаясь с ней, прочертит истинную огненную трассу революции. И одновременно — культурнейшие имена: Ромен Роллан, Бенуа, Луначарский...

Не надо забывать и своего научного уровня, что не в компанию же он с серой партийной исполкомовской братией. Тут как раз, на днях, задумали торжественно открыть всероссийскую Ассоциацию Положительных Знаний,

собирали учёных, писателей, фигуры, позвали и Гиммера. И он держал речь. Сперва для скромности оговорился: «Конечно, не нам, чернорабочим культуры», а потом уже и прямо развернул перед учёными программу революции:

— Рабочее движение и борьба демократии меньше всего руководятся идеалом благосостояния и не заботятся о том, чтобы каждый имел курицу в супе,— но к освобождению человечества и введению его в царство духовной свободы.

7

Странно связала судьба Сашу Ленартовича с особняком Кшесинской: он из самых первых побывал тут, ещё по неостывшим следам убежавшей хозяйки,— а с того большевицкого совещания в залике с фонтаном всё чаще сюда заходил и уже стал тут своим человеком. (А в управление кавалерии вовсе перестал ходить: за март ещё получил жалованье, а за апрель, может быть, уже и неудобно, хотя многие так делают.) Не тем чувством он был движим, как теперь модно: любой врач или адвокат, обросший буржуазным жирком, вдруг заявляет, что всегда был за свободу, и даже пострадал в молодости, и переходит из кадетов в народные социалисты, лишь бы звучало слово «социализм». Нет, от самого 27 февраля, когда он штурмовал полицейские участки, Саша хотел в революцию действовать, действовать, действовать! для чего же и ждал революции, для чего и жил?! Но это в прежние годы одиночки, как дядя Антон, могли бороться ярко. А теперь одиночка ничего заметного совершить не может, надо быть — в строю. А ни в каком батальоне Ленартович не состоял, из «офицеров-республиканцев» ничего не вышло, оставалась — политическая партия? Но и партии все какие-то квёлые, а действенные — вот только большевики. И хребет их — крепче, чем у межрайонцев.

Хребет состоял — в двух десятках напористых, бесстрашных, даже и молодых, как Соломон Рошаль, Саша восхищался им: студент — а отчаянно повёл за собой морскую крепость и базу флота! А вождь большевиков, Лев Борисович Каменев, напротив — умница, равновесный, вдумчивый и очень милый. Он пробеседовал с Сашей однажды полчаса — и совершенно покорил сердце, хотя и не во всём убедил. При личной беседе больше казалось, что у Каменева всё согласовано безукоризненно. Когда же он выступал публично (несколько раз на Совещании Советов, Саша был там на хорах) — то, может быть, от нетерпеливых возгласов противников, а может быть, от свойства всякого публичного выступления,— мелкие штрихи противоречий раздвигались, растягивались, как на раздуваемой плёнке, и были видней. Несколько главных сомнений у Саши так и оставались.

Во-первых, о войне. Каменев казался недостаточно категоричен, что проклятую эту войну надо кончить как можно скорей и решительней,— хотя и ни разу не высловился, что её допустимо продолжать. «Это — не народная война,— говорил он на Совещании,— не народами затеяна. Мы хотим взять на себя смелость и гордость первыми в мире сказать, что — довольно! Весь народ России должен сказать слово «мир»... Мы хотим, чтобы наша революция стала орудием скорейшего прекращения мировых страданий...» — как будто очень правильно, но какого-то решающего удара не хватало. Дальше он предлагал давить на Временное правительство, чтоб оно склоняло все воюющие стороны открыть переговоры,— но разве так когда-нибудь дождёшься? И в ответ называли Каменева благодушным мечтателем, чей сон золотой разбудит грохот немецких орудий. Нет! Саша рвался к последней решительности, к огненной идее, как взывали некоторые: перебросить через фронты факел всеобщего восстания! — и только так мы с ней покончим!

Во-вторых, о Временном правительстве. Хотя Каменев не соглашался с нетерпеливцами, что надо правительство скорей сейчас же непременно свергать, но и доброго слова о нём он не сказал ни одного, а: что оно классово враждебно, и ни одной личности в нём мы не доверяем, и ни движением не поддержим, и ни за что не войдём, и будем всячески его контролировать,— да как же тогда правительству и править? А между тем это наше первое революционное правительство, наше главное завоевание! Вместо того предлагал сплачиваться вокруг Совета — но Совет же не правительство! «Пролетариат должен прийти к власти» — ещё и эта мысль была Саше сильно неясна. Из рабочего класса выдували какое-то новое «Его Величество», о котором нельзя даже критически

выразиться. И это было доказательством известной истины исторического материализма, что формы мышления консервативны и отстают от форм бытия.

Но что б ни оставалось недоясненного — а спокойное достоинство, тактичность и ум Каменева несравнимо возвышали его над экспансивным простоватым Шляпниковым, медлительно-туповатым Сталиным, а о Муранове стыдно даже упоминать.

И что ж нужно было думать теперь о Ленине? Большевики, гордо преданные своему заграничному центру, напряжённо ждали приезда Ленина, все с надеждой, но некоторые и настороженно. На том же Совещании Советов Ногин огласил телеграмму Ленина из Швейцарии, что Англия ни за что не пропустит ни его, ни других интернационалистов, что русская пролетарская революция не имеет злейшего врага, чем английские империалисты и их приказчики, они пойдут на любой обман и подлость. И вдруг утром 3 апреля полной неожиданностью пришла в особняк Кшесинской новость, что есть телеграмма с дороги из Швеции — и Ленин со спутниками прибудет в Петроград сегодня же, поздно вечером. Потрясающе! Как же удалось ему внезапно вырваться, обмануть англичан и перенестись как по воздуху?? Из частных негромких разговоров Саша узнал: проехал через Германию. Некоторые сильно от этого забеспокоились: как это будет воспринято массами? обществом? А Саша — нисколько: молодец! правильно! Он воображал это жгучее ленинское нетерпение — наслышался о его характере,— правильно! какие расчёты о границах, о правительствах, когда пришёл час кончать всю войну вообще! И вот он огненным метеором летел к нам!

Узнали утром в понедельник — а ведь это был второй день Пасхи, не выходили газеты, и никто нигде не работал, даже объявления не напечатаешь в типографии, и поздно,— а решил штаб большевиков, что надо устроить многолюдную пышную встречу,— и как же собрать людей? Разослали гонцов по Выборгской, по Невской, Петербургской сторонам, по Васильевскому — собирать людей объездом. По телефону сообщили в Кронштадт — те ответили, что вот-вот начнётся ледоход, но всё же малую делегацию пришлют. А ведь во всех казармах тоже Пасха — не соберёшь отрядов, не приведёшь! Мичман Ильин, со страшной кличкой Родиона Раскольникова, взялся добыть моряков — и действительно привёл на вокзал отряд из 2-го флотского экипажа. А Ленартовича послали в Петропавловку как уже бывавшего там. И там в разговорах гениально догадались: двинуть на встречу прожекторную роту крепости — два прожектора к вокзалу, часть по пути следования до Троицкой площади, остальные с башен крепости осветят Троицкую площадь навстречу приезжающим. Три броневика, из квартирующих во дворе Кшесинской, тоже поехали. Перед вечером хлынул ливень и всех бы охотников мог сорвать — но кончился, а собираться надо было к одиннадцати вечера, успели. Рабочие пришли некоторые с винтовками, несколько тысяч сгустилось на площади, а прожекторы шарили лучами по темнооблачному небу и по вокзалу. Экспромтом сочинили встречу, а здорово удалась!

Саша не пошёл на перрон, остался на площади, при прожекторах. В толпе многие и не знали, кто такой Ленин, но ждали — вот выйдет! А когда стали выходить на вокзальные ступеньки — из отряда рабочей милиции поднимали винтовки в воздух. Ленин, хотя встал на сиденье автомобиля говорить речь, но не было его видно. И тогда подсадили его на крышу броневичка. Тут Саша был недалеко, он слышал и видел освещённого Ленина отлично.

Он и ждал Ленина с недоверием — и первым взглядом был разочарован: какой-то плюгавый, вертлявый, руками всё время размахивает и голос плоский. Но что он выкрикивал!

— ...приветствовать вас, кто представляет здесь победоносную революцию, вас, кто является авангардом всемирной пролетарской армии! Мы — на пороге всеевропейской гражданской войны! Недалёк тот час, когда германский народ услышит призыв нашего товарища Карла Либкнехта и повернёт штыки против своих эксплуататоров! Германия — уже в брожении!

Потрясающе! Он-то — прямо оттуда, он знает, что говорит! Так это — исполнение мечты!

— Гибель всего европейского капитализма может наступить ежедневно, если не сегодня, то завтра. Русская революция, которую вы совершили, нанесла

первый удар по капитализму и открывает новую эпоху! Да здравствует мировая социалистическая революция!!

Открывался самый верный путь конца мировой войны! Наконец дошло и до сознания европейских масс!

Кто расслышал, кто не расслышал, кричали «ура», ещё поднимали винтовки, спустился Ленин в автомобиль и поехал медленно, за ним повалила в улицу толпа, и броневики медленно тронулись, а прожекторы покачивали свои слепящие света.

И многие дошли до Кшесинской, запрудили всю улицу, полплощади, и ждали новую речь — и Ленин, без шапки, лысый, выходил на балкончик второго этажа и оттуда выкрикивал всё то же, порубливая в воздухе правой рукой как лопаткой. С ним выходил на балкон и поспевший Рошаль в студенческой фуражке и матросском бушлате и кричал от кронштадтцев «ура».

А потом, после чаепития старших на втором этаже, все вожди спустились на первый этаж в беломраморный залик с роялем около зимнего сада. Плафоны, вазы, лепные орнаментальные стены — а тут натасканы были вместо белошёлковой мебели балерины примитивные стулья, скамьи, и кое-как втиснулось человек двести большевиков. И все они с преданностью (большей, чем у Саши) слушали речь вождя.

А Саша вблизи и при отчётливом свете ещё больше разочаровался в Ленине: уж такой непредставительный, негероический, и ещё картавит, и глаза, брови, губы почему-то монгольские, а купол болезненно-неравновесный, и какие-то корявые, неровные, порченые зубы,— но что-то более сильное и горячее, чем сам Ленин, дуло через него как через трубу — и подхватывало лететь! И не страсть в голосе, нет, а как будто неотклонимо шла и прокладывала себе дорогу какая-то мощная машина. Украс красноречия никаких, а только напор на слушателей. Против войны — у него было всё замечательно, и обещание немедленной мировой революции более всего вскидывало в вихрь. Но что он нёс про власть? Захватывать её должны были пролетариат и беднейшее крестьянство в первые же дни, сами себя испугались. А теперь — никаким Милюковым — Гучковым не верить, и даже бессмысленно их убеждать в чём-нибудь, они капиталисты, они своими миллиардами душат всенародную жизнь. Нечего поздравлять друг друга с бескровной революцией,— революция не фейерверк, а смертельная борьба против эксплуататоров. Предстоит война против паразитических классов. Про «правительство капиталистов» то самое, что до сих пор вякали только дикари из выборгского райкома,— а он ещё резче их и непримиримей,— да что ж это будет, если сейчас свергать правительство? и всё *захватывать*? «начинать с банков — и так толкать человечество вперёд!» — так будет полная анархия и конец революции! А самое удивительное: ни в коем случае не объединяться ни с какими социалистами! — и даже готов оратор немедленно разорвать с теми тут, кто захочет объединяться! Какое-то безумие: зачем же раскалывать и раскалывать наши силы?

Это, конечно, более всех било по Каменеву. Однако он сидел вполне невозмутимый. А в заключение, уже в три часа ночи, резюмировал очень тактично: мы можем быть согласны или не согласны с докладчиком, но вернулся гениальный и признанный вождь нашей партии — и вместе с ним мы пойдём к социализму.

Сашина голова горела. Такой ночи он ещё не переживал. Травить Милюкова? Но это игра на тёмных инстинктах, а Милюков — гордость России. Дикое смешение находок и ошибок. Звал на немедленный крупный прыжок — и безо всякой опоры. Его бешеная энергия, крепкая сцепка — увлекала. Но программа его и картина будущего всё же не понимались отчётливо. Саша видел: тяжёлое недоумение разлито и на многих лицах. Так что, предстояла борьба внутри партии? Каменев сказал конфиденциально: убеждён, что Ленин три дня в России пробудет — и мнения свои переменит.

У рядовых большевиков возникла растерянность: все привыкли, что Ленин — лидер, и как же остаться без него, как оторвать голову? Выскажешься против Ленина — назовут меньшевиком, оппортунистом. Новый раскол партии сейчас — это гибель её. А он ещё и ещё повторял: если протянете хоть палец оборонцам — это будет измена международному социализму. Объединение с ними — это предательство, если так — нам с вами не по пути и лучше останусь в меньшинстве. Вообще выбросить социал-демократическую вывеску как грязное бельё и назвать себя партией коммунистической.

На другой день в Таврическом, говорят, его поддержала одна только красавица Коллонтай. (Даже неестественно, что именно у неё и именно все точно такие мысли. Через пару дней враги пустили стишок: «Что там Ленин ни болтай — с ним согласна Коллонтай».)

Какая сцепка была между фразами Ленина — такая сцепка день ото дня укреплялась и между большевиками. Саша продолжал бывать часто у Кшесинской. Поразительно, для них не так было и важно осознать правоту или неправоту отдельных ленинских мыслей: у них тут считалось важней — действовать, и дружно, заодно.

Это очень неприятно пожимало Сашу: такая нетребовательность? неосмысленная отданность? А с другой стороны — он же и искал крепкого строя. А крепкий строй без этого не получается.

Ну, ещё можно будет присматриваться.

Как завоёвывать Петроград? Головка решила, что слишком мало нас, чтобы растекаться по городу, только на Выборгской стороне наше преимущество. А — никуда не ходить, открыть перманентный митинг здесь, у особняка, с балкона, а слушатели сами будут притекать, улица к площади расширяется, места для желающих хватит. Укрепили на балконе дома красный флаг с золотой надписью ПК-ЦК РСДРП, задрапировали красной тканью окна зимнего сада. У особняка-палаццо — веселый игривый вид, женственная узорочная решётка. Весенний запах почек. Вблизи необычно высится минарет и фаянсовый купол мечети, а по другую сторону — Петропавловская крепость. Близко дышит Нева. И каждый целый день насквозь и глубоко в вечер — митинг, митинг, речи, речи с балкона,— «ленинский Гайд-парк», хорошенькое местечко, зубоскалит «Русская воля».

Публика собирается самая разношерстная — и простонародье, и солдаты, раненые из госпиталей, и городская обывательщина, и барская, в дорогих воротниках и шляпах, и дамы, и младшие офицеры, всем любопытно, на это и расчёт, а то затешется дьякон в рясе и кричит снизу вверх: «Львов — кадетский ставленник! Мы, духовенство, желаем послать делегатов в Совет рабочих депутатов!» И больше — тихо слушают и охотно верят: «И хорошо, что не морем поехал, а то б утопили». Женщина в чёрной кружевной косынке: «А я и не знала, что Англия такая коварная нация». А если из толпы крикнет кто, обработанный газетной травлей: «Всё ты врёшь, немецкая пломба!» — с балкона энергично: «Дождутся и газетчики короткого расчёта! Пусть не подстрекают солдат против рабочих!»

Днём — толпа меньше и вялая, не слишком спорит. Ей подробно разъясняют пункты программы. Жилищный вопрос? Да, постройка дворцов задержится из-за нехватки железа и бетона. Но временно поможет реквизиция помещений у буржуазии. Придётся попросить потесниться тех, кто живёт слишком хорошо. (Толпе нравится, аплодисменты.) Театры будут бесплатные, не то что за Шаляпина 20 рублей. (Крики одобрения.) Налоги? — придётся, но заплатят те, кто побогаче, особенно домовладельцы.

Но печёт всех — о войне. «Бары из *партии народной свободы*, которые в колясках развалившись ездят,— для них счастье, что идёт война, а то б они лишились проливов. У Родзянки в Екатеринославской губернии 3 миллиона десятин. Чтоб удержать эту землю, он и хочет посылать петроградцев на фронт. Кому приятно на фронт — пусть и пожалуют туда сами! — (Солдатам нравится, это они понесут по городу.) — В России больше двух миллионов фараонов, городовых, жандармов и сыщиков — вот они и пусть воюют! — (Улюлюканье.) — И пусть Гучков не пугает нас наступлением Вильгельма! Кончать войну, и никакого доверия Временному правительству!»

Саша легко отделял, конечно, что́ тут накручено врак (полиции у нас в 5—7 раз меньше было, чем в Англии и Франции), но — но — хочешь быть в строю, так за это надо платить. Сам он тут не выступал — и не из робости, а не мог он собственным ртом выговаривать глупости и выискивать мгновенные пошлые приёмы ответов на реплики. Но он помогал всё тут организовать. Революционная дерзость во всём этом была несомненная.

Перед солдатами эффектно выступала Коллонтай, они её хорошо слушали.

— Что вам говорит правительство о земле? Предлагают ждать? Таких вещей не ждут, а берут. Вспомните примеры из Французской революции — что там делали? Отбирали землю и прикалывали помещиков. Я не предлагаю прикалывать именно всех, но...

К вечеру, уже и при фонарях, и толпа густела, человек до четырёхсот, и кричали из неё смелей,— и против них решительней приходилось действовать. На балконе всегда стоял дежурный председатель митинга и руководил. Вылез фронтовик: «В окопах нужны люди, а присылают больных, харкающих кровью, с отстреленными пальцами,— так не надо противиться отправке петроградского гарнизона на фронт!» От большевиков сейчас же отвечают: не поддавайтесь таким плаксивым жалобам! Не выполнять приказ Гучкова об отправке маршевых рот! Студент из толпы: «А как к этому относится Совет?» — «С места не говорить, запишитесь в список ораторов». Присылает записку — её в корзину. Доверились, дали слово ефрейтору, а он понёс: «Я георгиевский кавалер. Не будет мира, пока кайзер на троне или чтобы мир был продиктован его устами. И брат мой на фронте, и дома родителям по 60 лет, а я не кричу «долой войну», я не хочу, чтобы немцы господствовали среди нас, вы с Лениным не восхваляйте прусских юнкеров!» — ему кричали снизу свои расставленные: «Товарищи! Арестуем его!» — и председатель тут же лишил его слова.

А то дали слово студенту, а он тоже оказался против Ленина, да ещё деланно простонародным языком — «аль», «убивство»,— отобрали слово и выгнали с балкона. Из толпы протестовали — председатель кричал: «Замолчать! Тут только наши будут говорить! Это — наша трибуна! Не хотите нас слушать — можете удалиться». Из толпы крикнет против Ленина — ему сразу: «А вы кто такой? Социал-буржуй? социал-провокатор? А вот — милицию вызовем, в комиссариат хотите?» Ещё спускались вмиг к своим в подкрепленье — или вытесняли такого прочь, или задерживали, вводили в дом, там ещё стояли стражи, составляли от «военной организации ЦК» протокол: «без разрешения председателя обращался с демагогическими словами». А если ещё не унимался, то грозили арестом. Те — пугались, иногда скрывали и фамилию. (Да на Выборгской стороне уже и привыкли: там выступающих против Ленина просто бьют.) Один инженер выступил: «Ленин — не патриот!» — ему сейчас же: «Мы вынуждены составить протокол!» — и отвели на проверку в комиссариат.

Приёмы — грубые, конечно, не лучше царских,— ну а иначе и митинги эти развалятся, и всё тут. Без дисциплины — не обойтись.

И эти меры, как ни удивительно, вполне помогали: перед домом Кшесинской несогласные умолкали, а злая «Маленькая газета» Суворина так и признавалась читателям, что мимо этого особняка опасно ходить. Та́к и держитесь.

Иногда выступал с балкона и сам Ленин, не слишком часто, но с яростью: по маленькому балкону горячо метался, жестикулировал так перевесно, что, кажется, вот перевернётся через решётку.— «Не буду даже отвечать тем мерзавцам, которые кричат, что я подкуплен Германией! А мы проливаем кровь за английскую и французскую буржуазию! Говорит же Милюков: у нас общие цели с союзниками!..» Или напрямую так: «Можно отбирать, что буржуи украли у вас. Временное правительство — банда кровопийц, власть должна быть у Совета».

Всех, и Сашу, поражала эта крайность выражений. Может быть, Ленин терял равновесие мысли, так весь отдавался речи? И такой ещё жест у него появился: поднимать сжатый кулак.

Вчера, в воскресенье, собирали демонстрацию, идти против союзных посольств, примыкали и анархисты,— но сильный наряд милиции задержал на Троицком мосту.

А сама по себе боевая эта обстановка заражала Сашу, и он участвовал в ней авторитетом своего военного вида и поведения. (Поручили ему и связь со 180-м полком, на Васильевском, там уже большевицкий комитет.) Он знал, что не только буржуазные газеты стали щетиниться против Ленина, что и в университете и на Бестужевских курсах идут о ленинской тактике горячие споры. Да, это всё не так сразу и не так ясно вмещается в голову, он уже испытал на себе. Но и усвоил уже от ленинского приезда, что, правда, Милюкова—Гучкова не отделишь от продолжения войны, нет. Да и увлекательность была в этом, и обещание победы: именно в той общественной размытости, раздёрганности, какая сейчас в Петрограде,— небольшая, но спаянная сила и с верной идеей конца войны отчего не могла бы и победить? Тут всё дело в направленном напоре. На Совещании Советов, говорят, высказывались, что Временное правительство — самозванцы. Конечно, безусловно. Ну а Исполнительный Комитет Совета — не такие же самозванцы?

И тогда — в чём меньше прав у ленинцев?

Саша был весь в порыве принять участие ещё в одном великом движении, как он уже вложился в февральские дни.

Хотя, увы, слышал, будто его соратник по штурму Мариинского дворца ротмистр Сосновский оказался переодетый уголовник. Да неужели же?

8

(фрагменты народоправства — Петроград)

* * *

Кроме казаков, никто в Петрограде не отступился от «похорон жертв революции» — в России за тысячу лет первых похорон без креста и кадила: 900 тысяч ошеломлённо поплелись совать невиданно красные гробы под оркестр в ямы. А казаки остались в казармах: совесть не позволяет хоронить без священников. Но уже на следующий день полилось беспокойство среди простонародья и солдат: «Ох, к беде! это — дьявол наущил так хоронить! Бог покарает». И через день солдатские депутаты в Совете добились разрешения на панихиду. Позвали на Марсово поле причт из Спаса-на-Крови, отслужили.

А на Фоминой зачастили туда крестные ходы из разных церквей.

* * *

В марте дворники вовсе перестали счищать снег с улиц и не посыпали при гололедице. Посреди даже центральных улиц выросли снежные сугробы. Тогда на расчистку льда военные власти послали запасных: волынцев, павловцев, преображенцев, измайловцев, гренадеров, а к железнодорожным пакгаузам — семёновцев, не то совсем прекратилась разгрузка вагонов. И на саму разгрузку — московцев, литовцев.

Во время таянья снег, смешанный с лошадиным навозом, превратился в жижу шоколадного цвета, а высохло — улицы остались грязные. Всюду валяются бумажки, папиросные коробки, семячная шелуха. Не чищены во дворах выгребные уборные, не хватает ассенизационного обоза.

* * *

В верхних этажах стало не хватать напора воды (а раньше всегда хватало). Квартиронаниматели за то не хотят платить полной платы. Городской голова обратился с воззванием беречь воду, в нижних этажах краны забить частично свинцом, ваннами пользоваться не всем по субботам. Плата за воду будет удвоена, чтоб экономили.

Служащие водопровода потребовали от городской думы увеличения содержания на миллион рублей.

* * *

В сырости весны у булочных и пекарен такие же длинные хвосты, как и перед революцией. Занимают очередь ночью. От хлебных карточек хвосты не уменьшились: выпеченного хлеба всё равно не хватает. Выдачу в одни руки ограничили, хотя б карточек было и больше,— и тем уничтожили смысл карточек. Семья делит карточки, посылает стоять в два места. И опять идут за хлебом с Выборгской стороны на Петербургскую.

Солдаты то и дело нарушают очередь у лавок хлебных, мелочных и денатурата, выстраивают свои отдельные солдатские хвосты, они идут быстрей, а главному хвосту не достаётся. Общественное градоначальство призвало солдат помнить, что теперь все граждане равноправны. Бабы в хвостах честят солдат последними словами, что из-за их бунта только хуже стало.

* * *

В Петрограде уже с марта стало трудно увидеть солдат, которые бы на часах *стояли*: все часовые сидят на стульях, табуретках, а винтовки прислонены к стене. Идя на пост, солдат не упускает запастись семячками и папиросами.

Солдат то выводят на демонстрацию, то внутри казарм — на собрания и митинги. Улицы наполнены гуляющими солдатами. А более практичные отправляются на вольные приработки: продают газеты, семячки, заводят переносные торговые лотки, подметают улицы, идут в носильщики, в милицию.

* * *

При встрече с офицерами на петроградских улицах солдаты повально не только не отдают чести, а и не вынимают папиросы из зубов, рук из карманов. Однако всё же каждый десятый отдаёт, но от этого офицерам только хлопотней: напряжённо следить за каждым встречным солдатом и не пропустить аккуратиста. Уж проще бы — никто не отдавал.

Иные офицеры стали ходить без погонов на шинели (сохраняя только на кителе).

* * *

Красные эмблемы со многих прохожих уже исчезли.

На тротуарах и лотках продаются грязные брошюрки о царе, царице и их «альковных тайнах».

В журналах — фотографии, как сейчас царь чистит снег и приветливо разговаривает. Иногда с ним — две дочери.

* * *

На Невском проспекте на углу Екатерининского канала бронированный автомобиль с плакатом «займа Свободы» врезался в трамвай и помял стенку, побил стёкла. Движение приостановилось.

* * *

Всё больше трамвайных вагонов выходит из строя от перегрузки и плохого ремонта. (Рабочие выгнали часть трамвайных инженеров, и заведующего электростанцией тоже.) Чтобы выйти из положения, городская управа изменила традиционные, вечные петербургские маршруты: многие дальние теперь не проходят в центр, а кончаются на Сенной площади, Адмиралтейской, у Инженерного замка. От Михайловской улицы до Знаменской площади трамваи по Невскому вовсе не будут ходить. И ещё, для ускорения оборота, отменено 60 остановок. Впопыхах отменили и маршрут, соединявший четыре вокзала.

* * *

Так надежда на извозчиков? Но стали драть непомерно: от Николаевского вокзала до угла Садовой — 3 рубля, а пять минут езды — целковый. С багажом пересесть от Балтийского вокзала до Николаевского — столько же, как за вагон 2-го класса 300 вёрст.

* * *

Во всех учреждениях служащие пренебрегают начальством, заняты болтовнёй или манифестируют на улицах.

Почта стала доставляться не 5 раз в день, как раньше, а только дважды. Утренние газеты хорошо если принесут в 11-м часу дня, а то к пяти вечера. Почтальоны принимали обычные пасхальные подношения, а сами четыре дня Пасхи не работали. Сперва сократили своё время низшие служащие, потом чиновники, а заведующих отделениями устраняют. Выемка из ящиков стала раза два вместо восьми. Раньше, подавая письмо или телеграмму, можно было точно знать, когда придёт. А сейчас гадай.

Так как ночью все дома, боясь грабежа, перестали открывать на стук «телеграмма!» — прекратилась и ночная доставка телеграмм.

* * *

Опубликовано несколько соперничающих проектов переназваний. Дворцовый мост — будет Свободы, Дворцовая площадь — 27 февраля, Михайловская улица — Братства.

* * *

За эти недели Петроград по съездам перемахнул Москву, на то он и столица. Съезд кадетский. Всероссийское совещание Советов. Всероссийский учительский съезд. Съезд трудовиков. Бунда. Казачий. Женщин-врачей. Врачей Армии и Флота. Военных фармацевтов. И ещё — много чествований разного рода. И конференции мелких партий.

* * *

А к Таврическому всё текут и текут манифестации, особенно много по субботам и воскресеньям. За эти недели Таврический видел манифестации мусульман, евреев, буддистов, учителей, подмастерьев, сирот, глухонемых, фармацевтов, акушерок, проституток. Раз пришло несколько тысяч солдаток и в Белом зале с трибуны заявили требования: увеличить вдвое *паёк* солдаток, уравнять солдаток с офицерскими жёнами, а гражданских жён — с законными (получать паёк). Пришли «дворцовые гренадеры» — старики, участники русско-турецкой войны. Пришло человек 300 гимназистов (ушли с уроков), на красных полотнищах «Привет Временному правительству» и «Пусть теперь же окончится учебный год, без экзаменов!». Вышел Чхеидзе и упрекал их, что приветствуют Временное правительство, а не Совет рабочих депутатов, который защищает революцию и следит, чтобы то не захватило слишком много власти. Тут же были солдаты, они качали Чхеидзе. И какая-то звонкоголосая женщина произнесла речь за немедленный мир без аннексий и контрибуций — ей аплодировали. И кавказец из Дикой дивизии, потрясая кинжалом, обещал вышвырнуть немцев из России, не складывая оружия,— и ему аплодировали.

Ещё приходило шествие каких-то верующих, распевая псалмы. Несли красные знамёна и транспаранты, а на них: «Христос Воскресе! Да здравствует свободная церковь! Свободному народу — демократическая церковь!»

А когда, в месячину революции, пришла напомнить о себе учебная команда Волынского батальона во главе с унтером Кирпичниковым, то, по буднему дню, никак не ожидали, и встретить их никого не нашлось, кроме Рамишвили.

* * *

Полковник Сергеев был одним из помощников коменданта Таврического — и имел оплошность: использовать бланк с подписью князя Львова — подписать пропуск великому князю Игорю Константиновичу на прогулки по Петрограду. Отправлен на проверку в психиатрическую больницу Николая Чудотворца.

* * *

По городу — слухи, слухи. Что из-за развала Балтийского флота Северный фронт обнажён, и немцы могут прийти в Петроград в любой час.

В населении недовольство новыми порядками растёт, но говорят между собой тихо: опасно. В состоятельных кругах ждали волшебного избавления — не приходит. Какая цена правительственным воззваниям, если в стране половина неграмотных? Хоть бы появился сильный человек — и всё бы спас! — не появляется. А некоторые даже: тогда уж немцы, что ли, бы пришли? Начинается движение: уехать куда-нибудь поспокойней — в Москву, в Киев, на юг, за границу. Меньше, кто переводит в Европу капиталы, а то поздно будет. Другие считают это низостью.

* * *

3-м классом железной дороги выехать ещё можно, особенно на Москву. Но на 1-й и 2-й класс и спальные плацкарты на Николаевском и Виндавском вокзалах — многодневная очередь, переклички утром и вечером, исключают отсутствующих — а в сутки продают не больше 30 мест. На городской станции на Большой Конюшенной очередь больше 5 тысяч, надо стоять несколько дней (от городской управы охрана и разрешены ночные костры). В середине апреля стали выдавать не билеты, а только талоны на покупку билетов на первую половину мая. Спальные плацкарты вообще отменили, заменили сидячими. А «красная шапка» (носильщик) за каждый достанный билет берёт 30 рублей.

Стали уезжать на крышах вагонов — и на Московско-Виндавской в 100 верстах несколько человек сорвались, разбились насмерть.

* * *

Заводчики оплатили рабочим за все революционные дни, за день похорон жертв, взяли на себя оплату рабочих на выборных должностях — в советах депутатов, продовольственных комитетах, заводской милиции. Но новые требования: повысить заработок в 4 и в 5 раз. На «Треугольнике» требуют 6-часового рабочего дня и приплаты за все минувшие годы войны.

На всех заводских проходных отменили обыски.

* * *

На Невский судостроительный прибыли делегаты царскосельского гарнизона, потребовали созыва выборных рабочих и заявили: 75 тысяч штыков из Царского Села и его окрестностей требуют от рабочих не разговоров, а напряжённой работы на оборону. «И заклинаем товарищей не губить родины празднованием Пасхи! Не услышите — найдём средства заставить!» Рабочие отвечали: охотно пойдут навстречу желаниям солдат.

Стали с фронта приезжать солдатские делегации и ходить по заводам, проверять, как работают. Рабочие сильно сменили тон: готовы работать и по 14 часов, да вот не хватает сырья и топлива. Правда, солдат на заводе и обмануть не трудно: не понимают.

А солдаты Финляндского запасного батальона, наоборот, грозят расправиться с издателями газет, которые печатают, что на оборонных заводах работа идёт плохо.

* * *

Легенда о страшных чёрных автомобилях продержалась в Петрограде весь март и перешла в апрель, наводя ужас на обывателей и милиционеров. И эти стреляют ночью по каждому, кто не остановится.

Ехал с испорченными фонарями член ГД Барышников. На углу Шпалерной и Таврической, рядом с Думой, милиционеры изрешетили автомобиль пулями.

Глубокой ночью общественному градоначальнику телефонируют с Суворовского проспекта, что проехавшим чёрным автомобилем убито четверо милиционеров. А на деле: у автомобиля лопнула шина, и милиционеры упали чтобы скрыться от стрельбы.

* * *

На первый день русской Пасхи вице-председатель французского благотворительного общества г. Леви с четырьмя дамами ехали в свою церковь на Васильевском острове. На Среднем проспекте у 12-й линии у автомобиля громко лопнула шина. Спешили, уже близко, не остановились. Но за ними с криками кинулись милиционер и публика, один милиционер стрелял в автомобиль. Остановились. Толпа окружила с угрозами, что эти стреляли в народ. Сгустилось до тысячи человек, кричали: «Надо их всех расстрелять!» Шофёра стащили с места, милиционеры поконвоировали пассажиров в комиссариат. Один из толпы ударил г. Леви кулаком в лицо, другой забежал вперёд и плюнул в лицо его жене и ещё плевали в спины, бросали цветной яичной скорлупой и мусором. И долго толпились около комиссариата, не желая, чтобы семью отпустили.

* * *

Помощники милицейского комиссара подрайона Карп, Шульман и Шехте отвратно грубо обошлись с посетительницей. Она подала на них во «временный суд». Но суд оправдал их.

Новой милиции установили ставки в два и в три раза выше, чем прежней полиции. Но они даже не обучены обращаться с оружием. То, в ночь на Светлое воскресенье, один милиционер, заряжая револьвер, застрелил другого; то в Василеостровском трамвайном парке милиционер показывал кондуктору браунинг, раздался выстрел, и кондуктор упал мёртвый. Ещё один милиционер, стреляя в бешеную собаку, прострелил грудь путевого сторожа и ранил смазчика — а собака убежала.

* * *

В ночь на 13 апреля для обыска в квартире одной артистки по Николаевской ул. был командирован помощник комиссара 1-го подрайона Спасской части с милиционерами. Но при повороте с Невского на Николаевскую у автомобиля лопнула шина. Приняв это за выстрел, постовые милиционеры открыли по автомобилю стрельбу, одним из выстрелов убита лошадь проезжавшего легкового извозчика. Автомобиль же с комиссаром повернул назад. Но не тут-то было! — толпа засвистела, требуя не дать скрыться стрелявшему автомобилю. На углу Литейного его задержали подоспевшие сбоку солдаты и повели неудачников-милиционеров под конвоем.

* * *

Стало сильно не хватать автомобилей — и Временное правительство ввело в Петрограде автомобильную повинность: все автомобили, кроме военных, должны стать на учёт в транспортном отделе, только он будет выдавать карточки на бензин, и он же может давать трёхдневные задания на перевозки, а за отказ от наряда машина отбирается.

Но автомобильный отдел Военной комиссии отказался передать городской думе автомобили, нареквизированные в революционные дни: «они сыграли большую роль и могут ещё понадобиться». Тем более — автомобили Совета.

* * *

У Николаевского вокзала арестован известный авантюрист Шиманский. В первые дни революции он в офицерской форме назначен каким-то комендантом, разоблачён, бежал с бандой громил на автомобиле — и по вечерам под видом обысков производил грабежи в квартирах.

В Таврическом дворце арестован матрос Гущин с подложным удостоверением на выдачу продовольствия для несуществующего караула в 140 человек. Несколько раз он это продовольствие получал. Его удостоверение депутата СРСД тоже оказалось подложным.

Сотрудник «летучего отряда революционной милиции» Петрограда Шмуклер составил подложное требование от имени отряда к фабрике «Скороход», получил бесплатно 30 пар обуви и отправил в провинцию своему отцу, торговцу обувью. Но случайно раскрылось.

* * *

На углу Невского и Садовой чиновник уголовно-розыскной службы увидел в трёх стоящих на посту молодых милиционерах с повязками — знакомых ему в лицо уголовников, приговорённых при старом правительстве к длительным срокам. Их документы оказались заверенными, но при попытке их задержать — они бежали.

И мировой судья Окунев, прежде ведавший делами малолетних преступников в петроградском мировом округе, — узнавал теперь в милиционерах по 17—18 лет физиономии своих прежних подопечных.

* * *

В Александринском театре из ложи директора украдены дорогие бронзовые часы в футляре.

В ночь на Фомино воскресенье в Троицкий собор на Петербургской стороне проникли громилы. Украли чаши, венки, ризы с икон, расхитили кассу свечного ящика.

На квартире на Николаевской улице нашли склад вещей, растащенных в революционной суматохе из Таврического дворца.

На Финляндском вокзале ночью разгромлено три вагона с дорогими товарами и посылками, прибывшими из-за границы: коробки с золотыми и серебряными часами, шёлк,— всего больше полумиллиона рублей.

В самом здании общественного градоначальства взломали конторку казначея, похищены деньги и документы.

* * *

В квартиру Циндин по Царскосельской улице пришли днём трое милиционеров с ружьями и револьверами. Она узнала их: они же за неделю до того приходили к ней с обыском «искать оружие». Теперь они втолкнули её в уборную и заперли снаружи, а когда она стала звать на помощь — пригрозили застрелить. Лишь после их ухода она сорвала задвижку двери. Все хранилища в квартире оказались взломанными, драгоценности и деньги украдены.

Днём в квартиру инженера Штерна на Вознесенском проспекте вошло четверо вооружённых солдат, пригрозили оружием — и унесли денег и вещей на 20 тыс.

За первые две недели апреля заявлено около 300 ограблений квартир.

* * *

На Николаевском вокзале в день задерживают до 70 карманников. Отправляют во «временный суд». Однажды милиционеры так неумело ловили воров — те перебежали в гостиницу «Восток» и забаррикадировались. Милиция стала стрелять по окнам, убила постороннего солдата. А воры сбежали.

* * *

Вечером 13 апреля по многим телефонам сразу позвонили в милицию на Выборгской стороне и в Московский батальон, что содержимые в Крестах чиновники старого режима распускаются на волю, а охрана тюрьмы перебита. Тотчас сильные наряды милиции и московцев были отправлены в Кресты. Ничего подобного там не случилось, но прибывшие проверяли камеры со зверским видом, запретили прогулки арестантов по коридорам, и сократить приём передач с воли.

Оказалось: звонила шайка воров, которая за эти часы пограбила Выборгскую сторону.

* * *

На Калашниковской бирже состоялся «весенний бал», много рабочих. Перешло в драку, поножовщину. Зачинщик оказался беглый каторжанин.

* * *

Тимофею Кирпичникову дали подписать воззвание к гражданам России: «...Не за страх, а за совесть подчиняться Временному правительству... Вторично поднимаю свой голос и призываю сограждан к тяжёлой работе. Нас подстрекают, чтобы мы предательски изменили делу наших благородных свободных союзников, чтобы купить себе благодарность германских социал-демократов...» Затем приказом генерала Корнилова награждён Георгиевским крестом (по уставу ордена пришлось сочинить, как атаковал полицейские пулемёты) и произведен в подпрапорщики. Командир бригады расцеловал его перед строем, Кирпичников обещал умереть за свободу, если понадобится. Затем повезли его на учительский съезд, он держал речь — а учителя под марсельезу несли его на руках.

Тут и волынский прапорщик Астахов доказал, что 27 февраля он в солдатской шинели присоединился к восставшим,— за то теперь произведен в подпоручики, а батальонный комитет избрал его батальонным адъютантом.

* * *

А Марсово поле вокруг могил — в грязи, мусоре, окурках, семячках. Какую-то цепь разорвали, валяется железная колонка. Где торжество великих народных похорон? — не осталось ни флагов, ни венков. Стоят ящики для пожертвований, без надписей. И одинокая дощечка: «Странник, благоговей: здесь родилась великая Россия». Остановился крестьянин, долго крестится, бросает в ящик почтовую марку (они ходят за монеты).

* * *

Гласный городской думы Ландзен предложил: в Петрограде умирает в год 50 тысяч человек, на похороны уходит 5 миллионов рублей и много земельного угодья. Теперь, когда отпали религиозные ограничения,— приступить к строительству крематория.

* * *

В театре Суворина — итальянская забастовка: актёры выходят в гриме, костюмах, но играют полчаса немо. Когда публика уже догадалась, жалуются ей: Суворина — угнетательница актёров, она против революции и за Николая II.

* * *

Собрание петроградской домашней прислуги, 2000 женщин, постановили требовать от хозяев: 8-часового рабочего дня и повысить жалованье (до чиновничьего). Иначе — общая забастовка.

* * *

Из фронтовых полков приезжают в запасные батальоны: давайте же маршевые роты! К волынским казармам собрались питерские агитаторы: не слушать делегатов, не ехать на фронт, это провокация!

Пошла по запасным батальонам такая мода: отправлять маршевые роты лишь из добровольцев. Набралось полтора десятка рот — из пригородных армейских полков, из егерей, измайловцев, волынцев, наконец и ораниенбаумские пулемётчики тоже наскребли роту. Корнилов горячо приветствовал в приказе выступающие части. Отправлялись к вокзалам с революционными знамёнами, оркестрами, под ликование публики во весь путь.

* * *

В Московском батальоне собрали митинг. Подсчитано, что Гучков намерен вывести из Петрограда на фронт 14 тысяч, на сельскохозяйственные работы — 21 тысячу, да латышей, эстонцев, георгиевских кавалеров... Эти распоряжения угрожают революционному делу. Дали слово прапорщику, приехавшему с фронта. Он сильно волновался: «Я сам — крестьянский сын. Но надо прежде отстоять родину». Штатский председатель митинга ответил: «Конечно, положение на фронте затруднительно, но что для них 14 тысяч солдат? — а для петроградского гарнизона это большая потеря. Мы лучше поможем не подкреплениями, которые растают на фронте, а радикально: кончим всю эту войну». Запасные охотно согласились и вынесли батальонную резолюцию: пока от Исполнительного Комитета СРД не последует точного и определённого указания — не отпускать из состава батальона ни на фронт, ни на полевые работы.

* * *

В ночь на 12 апреля на Знаменской улице столкновение ленинцев и против, до мордобоя. Нескольких противников Ленина задержали, доставили в Александро-Невский комиссариат. Но собралась толпа в их защиту — и их освободили.

И в час ночи у Троицкого моста всё доспаривают о войне наслышанное перед дворцом Кшесинской. Вольноопределяющийся высказал, что на заводе Путилова рабочие не работали из-за митинга,— студент Психоневрологического института Брук потянул его в милицию. Другой студент из толпы спросил: «За что же? Теперь свобода говорить»,— потащили и его.

* * *

Мимо дома Кшесинской, когда с балкона выступал Ленин, проходил военный врач Л., член Лужского совета,— и стал возражать. Не успел он сказать нескольких слов, как из дома Кшесинской выскочили матросы, схватили доктора Л. за шиворот и отташили в пустующий рядом цирк «Модерн», где уже сидели несколько арестованных «возражателей».

Но это видел из толпы лужский солдат, погнал на телефонную станцию и сообщил в Лугу. Лужский исполнительный комитет тотчас позвонил в дом Кшесинской, потребовал немедленного освобождения арестованного, иначе сейчас вышлет сильный отряд и выгонит самих большевиков из дворца. И через пять минут доктор Л. был освобождён.

* * *

За Нарвской заставой у газетчиков рвут из рук и тут же сжигают «недемократические» газеты (не социалистические).

* * *

Уже появились требования и 4-часового рабочего дня. Раздаются угрозы забросать гранатами грядущее Учредительное Собрание, «если оно пойдёт против требования масс».

* * *

О Кронштадте по Петрограду ходят тревожные слухи, что держится как отдельное государство, не прекращаются там насилия и убийства, не возобновляются работы. То и

дело в газетах опровержения: то генерал Потапов ездил от Военной комиссии, то комиссар правительства Пепеляев, то сам Керенский: провокаторский характер слухов, распускаемых врагами Свободной России, жизнь вошла в норму, идёт продуктивная работа, оборона в отличном состоянии, доверчивое отношение матросов к офицерам. Конечно, предупредил Пепеляев, возникают страстные суждения, но страсти всё более подчиняются рассудку... И даже генерал Корнилов съездил, принял там парад, печатают: «Вынес самое отрадное впечатление». И сам Балтийский флот издал патриотическое воззвание: «Вот, растаянет лёд, и германский флот кинется к Петрограду. Флот Вильгельма в несколько раз сильнее нашего. Мы, моряки, готовы отразить удар или погибнуть. Но — идите к станкам, и не на 8 часов, если вы ослабите снабжение — даже наша гибель не спасёт Россию».

Однако: 60 офицеров расстреляно в первые дни, из 206 арестованных 126 будто освобождено, а 80 под стражей. (И выводят их на смех подметать улицы при матросах. А на гауптвахте полуэкипажа обучают их петь «Интернационал».) Распорядился Керенский: создать особую комиссию прокурора Переверзева, проверить, кого из кронштадтских офицеров можно ещё освободить, кого перевезти в Петроград под следствие. С таким заданием Переверзев уже ездил в Кронштадт до Пасхи, никакого расследования ему вести не дали. Теперь поехал вторично. А была у него и частная записочка от Керенского: адмирал Максимов просит поскорее освободить финского шведа капитана Альмквиста. Переверзев и освободил его в субботу, 8 апреля.

Вечером в Морском собрании шёл эстонский концерт, по соседству заседал Исполнительный комитет — вдруг толпа с гулом и криком притащила схваченных Альмквиста и его отца, уже уезжавших из Кронштадта. Перепуганные комитетчики объявили с крыльца: «Сейчас вызываем сюда членов следственной комиссии. Если они окажутся виновны — мы поступим с ними так, как вы найдёте нужным!» Крики: «Арестовать всю комиссию! Они заодно с офицерами, предатели, буржуи! Казнить прокурора!» Пришли. Переверзев, бесстрашный адвокат на царских судах, по «Потёмкину», теперь выложил подробно и о Керенском, и о Максимове — но лязгали затворы, не дали докончить, хотели поднять на штыки. Особенно неистовствовал юноша в фуражке Психоневрологического института, матросы звали его «доктор Рошаль». Едва уговорил Исполнительный комитет: дать им ночь на разбирательство, а утром — митинг на Якорной площади и суд над комиссией. За ночь решили: комиссия допустила ряд ошибок (отпустила ещё трёх офицеров с согласия команд, теперь уже и их всех арестовали), сама слагает свои полномочия и будет отпущена в Петроград. А здесь будет создана своя следственная комиссия (с участием «доктора Рошаля»).

Утром пришлось не только долго убеждать разъярённую толпу отпустить комиссию — но снова вырывать у них обоих Альмквистов, которых вели казнить на Якорную площадь, старика заодно.

* * *

«Приезжаешь в Кронштадт — там воздух другой!» (бестужевка Бакашева, большевичка)

****

Радость великая, радость царит
В сердце воскресшем народа.
Клич наш победный весь мир облетит —
Братство, любовь и свобода.

(Проект нового государственного гимна)

(Продолжение следует)

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

*

ИЗ НОВОЙ ТЕТРАДИ

* * *

Листья летят, а я-то думаю: птицы.
Листья плывут, а я-то думаю: рыбы...

Надо ж кому-то дурочкой уродиться,
Чтоб веселиться умные люди могли бы.
Добрые люди путать не любят понятья,
Да и названья, чтобы не сбиться с дороги.

...Белое облако мне — подвенечное платье,
Черное облако мне — похоронные дроги.

* * *

Привыкла тетка здешняя
Обвешивать народ,
А мир цветет черешнею
И яблоней цветет.

Соседка горе мыкает
И тело продает,
А воробей чирикает,
А соловей поет.

У всех свои занятия
И заработок свой,
А я всех виноватее
Пред ними и собой.

* * *

Молись, золотое сердце.
Крепись, железное сердце.
А каменное — смягчись.
Забудь, птицелов, ловитву,
Забудь, генерал, про битву,
И враг врагу улыбнись!

Иначе уже не выжить,
И даже слезы не выжать
Из осоловелых глаз.
Крепись, железное сердце,
Молись, золотое сердце,
Тому, Кто оставил нас.

Триптих двоих

1

Там, за спиною, больничный порог,
Здесь я всем сердцем пирую:
Первую жизнь подарил тебе Бог,
Я подарила вторую.

Я оказалась сильнее всех нянь
И в предпасхальную сырость
Я отпихнула костлявую длань
И не дала тебя выкрасть.

Радуйся жизни! Дыши и пиши,
Мальчик мой седоголовый,
В этой воистину райской глуши
С видом на берег сосновый.

2

От земной до небесной ступени
Проследят твой жизненный путь,
Но твоей не заметят тени,
Да и ты обо мне забудь.
А была я смиренной лаской
И стелилась к твоим стопам,
А еще я была подсказкой,
Той, что ты не заметил сам,—
Здешней музыки, здешней славы.
А в раю, где ангелов сень,
Не теряют листву дубравы,
Не отбрасывают и тень.

3

Под утро сломала вьюга
У царственных врат весны
Две любящие друг друга,
Две сросшиеся сосны.

Их общий пень, как надгробье,
Не тронутое резцом,
Являет любви подобье
И служит нам образцом.

Но, спаянные судьбою,
Не так мы безгрешны, чтоб
Достались бы нам с тобою
И вьюга одна и гроб.

Осенние озера

Звезд догадливые взоры,
Световые письмена,
Как осенние озера
Михаила Кузмина.

Ну а тот, кого он нянчит
В сердце и в стихах поет —
Храбрый отрок, хрупкий мальчик,—
Скоро сам себя убьет.

И озерная осока —
Купидонова стрела —
До одной звезды высокой
Струйкой крови дотекла.

И горит звезда, алее
Поминательных свечей...
Всех ушедших я жалею,
Но Кузмин мне всех жалчей:

Неужели, многогрешный,—
С томной музыкой в ладу
И с молитвою утешной,—
Мне он встретится в аду?

Триптих розы

1

Хорошо просыпаться на ранней заре,
И лопатой сугроб разрыхлять на дворе,

И сушить сухари по вчерашней цене,
И не думать о близкой войне.

Но устроена странно родимая Русь,
Я ее обожаю, ее же боюсь:

Все не хочет бикфордов шнурок упустить,
Словно этот шнурок — Ариаднина нить...

Как задумчивы сосны в весеннем окне —
Видно, думают тоже о близкой войне.

2

На́ плечи наброшу я
Кашемир,
Выйду во взъерошенный
Внешний мир,
До пустыни Оптиной
Доберусь,
О спасенье родины
Помолюсь —

О моей единственной,
О больной,
О самоубийственной.
Боже мой! —
Для чего здесь стянуто
Столько войск?
С шали упомянутой
Каплет воск.

3

Хорошо бы розу вышить,
Если не на что купить,
Хорошо б России выжить,
Если не умеет жить.

Дай мне розу утром ранним,
Дай мне розовую нить,
Чтоб могла за вышиваньем
Я грядущее забыть.

Крапивница

Арсению Тарковскому.

Привыкшие к зиме, мы на весне помешаны,
И желтым солнцем март уже дымит,
В снегу обозначаются проплешины,
И бабочка-крапивница летит.

Откуда же она, коль в рощице березовой
Еще не видно и не слышно птиц,
И нет еще листвы и даже почки розовой,
И снег еще своих не отдает границ?

Откуда же она, отважная безумица,
Иль в крылышках ее поэтова душа? —
И к кладбищу ведет меня кривая улица —
Меж вечностью и мной непрочная межа.

Не бабочка ли связь мгновенья и бессмертия?
И вправду: вот она вершит свои круги
Над прахом молодым, где в жажде милосердия
Надгробный крест развел две белые руки.

Триптих окна

1

Ну что еще сказать вам на последней
Странице в распоследней из тетрадок?

Скажу, что день стоит на редкость летний,
Скажу, что запах лип на редкость сладок,
Скажу, что луч над Истрой между веток
Особенно пронзителен и ярок.

...Так в детстве оставляла напоследок
Я самое красивое из яблок.

2

Нет, я еще не мертвая,
Еще дышать дано
В трех стенах, а четвертая —
Раскрытое окно.

В моем окне распахнутом
К реке крутой обрыв
Под серебристо-бархатным
Полунаклоном ив.

А дальше — мир порхающий
Небесно-луговой
И церковка с пока еще
Отбитой головой.

И сумерки лиловее,
Чем в клеточку тетрадь,
Где буду в каждом слове я
И жить, и умирать.

3

Открыта новая тетрадь,
А солнце лета
Умеет кровушку сосать
Из уст поэта.

Так из цветка сосет пчела
Земную сладость,
И я не отверну чела
Лучам на радость.

Пускай сосут земную соль
Из уст болезных,—
Блаженно я приемлю боль
От пчел небесных.

* * *

Главное, чтоб сияло,
Главное, чтобы пело,
А остальное мало
В памяти уцелело.

Солнце еще сияет,
Голубь еще воркует.
Дьявол и тот не знает,
Кто у кого ворует:

Раб ли у государства,
Власть ли у человека,
Время ли у пространства
Или оно у века.

Факт обогнал событье,
Событье опередило
И русской музы наитье,
И то, что она сокрыла:

Идея — окаменелость,
Мысль — звуковая вспышка.
И чтоб светилось и пелось,
Надобна передышка.

* * *

Земля дымится, небо тлеет,
Пылают волны и руда.
Не верьте мне! — все уцелеет:
Земля, и небо, и вода.

Но человек, но зверь, но птица
Уже как уголья в золе...
Не верьте мне! — все сохранится
На окровавленной земле.

Где мудрецы? где серафимы?
Стеною кровь идет на кровь.
Не верьте мне! — неистребимы
Надежда, вера и любовь.

Март—май 1992.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧЕРТОВА ЯМА

Если же друг друга угрызете и съедите. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.

Святой апостол Павел.

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как бы изнемогши в долгом, непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах, до самых окон, налип серый, зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных далей прибывший, съежился от усталости и стужи.

Вокруг поезда, спереди и сзади тоже зябко. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались. Их смешало и соединило стылым мороком. На всем, на всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем неведомая, дух испускающая тварь, да резко пронзало оцепенелую мглу краткими щелчками и старческим хрустом, похожим на остатный чахоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души.

Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего, неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым, черным птицам.

Но лес нигде не проглядывался, не проступал, лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ощутимая волна, покойное дыхание настойчивой жизни, несогласие с омертвелым покоем, сковавшим божий мир. Оттуда, именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства, слышался словно бы на исходном дыхании испускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственней обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес, не иначе, тот отдаленно звучавший вой едва проникал в душные, сыро парящие вагоны, но галдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно сти-

хали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук.

Лешка Шестаков, угревшийся на верхней, багажной полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха: во вселенском вое иль стоне проступали шаги, грохот огромного строя — сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе, спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный мерзлый мир не воет, он поет.

Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно-злые люди в ношеной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять: где поют? кто поет? почему поют?

Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижном мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте исторгали ртами белый пар, вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные, протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не различались: «Шли по степи полки со славой громкой», «Раз-два-три, Маруся, скоро я к тебе вернуся», «Чайка смело пролетела над седой волной», «Ой да вспомним, братцы вы кубанцы, двадцать перво сентября», «Эх, тачанка-полтавчанка — все четыре колеса-а-а-а».

Знакомые по школе нехитрые слова песен, исторгаемые шершавыми, простуженными глотками, еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствия и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви. Но под сенью соснового леса звук грозных шагов гасило размичканным песком, сомкнутыми кронами вершин, собирало воедино, объединяло и смягчало человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и оттого, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху.

И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой...» — грозная поступь заняла даль и близь, она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром, гасила, снимала все другие, слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов — только грохающий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба, спаянного с землею звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, соединились в строй, начали хлопать обувью по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге в лад грозной той песне, и чудилось им: во вдавленных каблуками ямках светилась не размичканная брусника, но вражеская кровь.

Солдаты, угрюмо несущие на плечах и загорбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви задевающие и снег роняющие пэтээры с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий, на бой они шли, на кровавую битву, и не устало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами, обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувствовать возможно и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающем тобою, все уже трын-трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь.

И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые искрошившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в Лешке все не смолкало, все надломленно-грозно произносилось: «Вставай на смертный бой...» Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит — есть дела и вещи важней и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в которые он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню-заклинание, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно, сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем,

только рекой, только половодьем возможно прорваться ко краю света, к какой-то иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны и не важны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле.

Душу Лешки посетило то, что должно поселяться в казарме и в тюрьме,— вялое согласие со всем происходящим, и когда его назначили в первый наряд: топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами,— он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ: не спать, не спалить карантин, следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или, тем паче, пить горючку,— он покорно повторил приказание и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что, если кто нарушит, с тем разговор будет особый.

У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден, в запасном полку он оказался после госпиталя, с маршевой ротой вот-вот снова уйдет на передовую из этой чертовой ямы, чтоб она пропала, провалилась, сгорела в одночасье — так заявил он.

Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, реденько торчало что-то на прогнутых непробритых санках скул да сорно лепилась редкая поросль под носом, глаза желтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегши грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежился спиной, со щенячьим скулежом втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лешки хороший, хлеба еще маленько было, сала не велось. Лешка кивнул на толстобрюхие сидора угрюмых людей из старообрядческих таежных краев, обнимавших те сидора обеими руками, будто богоданную бабу,— эти осмодеи не обеднеют, если поделятся припасами.

Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев — многие уже спали, блатняки из золотишных забоев Байкита, Верх-Енисейска, с Тыра-Понта, как они говорили о других, секретных районах, сложив ноги калачом, сидели кругом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв с себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею, издаля давал игрокам советы и указания: чем бить, каким козырем крыть. В темном, дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные сальные плошки да лениво горящая чугунная печка без дверец, на краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали, прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы и не заметили.

На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился: «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого...»

— Отставить! — на всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал.

Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли.

Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице, сам опять устроился на чурбаке против квадратно прорубленного горячего отверстия, снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него.

В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье, тусклую жизнь со спертым, неподвижным воздухом глухого помещения, да и то изблизя лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах серы да слежавшейся хвои на нарах — вместо постели тоже настелены жесткие ветки — разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи.

Старообрядцы, уткнувшись смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посовещались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, состроенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную зобенку с солью, сделанную в виде

пенала. Яшкин достал из кармана складник, отрезал горбушку хлеба себе, подумал, отрезал еще ломоть и, назвав фамилию — Зеленцов,— сунул в тут же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся чистить луковицу.

— Сохатина! — раздался голос Зеленцова с нар, скоро и сам он сполз вниз, принюхался широкими, будто драными ноздрями, зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить.

— Некуряшшие мы,— потупился старообрядец.

— И не пьющие?

— По святым праздникам коды. Пива...

Лешка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простудой обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Че мы да мы?» — заныли парни и, брякая посудиной, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую, но сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в дужку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло, выше притвора далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света.

Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку, в песке зашипело. К воде потянулись жаждущие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатили ее ближе к трубе, в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислину и вонь.

На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облеплял печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чугунки, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок.

— Па-аа-абереги-ы-ы-сь! — послышалось в казарме, и от двери, весело брякая, покатились рыжие чурки, было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка, может, и какой другой лесины, уведенной откуда-нито находчивыми пильщиками.

Яшкин отодвинулся от устья печки, в дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала-подумала, пощелкала, постреляла да и занялась, загудела благодарно, замалинилась с боков. Народ, со всех сторон родственно ее объявший, ел картошку, расспрашивал, кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-однодворцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни, но паче всего, цепче всего укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых далях.

Старообрядец в знатном картузе назвался Колей Рындиным, из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл — притоке Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый, всего же детей в дому двенадцать, родни и вовсе не перечесть.

Над Колей начали подтрунивать, он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить, но когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину отнял.

— Я ж тебе, парнишша, говорил: покуль от еды воздержись, от картошки, да еще недопеченной, разнесет тебя ажник на семь метров против ветру...— Коля приостановился и гоготнул: — Не шшытая брызгов! — И далее серьезно, как политрук, повел мораль: — Понос штука переходчивая, а тут барак, опчество — перезаразишь народ.— Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголья и назидательно добавил: — Скипятится, и пей — как рукой сымет.

Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца.

— Что это? Что за лекарство? — расспрашивал народ, потому что не одному Петьке Мусикову — так звали парнишку-дристуна — требовалась медицинская подмога: дорогой новобранцы покупали и ели что попадя, напились сырого молока, воды всякой, вот и крутило у них животы.

— Сушеная черемуховая кора с ягодой черемухи, кровохлебка, змеевик, марьин корень и ешшо разное чего из лесного разнотравья, все это сушеное, толченое лечебное свойство освящено и ошоптано баушкой Секлетиньей — лекарем и колдуном, по всему Амылу известным. Хотя тайга наша богата умным людом, но против баушки...— Коля Рындин значительно взнял палец к потолку.— Она те не то что понос, она хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу — все-все вплоть до туберкулезу заговорит. И ишшо брюхо терет.

— Брюхо-то зачем? Кому? — веселея, уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкин.

— Кому-кому! Не мне жа! Жэншынам, конешно, чтобы ребеночка извести, коли не нужон.

Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коле Рындину место подле главного командира — Яшкина. Петьку Мусикова и еще каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он ими по-собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков.

— Если не уйметесь, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин.— Дрова пилить!

— Я б твою маму, генерал...

— Маму евоную не трожь, она у него целка.

— Х-хэ! Семерых родила и все целкой была!..

— Одного она родила, но зато фартового, гы-гы!..

— Сказал, выгоню!

— Хто это выгонит? Хто? Уж не ты ли, глиста в обмороке?

— Молчать!

— Карты не трожь, генерал! Пасть порву!

— У пасти хозяин есть.

— Сне-этки-ы, пас-скуда!

Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый, весь в наколках блатной и тут же, взлаяв, осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу. Лешка, Зеленцов, дежурные с помощниками двоих деляг сдернули с нар и заголившимися спинами тащили волоком по занозистым, искрошенным сучкам и тоже за дверь выбросили — охладиться. Зеленцов вернулся к печке с ножиком в руках, поглядел на кровоточащую ладонь, вытер ее о телогрейку, присыпал пеплом из печи, зажал и, оскалившись редкими, выболевшими зубами, негромко, но внятно сказал в пространство казармы:

— Шухер еще раз подымете, тем же финарем...

Блатняки утихли, казарма присмирела. Коля Рындин опасливо поозирался и с уважением воззрился на Зеленцова, на Яшкина: вот так орлы — блатняков с ножами не испугались! Это какие же люди ему встретились! Ну, Зеленцов, видать, ходовый парень, повидал свету, а этот, командир-то, парнишка парнишкой, хворый с виду, а на нож идет глазом не моргая — вот что значит боец! Поближе надо к этим ребятам держаться, оборонят в случае чего. Зеленцов уютно приосел на корточки, покурил еще, позевал, поплевал в песок и полез на нары. Скоро вся казарма погрузилась в сон.

Яшкин приспустил буденновский шлем, на подбородке застегнул его, поднял мятый воротник шинели, засунул руки в рукава, прилег в ногах новобранцев, на торцы нар, спиной к печи, и тут же запоскрипывал носом, вроде бы как обиженно.

— Хворат товариш сержант,— заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лешке: — Я те помогать стану, дежурить помогать. Че вот от желтухи примать? Каку траву? Баушка Секлетинья сказывала, да не запомнил, балбес.

— Да он с фронта желтый, со зла и перепугу.

— Да но-о!

Дежурные до утра не продержались. Лешка, привалившись к столбу нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и наконец сдался: обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засоренный окурками теплый песок, на ощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз — и

казарму сотряс такой мощный храп, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом вопросил:

— О-ой, мама! Че это такое? Где я?

Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками — все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынуто. Блатняки реготали, чесали пузо, какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных-поперечных. Вдали матерился Яшкин: несмотря на его приказ и запрет, нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержант и распахнул настежь тесовую дверь, в которую виден сделался квадрат высветленного пространства.

Яшкин пытался выдворить народ на улицу на умывание, несколько человек, среди них и Лешка Шестаков, вышли и нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли. В прореженном, стройном, или как его еще любовно называют — мачтовом, сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горбящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, толсто белел куржак над входами — это и был карантин двадцать первого стрелкового полка, его преддверие, его привратье. Мелкие, одноместные и четырехместные, землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хозслужб и просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение, никогда не обходилось и обойтись не может.

Где-то далее по лесу были или должны быть казармы, клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб полка, но карантин от всего этого отторжен на порядочное расстояние, чтоб новобранцы заразу какую в полк не занесли, чтоб в карантине прошли проверку, санобработку, баню, затем оформлены и распределены были по ротам. От бывалых людей, уже неделю, где и две ошивавшихся в карантине, Лешка узнал, что в баню их поведут ли, еще неизвестно, но вот в казармы, к месту, скоро определят — полк снарядил маршевые роты на фронт, и как только их отправят, очередной призыв, на этот раз ребята двадцать четвертого года заполнят казармы, начнется настоящая армейская жизнь. За три месяца молодняк пройдет боевую и политическую подготовку и тоже двинется на фронт — дела там шли не очень важно, перемалывались и перемалывались машиной войны полки, дивизии, армии, фронту, как карантинной печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь.

Пока же было приказано раздеться до пояса и мыться снегом. Но того, что зовется снегом, белого, рассыпчатого или нежно-пухового, здесь, возле Бердска, не было. Все вокруг испятнано мочой, всюду чернели застарелые коричневые и свежие желтенькие кучи, песок превращен в грязно-серое месиво, лишь подальше от землянок, под соснами, еще белелось, и из белого сквозь пленку снега светилась красная брусника.

Лешка хотел было сунуться в отхожее место, огороженное жердями и покрытое тоже жердями, но вокруг этого помещения и в самом помещении, где было сколочено из жердей седалище с прорубленными в жердях дырками, так загажено, так вонько и скользко, что отнесло его далеко от карантинных казарм, тем более что возле землянок, помеченных трубами, люди в подштанниках, в сапогах махали руками, ругались и отгоняли народ подальше, хватаясь за поленья и палки.

Лешка отбежал так далеко, что в сосняке появился подлесок и под ним тонкий слой снега, мало тронутый и топтаный. За плотно сдвинувшимися вдали сосняками чудилась река. «Уж не Обь ли?» — подумал он с тоской и начал набирать в горсти снегу, соображая: высаживались на станции Бердск, вроде бы это недалеко от Новосибирска, на Оби же... «Ах ты, родимая же ты моя!» — вздрогнул губами Лешка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться и все же думая, какая она здесь, Обь-то. Широкая ли? Там, в низовьях, в его родных Шурышкарах, она, милая, летами как разольется — другого берега не видать, в море превращается, до самого Урала доходит с одной стороны, в надгорья упирается, если бы не хребет, дальше бы разлилась, как разливается бескрайно у правого берега по тундре, открывая устье вширь до

такой большой воды, что и не знаешь, где Обская губа соединяется с морем, а море с нею.

Вспоминая родную северную местность, Лешка наскреб из-под снега горсть брусники и, услышав, что у землянок кличут людей, высыпав мерзлую ягоду в рот, поспешил к карантину. Там уже сбивалось что-то наподобие строя, только никак не могли выжить из подвала старообрядцев да каких-то еще больных или придуривающихся людей.

Подле каждой карантинной землянки колотилась, дрожала на утреннем холоду, присматриваясь и прислушиваясь к окружающей действительности, стайка плохо одетых, уже грязных парней с закопченными ликами. Они приплясывали, махали руками, кляли тех, кто прятался в казарме. Возникшие возле подвалов командиры в сером, сами тоже серые, сплошь костлявые, как щенят за шкирку, выбрасывали из землянок новобранцев.

Старообрядцы, пока не зашили мешки, из казармы не вышли. Начальник карантина, старший лейтенант в мятой, воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызволят всех служивых из помещений, сбил старообрядцев в отдельную небольшую стайку и, обходя угрюмо насупившийся пестрый строй карантина, уделил правофланговым особое внимание:

— Пока не сожрете харчи, сидора оставлять на нарах... (Старообрядцы уважительно глядели на светлые пуговицы и ремни командира. Что на поясе ремень — они понимали, у них у самих опояски на поясе, но вот еще зачем два ремня через плечи? Ежели б штаны держали, тогда понятно.) Н-на нарах! — повторил старший лейтенант,— назначайте своего дежурного, чтоб вас совсем не обшмонали. Остальным завтракать. Не все так богато запаслись вариантом? Не все?

Получив подтверждение, командир приказал вести людей в столовую, сказав на прощание: днями новичков распределят по казармам, там всякая вольница и разброд кончатся, наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы состричь, всем, у кого расстроены животы, кто простудился в пути, отправляться в санчасть, остальным заготавливать дрова, потому как приближаются настоящие сибирские морозы, после завтрака не бродить по расположению полка, в землянке будет политчас и личные знакомства с представителями строевых подразделений — с командирами рот и батальонов.

Следуя в столовую по расположению полка, с любопытством и тревогой смотрели новобранцы на строения военного городка, состоявшего все из тех же подвалов-казарм, только еще более длинных, плоских, не с одной, а с несколькими трубами и отдушинами, как в доподлинном овощехранилище, с двумя широкими раскатанными входами в подземелье, из которого медленно ползла иль постоянно над входом плавала пелена испарений, даже на отдаленный взгляд нечистых, желтушных. От морока и сырости над входом казарм намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка, под нею темнела раскисшая, большей частью уже развалившаяся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм высилось вширь расползшееся, в лес врубленное, никак не спланированное сооружение, еще не достроенное, с наполовину покрытой крышей и с не вставленными окнами. Просторное и престранное помещение — если его распилить повдоль, то получилось бы два, может, и три барака,— будущая столовая полка. Чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных продольным заборчиком из пиленых брусков. На домах и меж домов имелись щиты, на них лозунги, плакаты, портреты руководителей государства и армии. С крыши большого, тоже неуклюжего помещения, осевшего углами в песок и начавшего переламываться, сплошь облепленного плакатами, призывами, кинорекламой, звучало радио (клуб, смекнули новоприбывшие), а вокруг него все эти свежо желтеющие домики — штаб полка. Но догадались об этом не все. Старообрядцы и всякий таежный люд, коего средь новичков было большинство, глядели на штаб, точно праздные заморские путешественники на Венецию, суеверно притихнув, пытались угадать, откудова исходит музыка — с крыши какой или уж прямо с небес.

У парней посасывало в сердце, всем было тревожно оттого, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное, но и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий собранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколочен-

ными из двух плах прилавками, прибитыми ко грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве к прилавкам,— потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсаженно прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полуободранный лес, другим — в растоптанный пустырь, в этакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, чего-то вышаривали клювами в грязи, с криком отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в терпеливый строй.

Крестьянского роду парни по им известным приметам усекли — среди леса не песок, а грязь оттого, что были здесь прежде огороды, может, и пашни. Меж столов и подле раздачи грязь вовсе глубока и вязка. Питающийся народ одной рукой потреблял пищу, другой цепко держался за доску стола, чтобы не соскользнуть в размешанную жижу, не вымочить ноги. Впереди день строевых и прочих занятий на сибирском, все круче припекающем морозе. Деловитый гул, прерываемый выкликами и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой летней столовой, продлившейся до зимы. Звяк посуды, звон тазов, бренчанье ковшиков о железо, выкрики типа: «Быстренько! Быстренько! Н-не задерживай очереди!», «Сколько можно прохлаждаться?», «Пораспустили пузы!», «Минометная рота! Минометная рота!», «Отойди от окошка, отойди, сказано, не мешай работать!», «З-з-заканчивай прием пищи!», «Поговори у меня, поговори!», «А пайка где? Па-айку-у спе-орли-ы-ы!», «Взвод, на построение!», «Быстренько! Быстренько! Освобождать столы!», «Жуете, как коровы! Пора закругляться!», «Э-эй, на раздаче, в рот вам пароход, в жопу баржу! Вы когда мухлевать перестанете? Когда обворовывать прекратите?», «А-атставить!», «Поторапливаемся! Поторапливаемся!», «Да сколько можно повторять? Сказано, значит, все!».

Мест и здесь, как и во всех людских сборищах, как и везде в стране Советов, не хватало. Люди толпились у раздаточных окон кухни, хлеборезки, заняв стол-прилавок, держали за ним оборону. Получив кашу в обширные банные тазы из черного железа, стопки скользких мисок, служивые с непривычки не знали, куда с ними притиснуться, где делить хлеб, сахар, есть варево.

«Сюда! Сюда! Эй, карантинные, сюда!» — послышалось наконец из-за крайних столов от лесу, и новобранцы, пытаясь обогнуть грязь, мешковато потрусили на зов. Пока не сложились команды, не разбились люди на десятки, карантинный контингент, еще не связанный расписаниями, режимом, правилами, кормили в последнюю очередь, и насмотрелись, наслушались ребята всего. Вася Шевелев, успевший уже вдосталь «накамбайнериться» в колхозе, как он с усмешкой пояснял, глядя на здешние порядки, покачал головой и с грустным выдохом внятно молвил: «И здесь бардак».

Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали воришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами. Там, куда не доставала обувь стесанными подошвами, на ничейном месте, украдчиво выросшая, кучерявилась стылая мокрица, засоренная рыбьими костями.

Военный люд рассеялся, за столами сделалось просторно, однако никак не могли парни приспособиться одновременно есть и держаться за нечистые, обмерзлые плахи. Бывалые бойцы, уже одетые в новое обмундирование, на занятия не спешившие, позавтракав, облизав ложки и засунув их за обмотки иль в карманы, посмеивались над новичками, подавали им добродушные советы, просили закурить, которые постарше бойцы, значит и подобрей, наказывали: боже упаси стоять в грязи меж столами или оплескаться похлебкой — сушиться негде, дело может кончиться больницей, а больница здесь...

Покуривши, сделав оправку в лесу, со взводами и ротами уходили и эти мужики, а так хотелось еще с ними поговорить, разузнать про здешнюю жизнь, да что же разузнавать-то, сами не слепые — видят все.

Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепило покорностью и все поглощающей стужей зимнюю округу. Еще сильнее скрючило, сдавило там, внутри, у молодых парней, тяжкие предчувствия вселял хоть небольшой, не в братстве нажитый опыт: поздней осенью здесь будет еще хуже.

А раз так, скорее бы уж на фронт вслед за этими основательными дяденьками, которые где уберегли бы от беды, где подсказали чего, где и поругали бы — уцелеешь, не уцелеешь в бою, не от тебя только одного зависит, на войне все

делают одно дело, там все перед смертью равны, все одинаково подвержены выбору судьбы. Так близко и так далеко-далеко от истины были в этих простецких, бесхитростных думах только начавшие соприкасаться с армейской жизнью молодые служивые.

С новобранцев, которые были нестрижены, снимали волосье. Старообрядцы с волосом расставались трудно, однако стоически, крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев; один старообрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров, каких-то лишь нашим людям известных тужурок, телогреек, пальто и им подобных одежд, водворив вместо подушки сидора под головы, ребята пробовали спать, однако день выдался суматошный, их то и дело сгоняли с нар, выдворяли из помещения, выстраивали, осматривали, переписывали, разбивали по командам, не велели никуда разбредаться, ждать велели, но чего ждать — не сказывали. Уже тут, в полужилом подвале, на подступах к военной службе, парням внушалась многозначительность происходящего, веяние какой-то тайны, все тут насквозь пронзившей, должно было коснуться даже этого пока еще полоротого, разномастного служивого пролетариата.

Многозначительность, важность еще больше возросли, когда началась политбеседа. Не старый, но, как почти все здешние командиры, тощий, серый ликом, однако с зычным голосом капитан Мельников, при шпалах и ремнях, оглядел внесенную за ним двумя новобранцами в помещение треногу, пошатал ее для верности, пришпилил к доске кнопками политическую изношенную карту мира с едва видными синенькими, желтыми, коричневыми и красными странами и материками, среди которых раскидисто малинилось самое большое на карте пятно — СССР, уверенно опоясавшее середину земли.

Одернув гимнастерку, причесавшись расческой, капитан Мельников продул ее, из-подо лба наблюдая за рассаживающимися по краям нар новобранцами, провел большими пальцами под ремнем, сгоняя глубокие, бабьи складки на костисто выгнутую спину, сосредоточиваясь на мыслях, кашлянул, уже скользом оглядел публику, плотно рассевшуюся в проходе, но не вместившуюся ни на плахах, ни на нарах, по-куриному приосевшую на корточки спиною к коленям сидящих сзади,— сцепка людей была всеобщая, по казарме никто не смел бродить, курить тоже запрещалось.

— Наши доблестные войска, переламывая превосходящие силы противника, ведут упорные кровопролитные бои на всех фронтах,— начал неторопливо, как бы взвешивая каждое слово, капитан Мельников.— Враг вышел к Волге, и здесь, на берегах великой русской реки, он найдет свою могилу, гибельную и окончательную...

Голос политотдельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей, вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось — как это немцы умудрились достичь Волги, когда по всем статьям все должно быть наоборот и доблестная Красная Армия должна топтать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение да и только! Обман зрения. Напасть. Бьем врага отчаянно! Трудимся героически! Живем патриотически! Думаем, как вождь и главнокомандующий велит! Силы несметные! Порядки строгие! Едины мы и непобедимы!.. И вот на тебе — враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом, половину страны и армии как корова языком слизнула, кто кого доламывает — попробуй разберись без поллитры.

Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все ж веровать хочется. Закроешь глаза — и с помощью отца-политотдельца пространства такие покроешь, что и границу не заметишь, в чужой огород перемахнешь, в логове окажешься, и, главное дело, время битвы сокращается с каждой минутой. Что как не поспеешь в логово-то? Доблестные войска до тебя домолотят врага? Тогда ты с сожалением, конечно, но и с облегчением в сердце вернешься домой, под родную крышу, к мамке и тятьке. Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары из жердинника, оторопь от летней столовой, смрад и угарный дым в казарме, теснящая сердце тоска. И дремалось же сладко под это словесное убаюкивание. Своды карантина огласил рокот — не иначе как камнепад начался над казармой, кирпичная труба

рассыпалась и рухнула, покатилась по тесовой крыше. Капитан Мельников и вся ему внимавшая публика обмерли в предчувствии погибели. Рокот нарастал.

— Встать!

Рокот оборвался. Все ужаленно вскочили. Коля Рындин, мостившийся на конце плахи, упал в песок на раздробленное сосновое месиво, шарился под нарами, отыскивая картуз, который он только что держал на коленях.

— Кто храпел?

Коля Рындин нашел картуз, вытряхнул из него песок, огляделся.

— Я, поди-ко.

— Вы почему спите на политзанятиях?

— Не знаю.— Коля Рындин подумал и пояснил: — Я завсегда, коль не занят работой, сплю.

Народ грохнул и окончательно проснулся. Капитан снисходительно улыбнулся, велел всем сесть, но нарушителю приказал стоять, пообещав, что как перейдет новоприбывшее войско на казарменное положение, так просто никому не спишется срыв важнейшего воспитательного предмета, каким являются политические занятия, такому вот моральному отщепенцу, храпуну, кроме своих прихотей ничего не уважающему, уделено будет особое, самое пристальное внимание. Коля Рындин напугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отщепенцем ему еще не доводилось, пнем горелым торчал среди полутемной казармы, на всякий случай, пригнувшись под потолком, изо всех сил старался слушать политбеседу, но непобедимая дрема окутывала его, размягчала, уносила вдаль, качала-убаюкивала, и, боясь рухнуть наземь средь почтительной беседы, он принял меры безопасности.

— Ширяй меня под бок, если што,— шепнул он рядом сидящему парню.

— Чего, если что?

— Под бок ширяй, да пошибчее, а то погибель.

Политбеседа закончилась обзором мировых событий, уверением, что не иначе как к исходу нынешнего года, но скорее всего по теплу союзники — Англия и Америка — откроют второй фронт, капитан попросил, чтоб бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка. Нашлись два-три смельчака, отыскали дальние страны союзников на карте. Коля Рындин, которому наконец-то позволили сесть, вытянул шею, глядел на деревянную указку, шепотом спрашивал:

— Какой оне веры?

— Бусурманской.

— Я так и думал. Потому оне и не отворяют другой фронт, штобы мы надорвались, обессилели. Тоды они нехристей на нас напустют.

Ребята, удивленно открыв рты, внимали Коле Рындину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев, мучал заморенное сознание, сосредотачиваясь перед новой беседой — ему предстояло побывать во всех казармах карантина да еще провести, уже вечером, последнее, наставительное занятие с младшими командирами одного из маршевых батальонов. Работал капитан Мельников так много, так напряженно, главное, так политически целенаправленно, что ему не только пополнять свои куцые знания, но и выспаться некогда было. Он считал, что так оно и должно быть: сгорать на партийно-агитационной работе дотла во имя любимой Родины и героического советского народа — его назначение, иначе незачем было в армию идти, в политучилище маяться, которое он уже забыл, когда закончил, да и себя мало помнил, потому как себе не принадлежал, зато числился не только в полку, но и во всем Сибирском военном округе одним из самых опытных, пусть и слабообразованных политработников.

Карантинная жизнь густела и затягивалась. Маршевые роты отчего-то не отправлялись по назначению и не освобождали казармы. В карантинных землянках многолюдствие и теснота, драки, пьянки, воровство, карты, вонь, вши. Никакие дополнительные меры вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед, попыток проводить занятия по военному делу не могли наладить порядок и дисциплину среди шатучего людского сброда. Давно раскурочены котомки старообрядцев и их боевых сподвижников, давно кончился табак, но курить-то охота и жрать охота. Промышляй, братва! Ночами пластаются котомки вновь прибывших, в землянках идет торг и товарообмен, в столовке под открытым

небом кто пожрет два раза, кто ни разу. Лучше, чем дома, чувствовали себя в карантине жулики, картежники, ворье, бывшие урки-арестанты. Они сбивались в артельки, союзно вели обираловку и грабеж, с наглым размахом, с неуязвимостью жировали в тесном, мрачном людском прибежище.

Были и такие, как Зеленцов, добычу вели особняком, жили по звериному уединению. Правда, для прикрытия Зеленцов сгрудил возле себя несколько бойких парнишек — двух бывших детдомовцев Хохлака и Фефелова, работяг Костю Уварова и Ваську Шевелева,— за песни уважал и кормил Бабенко, не отгонял от себя Зеленцов и Лешку Шестакова и Колю Рындина — пригодятся.

Хохлак и Фефелов — бывшие беспризорники, опытные щипачи — работали ночами, днем спали. Если их начинали будить и назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костя Уваров и Вася Шевелев ведали провиантом — занимали очереди в раздаточной, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь, торговали, меняли вещи на хлеб и табак, где-то в лесных дебрях добывали самогонку. Лешка Шестаков и Коля Рындин пилили и таскали дрова, застилали искрошенный лапник на нарах свежими ветками, приносили воду, вырыли в отдалении и загородили вершинами сосняка персональный нужник. Лишь Петька Мусиков уединенно лежал в глубине нар, вздымаясь только по нужде и для принятия пищи. Зеленцов сидел на нарах, ноги колесом, руководил артелью, «держал место», наливал, отрезал, делил, насыпал, говоря, что с ним ребята не пропадут и что здесь припеваючи можно просидеть всю войну.

Однажды вечером новобранцам велели покинуть казармы. Мятые, завшивленные, кашляющие, не строем, разбродным стадом пришли они в расположение рот. Их долго держали на пронизывающем ветру. В потемках уже, под тусклыми пятнышками света, желтеющими над входами в казармы, туда-сюда бегали, суетились командиры, мерзло стуча сапогами, выкрикивали поименно своих бойцов, ругались, подавали команды. Важные лица до самой звездной ночи считали и проверяли маршевые роты в полном снаряжении, готовя их к отправке. Маршевики были разных возрастов, ребятишкам-новобранцам, превратившимся в доходяг, обмундированные, подтянутые солдаты казались недоступными, они звали их дяденьками, раболепно заискивали перед старослужащими, делились табачишком, у кого остался. Невзирая на строгую военную тайну, маршевики уже знали и говорили, что направляют их на Сталинград, в дивизию Гуртьева, в самое пекло. Подточенные запасным полком, бледные, осунувшиеся, костистые, были бойцы угрюмы и малоразговорчивы, но табачок да землячество сближали их с ребятишками.

Ночь уже была, мороз набирал силу. Перемерзшие люди начали разводить костерки, ломая на них пристройки, отдирая обшивку с тамбура казармы, наличники от дверей, мгновенно была разобрана и сожжена загорожа ротного нужника. Отобравши у новобранцев все, что было с ними из жалкого имущества, в карантин ребят не возвращали, а им уже раем казался душный темный подвал.

Поздней ночью поступила команда войти в расположение первой роты первого батальона сперва маршевикам, затем новобранцам.

Началась давка. В казарме, настывшей без людей, выветрился и живой дух. Вонько было от карболки и хлорки — успели уже провести дезинфекцию, повсюду на склизлый, хлябающий пол, настланный прямо на землю и сгнивший большей частью, был насыпан белый порошок, на нары, под нары, даже и вокруг громоздких небеленых печей, толсто облепленных глиной, слоем навален порошок. Мало стоит, видно, этот порошок, вот и навалили его без нормы — не жалко.

Маршевые роты смели рукавицами с нар порошок, заняли свое место. Ребятам-новобранцам велено было находиться в казарме, ждать отправки маршевиков и тогда уж располагаться на нарах. Известно, что солдат всегда солдат и была бы щель — везде пролезет, находчивость проявит. Так и не дождавшись никакого подходящего момента до самого утра, парни совались на нары к маршевикам, те их не пускали, ребятишки-то во вшах, уговаривали, урезонивали ребят, однако те упорно лезли и лезли в людскую гущу, в тепло. Тогда их начали спинывать, сшибать с нар, дубасить кулаками, стращать оружием.

Та злобная, беспощадная ночь запала в память как бред. Лешка Шестаков вместе с Гришей Хохлаком примазывался на нары, хотя бы нижние, хотя бы в

ногах спящих, но маршевики молча их спинывали стоптанными жесткими ботинками на холодный пол. Один дядек все же не выдержал, в темноте проскрежетал:

— Ат армия! Ат бардак! Да пустите парнишшонок на нары. Пустите. Черт с ними, со вшами! Че нам, привыкать? До смерти не съедят.

Зеленцов чувствовал себя и здесь как дома. Он растопил печку какими-то щепками, обломками пола, когда к теплу потянулись доходяги, сказал, что подпускать к печи будет только тех вояк, которые с дровами. Затрещали половицы, облицовка нар, в проходе ступеньки хрустнули, скрежетали гвозди. Лешка с Хохлаком сходили на улицу, собрали возле давешних костерков куски досок, сосновые сучья, бодро грохнули беремце топлива к дверце печки. Зеленцов приблизил их к себе. «Главное, братва, не ложиться на пол, прежь всего боком не вались — простудите ливер»,— увещевал он.

Парни держались героически. Печка постепенно и нехотя разгоралась, от нее поплыло волглое, глиной пахнущее, душное тепло. Перемерзлых ребят одного за другим валило на пол к сырому боку печи. Лешка с Хохлаком еще и еще ходили за дровами к карантину, к офицерским землянкам, где могли их и пристрелить. Коля Рындин приволок из тайги на плече долготьем сухостоину, положил ее концом на возвышение крыльца и, дико гакая, прыгая, крушил сосну ногами. Но и этого топлива не хватило до утра. Разогнавшись что паровоз, печка не знала устали, с гулом, аханьем пожирала жалкую древесную ломь, огненная ее пасть делалась все красней, все яростней и слопала наконец, испепелила все топливо, пожрала силы бойцов. Они пали вокруг печки, будто на поле брани. Зеленцов, Бабенко и Фефелов, дождавшись бесчувственного сна войска, напослед очищали карманы и сидора маршевиков, но тем еще не выдали дорожный паек, личных вещей у них почти не осталось, издержались, проели, променяли всякое имущество дядьки за месяцы службы в запасном полку. С пяток ножей-складников, пару портсигаров да несколько мундштуков и сотню-другую бумажных денег добыли мародеры и от разочарования, не иначе, тоже уснули, прижавшись спинами к подсохшему горячему боку печки.

Лешке тоже удалось притиснуться, и когда, как он от печки отслонился или его отслонили — не помнил. Наяву иль во сне мелькнуло, как его, вывалянного в порошке, пинали, загоняли куда-то. Не открывая глаз, он вскарабкался наверх и, нащупав твердое место, провалился в зябко его окутавший сон.

Маршевую роту наутре все же подняли и отправили на станцию Бердск. Усатый старшина первой роты по фамилии Шпатор, жалея ребятишек, которые отныне поступали в его распоряжение, затаскивал их вместе с дежурным нарядом на нары. Когда отгрешились, отругались, пинками забивая служивых на спальные места, старшина, тяжело дыша, выдохнул:

— Н-ну, с этими вояками будет мне смех и горе!

Спальные места — трехъярусные нары с железными скобами в столбах. Посередке сдвоенных нар точно по шву шалашиком прибиты доски — изголовье, оно две службы сразу несло: спать как на подушке позволяло и отделяло повзводно спящих головами друг к другу людей — с той стороны второй взвод, с этой первый, не спутаешь при таком удобстве.

Половина мрачной, непродышливой казармы с выходом к лесу и к нужнику, с тремя ярусами нар — это и есть обиталище первой роты, состоящей из четырех взводов. Вторую половину казармы с выходом к другой такой же казарме занимала вторая рота, все вместе будет первый стрелковый батальон двадцать первого резервного стрелкового полка.

Плохо освещенная казарма казалась без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие, от сотворения своего не мытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные меж землей и крышей, свинцовели днем и ночью одинаково мертво-лунным светом. Стекла при осадке в большинстве рам раздавило, отверстия были завалены сосновыми ветвями, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печи, не то голландки, не то просто так, без затей сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли иль сослепу сюда нечаянно забредших, с одним отверстием — для дверцы — и броневым листом вместо плиты, загораживали проходы казармы. Главное достоинство этой отопительной системы было в тяге:

короткие, объемистые, что у парохода, трубы, заглотав топливо, напрямую швыряли в небо тупыми отверстиями пламя, головешки, уголья, сорили искрами густо и жизнерадостно, чудилось, будто над казармами двадцать первого полка каждый вечер происходит праздничный фейерверк. Будь казармы сухими, не захороненными в снегу — давно бы выгореть военному городку подчистую. Но подвалы сии ни пламя, ни проклятье земное, ни силы небесные не брали, лишь время было для них гибельно — сопревая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, с копошащимся в них народом, точно зловещие гробы обреченно погружались в бездонные пучины.

Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенных фонаря с выбитыми стеклами, полки с жировыми плошками, прибитые к стене против каждого яруса нар, к стене же прислонен стеллаж — для оружия, в стеллаже том виднелись две-три пары всамделишных русских и финских винтовок, далее белели из досок вырубленные макеты. Как и настоящие винтовки, они пронумерованы и прикручены проволокой к стеллажу, чтоб не стащили на топливо.

Выход из казармы увенчан дощатыми, толсто обмерзшими воротами, к ним вели снизу вверх деревянные, выбитые ногами ступени. Еще тут, по ходу, две пристройки: по левую руку — каптерка ротного старшины Шпатора, зорко оберегающего необременительное ротное имущество, справа — комната дневальных с отдельной железной печью, подле которой всегда имелось топливо, потому как дежурка употреблялась для индивидуального осмотра контингента роты по форме двадцать, а также для свиданий с родными, которые отчего-то ни разу еще сюда не приезжали, ну и вообще для всяких разных нужд и надобностей.

Более ничего примечательного в этом помещении не было. Казарма есть казарма, тем более казарма советская, тем более военной поры,— это тебе не дом отдыха с его излишествами и предметами для интересного досуга. Тем более это не генеральские апартаменты — здесь все сурово, все на уровне современной пещеры, следовательно, и пещерной жизни, пещерного быта.

Лешка просыпался долго, еще дольше лежал, вслушивался в себя, привыкая к гулу, ко климату заведения, в котором ему предстояло жить и служить. С нар, с самого их верха — во куда во сне занесло! — ему был виден краешек продолговатой темной рамы. Стеклышки в ней искрошены и отчего-то не вынуты, так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью — для тепла, догадался Лешка и отметил про себя: «Будто в берлоге», но смятения не испытал, только тупая покорность, в него вселившаяся еще с карантина, угнетала и поверх этого томили еще два желания — хотелось до ветру и поесть.

Кто как, кто где спали ребята, которые проснулись, покуривали, переговаривались, подавленно глазели на окружающую действительность. Справа и слева от Лешки разместилась компания Зеленцова. Широко распахнув рот, подобрав под сношенный шабур локтистые руки, спал, не давая себе разойтись в храпе, Коля Рындин. «Во дает...» — Лешка не успел докончить вялую мысль, как бодрый, почти веселый, не по-стариковски звонкий голос старшины Шпатора взвился в казарме:

— А, па-а-ааадье-омчик, служивые! Па-а-ааадье-ооомчик! Па-адьем-чик! Служба начинаится, спанье кончаится! Будем к порядочку привыкать, к дисциплиночке!

Да не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые, мало кто шевельнулся. Старшина вынужден был кого-то дернуть за ногу.

— Тебе, родной, отдельную команду подавать, памашь? Тут вам не у мамки на печи! Тут армия, памашь!

В этот день прибывших из карантина новобранцев кормили разом завтраком и обедом, да еще и от маршевых рот, рано угнанных на станцию, хлебово в котлах осталось — наелись от пуза, повеселели молодые воины, решили, что так оно и дальше будет. Когда отобрали из первой и второй рот по десятку ребят и послали те команды топить баню — еще веселее сделалось. В казарме разговоры пошли о том, что там, в бане, обмундируют их, белье и амуницию новые выдадут, говорили, будто бы уже видели, как на подводе полушубки, валенки и еще чего-то повезли, и совсем уж обнадеживающие для жизни новости докатились до рот: пока служивые моются, обмундировываются, им приготовят сюрприз — старшина с дежурными разложат по нарам постельные принадлежности: на каждого служивого по одеялу, наволочке и по одной, может, и по две просты-

ни — отдыхай, набирайся сил и умения для войны, молодой человек, страна и партия о тебе думают, заботятся, помогают готовиться для грядущих битв.

В глуби казармы, в земных ее недрах, возник и зазвучал высокий, горя не знающий голос:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали...

Лешка по голосу узнал Бабенко, подтянул ему, не ведая еще, что долго он теперь в этом месте, в этой яме, называемой и без того презренным словом «казарма», никаких песен не услышит.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С того самого дня, со вселения в расположение первого батальона, ребята из первой и других рот все время ждали изменения к лучшему в своей жизни и службе. Новое обмундирование им не дали, всех переодели в б/у — бывшее в употреблении. Лешке Шестакову досталась гимнастерка с отложным воротником, на которой еще были видны отпечатки кубиков,— командирская попалась гимнастерка, зашитая на животе. Не сразу узнал он, отчего гимнастерки и нательные рубахи у большинства солдат зашиты на животе. Нелепость какая-то, озорство, тыловое хулиганство, думал он.

Баня новая, из сырых, неокоренных бревен, печи в ней едва нагрелись, воды горячей обошлось лишь по тазу на брата. В парной каменка чуть шипела. Коля Рындин, вознамерившийся похлестаться веником, где-то подобранным, хлобыстнул на гору камней таз воды, каменка отозвалась слабым, исходным сипением, чахоточно кашлянула, потрещало что-то в недрах, будто парнишки сперли у отца горсть пистонов и набросали в каменку, и все сконфуженно утихло. Держа обеими ручищами своего ребенка, Коля Рындин постоял, подождал еще звуку и пару и боязно, будто от покойника, упятился из мокрой парилки к народу, в моечную.

Пока обмундировывались, совсем продрогли парни. Особенно досталось Коле Рындину и солдату Булдакову, недавно присланному в роту: все обутки, вся одежа в ворохах и связках была рассчитана на среднего человека, даже на маломерков, но для двухметрового Коли Рындина и такого же долговязого Лехи Булдакова ничего подходящего не находилось. Едва напялили они на озябшее сырое тело опасно трещавшее белье, гимнастерки, штаны же застегнуть не могли, шинели до колен, рукава едва достигали локтей, на груди и на брюхе не сходилось. Коля Рындин и Леха Булдаков насунули в ботинки до половины ноги, ходили на смятых задниках, отчего сделались еще выше, еще нелепей, да и стоять приловчиться не могли — шатало. Старшина Шпатор, выстроив роту, горестно глядел на гренадеров этих, сокрушенно качал головой, сулился поискать на складе амуницию, привести в порядок чудо-богатырей советской армии, но сулился вяло, не веря в успех. Коля Рындин спотыкался, бредя в казарму, сбивая шаг, его толкали в спину, шиньгали, ругали. Пряча под шинелью кожаный картуз как вещь редкую, исключительно ценную, которую полагалось сдать вместе с остальными шмутками, Коля Рындин терпел тычки и поношения, но вот Булдаков, споткнувшись раз-другой, спинал ботинок сначала с левой ноги, затем с правой, стиснул портянки в горсти и пошел по морозу босиком. Старшина Шпатор открыл рот. Рота смешала строй, остановилась. Булдаков удалялся.

— Э-эй! — подал голос старшина Шпатор.— Ты это, памашь, че? Простудисся...

Булдаков шел по дороге, незастегнутые кальсоны вместе с брюками сползли с живота, мели тесемками снег. Время от времени Булдаков подхватывал тряпицы, поддергивал их до живота и топал дальше.

Сделав небольшой крюк, Булдаков сравнялся со штабом полка и, шагая вдоль брусчатой ограды, рявкнул, рубя босыми ногами по стылой дороге:

Взвейся, знамя комунизьма,
Над землей трудящих масс...

— Эй, эй,— держа старые, скореженные ботинки в руках, бежал следом старшина Шпатор,— эй, придурок! Эй, товарищ боец! Как твоя фамилия?

Булдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней и удалился в глубь казарм, там бегом рванул в расположение, взлетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном шинели.

Военный чиновный люд, высыпавший из штаба полка на крашеное крылечко, который удивить вроде бы уж ничем было невозможно, все же удивился. Один штабист совсем разнервничался, подозвал старшину:

— Что за комедия? Что за бардак?

— А бардак и есть! — выдохнул старшина Шпатор, указывая ботинками на бредущую из бани первую роту.— Оне вон утверждают, памашь, весь мир — бардак, все люди — бляди. И правильно, памашь! Правильно! Вы вот,— увидев, что штабист собрался читать ему мораль,— вместо лекции две пары ботинок сорок седьмого размера мне найдите, а энти себе оставьте либо полковнику Азатьяну подарите на память.— И, поставив сморщенные ботинки на крашеное крылечко, дерзко удалился, издаля крича что-то первой роте, какие-то команды подавая и в то же время горестный итог подводя от знакомства со свежим составом роты: ежели в нее угодило с пяток этаких вот бойцов-богатырей, артистов, как тот, что показал строевую неустрашимость, ему при его годах и здоровье долго не протянуть.

Не выдали служивым ни постелей, ни пожиток, ни наглядных пособий, ни оружия, ни патронов, зато нравоучений и матюков не жалели и на строевые занятия выгнали уже на другой день с деревянными макетами винтовок, вооружив — для бравости — настоящими ружьями лишь первые две четверки в строю. И слилась песня первой роты с песнями и голосами других взводов, рот, чтобы со временем превратиться во всеобщий непрерывный вой и стон, от темна до темна звучащий над приобским широким лесом. Лишь голос Бабенко, сам себе радующийся, перекрывал все другие голоса: «Распрягайте, хлопцы, коней тай лягайте спочивать...» — и первый взвод первой роты со спертым в груди воздухом в ожидании припева замирал, карауля свой момент, чтобы отчаянно выдохнуть: «Раз-два-три, Маруся!..»

Шли первые дни и недели службы. Не гасла еще надежда в сердцах людей на улучшение жизни, быта и кормежки. Еще пели в строю, еще радовались вестям из дому, еще хохотали; еще про девок вспоминали красноармейцы, закаляющиеся в военной однообразной жизни, втягивающиеся в казарменный быт, мало чем отличающийся от тюремного, упрямо веруя в грядущие перемены. На таком краю человеческого существования, в таком табунном скопище, полагали они, силы и бодрость сохранить, да и выжить,— невозможно. Ребята — вчерашние школьники, зеленые кавалеры и работники — еще не понимали, что в казарме жизнь как таковая обезличивается: человек, выполняющий обезличенные обязанности, делающий обезличенный, почти не имеющий смысла и пользы труд, сам становится безликим, этаким истуканом, давно и незамысловато кем-то вылепленным, и жизнь его превращается в серую пылинку, вращающуюся в таком же сером, густом облаке пыли.

Колю Рындина и Леху Булдакова на занятия не выводили по причине некомплектности — чтоб не торчали они чучелом над войском, не портили ротной песни, блажа чего попало, потому как старообрядец ни одной мирской, тем более строевой песни не знал, вставлял в такт шага свои слова: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас...» Леха Булдаков малой обувью швырялся, вел себя мятежно. Эту пару заставляли таскать воду в ротный бачок, мыть пол, если набросанные на землю горбылины и полусгнившие плахи можно было назвать полом, пешней и лопатой скалывать снег у входа в казарму, залитый мочой, чистить нужник, пилить и колоть дрова, топить печи в казарме и в дежурке да в каптерке старшины.

Булдаков от работы уклонялся, бессовестно эксплуатировал Колю Рындина. Коля же работал добросовестно, ему перепадало за труды кое-что из приварка за счет больных и темных лиц, не являющихся ко двору, даже в дежурку за едой, для них принесенной, не спешащих. Да и Булдаков порой исчезал куда-то, приносил съестное в карманах и под полою — воровал, поди-ко, Господь его прости, но добычей делился, добрый и отчаянный он человек.

Дома, в Верхнем Кужебаре, Коля Рындин утром съедал каравай хлеба, чугунок картошки или горшок каши с маслом, запивал все это кринкой молока. За обедом он опоражнивал горшок щей, сковороду драчены на сметане или

картошки с мясом либо жаровню с рыбой и на верхосытку уворачивал чугун паренок из брюквы, свеклы и моркови, запивал все это крепкое питанье ковшом хлебного кваса либо опять же простоквашей. На ужин и вовсе была пища обильной: капуста, грибы соленые, черемша соленая, рыба жареная или отварная, поверху квас, когда и пиво из ржаного сусла, кулага из калины.

В посты, особенно в Великий пост, страдал парень от голода сильно, случалось, и грешил, тайком чего-нибудь съевши, но и каялся, опять же молился. А здесь вот ни тебе молитвы, ни тебе покаянья, воистину антихристово пристанище, бесовское ристалище.

Коля Рындин родился и рос на изобильных сибирских землях возле богатой тайги и реки Амыл. Нужды в еде никогда не знал, первые месяцы войны пока еще губительно не отозвались на крестьянском пропитании, не пошатнули их вековечного рациона, но в армии, после того как опустела котомка, старообрядец сразу почувствовал, что военное время — голодное время. Коля Рындин начал опадать с лица, кирпичная каленость сошла с его квадратного загривка, стекла к щекам, но и на щеках румянец объявлялся все реже и реже, разве что во время работы на морозе. Брюхо Коли Рындина опало, несмотря на случайные подкормки, руки вроде бы удлинились, кость круче выступила на лице, в глазах все явственней сквозила тоска. Коля Рындин не раз уж замечал за собой: забывает помолиться на сон, перед едою, пусть молчком, про себя, но Господь-то все равно все ведает и молитву слышит, да и молитвы стал он путать, забывать.

Перед великим революционным праздником наконец-то пришли специальной посылкой новые ботинки для большеразмерных бойцов. Радуясь обновке что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову Лехе и тут не уноровили, он ботинки с верхотуры нар зафитилил так, что они грохнули об пол. Старшина Шпатор грозился упечь симулянта на губу, и когда служивый этот, разгильдяй, снова уклонился от занятий, явился в казарму капитан Мельников, дабы устранить недоделки здешних командиров в воспитании бойца. Симулянт был стащен с уютных нар, послан в каптерку, из которой вышел старшина.

Комиссар, как ему и полагается, повел с красноармейцем беседу отеческим тоном. Как бы размякнув от такого отечески-доверительного обращения, Булдаков жалостливо повествовал о себе: родом из окраинного городского поселка Покровки, что на самой горе, на самом лютом ветру по-за городом Красноярском, туда и транспорт-то никакой не ходит, да там и народ-то все больше темный-претемный живет-обретается; с раннего детства среди такого вот народа, в отрыве от городской культуры, в бедности и труде. Кулаков? Нет, никаких кулаков в родне не водится. Какие кулаки в городу? Элементу? Элементу тоже нет — простая советская семья. Кулаки же, паразиты,— это уж на выселках, по-за речкой Качей, там, там, за горами, оне кровь из батраков и пролетариата сосут. В Покровке же рабочий люд, бедность, разве что богомолки докучают. Кладбище близко, собор в городу был, но его в конце концов рванули. Богомолок тоже отлавливают и церкву прикрыли в Покровке, чтоб не разводился возле нее паразитирующий класс. Насчет сидеть? Тоже как будто все чисто.

О том, что папаня, буйный пропойца, почти не выходит из тюрьмы и два старших брата хорошо обжили приенисейские этапные дали, Булдаков, разумеется, сообщать воздержался, зато уж пел он, соловьем разливался, повествуя о героическом труде на лесосплаве, начавшемся еще в отроческие годы.

О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы, Булдаков тоже умолчал. А вот о том, что на реках Мане, Ангаре и Базаихе грудь и ноги застудил, повествовал жарко и складно, да что ноги, в них ли дело, зато познал спайку трудового народа, энтузиазм социалистического соревнования ощутил, силу рабочего класса воочию увидел, крепкую закалку прошел, вот отчего, рассердившись на вещевой склад, по снегу босиком прошел и не простудился. С детства ж, с трех лет, зимой и летом, как и полагается пролетарью, на ветру, на холоду, недоедая, недосыпая, зато жизнь героическую изведал и всем сердцем воспринял. Нет-нет, не женат. Какая жена! Какая семья! Надо на ноги крепко встать, бедной маме помогать, папу издалека дождаться, да и уцелеть еще на войне надо, урон врагу нанести, преж чем о чем-то всяком другом думать.

Мельников начал впадать в сомнение — уж не дурачит ли его этот говорун, не насмехается ли над ним?

— Придуриваетесь, да? Но я вам не старшина Шпатор. Вот велю вас под суд отдать...

Булдаков поманил пальцем Мельникова, вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ухо комиссару, шепотом возвестил:

— Не стращай девку мудям, она весь видала!

Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо.

— Вы! Вы... что себе позволяете?

Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился.

— У бар бороды не бывает! — заорал припадочным, срывистым голосом.— Я в дурдоме родился. В тюрьме крестился! Я за себя не отвечаю. Миня в больницу надо! В психи-атри-ческу-у-у!..— И брякнулся на пол, пнув по пути горящую печку, сшиб трубу с патрубка, дым по каптерке заклубило, посуда с полки упала, котелок, кружка, ложки, пол ходуном заходил, изо рта припадочного повалила пена.

Капитан Мельников не помнил, как выскочил из каптерки, спрятался в комнате у дежурных, где сидел, поскорбев лицом, все слышавший старшина Шпатор.

— Может, его... может, его в новосибирский госпиталь направить... на обследование?..— отпив воды из кружки дежурных, вопросил нервным голосом Мельников.

Старшина дождался, когда дежурные подадут капитану шинель и шапку, безнадежно махнул рукою.

— Половину роты, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты... Ладно уж, я сам их обследую. И рецепт пропишу, памашь, каждому, персонально.

С тех пор, проводя в казарме политзанятия, капитан Мельников опасливо косился в сторону Булдакова, ожидая от него какого-либо подвоха. Но красноармеец вел себя примерно, вопросы задавал только по текущей политике, интересуясь в основном деятельностью Даладье и Чемберлена да кто правит ныне в Африке — черные иль все еще белые колонизаторы-капиталисты.

Бойцы уважали Леху Булдакова за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность. Мельников с опаской думал: «Чего это он насчет Даладье и Чемберлена-то?..»

На 7 ноября открыли наконец-то зимнюю столовую. В зале, напоминающем сельский стадион, за столами, не по всей еще площади закрепленными на укосинах, сидя на еще не убранных опилках, на полу и на скамейках, полк слушал доклад товарища Сталина из Москвы. В столовой, свежо пахнущей пиленым тесом, смолистой сосною, раздавался негромкий и неторопливый голос, с перебивами, порой с нажимом выговаривающий русские слова: «В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня двадцать пятую годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны... Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы». Говорил Сталин заторможенно, с остановками, как бы обдумывая каждое слово, взвешивая сказанное. От давней, как бы уже старческой усталости печальны были не только голос, но и слова вождя. У людей, его слушавших, сдавливало грудь, утишало дыхание, жалко делалось вождя и все на свете, хотелось помочь ему, а чем поможешь-то? Вот и страдает, мучается за всех великий человек, воистину отец родной. Хорошие, жалостливые, благодарные слушатели были у вождя, от любого, в особенности проникновенного, слова раскисающие, готовые сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях: возьми, отец родной, жизнь мою, всего меня возьми ради спасения Родины, но главное, не печалься, не горюй — мы с тобою, мы за тебя умрем все до единого, только не горюй, лучше мы отгорюем за все и за всех, нам не привыкать.

Коля Рындин, задержавшийся по хозяйственным делам, опоздал к началу доклада, с трудом отыскал свою роту, плюхнулся на пол, задышливо спросил:

— Кто говорит-то?

— Сталин.

— Ста-алин? — Коля Рындин вслушался, подумал и на всякий случай от себя лично ввернул: — Он завсегда правильно говорит...

— Тих-ха, ты!

«...Трудности удалось преодолеть, и теперь наши заводы, колхозы и совхозы... наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию... наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла».

Кто-то захлопал в этом месте, и все хотели захлопать, но раздалась команда: «Не аплодировать отдельно от Москвы»,— столовая снова замерла, дыша с приглушенной напряженностью.

«...Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной...— Сталин остановился, передохнул, послышалось бульканье, осторожный звяк посудины — докладчик попил воды.— Военные действия на советско-немецком фронте можно разбить на два периода — это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение четырех месяцев прошла местами более четырехсот километров. Немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу...»

Как наши войска взяли инициативу в свои руки и прошли четыреста верст, слушать было приятно, но вот как немцы взяли инициативу в свои руки и прошли пятьсот верст — хотелось пропустить. Да куда же денешься-то? Радио звучит. Сам Сталин смело говорит горькую правду своему народу — надо слушать.

«В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать... Этими иллюзиями кормили они своих солдат...»

— Хераньки ихим иллюзиям! — выдохнул кто-то в первой роте, скорее всего Булдаков, кто же еще на такое способен?! Народ одобрительно шевельнулся, коротко всхохотнул.

«...Погнавшись за двумя зайцами: и за нефтью и за окружением Москвы,— немецко-фашистская стратегия оказалась в затруднительном положении».

— За двумя за яйцами погонишься, ни одного за яйца не поймаешь! — звонко врубил патриотическую остроту все тот же Булдаков, но тут не выдержал капитан Мельников:

— Первая рота! Еще раз нарушите, удалят из помещения.

Поднялся командир первой роты Пшенный, обвел молодяг тяжелым взглядом, сделавшимся просто леденящим, поводил крупным, с ведро величиной лицом туда-сюда и, ничего не сказав, сел обратно на скамейку, но долго еще гневно тискал в руках шапку со звездой. Своего командира роты ребята мало видели, совсем еще не знали, но уже боялись — фигура!

Зато заместителя командира роты младшего лейтенанта Щуся, раненного на Хасане и там получившего орден Красной Звезды, приняли и полюбили сразу. Ладно скроенный, голубоглазый, четко и вроде даже музыкально подающий команды, как он приветствовал старших по званию, вскидывая руку к виску, щелкнув при этом сапогами,— балет! Щусь стоял, прислонившись спиной к стене, с шапкой в руке, гладко причесанный по пробору, в белом шарфике, в серой новенькой шинели, так всюду пригнанной, что и палец под ремень не просунешь!

Доклад продолжался, и тоже, как на политзанятиях, проводимых капитаном Мельниковым, выходило, что враг-фашист по какому-то совершенно непонятному недоразумению топчет нашу священную землю. Ага, вот маленько и прояснилось, почему фашист-ирод так далеко забрался в наши пределы:

«...Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы...»

У всех полегчало на душе — ясное и понятное объяснение всех наших прорух, бед и отступлений. Открылся бы второй фронт, и... «Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Немецкая же стояла бы перед своей катастрофой».

К концу доклада голос Сталина окреп, сделался выше, уверенней и даже звонче. Вождь уже почти не кашлял, разогрелся или окончательно поверил, что враг на ладан дышит и стоит собраться с духом, сплотиться, нажать — как нечистая эта сила тут же окажется в собственной берлоге, где ее и следует добить,

уконтрапупить. Сталин ставил для этого три задачи. Первая: «...уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей». Вторая задача: «...уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей». Третья задача: «...разрушить ненавистный «новый порядок» в Европе и покарать его строителей».

Перечисление всех этих задач сопровождалось бурными аплодисментами, океанным валом накатывающими через радиоприемник из Москвы до самой до столовой двадцать первого стрелкового полка. Когда Сталин дошел до приветствий, аплодисментам уже ни конца, ни удержу не было. «Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза! Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании... Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их «новому порядку» в Европе! Нашей Красной Армии — слава!»

Когда закончился доклад товарища Сталина, у красноармейцев и командиров двадцать первого стрелкового полка сплошь по лицу текли слезы. Коля Рындин плакал навзрыд, утирая лицо ручищей.

— Что же вы плачете, товарищ боец? — утираясь платочком, сморкаясь в платочек, с просветленным будто после причастия ликом подошел и спросил капитан Мельников.

— Мне товарища Сталина жалко.

— Не жалеть его надо,— складывая белый платочек уголком и запихивая его в карман брюк, растроганно назидал капитан Мельников,— а любить, гордиться тем, что в одно время нам с ним выпало счастье жить и бороться за свободу своего отечества и советского народа.— Капитан Мельников начал привычно заводиться на беседу, но окоротил себя — время позднее.— Так я говорю, товарищи красноармейцы?

— Та-ак! Правильно!

В этот вечер роты и взводы расходились по казармам с дружной песней, грозный грохот рот, взводов, многих ног в мерзлых ботинках сотрясал городок, отдавался в пустынно-пестрой земле, с которой недавним проливным дождем смыло почти весь снег. Трудно было не то что идти маршевым шагом — невозможно, казалось, и просто передвигаться по льду, однако бойцы маршировали ладно, главное дело, по своей воле и охоте маршировали и пели. Если кто норовил упасть, поскользнувшись, товарищи ловили его в воздухе.

До самого отбоя, до позднего часа небо и удивленно на нем мерцающие звезды, отграненные морозом, тревожила яростная песня: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...»

«Кажин бы день товарищ Сталин выступал по радио, вот бы дисциплина была и дух боевой на высоте...» — вздыхал старшина первой роты Шпатор, слушая ночное пространство, заполненное грохотом шагов, и ничего доброго врагу не обещающую бравую песню.

Увы, на другой, считай, день, как только повылазили служивые из казарм, едва нагретых дыханием многих людей, теплом многих тел, праздничное настроение роты прошло, бодрость духа испарилась. Дневальные отогнали табуны оправляющихся в глубь сосняков, где еще сохранился под деревьями белый снег, и командир роты приказал стянуть гимнастерки, умываться до пояса снегом. За туалетом наблюдал Пшенный сам лично, и если какой умелец хитрил, не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом, он рывком сдирал с него лопотину. Уронив наземь симулянта, зачерпывал ладонью снег и остервенело тер им раззявленное, страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы: «Пор-рас-спустились!.. Пор-развольничались! Я в-вам покажу-уу! Вы у меня узнаете дисциплину...» Когда рота сбилась в растерянный, мелко дрожащий табунок, у нескольких красноармейцев красно текло из носа, кровенели губы. Оглядев неподпоясанных, с мокрыми, расцарапанными лицами своих подчиненных, взъерошенный, сипло дышащий командир роты с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твердые звуки, пролаял:

— Все пояли? (Табун подавленно и смято молчал.) Пояли, я сашиваю?

— Поняли, поняли,— высунувшись вперед, за всю роту ответил откуда-то возникший старшина Шпатор и, не спрашивая разрешения командира роты, от бешенства зевающего, пытающегося еще что-то сказать: — Бегом в казарму! Бегом! На завтрак опаздываем.— И приотстав от россыпью рванувшего из леса войска, поджав губы, проговорил: — Заправились бы, товарищ лейтенант.

— Шо?

— Заправились бы, говорю. В таком виде перед строем...— И когда Пшенный, весь растрепанный, со съехавшей пряжкой ремня, свороченной назад звездой на шапке, начал отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина кротко вопросил: — У вас семья-то была когда?

— Шо?

— Семья, дети, спрашиваю, у вас были когда?

— Твое-то какое дело? — уже потухнув взором, пробурчал командир роты.— Догоняй вон их, этих...— махнул он мокрой рукой вослед осыпающимся в казарму красноармейцам, сам, решительно хрустя снегом, пошел прочь.

«Э-ээх! — покачал головой старшина Шпатор.— И откуда взялся? Уж каких я зверей и самодуров ни видывал на войне да по тюрьмам и ссылкам, но этот...»

В казарму парни вкатились, клацая зубами от холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она, чуть теплая с ночи, уже не грела. Так, не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую.

Столовка возбужденно гудела. В широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, повзводно получали дежурные кашу, хлеб, сахар. Помощники дежурных схватывали тазы с кашей, другие помощники дежурных тем временем, изогнувшись в пояснице, тащили одна в другую лесенкой составленные миски, со звяком, бряком разбрасывали их по столам, шлепали в них кашу, рассыпали ложкой сахар, пайки хлеба раздавали уже тогда, когда бойцы приходили в столовую и рассаживались по местам.

Каши и сахара было подозрительно мало, довески на пайках хлеба отсутствовали, и по тому, как рвались в дежурные и в помощники связчики Зеленцова, заподозрено было лихое дело. Однажды бойцы первого взвода первой роты перевешали на контрольных весах свою пайку и обнаружили хотя и небольшую, но все же недостачу в хлебе, в каше, в сахаре. Зеленцов обзывал крохоборами сослуживцев, его, Фефелова и Бабенко собрались бить, но вмешался старшина Шпатор, определил троице по наряду вне очереди, заявил, что отныне раздача пищи будет производиться в присутствии едоков и если еще найдется кто, посягающий на святую солдатскую пайку, он с тем сделает такое, что лихоимец, памашь, до гроба его помнить будет.

Усатый, седой, худенький, еще в империалистическую войну бывший фельдфебелем, старшина Шпатор ел за одним столом с красноармейцами, полный при нем тут был порядок, никто ничего не воровал, не нарушал, каждый боец первой роты считал, что со старшиной ему повезло, а хороший старшина, говаривали бывалые бойцы, в службе важней и полезней любого генерала.

Важнее не важнее, но ближе, это уж точно.

Недели через две состоялось распределение бойцов по спецротам. Зеленцова, за наглое рыло, не иначе, забрали в минометчики; кто телом и силой покрепче, того отсылали к бронебойщикам — пэтээр таскать. Хотели и Колю Рындина увести, да чего-то испугались, то ли его вида, то ли прослышали, что он богу молится, стало быть, морально неустойчивый. Булдаков снова притворился припадочным, чтоб только пэтээр ему не всучили, и его тоже оставили на месте. Коля Рындин все еще маялся в куцей шинели, в тесных кальсонах и штанах, приделал к ним тесемки вроде подтяжек — не свалились чтобы на ходу. Новые ботинки зорко стерег, вытирал их тряпицей каждый вечер, клал на ночь под голову, накрыв пустым домашним мешком, получалось что-то вроде подушки. Булдаков все пошвыривал ботинки, все требовал соответствующее его фигуре обмундирование. Дело кончилось тем, что ботинки пропали с концом. Навсегда. «Украли!» — припадочно брызгая слюной, орал пройдоха, но чего-то жевал втихомолку, ходил к Зеленцову пить самогонку, значит, обувь променял. Старшина Шпатор изо всех сил старался сбыть Булдакова в другие подразделения, но там такого добра и своего было вдосталь. Никуда его не брали, даже в пулеметную роту не брали, где бы самый раз ему станок «максима» на горбу таскать, в химчасть, на конюшню, в продовольственно-фуражное отделение и в другие хорошие, сытные места орлов с пройдошистыми наклонностями, с моральным изъяном вообще не допускали, а этот еще и припадочный, еще и артист.

Сидя на нарах босой, не глядя на холод, до пояса раздетый — закаляюсь, говорит,— артист читал больным и таким же, как он, симулянтам старые газеты, устав гарнизонной службы, иногда объяснял и комментировал прочитанное:

— «В Москве состоялось очередное совещание по вопросам улучшения политико-просветительной работы». Та-ак, просвещайтесь, а мы пошли дальше: «Молодежный лыжный кросс в честь дня рождения любимого вождя». Та-ак, это уж совсем хорошо, совсем славно. «Фашизм истребляет молодежь» — вот чтоб не истреблял, надо хорошо на лыжах бегать! Во! «Лаваль формирует отряды французских эсэсовцев...» — во блядина! Это куда же Даладье-то смотрит? Прогулял Францию, курва, и на тебе...

— Ле-ох! Это кто такие Лаваль да Ладье?

— Да мудаки такие же, как у нас, проебли, прокутили родину, теперь вот спасают... Стой! Во, самое главное наконец-то написали: «Из выступления Бенеша: „Гитлеровская Германия непременно и скоро рухнет"»...

— Ле-ох, а кто это — Бенеш-то?

— Да тоже мудак, но уж чешский, тоже родину продал и теперь вот в борцы-патриоты подался.

— Ле-ох, ну их на хер, этих борцов! Че там, на фронте-то?

— На фронте-то? На фронте полный порядок. Заманили врага поглыбже в Россию и здесь его, суку, истребляем беспощадно. Во, сводка за второе декабря: «В течение ночи на второе декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали наступление на прежних направлениях. В районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и отражали атаки мелких групп противника. В заводской части города артиллерийским огнем разрушено девять немецких дзотов и блиндажей, подавлен огонь двух артиллерийских и четырех минометных батарей. На южной окраине города минометным огнем рассеяно скопление пехоты противника. Северо-западней Сталинграда наши войска вели наступление на левом берегу Дона. Бойцы энской части атаковали с фронта немцев, оборонявшихся в укрепленном населенном пункте. В это же время другие наши подразделения обошли противника с фланга. Под угрозой окружения гитлеровцы в беспорядке отступали, оставив на поле боя триста трупов, большое количество вооружения и различного военного имущества. На другом участке артиллеристы под командованием тов. Дубровского уничтожили девятнадцать немецких дзотов и блиндажей и подавили огонь трех артиллерийских батарей противника. Наши летчики за первое декабря сбили в воздушных боях семь и уничтожили на аэродромах двадцать немецких самолетов. Юго-западнее Сталинграда наши войска закреплялись на достигнутых рубежах». А вот тут же, в газете «Правда», вечерняя сводка за второе декабря: «Частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено и подбито двадцать немецких танков, до ста пятидесяти автомашин с войсками и различными грузами...»

— Шиш с ними, с грузами! Давай про бой.

— Есть про бой! «В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку противника, артиллеристы энской части разбили три вражеских дзота, два блиндажа и подавили огонь трех батарей».

— Эк мы их, сволочей, крушим!

— Крушим, крушим! Заткнитесь, слушайте дальше. «На южной окраине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожено до роты немецкой пехоты. Юго-западней Сталинграда...»

— Ну со Сталинградом все ясно — крошим гада... Про другие фронта че пишут?

— Че пишут? Че пишут?.. Два пишут, ноль в уме... Во! «Восточнее Великих Лук части энского соединения, отражая многочисленные атаки немцев, продвинулись вперед. Противник потерял убитыми свыше двух тысяч солдат и офицеров. Подбито девятнадцать немецких танков, захвачено двенадцать орудий, восемь танков, десять автомашин, четыре радиостанции...»

— А котелков сколько?

— Чего?

— Котелков сколько захвачено?

— Про котелки в другой раз сообщат. В этой «Правде» места не хватило перечесть весь урон вражеский.

— А наши-то че, заговорены?

— Само собой, заговорены, закопаны, зарыты. Все чисто, все гладко. Мы ж из породы...

— Кончай трепаться, информатор тоже нашелся, твою мать. Придет время, все, че надо, скажут,— вмешивался в беседу Яшкин.— У тя, Булдаков, язык как помело, и за это ты пойдешь дрова пилить.

— Есть дрова пилить. Конешно, лучше бы чай пить. Но раз родина требует...

И Булдаков набирал команду на дрова, заставлял ребят ширыкать сырые сосны, и они добросовестно ширыкали, потому что промышлявший в это время Булдаков всем добытым поделится по-братски, честно, и вообще он пилить не должен, он не какой-то там чернорабочий, он... да лешак его знает, какой он, чей он, но что друг и брат всех угнетенных людей — это уж точно.

«Стариков», оставшихся от прошлых маршевых рот и действовавших на молодую братву положительным примером, мало-помалу разобрали, взамен их помкомвзвода Яшкин привел целое отделение новичков, среди которых был уже дошедший до ручки, больной красноармеец Попцов, мочившийся под себя. По прибытии в казарму он сразу же залез на верхние нары, обосновался там, но ночью сверху потекло на спящих внизу ребят. Новопоселенца стащили вниз, напинали, сунули носом на нижний ярус — знай свое место, прудонь тут, сколько тебе захочется.

Увидев бедственное положение новобранца, Булдаков, повествовавший бойцам о ходовой своей жизни, в основном удалой и роскошной, о том, как он плавал по Енисею на «Марии Ульяновой», шухерил с пассажирками, был за пьянку списан на берег, однако не пропал и на берегу, наставлял воинство:

— Требовайте! Обутку требовайте, лопоть, постелю, шибче требовайте. Союзом наступайте на их. Насчет строевой и прочей подготовки хера имя! Сами пущай по морозу босиком маршируют...

— Сталин че говорил? — подавал голос издалека Петька Мусиков, кадровый уже симулянт.— Крепкай тыл... А тут че?

Коля Рындин робко, с уважением глядел на сотоварищей — не боятся! Ни колодок, ни тюрьмы, ни Бога, а ведь они его одногодки, такие же, как он, человеки.

Заскорузлая военная мысль и житуха, ее практика и тактика от веку гибкими не бывали, все мерили по спущенному сверху параграфу и нормативу, не терпящему никаких отклонений, тем более обсуждений: есть устав, живи по нему, не вылезай, не рыпайся, и что, что у тебя ножищи, будто у слона, отросли — блюди норму, держи ранжир. Когда старшина Шпатор петухом налетел на Булдакова, на Колю Рындина, новопоселенец первой роты Попцов, уже истаскавшийся по помойкам, оборвавшийся на дровах, измылившийся на мытье полов и выносе нечистот, перешел вдруг в наступление:

— Босиком да нагишом никто... никака армия не имет права... на улицу.

— Это есть извод советского бойца! — подхватил Булдаков и зашевелил ушами, начал закатывать глаза.

— Сталину, однако, надо писать,— снова издалека подал голос Петька Мусиков.

Старшина качал головой, глядя на синюшного, дрожащего парнишку Попцова с нехорошим отеком на лице, псиной воняющего, дрожащего от внезапной вспышки зла, от жизни, совсем его обессилевшей, и выдохнул: «О господи...»

Булдаков залез на нары, помог туда забраться Мусикову и Попцову, опершись на руки сыто лоснящейся рожей, вещал сверху:

— Сохранение здоровья и боевого духа бойца советского для грядущих боев с ненавистным врагом социализьма есть наиважнейшая задача работников советского тыла, главный политический момент на сегодняшний день.

Совсем затосковал старшина Шпатор: не зря, ох не зря всучили данного вояку и не зря, ох не зря этот герой не ушел в другие роты — там не напридуриваешься, там заставят минометную плиту таскать — самый Булдакову подходящий предмет, и про себя постановил: он в лепешку разобьется, до Новосибирска пешком дойдет, на свои гроши купит делягам обмундирование, но уж тогда попомнят они его, не забудут до самого скончания века своего. В прошлую, империалистическую войну фельдфебель Шпатор легче управлялся с солдатней, те в бога веровали, постарше были, снабжали и одевали их как надо, а эти уж ни в бога, ни в черта не веруют, да и угроз не шибко-то боятся, живут — хуже собак.

Старшина добился своего, в самом деле командирован был в Новосибирск и на каких-то центральных спецскладах сыскал для удальцов-симулянтов обмундирование. Новое. Деваться некуда Булдакову и Коле Рындину. Вступили в строй. Правда, закаленный, старый филон Булдаков неустанно искал всяческие моменты и причины для увиливания от занятий: то у него насморк, то расстрой-

ство желудка, то мать давно не пишет, то припадок, то вдруг с утра пугает народ словами: «У бар бороды не бывает... у бар бороды не бывает...»

— С-споди Сусе... С-споди Сусе...— крестился Коля Рындин.

Но старшину Шпатора, перемогающего вторую мировую войну и перемогшего пять лет заключения, голой рукой не возьмешь.

— Н-на занятия, н-на занятия! Мы и не таких артистов видывали, не с такими героями управлялись, памашь.

На занятиях тоже фокусы: Булдаков возьмет и учебную гранату куда-то аж за версту зазвездит — ищи ее; испортил он, испластал ножиком финского штыка чучело до бедственного состояния — чинить надо чучело; спор с командирами заведет насчет текущего момента, да такой бурный, что все занятия побоку. И все время смекает Булдаков, где и как добыть еду. Любую. Вынюхал чьи-то коллективные огороды недоубранные. «Набилизуй меня на заготовки, набилизуй, ну?!» — пристал он к Яшкину.

Чтобы отвязаться от Булдакова, чтобы он не портил строй и лад занятий, убирался бы ко всем чертям, сила нечистая, помкомвзвода посылал его подальше, желал громко, чтобы он, этот обормот, вовсе сгинул, исчезнул. Рожа, на которой не горох, а бобы молотили, скалится, гогочет, ребятам подмигивает — и, глядишь, куль мерзлой брюквы, свеклы иль капусты волокет, тут же с ходу излаживает костер в сосняке, кличет к нему побратимов: кушать подано!

Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров выводивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдакова ему не укротить, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помкомвзвода и народ от типа, разлагающего коллектив,— назначил в свою и соседние землянки дежурным.

Булдаков на новом посту хорошо себя почувствовал, перезнакомился с дневальными из соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболтал, обманул, чего-то наобещал или сбыл — к землянке привезли воз сухих дров. Днем Булдаков дрыхнул в землянке у взводного, явившись в казарму, на всю роту орал: возьмет вот и подастся к минометчикам — там землянки суше, коллектив не столь доходной, «занятия антиллерией — техника», не то что здесь, во вшивой пехтуре, топай да топай, памашь, чучело с соломой деревянным макетом коли...

— Да хоть к минометчикам, хоть к летчикам, хоть к бабам в прачечную, сгинь только, сгинь, нечистая сила! — подняв глаза к потолку, молитвенно сложив руки, взывал к небесам старшина Шпатор.

Булдаков переводиться не торопился, глянулось ошиваться на почетной, на добычливой должности дежурного в офицерских землянках. Железная печка в землянке Щуся новая, с печкой не пропадешь, на ней можно варить, печь все, что раздобудешь.

Была Булдакову дикая удача: упер с кухни аж цельного барана! Затесался в компанию дежурных по кухне, картошку чистил не чистил, котлы мыл не мыл, все командовал: «Давай, братва, давай! Действуй, памашь!» — и когда пришла машина, доверху груженная тушками баранов, он еще активней взялся за дело: «Давай-давай, навались, братва! Аллюром!» — наторевший на погрузке дров в «Марию Ульянову», когда матросом еще по Енисею ходил, он такой разворот делу дал, такой темп в разгрузке задал, что все закрутилось, замелькало, где живые люди, где мертвые бараны, где старшие, где младшие, где рядовые, где командиры — не разберешь. Счетчики не успевали следить за туда-сюда бегающей братией, считать туши баранов, ставить на бумаге палочки, Булдаков вовсе их запутал, таская на горбу по две, по три, когда и по четыре бараньи туши, орал весело: «У бар бороды не бывает»,— и в какой он момент изловчился поставить на дыбки за распахнутую створку дверей мерзлого барана — никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков, прихватив казенные рукавицы, запрыгнул в кузов, пошатал машину: «Все, кажись» — и махнул рукавицей дежурному по кухне: закрывай, мол, двери, кончен бал.

— Я за дровами поеду,— обнадежил он кухню, восхищенную его умелым трудом и организаторскими способностями.

Дверь заперли изнутри, на себя, баранчик стоял на обрубочках-лытках, плененно подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, вернулся, сказав ласково: «Пойдем, дорогой, пойдем в землянку, там ты нужнее, тут, гляжу я, совсем ты сирота одинешенькая, околел вон весь...» — и, взяв под мышку тушку, завернутую в шинель, лесом потопал к землянке.

Взводный вернулся с занятий — по помещению плавают такие запахи, сдохнуть можно! Булдаков в офицерской столовке наворовал лаврового листа, перца, затушил барашка с картошкой, получилось не хуже, чем у настоящих поваров, может, даже лучше.

В офицерской столовой готовили вкусней и культурней, нежели в общей полковой, в офицерской были даже клеенки и солонки на столах, подавались ложки, иной раз даже вилки, но продукции на столующегося отпускалась та же норма, что и в большой столовой, воровали же и объедали командиров вольнонаемные да разные приближенные к общепиту чины гораздо больше, чем в столовой для рядового и сержантского состава. День-деньской топающему в лесу да в поле, на холоде, на ветру строевому командиру питание нужно было крепкое. Понимая, что пройдохе Булдакову мясо выдали отнюдь не на продовольственном складе, Щусь, укрощая себя, умылся, подсел к столу, засунул руку под топчан, выудил оттуда вывалянную в песке зеленую поллитровку, знаком велел распечатать и наливать.

Булдаков разом возбудился, глаза его заблестели, прихватив рукав, он хлопнул по бутылке так, что пробка вместе с брызгами шлепнулась в стену, дунул в немытые кружки, удаляя лишний песок, налил сразу по половине емкой посудины, коротко стукнулся о кружку Щуся, выпил и какое-то время сидел, блаженно вслушиваясь в себя.

— Я ить видел ее, поллитровку-то,— черпанув раз-другой ложкой из котла, хрустя бараньим ребрышком, молвил Булдаков.— Но вишь, сдюжил — такой я человек. Ни об чем не беспокойся, полководец. Ежели попутают, пусть шкуру сдерут — не выдам!

Он разлил остатки водки по кружкам, придвинулся ближе к взводному, махнул рукой, чтобы тот ел, ему же еда ни к чему, он уже закусил, да и стряпка, говаривала мать, живет тем, что нанюхается, толковал, чтобы при отправке на фронт Щусь не выписывал его из своего взвода, тама — Булдаков показал пальцем вдаль — он тоже никого не бросит, раненого вытащит из любого огня и дыма. Булдаков, глядя в пустую кружку, посидел, подумал, за подбородок подержался и, глядя в сторону, сказал решительно:

— А из землянки меня удали. Всешки не по мне холуйничать, печки топить, посуду мыть. Надо — еды, горючки всегда добуду, но прислужничать стыжуся. Колю Рындина возьми сюда. Его надо беречь. Таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять. Выводятся оне в нашей державе, их и в тюрьме и на войне в перву очередь... Э-эх, у бар бороды не бывает — усы! Пойду-ка я еще где-нито пузырек промыслю — че-то душа раскисла.

Щусь лежал на нарах. Лицо его рвало с мороза каленым жаром, руки горели, ноги, освобожденные от тесных сапог, возвращались сами к себе, каждая косточка прилегала к месту и успокаивалась. Лежал, ковырял спичкой в белых, плотно сбитых зубах и неторопливо думал о Булдакове, о своих подчиненных, тоже отужинавших и располагающихся на неуютный свой ночлег, обо всем разом, ни на чем, однако, мыслями не задерживаясь — идет и идет себе жизнь заданным ходом, своим чередом, не он тот ход налаживал, не он черед определял. «Груньку позвать, что ли?» — подумал он об одной столовской девке, которая была в него страстно влюблена и жила неподалеку в землянке вместе с другими вольнонаемными девчонками. Но мысль, вялая, не наступательная, мелькнула и улетела, он уснул, не осуществив намерения, не утолив вожделенного позыва.

Булдаков — союзный человек. Отправляясь на ночь в казарму, завернул в газетину два куска мяса, один кусок занес Зеленцову, тот ему отсыпал табаку, выпивки посулил. Другой кусок Булдаков сунул Коле Рындину за то, что тот занял для него место на верхнем ярусе нар. Коля по-собачьи рвал мясо зубами, чавкал. Сотоварищи, чуя пищу, начали пробуждаться, вздымать головы. Споро управившись с бараниной, старообрядец нащупал в потемках ручищу такого находчивого товарища-добытчика, благодарно ее стиснул. Но Булдаков уже крепко спал, время от времени производя обстрел казармы, что не давало заснуть старшине Шпатору — он все слышал в каптерке, бешено возился на топчане, зверел: «Упер ведь, упер чего-то, нажрался, обормот, попердывает на всю арьмию. Ох, ох, займуся я им, однако, вплотную займуся!»

А где-то через ряд, может, через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелев — с почтой пришло ему известие: погиб на войне отец. Коле Рындину захотелось пожалеть Васю Шевелева, сказать ему какие-нибудь ласковые слова.

Да чего же скажешь-то, как утешишь и утишишь горе, коли его так много кругом. Пусть главный утешитель этим займется, он его попросит: «Да воскреснет Бог, и растачатся врази его, и да бежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси...» — на этом месте Коля Рындин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелева. Но тот все плакал и плакал, один, втихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Год служи да десять лет тужи — говаривалось в старину. Сибирская зима, хозяйкой широко расположившись по большой этой земле, входила в середину. В казарме становилось все холодней и разбродней. Сырые дрова горели плохо, да и не давали им разгореться. Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощь в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголье. И, почадив, посопев, печка угасала от перегрузки сырьем. Налетал старшина Шпатор либо помкомвзвода Яшкин, выбрасывал чадящие головни, картошку, приказывал затоплять вновь. Сооружение, зовущееся печью, не светилось даже угольком. Тогда старшина Шпатор плескал на дрова керосин, принеся лампу из каптерки, либо выдавал масляную ветошь, оставшуюся после чистки оружия,— и печка оживлялась, к вечеру тянуло от нее чахоточным теплом, но четыре печки казарму нагреть уже не могли.

С той и с другой стороны ворота батальонной казармы обмерзали льдом — ночью обитатели ее не успевали или не хотели выбегать на улицу, мочились на лестнице, в притвор. Их ловили, били, заставляли отдалбливать желтый лед в притворе, но все равно в дверь тянуло так, что до самых нижних нар первого взвода лежала полоса изморози и накопыченный обувью снег здесь не таял.

Давно уже было отменено навязанное ротным командиром Пшенным закаливающее обтирание снегом, но все равно многие бойцы успели простудиться, казарму ночами разваливал гулкий кашель. Умывались служивые теперь только в бане, потому что в корыто умывальника, поставленного в дежурке, и вокруг него мочились блудни, бак с водой, выставляемый по утрам возле входа в казарму для умывания, так и замерзал невостребованный. Лишь компанейские ребята Шестаков, Хохлак, Бабенко, Фефелов да привыкшие к работе на ветру бывшие механизаторы Шевелев да Уваров, ну иногда еще и Булдаков, поливая друг дружке, умывались по утрам, иной раз с мылом. Дивились славяне тому, что старик Шпатор умывался до пояса в дежурке, даже зубы или остатки их чистил, сапоги тоже каждый день до блеску доводил. В каптерке, куда поселился и Яшкин, поддерживался, пусть и убогий, порядок, тощий, изможденный помкомвзвода тоже следил за собой, вставал раньше всех, вместе со старшиной, и не ради одного только положительного примера, но чтобы не опуститься, не заболеть, как Попцов. Тот уже не выходил из казармы, лежал серым, мокрым комком на нижних нарах, под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый Коля Рындин. Поднимался лишь затем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варева да съесть пайку хлеба. В санчать Попцова не брали, он там всем надоел, на верхние нары не пускали — пообмочит всех, мокрому да на занятия кому охота?

Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах, клейко слепившихся, лежало до десятка скорченных скулящих тел. Кто-то, не иначе как Булдаков, додумался выдернуть скобы из столбов, чтобы доходяги не могли лезть наверх, но если они все же со дня, когда рота была на занятиях, взбирались туда, занимали место, их беспощадно сталкивали вниз, на пол, больные люди не плакали даже, лишь беспомощно ныли, растирая по лицу слезы и сопли.

Как водится, в бедствии, в запустении на служивых навалилась вша, повальная, беспощадная. И куриная слепота, по-ученому гемералопия, нашла служивых. По казарме, шарясь руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущей желтой дрянью, похожей на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в моечную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, реже грязной ватой, намотанной на палку,— ляп-ляп-ляп по голове,

по пугливо ужавшемуся члену, руки задрать велят, чтоб и подмышки намазать. Отлынивать начнешь либо сопротивляться — в рожу мазилкой: мази не жалко.

С утра наряд, человек двадцать, уходил пилить дрова, возить воду, готовить вехотки, тазы, но та же картина, что и в подразделениях,— половина делом занимается, половина харч промышляет.

В тот год овощехранилища двадцать первого полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в овощехранилищах, работали, перебирали плоды земные такие же орлы, что и баню топили,— за сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант они насыпали картошки, моркови, дело было за небольшим — сварить или испечь овощь. Кочегарка бани, землянки офицеров и всякие другие сооружения с очагами осаждались и использовались на всю мощь. Вот, стало быть, намажут солдатикам башки, причинные и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вошь гнездится и размножается, а в бане горячей воды нет, чтобы смыть хотя бы мазут. «Мать-перемать!» — ругается помкомвзвода Яшкин, мечется, ищет виноватых старшина Шпатор.

— Когда я подохну? Когда я от вас избавлюсь?..— вопит он, схватившись за голову.

В отличие от Яшкина он никогда по-черному не ругался, тем более в мать, в бога. «Веровающий потому что»,— уважительно говорил Коля Рындин про старшину и чтил его особо за то, что тот носил медный крестик на засаленной нитке, даже политрук Мельников ему не указ.

Нажравшийся от пуза картошки, наряд едва шевелился, работал лениво, разморенно, топил печи с безнадежной унылостью — все равно не нагреть воду в таких обширных баках-котлах. До ночи канитель тянется. Сиди дрожи в бане нагишом, намазанный, жди — хоть чего-нибудь да нагреется, хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет. В парилку сбивалась вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение сил и энергии не хватало, постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом. Уж на что содомный старшина Шпатор, но и его гнев иссякал, сидел и он на полке, прикрывшись веником, с крестиком на груди, отрешенно смотрел вдаль, аж жалко его делалось. «Володя! — наконец взывал он к своему помощнику Яшкину.— Поди и поленом прикончи старшего в наряде. Я в тюрьму снова сяду, не замерзать же здесь всем, памашь...»

С грехом пополам побанив роту, к полуночи сам он для себя, для наряда да для Яшкина добивался прибавки пара, без энтузиазма, но по привычке стеная, поохивая, шумел мокрым веничком, затем в шинеленке, наброшенной на белье, в подшитых валенках разбито волочился в казарму, так и не понежив по-настоящему мягкой горячей листвой свое неизбалованное солдатское тело, и поздно, уж совсем ночью спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно ото всех бросал щепоть по груди: «Ну, слава Богу, еще сутки прожили. Может, и следующие проживем».

Непостижимыми путями, невероятной изворотливостью ума добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий, добыть чего-нибудь пожевать, обуться и одеться потеплее, занять место поудобнее для спанья и отдыха. Ночью и днем на тактических и политических занятиях, при изучении оружия — винтовки образца одна тысяча восемьсот затертого года — мысль работала неутомимо. Кто-то придумывал вздевывать картошки на проволоку, загнув один конец крючком, всовывать эту снизку в трубы жарко попыхивающих печей в офицерских землянках. Пластуны же залегали неподалеку за деревья и ждали, когда картофель испечется. Изобретение мигом перенималось, бывало, в трубы спустят до четырех проволок с картофелинами, забьют тягу, не растапливается печь, дым в землянку валит — пока-то офицеры, большей частью взводные, доперли, в чем дело, выбегая из землянок, ловили мешковато утекающих лазутчиков, пинкарей им садили, когда и из пистолетов вверх палили, грозясь в другой раз всадить пулю в блудню-промысловика.

Но были офицеры, и среди них младший лейтенант Щусь, которые не преследовали солдат, позволяли пользоваться печкой,— только где же одной печке целое войско обслужить? Вот и крадется, вражина, к землянке, бережно, мягко ступает на кровлю, крытую бревешками, лапником, засыпанную песком, осторожней зверя малого ступает, чтоб на голову и в кружку хозяина не сочился

песок, которого тот и так наелся досыта: песок у него на зубах хрустит, в волосах, в белье, в постели пересыпается. Добрался лазутчик до трубы, не звякнув о железо, спустил снизку в пылающий зев, зацепил проволоку за обрез трубы. Унес Бог добытчика перышком, залег он в дебрях сибирских камешком, спертый воздух из груди испустил, можно бы и вздремнуть теперь, да ведь надо оберегать «свою» землянку от другого лазутчика-промысловика. Истомится весь пареван, изнервничается, брюхо у него аж заскулит от истомы, пока он скомандует себе: «Пора!» — и снова по-пластунски движется к землянке, по-кошачьи взойдет на сыпкую крышу — и вот она, светящаяся нижними, в уголь изожженными картофелинами, это уж неизбежная потеря, жертва несовершенной техники, зато в середине жигала овощь в самый раз, испеклась, умякла, родимая, рот горячит, по кишкам раскаленным ядром катится, и, пока в брюхо упадет, глаза выпучатся, слеза из них выдавится. Верхние ж картофелины лишь дымом опахнуло, закоптились они, и надо снова тонкую тактику применять, чтобы взойти на крышу, сунуть проволоку в трубу, беззвучно ее подвесить да снова в тревоге и томлении дожидаться удачи. На третьем-то или на четвертом броске и засекут тебя, изловят. Ну пусть и пнули бы, облаяли, бросили б только проволоку вослед — люди мы не гордые, подберем, битую задницу почешем, хитрое изделие припрячем и скорей в казарму. Но иные хозяева землянок не только пинкаря подвесят, еще и проволоку истопчут. Вместе с картохой. Э-эх, люди, будто не в одной стране родились, бедовали, будто не одну землю защищать готовимся...

Лупит добытчик обжигающую картошку, брюхо ликует от горячего духа, но опять никакой сытости — по кишкам картоха размазалась. Что за брюхо, что за кишки такие у солдата?! Булдаков, пройдоха, говорит, что на полтора метра длиньше кишки у русского человека против англичанина иль того же немца, потому как продукция у него питательней, у нас же все картошка, хлеб, паренка, редька с квасом, отрубь. Выгрызает солдатик остатние крохи из угольков-картофелин и думает, чего же сегодня на ужин дадут, хорошо бы кашу — она ляжет сверху картофеля, и вот уж полон ненасытный желудок, ну, может, и не совсем полон, да все же набит. Может, попробовать верхнюю картофелину? Она вон горяча, но тверда. Нет, нельзя, не дай бог дезинтухой в этой чертовой яме заболеть — пропадешь, лес-то вон из края в край обгажен, меж казарм долбить и чистить не успевают. И спрятать картофель негде — старшина сделает шмон, а видит он, змей подколодный, будто щука в пруду, любую малявку под любой корягой узрит — и в наряд тебя внеочередной, на холод, на ветер, за водой с баком, в нужнике долбить, оружие чистить, в каптерке и в казарме пол мести. А кому охота горбатиться, когда в казарме идут политзанятия и полтора часа, пока капитан Мельников рассказывает о наших победах на фронте и трудовых достижениях в тылу, можно преспокойно блаженствовать.

Ничего другого не остается как полусырую, недопеченную картофель дневальным отдать — они ее в дежурке до ума доведут и, глядишь, половину отделят, если, конечно, у них совесть есть, а то такие попадаются, что все до кожурки слопают и делают вид, будто им ничего, никакой картошки допечь не давали...

А тут еще невидаль: первую роту и первый взвод пополнили двумя новоявленными личностями — Васконяном и Боярчиком. Оба они были смешанной национальности: один полуармянин-полуеврей, другой — полуеврей-полурусский. Оба по месяцу пробыли в офицерском училище, оба за месяц дошли до ручки, лечились в медсанчасти и оттудова их, маленько оживших, но неполноценных, в училище не вернули, свалили в чертову яму — она все стерпит.

Васконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями черен. Боярчик так себе, парнишка и парнишка, с сереньким лицом, «умным» лбом и маломощным телом. Но у обоих новобранцев были огромные карие глаза с давней печалью, не то по роду-племени они у них были такие, не то в армии успели в печаль глубокую погрузиться.

На первом же политзанятии Васконян сумел испортить работу и настроение капитана Мельникова, также и отдых слушателям во благостном казарменном уюте. Капитан Мельников что-то показывал на политической карте мира и рассказывал, но что он рассказывал, вояки не слышали, что показывал — не видели: они спали. Время от времени лектор командовал: «Встать!», «Сесть!», «Встать!», «Сесть!» — севши, слушатели тут же, не теряя времени попусту,

привычно засыпали. Комиссар привычно молотил наклепанным языком, спеша охватить воспитательным словом и другие подразделения, как вдруг услышал:

— Буэнос-Айгэс, между пгочим, не в Афгике находится.

Капитан Мельников забуксовал в лекции, сбился с мысли.

— А где он находится? — растерянно спросил капитан.

— Буэнос-Айгэс — стогица Аггентины. Аггентина всегда находилась в Южной Амегике.

— Ага, столица! Ар-ген-тины! Встать! — рявкнул капитан.

Первый взвод вскочил, уронив с доски на пол Колю Рындина.

— Вы слышали? — сощурясь, спрашивал капитан Мельников очумевших от сна солдат.— Вы слышали?

— Чего, товарищ капитан?

— Вы слышали, что Буэнос-Айрэс находится не в Африке, а в Южной Америке?!

— Да нам-то че?

— Ага-а! Вам-то че? Вам только спать на политзанятиях! А умнику вон не спится. Он бдит! — Ну, этот умник, говорил весь вид капитана Мельникова, узнает у меня, где находится не только Буэнос-Айрэс, но и Лиссабон, и Париж, и Амстердам, и Лондон, и все столицы мира!..

С первого дня пребывания в первой роте на Васконяна обрушились репрессии: для начала его тут же на занятиях истыкали кулаками в спину сослуживцы, лишившиеся из-за него блаженного политчаса. Освирепевший капитан Мельников без конца орал: «Встать — сесть!» — и вместо полутора часов гнал теперь всю свою важную просветительную работу за час, когда и за сорок минут.

Было Васконяну в стрелковой роте еще хуже, чем в офицерском училище, где курсантов гоняли на занятиях по десять часов в сутки. Туда Васконян попал по причине изменения военной ситуации. Отец его был главным редактором областной газеты в Калинине, мать — замзавотделом культуры облисполкома того же древнего города. Васконяна возили в школу на машине, по утрам он пил кофе со сливками, иногда капризничал и не хотел есть макароны по-флотски, приготовленные домработницей тетей Серафимой, которая была ему и нянькой и мамкой, так как родители его, занятые ответственной работой, дома почти не бывали, воспитанием Ашотика, по существу, не занимались. Однажды бывший курсант офицерской школы сообщил ошарашенной пехоте, что у них, Васконянов, в областном театре была отдельная «ожа». Парни-простофили долго не могли допереть, что это такое.

Быть бы Васконяну смятым, уничтоженным за одну неделю, от силы за две, загибаться бы ему рядом с Попцовым на нижних нарах в ожидании места в санчасти, но к нему, грамотею и разумнику, доверчивому чудаку, прониклись почтением имеющий тягу к просветительству Булдаков и, как и всякие детдомовцы, сострадающие всякому сироте, тем более обиженному, Бабенко, Фефелов и вся их компания. Они не давали забивать Васконяна, да и парни крестьянского рода, от веку почитающие грамотеев, тоже не позволяли уворовывать от его пайки крохи, занимали для него место на нарах вверху, заставляли разуваться, расстилать портянки под себя, чтоб к утру они высохли, непременно снимать шинель, расстегивать хлястик — тогда шинель делается что одеяло,— повязывать носовым платком голову, класть шлем под щеку, подшлемник же надевать на голову, дотянув его до рубахи, сцепить булавкой — тепло дольше держится. Наказывали не лениться ходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальные поймают и «ах вы, сени, мои сени!..» сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежиться, валиться с нар и борзым кобелем рвать в дежурку, чтоб захватить согретой в помещении воды, иначе старшина или Яшкин выгонят к только что принесенному баку (там вода со льдом), воды не хватит — принудят тереть рыло снегом.

Жизнью тертые, с детства закаленные в боях за свое существование, корешки по роте часто употребляли слова «захватить», «беречь», «стеречь», «рот не разевать» — они не позволяли Васконяну съедать хлеб раньше чем будет получена горячая похлебка; коли сахарку перепадет — сохранять его до раздачи кипятка, но лучше всего копить сахар в жестяной банке да сменять на картошку. Ребята прятали грамотея Васконяна от старшины, командира роты Пшенного, но прежде всего от капитана Мельникова. Вид Васконяна раздражал всех, кто его

зрил, да и досаждал он старшим чинам своей умственностью, прямо-таки сдергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению не встречали. Крепче всего их резал, с ног валил Васконян, когда речь заходила о свободе, равенстве, братстве, твердил о недопустимости унижения человека человеком, тем более в обществе, которое хвастается своим гуманизмом, грозился Международным Красным Крестом, который в конце концов доберется до сибирских лесов и узнает обо всех «безобгазиях, здесь твогящихся». «Молчи ты, молчи,— шипели на Васконяна ребята, дергали его за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию,— опять воду таскать пошлют, обольешься — где тебя сушить? На занятиях мокрому хана...»

Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца, вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил, и предписано было командиру батальона капитану Внукову провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу. Васконяна затребовали в каптерку старшины роты, где на топчане кособоко, морщась от боли, сидел капитан.

— По вашему пгиказанию пгибыл! — махнув рукой возле застегнутого шлема, буркнул Васконян и стоял, согнувшись под низким потолком каптерки, утирал мокрой рукавицей немыслимой величины мокрый нос.

Капитан Внуков, поглядев на нелепо согнутого, нелепо одетого, худо запоясанного и застегнутого солдата, со вздохом молвил:

— Ну, чего воюешь-то? Перед кем бисер мечешь? На кого умные слова тратишь? Ты чего, не понимаешь, где находишься? — И отвернулся, погрел руки над печкой.— Умный, а дурак. Иди. На фронте, на передовой душу отведешь. В окопах полная свобода слова и ум не перегружен, одна мысль постоянно томит сердце и голову: как сегодня выжить? Может, и завтра повезет... Иди! Не мути башку ребятам, не лезь им в душу — не то время и не то место. Ступай!

Капитан Внуков был болен, и не его словам, а виду его страдальческому больше внял Васконян и в конце концов согласился, что жизнь сложна, жестока, несправедлива к малым мира сего, и не то чтобы смирился со своей участью, но не так уж рьяно лез на рожон, перестал досаждать капитану Мельникову, чем тот остался очень доволен, думая, что перевоспитал еще одного красноармейца.

В особенно мглистый длинный вечер, когда ребята отделили Васконяну вареных картошек, луковицу и маленький кубик сала — где-то они украли эти богатства, может, выменяли,— Васконян уже не подвергал товарищей моральному осуждению. Изжевав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание:

— Нет, я не пгав. Жизнь не бывает неспгаведвивой. Жестокой, подвой, свинской бывает, неспгаведвивой — нет. Откуда бы я узнав вашу жизнь, гебята, есви б не попав сюда, в эту чегтову яму? Как бы я оценив эту вот кагтофевину, кусочек дгагоценного сава, все, что вы отогвави от себя? Из своей квагтигы? Где я не ев макагоны по-фвотски, где в гостиной в вазе постоянно засыхави фгукты? Кого бы и что бы я увидев из пегсонавьной машины и театгавьной ожи. Все пгавивьно. Есви мне и суждено погибнуть, то с юбовью в сегдце к юдям.

— Пшенный и Яшкин — тоже люди?

— Юди. Юди. Они не ведают, что твогят, они — габы обстоятегств. Они — бгаженные. А бгаженным — господь судья.

— Да ну тя, Ашот. Суки они. Рассказывай лучше.

Отчетливо сознавая, что с этими ловкими, пощады и ласки не знавшими в жизни ребятами расплатиться ему нечем, кроме рассказов о сказочной и увлекательной жизни героев разных книг, Васконян, угревшись меж собратьями по службе, затертый телами в нарном пространстве, повествовал о графе Монте-Кристо, о кавалере де Грие, о королях и царях, о принцах и принцессах, о жутких пиратах и благородных дамах, покоряющих и разбивающих сердца возлюбленных. Дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видевшие ничего человеческого, тем паче красивого в жизни, с благоговением внимали сказочкам о роскошном мире, твердо веря, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть, но им-то, детям своего времени и, как Коля Рындин утверждает, Богом проклятой страны, все это недоступно, для них жизнь по Божьему велению и правилу заказана. Строгими властями и науками завещана им вечная борьба, смертельная

борьба за победу над темными силами, за светлое будущее, за кусок хлеба, за место на нарах, за... за все борьба, денно и нощно.

Старшина Шпатор обожал сказку «Конек-горбунок», которую Ашот, к удивлению всей казармы, лупил наизусть. Когда чтец, войдя в раж, брызгая слюною, размахавшись руками, даже почти и не картавя, заканчивал сказку: «Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют!..» — все какое-то время лежали не шевелясь, а старшина Шпатор тихо ронял:

— Вот голова-то у тебя, Ашот, какая золотая! А ты с начальством споришь, памашь. Лучше бы винтовкой овладевал. Писем домой не пишешь, мать командованию звонит: «Жив ли мой Ашотик?» Ничего ты, памашь, не сознаешь...

Шпатор задумчиво шевелил усами, махал рукой возле галифе, незаметно призывая Васконяна следовать за ним в каптерку. Там он подкладывал солдатику огрызок химического карандаша, книгу с накладными, заставлял на обратной, чистой стороне накладной писать письмо под диктовку: жив, мол, здоров, служба идет своим ходом, нормально, горю мечтой поскорее попасть на фронт, чтоб сразиться с врагом. В заключение старшина Шпатор совал Васконяну сухарь либо горбушку хлеба. Утянув кусочек в рукав, Васконян упячивался из каптерки, задом открывал дверь и по крошке делил меж своими товарищами тот сухарь, ту горбушку, радуясь тому, что и он может чем-то отблагодарить своих благодетелей, быть ровней в боевом добычливом коллективе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

После праздников, в декабре, двадцать первый полк доукомплектовывался — прибыло пополнение из Казахстана. Первой роте поручили встретить пополнение и определить его в карантин. То, что увидели успевшие уже хлебнуть всякой всячины красноармейцы, ужаснуло даже их. Ребята-казахи были призваны по теплу, содержались на пересылке или в каком-то распределителе в родном краю в летнем обмундировании, в нем и прибыли в Сибирь. Толклись они на пересылке или в распределителе, должно быть, долго, приели домашние запасы, успели оголодать. Дорогой молодые степняки промышляли топливо и какую-никакую еду. Где-то в Казахстане или за его пределами надыбали поезд с овощами и вскрыли вагон со свеклой. Пекли свеклу в печурках, поставленных среди телячьего вагона, грызли полусырую овощь. И без того смуглые, волосом темные, казахские жолдасы сделались черны что головешки. Глаза слезятся, от кашля, стона и хрипа содрогались вагоны. Выглядывая из приоткрытых дверей, сплошь осопливевшие молодые казахи завывали, роняя какие-то слова или заклинания:

— Астарпала!

— Быздь кайдаэкелди? (Куда нас привезли?)

— Буч не, манау не? (Что это такое?)

— Сибирь,— откликнулся кто-то из встречающих, разумеющих по-казахски.

— Сибир! Тайга! Ой-бай! Бул жэрде быз биржола куримыз! (Мы тут совсем пропадем!) Апа! Эке! Кайдасыниздар? (Мама! Папа! Где вы?)

— О алла!

— Молчать! Надо терпеть! Привыкать. Вон солдаты такие же, как вы, да терпят.

На станцию Бердск был вызван полковник Азатьян. Увидев, в каком состоянии прибыло пополнение из Казахстана, командир полка схватился за голову и долго бегал вдоль состава, скрипя бурками. Рукою, обтянутой черной кожаной перчаткой, он открывал вагоны, заглядывал в них, надеясь хоть где-либо увидеть ребят в лучшем состоянии, но всюду вокруг полуостывших печек на корточках пеньками торчали грязно-серые фигурки в неумело намотанных обмотках, в натянутых на уши пилотках. Молча вперивались они простудно слезящимися глазами в форсистого полковника. Под нарами скомканно валялись серенькие фигурки, полковник сперва подумал — шинели, но тут же сообразил: откуда шинелям быть — все натянуто на себя. «Мертвые! Что будет?»

Дойдя до конца состава вместе с начальником эшелона, полковник Азатьян растерянно потоптался, утер лицо платком и угасшим голосом приказал своим командирам добыть дров, топить печи в вагонах, сам сел в кошевку, запряжен-

ную гнедым рысаком, забросил ноги седой медвежьей полостью и умчался в расположение полка.

Кузов хромой полуторки, прибывшей к эшелону, был дополна нагружен старыми манатками. Ребятишек-казахов выгнали из вагонов на холод, они торопливо выдергивали из вороха тряпья одежонку, тащили ее на себя. Призывники, прибывшие в полк по осени, особенным изяществом в одежде не блистали, надевали дома что подряхлей да похуже, самую уж рухлядь после обмундирования сожгли в полковой кочегарке. Но среди призывников немало было и тех, у кого дом заменяли общежитие, училище, исправительно-трудовые колонии, ну и всякие другие воспитательно-трудовые организации, где мены одежды не существовало, как и разнообразия труда. В чем работали, жили, пребывали на гражданке, в том и в армию отправились. Вот эту-то разномастную одежонку прожарили от вшей и сохранили на складах.

Ребята-казахи радовались, как дети, и этакой одежке, да они и были еще детьми, стайными, полудикими, лопотали что-то по-своему признательное, пробовали знакомиться с русскими жолдасами, помогавшими им поскорее одеться, чтобы новоприезжие не поморозились, их бегом гнали в карантин. Когда казахи ввалились в карантинные землянки, натопленные по приказу командира полка, они, словно моряки, потерпевшие кораблекрушение и попавшие на берег, бурно ликовали, радуясь своему спасению.

В день прибытия пополнения из Казахстана на градуснике, приколоченном к столбу возле штаба полка, было минус тридцать семь. Парнишек-казахов этим не удивишь, они терпели морозы и посильнее, да еще и с ураганными ветрами, но все-таки переполненная медсанчасть работала с перенапряжением, так как многие казахские жолдасы не смогли подняться с карантинных нар. Воспаление легких, тяжелые бронхиты, застуженные почки... Больных разбрасывали по ближним больницам и новосибирским перегруженным госпиталям, остальных же немедля разбили по батальонам и ротам — боевая подготовка стрелковых частей шла ускоренным ходом.

В первую роту было определено человек пятнадцать ребят из Казахстана, трое из них тут же присоединились в «попцовцам». Верховодил над казахами здоровенный парень с крупным мясистым лицом монгольского типа, которого товарищи называли Талгатом. Талгат был немногословен, суров в отличие от глазастых, подвижных товарищей своих, ходил неторопливо, говорил медленно, в лицо не смотрел, да и нечем ему было смотреть: там, где быть глазам, у него щелки, по которым раскосо катались черные картечины, над глазами перышком взлетали бровки, уголком восходя в неожиданно высокому лбу мыслителя. Нос у Талгата был по-ребячьи вздернутым, кругленьким, но с широкими, чуткими, словно у степной зверушки, ноздрями, рот узкогубый, злой. Древней лютостью, могуществом, может, и мудростью веяло от этого жолдаса с непримиримо всегда сжатым, широко разрезанным ртом. Талгат немножко знал русский язык, потому его назначили командиром отделения.

Трудно обживались казашата в роте и казарме. Им сочувствовали, помогали чем могли, выводили «в люди».

Первый батальон тем временем бросили на выкатку леса из Оби. В устье речки Бердь в лед вмерзли плоты, предназначенные двадцать первому полку для строительных и хозяйственных нужд. Но прежние роты, заготовив лес, не успели его выкатить на берег, потому как спешно были отправлены на фронт. Молодцы из первой и второй рот, знакомые с лесной работой, отдалбливали пешнями и ломами плоты, разрубали деревянные скрепы, цепляли удавкой троса или цепи конец бревна, к цепи привязывали длинную веревку, тягловая команда, крича: «Взяли! Взяли! Взяли!» — волокла обледенелое бревно на берег, к яру, скатывала бревна в штабеля, откуда на лошадях они увозились в военный городок.

Выгрузкой из реки и погрузкой леса на сани-передки руководил Щусь, ему помогал Яшкин. В песчаном яру под оголенно свисающими кореньями сосен построена землянка с окном и печью. Осенью здесь была пристань, на нее принимали грузы и новобранцев, прибывавших по реке в полк, тогда в землянке дневалил военный наряд. Ныне на дощаных нарах по ту и другую сторону резво гудящей печки валялись взводный и помкомвзвода.

Землянка не пустовала. Первым в ней оказался Леха Булдаков. Он в резиновых броднях работал черпалом, так он себя именовал,— цеплял бревна

цепью и привязывал к цепи веревку. Выполнив эту ответственную работу, Булдаков блажил на всю реку: «Взяли! Взяли! Взяли! Хоп, симбирбумбия!» Действо это скоро его утомило, он нечаянно оступился в полынью, черпанул в бродни ледяной воды, сказал: «Закуривай, курачи, кто не курит, тот драчи!» — пришлепал в землянку, разулся, выбросил бродни на улицу. Их на лету подхватил Бабенко. Скосоротив лицо, черпало сушил штаны, портянки и кальсоны, повествуя о том, как он ишачил на «Марии Ульяновой», сколько дров перетаскал, вина выпил и пассажирок поудовольствовал. Булдаков против многих своих юных сослуживцев, будучи им ровесником, когда-то успел прожить большую, насыщенную жизнь, тогда как те прыщи, как их обзывал Булдаков, жизнь еще и не распочали.

Рассказ Булдакова, трепотня его шли как бы поверху, слов своих он сам не слушал, скорее не придавал им значения, поскольку мысль его работала в совсем другом направлении: где бы чего бы раздобыть пожрать, может, и выпить, тем более что печка полыхает, расходуя впустую полезную тепловую энергию. Придумал Булдаков собрать деньжонок у командиров и «прыщей», да и подался на бердский базар, откуда вскоре приволок в солдатском мешке картох. «Но что такое, памашь, ведро картох на работящую арьмию? — вопросил Леха Булдаков и почесал затылок с двумя макушками, что считается средь русских людей признаком башковитости.— У бар бороды не бывает»,— бубнил Булдаков в глубочайшем раздумье или изгальном розыгрыше. На первый случай предложил товарищам командирам оставить его и Бабенко с Фефеловым на пристани дежурить, иначе штабеля леса да и землянку бердские граждане за ночь растащут на дрова.

Утром под топчанами в землянке обнаружились два мешка картошек, мерзлый гусь, брус сала, сетка с луком, туес с солью. На печке в эмалированном ведре клокотало запашистое варево, добытчики же, братски обнявшись, чтобы не упасть с узкого топчана, спали на узеньких лежанках. Щусь почесал затылок, хмыкнул и, замотав проволокой дверь, навалил себе и взводному котелок тушеной картошки с луком и свининой. Ведро отослали трудящимся на берег. Вставши на колени вокруг ведра, трудяги леса и сплава поочередно черпали ложками горячее варево, восхищались находчивостью товарищей по службе и сами себя обнадеживали: с такими ловкими героями и на фронте не пропадешь.

Все, что хорошо начинается, непременно и очень скоро худо кончается — такая вот древняя хилая истина существует средь народа. Бердские жители, а также обитатели окрестных деревень, обнаружив утечку овощей из погребов, продуктов из кладовок, объединенно поднялись на оборону дворов и хозяйств с дробовиками, топорами, кольями. Выстрел произвели в ночное время по здоровенному увертливому налетчику; прячась в кустах малины, крыжовника, ушел лесом в сторону Оби вражина, не иначе как дезертир или беглый арестант. Крови на следах не обнаружилось. Кто из жителей Приобья радовался этому обстоятельству, кто сожалел, что не порешили злоумышленника. Приток харчей на берег иссяк, зато симулянтов и сачков прибавлялось с каждым днем, подвоз леса в полк затормозился. Взявшись за веревку, работяги во всю глотку орали: «Взяли! Взяли! Взяли! Ой да поехали!..» — но бревно ни с места. Яшкин смотрел-смотрел на эту картину в окошко землянки, изругался, выскочил, схватился за веревку и попер бревно так, что часть тружеников от быстрого темпа и неожиданности маневра попадала в песок, весь перепаханный обувью и бревнами.

— В казарму захотели? — звенел Яшкин.— К старшине Шпатору под крылышко? Я вам, бляди, покажу и крылышко и перышко!

На берегу Оби щадящий режим. Никакой муштры, шагистики, горели костры вдоль берега, у кого деньги велись, тот мог сбегать на бердский базар за семечками, картофельными оладьями, табаком и за всяким другим провиантом иль на утаенное масло и сахар чего-то выменять, главное дело: здесь можно было топить печь, варить картошку, чай с малинником и мерзлой брусникой, свесившейся из-под снега вдоль осыпанного яра,— конечно, из такого рая в расположение роты да на строевые занятия кому захочется. Работали, понукая друг дружку, где и пинком подсобляли, потому как везде есть такой народ, у которого никакой сознательности нет и никакая ругань не действует,— развольничались молодцы, добра не понимали. Яшкина выслали на берег с палкой: контуженно-

му, нутром поврежденному только доверь лихое дело — уж постарается, заставит волохать так, что на морозе жарко сделается.

Выгрузка леса в первой роте пошла быстрее. Вторая рота тут же переняла передовой опыт — там тоже по связке кто-то бегал с палкой, лупил волокущих бревно братьев по классу, будто колхозных кляч, люто матерясь. Эта вот особенность нашего любимого крещеного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную, власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его,— достигшая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой каким потоком она еще разольется по стране, и ой что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера.

Под вечер первая рота шлепала ордою, отдаленно напоминающей строй, в расположение полка. Умотанные тяжелой работой, едва волоклись красноармейцы вдоль крутого песчаного берега великой сибирской реки. Перед ними празднично сверкала искрами, солнечно переливалась недавно вставшая, белая, утомленно отдыхающая река. По стрежи Оби громоздились, золотом вспыхивали под закатным солнцем глыбы торосов, меж которых беспокойно кружило темную воду. Дальний заречный лес бархатистой каймою тянулся по-над яром, песчаные берега и косы разукрашенным оранжевым кушаком опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку. Пляшущим солнцесветом приподнимало темную тучку пойменных лесов к голубеющему небосклону. Чистая, святочная тишина простиралась по земле, молитвенно усмирясь, мир поднебесный ждал рождения сына Божия — впереди были рождественские праздники, а с ними приходила привычная, но всегда новая пора, сулящая долгую морозную зиму, неторопливое, сытое житье под крышами, толсто придавленными снегом. Многие из ребят, бредущих в казарму, не успели изведать той обстоятельной крестьянской жизни, не знали, что близится великий праздник, потому как приступила, притиснула к холодной стене их безбожная сила и порча, были они еще в младенчестве вместе с родителями согнаны со двора в какую-то бессмысленную, злую круговерть, в бараки, в эшелоны, в тюрьмы, в казармы, но все-таки близкой памятью что-то их тревожило, чего-то в сосущем сердце трепетало и вздрагивало, из-за той вон белоснежной дали ждалось пришествие чуда, могущего переменить всю эту постылую жизнь, избавить людей от мук и страданий. Не может же такой пресветлый, так приветно сияющий мир, который еще недавно звался Божьим, быть ко всему и ко всем недобрым, безразличным, пустым, почему в нем должно быть все время напряженно, тревожно, зло, ведь он не для этого же замышлялся и создавался...

«...Страшно и грозно место имам пройти, тела разлучився, и множество мя мрачное и бесцеловечное демонов срящей, и никто же в помощь спутствующяй или избавляй»,— жутко было слушать Колю Рындина даже и вполуха, но хотелось слушать, хотелось мучиться Божьими муками, но не казармой, казарма — она уж точно от дьявола, хотелось Бога почитать, а не Яшкина бояться. «И да будет благодать твоя на мне, Господи, яко огонь попаляй нечистые во мне силы... И да будет благодать твоя на мне...» — утешил себя и товарищшев старообрядец.

— Где это ты так навострился-то? — спросили его тоже шепотом.

— Навострисся, брат, ковды усердие проявишь — баушка Секлетинья на колени попереди себя поставит, чуть посеред молитвы отвлекся — по затылку вмажет... Кроме тово, баушка Секлетинья сказывала, что Бох для молитвы головы очищат, память укреплят, оттого даже совсем неграмотные хресьяне завсегда молитвы помнят...

— Молитвы составляли лучшие умы и поэты земли,— втесался в разговор Васконян,— поэтому они достигают сердца...

— Скоро ведь, робята, рождество...

— Вот комиссар Мельников узнает про эти разговорчики...

— Да што Мельников? Што комиссар? Тожа человек.

Белая тишина, еще не опетая ветрами, свистящим песком, гулом лесов, не стиснутая трескучими морозами, не скрюченная заречным волчьим воем, обе-

щала долгий покой, сказку, праздники с сытой едой, гулянкой во всю ширь, с ворожбой, с молитвами, с желанием всех прощать и самому быть прощенным. Лишь тонкий звон оторвавшейся от тороса льдинки, падающей и на ходу разбивающейся в хрустальные осколки, да треск и скрежет остроуглой глыбы, оторванной от нагромождений торосов, несомой нижним течением под броней реки, внезапно выкинутой в полынью, слепо кружащейся по кругу, бурлящей воду, бьющейся о хрупкий припай, сминающей его, нарушали эту беспредельную и все же отчего-то опечаливающую сердце тишину. Птицы не кружились и не кричали над рекой, боялись ее черных полыней, внезапных подвижек и падений не укрепившегося льда, вороны лепились по прибрежному сосняку, сомлело дремали, подобрав под себя лапы; чем-то или кем-то вспугнутые голуби выпрыснули искрящейся стайкой на свет и тут же, сделав полукружье, вернулись в лес, расселись в глуби его.

— Что за команда? — раздалось откуда-то сверху.

Забывшиеся при виде земной красоты, заслушавшиеся умиротворительного молитвенного шепота, сплошь думающие о доме, о родных местах, о родителях, намаявшиеся за день парни вздрогнули всей толпою, подняли головы.

Доставая папахой нижние ветви сосен, на красивом гнедом жеребце, имеющем светлую проточину на морде, надменно и ладно сидел в новеньком кожаном седле моложавый генерал, похожий на франтоватого жениха. Передние ряды в растерянности остановились, задние ряды их подперли, войско смешалось, сбилось в табунок, шедшие в отдалении Щусь и Яшкин, почуяв неладное, заспешили к месту происшествия. Вторая рота, с большим интервалом бредшая за первой, заметив смятение в боевых рядах, мигом сделала тактический маневр и углубилась в лес.

Форсисто, как это мог делать только он, младший лейтенант Щусь вскинул к виску руку, сжатую в горсть, музыкально, можно сказать, по-дирижерски качнув ею возле головы, выбросил из горсти пальцы. Держа пальцы у виска в строгом единении, в то же время выстроив их как бы в вежливом, почтительном, но и лихом полупоклоне, командир взвода доложил, что первая рота возвращается в расположение двадцать первого стрелкового полка после выполнения трудового задания.

Генерал, не ответив на приветствие, тронул лошадь из-под сосны, объехал столпившихся красноармейцев. Чуть в отдалении за генералом двигался щеголеватый, тоже на жениха смахивающий сержант с карабином за спиной, в новой шапке с алеющей на ней звездою, в бушлатике, стянутом комсоставским ремнем.

— А ну, товарищ младший лейтенант, скомандуйте своим бойцам умыться.— Генерал повелительно показал коротким, перчаткой сжатым ременным хлыстом вниз, под яр, на реку.

Никогда нигде не видавшие генерала парни так перепугались его, что, давя друг дружку, сыпанули вниз с песчаного яра кто на заднице, кто кубарем, кто как. Под сыпучим песчаным яром из земных глубин, нежно воркуя, струился чистый ключик. Летом он был студенее обской воды, сейчас вода в нем теплее обской. Прорыв узенькую полоску в забереге, ключик желтой ленточкой покачивался среди ледяного пространства, желтым он был оттого, что струился по песчаной косе, за долгие годы своего уединенного существования им же и намытой.

Красноармейцы сняли шлемы, рукавицы, встали на колени вдоль промоинки и увидели свое отражение в воде отчетливо, как в зеркале. Никто из парней сам себя не узнал. Из воды глядели на них осунувшиеся, чумазые лица, сплошь подернутые пушком, у всех слезились глаза, сочилось из носа, появились ранние, немощные морщины у губ и на лбу. Если к этому добавить, что на лесодобытчиках были порваны и прожжены шинеленки, размотались, съехали вниз неумело обмотанные мокрые обмотки, ботинки от воды и сушки были скороблены, шлемы от соплей на застежках белые, то сделается понятно, в какое удручение впал форсистый генерал на коне, когда, умывшись, солдатики предстали перед ним, выпростав из тряпья шлемов сросшиеся с ними бледные, испитые мордахи. Один вояка выдрал из снега мерзлый капустный лист и, не успевши изжевать овощь, сжимал зеленый лоскуток в горсти, утянув его в рукав. Генерал спешился, попросил служивого показать, что там у него. Парнишка покорно разжал ладонь с огрызком капустного листа. Генерал, разом потерявший всю свою бравую осанку, удрученно спросил:

— Зачем вы это едите? Разве вам не хватает военного пайка?

— Хватает,— потупясь, тускло прошелестел губами паренек.

— Так зачем же вы кушаете отбросы? Лист мерзлый. Вы ж простудите желудок.

— Не знаю зачем. Так.

— Бросьте. Пожалуйста, бросьте.

Служивый с сожалением разжал ладонь, уронил к ногам огрызок листа. Генерал заметил, что в тот листок уперлось сразу множество голодных глаз, еще раз оглядел неровный и неладный строй, состоящий из дрожащих от умывания холодной водой, ободранных солдат, напоминающих скорее несчастных арестантов из дореволюционного времени, так обличительно изображаемых на живописных полотнах и в кинокартинах передового советского искусства.

— Ведите, пожалуйста, людей в расположение, товарищ младший лейтенант,— негромко приказал генерал и, легко взнявшись в седло, опустивши голову, поехал вдоль берега Оби, так ни разу и не оглянувшись.

Щусь и Яшкин, как только рота вошла в лес, погнали ее бегом. Парни россыпью рванули по сосняку, запинались за корни и валежины, падали. Яшкин визгливо матерился, беспощадно пинал по-козлиному блеющего красноармейца, того самого, что выцарапал из-под снега капустный лист и не сумел им распорядиться.

Еще не познали солдаты наяву, что такое отступление и паника, но вели себя в лесу точно так же, как на войне во время массового драпа.

Кто был он, тот форсистый генерал на коне? зачем он приезжал на Обь? — солдатам пока не дано было знать, но встреча с ним не прошла бесследно.

В полковой столовой появился еще один генерал, но совсем не похожий на того красавца, гарцевавшего на коне, пришельца из какого-то простым смертным неведомого сословия. Этот генерал тоже был в каракулевой папахе, в шинели стального цвета, с яркими петлицами, с желто-красными угольниками на рукавах, звезда на папахе была вделана в золотого жука. Словом, все как у настоящего генерала, но бросалось в глаза — человек ровно бы перешиблен стягом в пояснице. Лицо у него вытянутое, обескровленное, с глубокими складками и морщинами, руки худые, с синюшно светящимися ногтями. По столовой он не шел, а плыл, судорожно гребя руками. Ноги в начищенных ботинках, выше которых краснели нарядные лампасы, впрочем, едва пламенем занявшиеся, они тут же гасли под стальной твердью длиннополой шинели,— ноги далеко отставали от согнутого туловища, которое от согбенности да еще оттого, что отсутствовали выразительный генеральский зад и брюхо, походило на доску, скорее даже на узкую крышку гроба. Там, где быть генеральскому телу, полному вельможного достоинства, вообще ничего не было, никакого тела — скелет, обтянутый шинелью, двигался по столовой. Едоки замирали, по мере того как от стола к столу, качаясь, переплывал генерал. Он останавливался возле торца каждого стола, за которым питалось два десятка бойцов, протягивал руку, если ему не догадывались подать ложку, сам брал ближнюю к нему, взбалтывал в тазу суп, приподнимал с железного дна посудины кашу, будто нерастребленную овчину, взвешивал на руке пайки хлеба и, молвив голосом, совсем не похожим на начальственный: «Продолжайте обед, товарищи», следовал дальше, в прелый туман, в полутьму столовой.

Так вот, словно бы неся гроб на спине, обитый серебристой серой материей, пронзил живую плоть столовой генерал и исчез в противоположных дверях — такая уж впускательно-вышибательная архитектурная система о двух входах-выходах была у этого всегда полутемного, всегда волглого, под модный барак строенного помещения. Потолки в этом сооружении подпирались шеренгой полуокоренных стволов; вверху наподобие опавшего доисторического цветка, упершегося в потолок тычинками брусьев, издали стояки напоминали непроходимый, бурей ободранный лес. Уныло, бездушно, зато удобно — кушать народ входил в одни ворота, отстоловавшись, вываливал в другие — никакой толпы, никакой толкотни, во всем армейский порядок.

Покатился слух: общепит двадцать первого полка проверял сам начальник здравоохранения Сибирского военного округа. Начальство ждало нагоняя, народ — улучшения питания. Но ничего этого не последовало да и не могло

последовать — командование и хозяйственники двадцать первого полка, исправляя многие ошибки и сбои военной машины, предпринимали сверхусилия, чтобы накормить, напоить, одеть, обуть и хоть как-то сохранить, подготовить к сдаче на фронт десять тысяч молодых парней двадцать четвертого года рождения и наскребенных после госпиталей, по пересылкам, по углам огромного государства да по пригревным хитрушкам резервистов других призывов и годов.

Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает — оно деморализует людей. Полк, успешно занимающийся подготовкой разновозрастного состава, людей, уже хвативших в жизни всего и всякого, готовых к любым испытаниям, неожиданно столкнулся с проблемой, которую решать надо было всем миром и собором еще во время призыва в армию, может, и до этого. Встретившие войну подростками, многие ребята двадцать четвертого года попали в армию, уже подорванные недоедом, эвакуацией, сверхурочной тяжелой работой, домашними бедами, полной неразберихой в период коллективизации и первых месяцев войны.

Страна не была готова к затяжной войне не только в смысле техники, оружия, самолетов, танков — она не настроила людей на долгую, тяжкую битву и делала это на ходу, в судорогах, в спешке, содрогаясь от поражений на фронтах, полной бесхозяйственности, расстройства быта и экономики в тылу. Сталин привычно обманывал народ, врал напропалую в праздничной ноябрьской речи о том, что в тылу уже полный порядок, значит, и на фронте тоже скоро все изменится.

Все налаживалось, строилось и чинилось на ходу. К исходу сорок второго года кое-что и кое-где и было налажено, залатано, подшито и подбрито, перенесено на новое место и даже построено, однако всевечное российское разгильдяйство, надежа на авось, воровство, попустительство, помноженное на армейскую жестокость и хамство, делали свое дело — молодяжки восемнадцати годов от роду не выдерживали натиска тяжкого времени и требований армейской жизни.

Испугавшись, что начмед военного округа, пронзивший узким туловищем насквозь столовую и уплывший в морозную густую наволочь, наведается в казармы, в помещениях подняли панику, шла уборка, и не уборка — прямо сказать, штурм казарменного черного быта: скоблились нары, намачивались полы, подбеливались стены дежурок и каптерок, всюду произведена была дезинфекция, толсто насыпан порошок, с испугу начищено было оружие, упрятаны деревянные макеты с обломанными лучинными штыками.

Вонь хлорки и карболки смешивалась с давно устоявшимся в казарме запахом мочи, нечистого, потного тела, смоченной грязи на полу, запах конюшни был так густ и сногсшибателен, что старшина Шпатор, крепко подумав, отрядил в дальний лес на речку Бердь за лапником целое отделение солдат — пихтовые, еловые и сосновые лапы, набросанные на пол, подвешенные в виде гирлянд на нары, в выбитые окна, свежо веяли по глинисто воняющему, от сумерек глухому подвальному пространству казармы духом древней, вечно зеленой тайги и скрытой под снегами пашенной земли.

Кормежка в столовой скудела, нормы закладок в котлы убывали, животные жиры и мясо все чаще заменялись комбижиром, какой-то химической смесью, именуемой нездешним словом «лярд». Каша становилась по виду все ближе к вареву, именуемому на Руси размазней. В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какое-то бурое крошево из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки.

Нарастал ропот, увеличивалось количество доходяг в ротах, теперь уже чаще и чаще в казарме первого батальона зычный, остервенелый раздавался мат, обещания навести в первой роте такой порядок, что все кругом ахнут от того порядка,— то командир роты Пшенный вплотную приступил к исполнению своих обязанностей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В совсем какое-то дохлое, промозглое утро командир первой роты лейтенант Пшенный приказал всем до единого красноармейцам вверенного ему подразделения выйти из помещения и построиться. Подняли даже больных. Попцова стянули с нар за ноги, заправили его, дрожащего, мокрого, мятого, дико вытаращившего гноящиеся глаза, вытолкали на улицу. Думали, командир роты

увидит, какие жалкие эти нижненарники, которых старшина Шпатор и даже помкомвзвода Яшкин не трогали, боясь слез и стонов, пощадит их, вернет обратно в казарму. Но Пшенный скомандовал:

— Довольно придуриваться! С пес-сней шагом арш на занятия!

Голос Бабенко откликнулся, зазвенел в зимней сутеми, в трескучем, морозом пронзенном пространстве военного городка. Довольно часто случалось, что и звенел-то теперь один Бабенко, рота лишь открывала рты, клубила пар отверстиями и не издавала ни звука. Старшину Шпатора не проведешь.

— Бабенко на месте! — командовал он.— Остальным песельникам на снег и по-пластунски вперед!

Раз проползешь, два проползешь, поцарапаешь брюхо об мерзлый снег, мочой и разным дерьмом напичканный,— запоешь как миленький.

У Пшенного морда, на ведро величиной и формой похожая, гладко выбрита, новый подворотничок светится, сапоги блестят, глазки оцинковело сереют на емкости. «Где подлый враг не проползет, пройдет стальная наша рота!» — завели сначала, как водится вразброд, но постепенно разогрелись боевые стрелки, осилили песню.

Васконяна и Колю Рындина, портивших порядок, снова отогнали взад строя. Булдакова же куда-то отрядили, в какую-то контору пол мыть — будет он пол мыть! — у особняков этот пройдоха на крючке, брешет там, чего в его удалую башку взбредет, правду-то не скажет, правда сделалась страшнее лжи, да и пусть стучит, пусть сексотничает — дальше фронта не пошлют, хуже, чем здесь, содержать не будут, некуда хуже-то, и жопа не по циркулю у их замордовать всех-то. Вон Колю Рындина как ломали! Всей политической и сексотной кодлой, мракобесием его веру называли, сулились в бараний рог согнуть старообрядца из далеких Кужебар, а он как молился, так и молится, не зря, стало быть, учили в школе, да и везде и всюду, особо по переселенческим баракам, арестантским поселениям,— быть несгибаемым, не поддаваться враждебным веяньям, не пасовать перед трудностями, жить союзом и союзно. Вот и живут союзно, кто кого сомнет, кто у кого кусок упрет иль изо рта выдернет, тот, стало быть, и сильный, тот и в голове союза. А Коля Рындин молодец, не пасует перед трудностями, хер положил он на все увещевания и угрозы агитаторов-ублюдков. Это вот и есть несгибаемый человек. Гнется он только перед Богом в молитве — вот это и есть положительный пример для всех его собратьев по казарменному несчастью. Так думали красноармейцы каждый по отдельности, каждый из тех, кто еще не совсем разучился думать, сопротивляться тому, что навалилось на него тяжким недугом или злой несправедливостью жизни и судьбы.

Строй между тем все время сбивался с шага. Пшенный останавливал роту, ровнял ряды, орал все громче, отдавая команды, чеканя шаг красноармейцев под свой счет, который у него напоминал удар дровяной колотушки по пустой бочке: «Р-ра-аз — два, р-раз — два, р-раз — два!» Клячам колхозным, не военному подразделению шагать под такой счет.

Вести строй и шагать в строю — большое это, оказывается, искусство. Интересно было наблюдать, как ходят и ведут подразделения командиры.

Внуков — капитан, комбат, несколько бабистый, тяжеловатый фигурой, он еще из кадровых, маялся в боях сорок первого года в тех же местах, где и Яшкин, получил осколочные ранения в таз, будто бы и в позвоночнике у него минный осколок торчал, а кровь-то играет, зовет, охота себя прежнего вспомнить — пойдет с батальоном сперва ладно, шаг держит, подошвами сапог землю клеит, видно, что и себе и людям удовольствие от такого марша, но вот начал с шагу сбиваться, ногу тянуть, каблуками песок вспахивать, отставать — отваливал на сторону, роняя командирам рот: «Ведите батальон на занятия» — и, махнув рукой возле шапки, возвращался в расположение.

Щусь ходил как гусь, шутили служивые: грязь не взобьет, сучка не переломит, ни травинки, ни хвоинки не сомнет, одно слово — балет! Молодой еще, необстрелянный командир второй роты лейтенант Шапошников обожал Щуся, подражал ему во всем, хоть и был младше его званием и много достиг в обиходе, в марше, но такого форса, такой выправки, такой строевой отточенности, как у Щуся, достичь, конечно, не мог. «Тут талант надо иметь и еще чего-то»,— утверждал старшина Шпатор. Он и сам, Аким Агафонович Шпатор, был когда-то не последний ходок в строю, но нынче маршировал, будто мазурку танцевал: идет-идет ладно, складно — и подпрыгнет, пробежку сделает — и ручками,

ручками все больше марширует, не ножками, точь-в-точь устаревшая, скрывающая переутомленность балерина.

Яшкин ходил как жил, непостоянен был его характер и шаг такой же: то идет без всяких затей и напряжения, топает себе, делает строевую работу, то весь избегается, издергается и роту издергает, мечась вдоль строя, считая невпопад, сбивая шаг и от этого злясь еще больше на себя и на всех.

И воистину по шагу, по строю без осечки можно определить, каков есть человек. Тот же командир первой роты Пшенный не со строем, не с народом шел, ровно бы одинокий медведь по бурелому пер: сапоги бухают, терзают, мордуют матушку-землю, комья грязи летят, песок попадется под сапог — вихрем взвивается, снег визжит под копытами, сук трещит, дорога воет. Булдаков-згальник, если его принуждали выйти на занятия, подпевал в шаг ротному: «Пшенный топает по грязи, а за ним начальник связи. Э-эх, Дуня, Дуня-я, Дуня — ягодка моя!..»

Упрятанные от посторонних глаз в середину строя, Попцов и его друзья по несчастью — сонарники, как их называл старшина Шпатор,— сбивали шаг, и чем дальше топала рота, тем хуже у нее получалось дело. В военном городке, в заветрии и в лесу рота еще более или менее правила шаг под звучную команду помкомроты Щуся: «Р-рыс — два, р-ррыс — два!» Пшенный, поняв, что его голос не совсем музыкален, от счета отступился. Щусь чеканил шаг сбоку иль забегал вперед и показывал пример лихого строевика, способного ходить без музыки и барабана вроде как под музыку и барабан, ходить так, что поварихи в комсоставской столовой варить переставали, липли лицами к стеклам. «Есть же еще мушшыны на свете!» — вздыхали, и официантка по имени Груня победно оглядывала товарок: мой!

Конечно, в расшлепанных ботинках, подобранных на размер-два больше, чтоб намотать тряпья, газет, да и в обмотках, мерзло сползающих на щиколотки, в едва зашитом рванье, в наглухо застегнутом шлеме, бело обдыханном, приноровиться к младшему лейтенанту трудно, да и шагать и выглядеть браво не очень-то получается. Но ребята старались изо всех сил, двоили шаг как можно четче, хорошо сделали пробежку из леса к плацу — так тут назывались поля, на которых осенью росла капуста, свекла и брюква. После уборки урожая на поле установили чучела, набитые соломой, чтоб колоть их штыком, как лютого врага, козлины разные, чтоб прыгать через них, лестницы, турники, деревянных коней понаставили, сосен понавалили сучковатых — препятствия, окопов и щелей в земле нарыли — штурмовать их чтобы или прятаться от танков, метнув перед этим мерзлый чурбак, вроде как гранату иль бутылку с горючей смесью.

Доходяги с мокрыми втоками испортили боевую работу. Попцов во время пробежки упал. Яшкин, вернувшись, поднял хнычущего доходягу, тащил его за ворот на плац, в боевые ряды. Попцов падал, скрючивался на снегу, убирая под себя ноги, пытался засунуть руки в рукава, утянуть ухо в воротник.

— Встать, негодяй! — рявкнул командир роты и с разгона раз-другой пнул доходягу, распаленный гневом, не мог уже остановиться, укротить яростный свой припадок.— Встать! Встать! Встать! — со всего маху понужал он узким носком каменно блестевшего сапога корчащегося на снегу парнишку, на каждый удар отзывавшегося коротким взмыкиванием, слюнявым телячьим хлюпаньем. Побагровевшее лицо ротного, глаза его налились неистовой злобой, ему не хватало воздуху, ненависть душила его, ослепляла разум, и без того от природы невеликий.— Пораспустились! Симул-лянты! — вылаивал он.— Я вам покажу! Я вам покажу! Я вам...

Попцов перестал мычать, с детской беззащитностью тонко вскрикнул: «Ай-ай!» — и начал странно распрямляться, опрокидываясь на спину, руки его сами собой высунулись из рукавов шинели, раскинулись, стоптанные каблуки скоблили снег, ноги, костляво обнажившиеся выше раструбов ботинок, мелко дрожали, пощелкивали щиколотками. Вся подростковая фигурка разом обнажилась, сделалось видно грязную шею, просторно торчащую из воротника, на ней совсем черные толстые жилы, губы и лицо в коросте, округляющиеся глаза, в которых замерзли остановившиеся слезы, делались все прозрачней. С мученическим облегчением Попцов сделал короткий выдох и отвернулся ото всех, зарывшись носом в песок со снегом.

Опытный вояка Яшкин, всего насмотревшийся на смертельных полях сражений, почувствовал неладное, нагнулся над Попцовым, схватил его за кисть, сжал пальцами запястье.

— Готов...— растерянно прошептал он.

Рота молча обступила мертвого товарища. С немым ужасом смотрели ребята на умершего — к смерти они еще не привыкли, не были к ней готовы, не могли ее сразу постигнуть, значение происшедшего медленно доходило до них, коробило сознание ужасом.

Попцов, ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в куцей шиненлке, с как попало накрученными обмотками, меж витков обстеганных обмоток светились голые, в кость иссохшие ноги, на груди разошелся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастерки на Попцове не было, он ее променял на картошку, когда рота ходила после октябрьских праздников на стрельбище. Зубы Попцова, давно, может, и никогда не чищенные, неровные, наполовину сгнившие зубы обнажились. Из-под шлема серенькой пленкой начали выплывать вши. Они суетились на остывающем лице, тыкались туда-сюда. Яшкин вспомнил, как его, тяжело раненного, в походном лазарете зараженного желтухой, везли по холмистой Смоленщине, и, видимо, вши пошли уже с него, но он чуял одну лишь, крупную, как лягуша, липкую,— она никак не могла сползти с лица, все опускала мягкую, бескостную лапу вниз, во что-то кипящее, и, ожегшись, отдергивала лапу.

— Это он убил! — послышался возглас Петьки Мусикова. (Яшкин вздрогнул, приходя в себя.) — Он! Он, подлюка! — Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжело дышащего, растрепанного командира роты Пшенного.

Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота обступила ротного, смыкаясь вокруг, и совсем не так, как ее учили-наставляли, вскинула винтовки, деревянные макеты с заостренными концами и в полной тишине начала сдвигаться. Раз и навсегда усвоивший, что он, командир, начальник, может повелевать людьми, но им повелевать никто не смеет, кроме старшего по званию, если нападать, то он вправе нападать, на него же нельзя,— Пшенный не осознавал надвигающейся беды, пытался что-то сказать, скомандовать, губы его шевелились резиново, смятенно выбрасывая: «Шо? Шо?» — лицо сделалось серым и без свалившейся шапки казалось еще крупнее.

— Ребята! Ребятушки! — оказавшись в кругу, хватался за стволы винтовок, за обломки макетов Яшкин, загораживая своей тщедушной фигурой неповоротливое тело ротного.— Нельзя, братцы! Погубите! Себя погубите!

Яшкин осознавал: пробудившиеся в этих людях сила и неистовство, о которых никто, даже сами они не подозревали, уже не подвластны никому, эта сила волокла помкомвзвода на винтовках, сваливала на грузную тушу командира роты. Быть бы им обоим поднятыми на штыки, но кто-то выкинул руку, невероятно длинную, схватил Яшкина за ворот, бросил в сторону.

— Прр-ровались!

— С-споди Сусе! С-споди Сусе! Спаси и помилуй...— крестился Коля Рындин.— Ребятушки... Братики!.. Смертоубийство... Смерто...— И пытался собою задержать товарищей. Но они обтекали его, сталкивали, роняли.— Товарищ младший... Лексей Донатович! — заблажил на весь лес Коля Рындин.

Щусь терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных, орет на них, будто на безрогое стадо, он ушел от греха подальше на плац, толкался меж куривших командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его обеспокоило, и он еще до вопля Коли Рындина почуял неладное, помчался к сгрудившейся роте, крича издали:

— Отставить! Кому сказал — стой! — Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, крича в затверделые, безумные лица бойцов: — Сто-ой! Сто-ой!.. Ребята, вы что затеяли?! — И вдруг рванул шинель на груди, обнажил красный орден: — Колите! Коли-ите, вашу мать!.. Н-ну-у!

Крик младшего лейтенанта достиг людей, достал, пронзил их слух. Один по одному бойцы замедлили, затормозили тупое движение на цель, роняли винтовки, макеты. Обхватив лицо руками так, что обнажились красные запястья, зашелся в рыданиях Коля Рындин:

— С-споди, мать пресвятая Богородица! Милосердная...

Пшенный все глядел набыченно на остывающую, в себя приходящую толпу подчиненных, было видно, намеревался что-то предпринять поперечное, противоборствующее. Надо было сбивать напряжение.

Щусь деловито, почти спокойно скомандовал:

— Мусиков, Рындин, Васконян — ко мне! — И когда бойцы подошли, сказал: — Отнесите своего товарища в санчасть. Вам,— вперился он в Пшенного, застегивая шинель пляшущими пальцами,— вам...— Нужна была разрядка, нужно было произвести какое-то наказующее злодея действие, и, превышая власть, заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному: — Вам — отправляться в штаб полка и честно, ч е с т н о,— повторил Щусь,— д о с - к о - н а л ь - н о,— со значением добавил он,— доложить командиру полка о случившемся.

Пшенному подали шапку, он ее нахлобучил, подтянул пояс, по всему виделось, не хотел просто так отступать, но весь вид помощника молил его, подталкивал: да уходи ты, уходи, ради бога...

Рука у Щуся, поцарапанная штыком финской винтовки — штык у нее пилой,— кровоточила. Он достал обвязанный шелком батистовый платочек, зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье, не замечая больше Пшенного, кивнул Яшкину:

— Веди роту в расположение.

Сам свернул в лес и напрямую по снежному целику побрел к своей землянке, в отдалении уже обернулся: разбито, разбродно брело войско первой роты в военный городок, почти все парни утираются рукавицами, кто и жесткими рукавами шинелей. Отпустило. «Пусть лучше здесь умоются слезами с горя, чем в штрафной роте кровью».

Крепкий телом и нервами Щусь не страдал бессонницей, но в эту ночь не мог уснуть почти до рассвета.

Навалилось! Больше всего он не любил копаться в чужих жизнях, в своей и подавно — она хоть и коротка еще, но уже перенасыщена. Но это у Алексея Донатовича Щуся — просто гражданина, просто человека, у командира же Советской Армии жизнь, как ей и положено, пряма, проста, без зизгагов, как он любил шутить, понятная, не бесполезная, как он уверял себя, принимая ее на каждый день и час такой, какова она есть, тащил без особой натуги свой воз по земле, не заглядывая за тын, из-за которого тянул шею, выглядывал лупоглазый белобрысый парнишка, молча взывая не забывать его. Парнишку того звали не Алексеем, а Платоном, и не Донатовичем, а Сергеевичем, и фамилия у него была Платонов. Не эта нынешняя фамилия, похожая на удар хлыста или порыв ветра, поднявшего ворох остекленелого от мороза северного снега. Фамилию эту никто не передавал ему по наследству, по родственной линии. Она образовалась от фамилии Щусев, вписал ее в военные списки писарь Забайкальского военного округа из хохлов-переселенцев, пропускавших по холодному, ветром продутому сараю парней, записанных в курсантскую роту. Плохо ли писарь слышал, курсант ли будущий околел до того, что губы одеревенели и все звуки произносились со стылым свистом. Раза три повторял он: «Щусев, Щусев, Щусев». Писарь клонил к нему голову, раздраженно переспрашивал: «Як? Як?» — и вписал как слышал: Щусь. Коротко и ясно. В жизни русского народа, давно сбитого с круга и хода, произошла еще одна ошибочка, да и не ошибочка, всего лишь опечаточка. Эка невидаль! Кругом такое творилось, что и вовсе могли из всяких списков вычеркнуть человека, не заметив того.

Но еще раньше, когда он был не Щусевым и не Щусем, а просто Платошкой Платоновым, понимал он так, что жизнь — это беспрерывное движение, всё ехали, всё шли куда-то люди, кони, коровы, всякий мелкий скот, в память вонзилось и застряло Семиречье, казаки. Затем голая степь. Юрты, палатки, шалаши, кони, снова скот, много скота и неуклюжие животные с горбами под названием верблюды. После — глухая, черная, жутко гудящая тайга. Нет уже коней, скота нет, одни собаки воют по ночам. Люди черные, молчаливые, живущие по-звериному — в земляных норах, называемых землянками. Запах кедрового леса, масленая сладь ореха, горечь черемши, кислятина ягод, колючая, из овса слепленная лепешка, от нее горит во рту, пéршит, засаживает горло.

Время идет. Крепнет память. Народу вокруг становится все меньше, меньше. Остается Платошка рядом с молодой женщиной, одетой в черное,— это его тетка,

монашка, трудолюбивая, многотерпеливая женщина необыкновенной красоты. Красивей ее он никогда никого не встречал, не видел, разве что на напечатанной в журнале копии с картины Сурикова «Меншиков в Березове» видел такую же. Она там в отдалении написана, рукой подпершись, слушает чтение. Старшая дочь Меншикова, на отца похожая, самая умная из троицы, понимающая всю трагедию свою и опальной семьи. Впоследствии он с удивлением узнал, что побывали они в ссылке тоже под Березовом — там он и лишился родителей, остался с теткой-вековухой. Пока что казаков гоняли вдоль родных рек Иртыша и Оби, изводили и закапывали их, слава Богу, в родную землю. «Эх, казáки, казаки́, ряженые мудаки! — не раз и не два про себя говаривал в рифму Щусь.— Что же вы так бесславно погинули-то? Городское сословие, мужественное войско — на такую тухлую наживку клюнули!..»

Последнее переселение он помнит уже отчетливо. Плыли вниз по большой реке. Трубастый, крикливый пароходик тащил связанные гуськом баржи, набитые народом, уже истощенным, больным. Тетушка тут и сестра милосердия и божий утешитель, помогала больным, молилась по умершим, которых ночью сами же ссыльные под доглядом конвойных вытаскивали на палубу и сбрасывали за борт.

К тетушке внимателен был конвойный начальник, человек при нагане, в кожанке, подбитой овечьей подкладкой, в галифе с малиновыми полосками, в папахе со звездой, из-под которой русым ворохом выбивался чуб. Он приносил в кармане кожанки пряники и конфетки, ночью лепился на деревянный мат, предназначенный под мешки с зерном, пробовал подлизаться к тетушке, она не давалась, обещала: «Потом, потом», выпрашивала под «потом» вместо конфет лекарства, мыло, горячей каши. Однажды, когда усталый пароходишко, едва хлопая побитыми плицами по воде, тянул уже баржи на таком просторе, что и берега-то виделись желтыми соломинками, тетушка сказала: «Ладно, хорошо», взявши слово с начальника, что он не оставит Платошку здесь, возьмет его с собою, назовет сыном, коли женится иль что с ним случится, отвезет мальчишку в Тобольск, передаст в семью еще дореволюционных ссыльных по фамилии Щусевы — их в Тобольске знают все.

Начальник конвоя на все был согласен. Он припал к тетушке, она со стоном раскинулась, обхватила мужика руками. Притиснув мальчишку к борту, они стали сильно толкаться, колотить малого о мокрые брусья, тыкать его носом в занозистую клепку. Ему бы заорать, но было так жутко от яростно свершающейся тайности, что он не решался даже пикнуть.

Переселенцев выгрузили аж за Обдорском, на пустынном пологом берегу. Вдали, упираясь в небо каменным бредом, горбатился горный хребет. «Вот здесь наша последняя пристань, здесь мы все, Богом забытые, и погибнем»,— прошептала тетушка, крестясь.

Спецпереселенцы дней десять пожили в баржах и на пароходике, дожидавшемся подвозки дров. На берегу Оби вырыли землянки, потолки застелили деревянными щитами, вынутыми из барж, стены утеплили тальником да стелющейся по тундре плесневело-белой ивой. Из склизкой, мертвенно-серой глины начали лепить кирпич для печей, заготавливать топливо, ловить слопцами и петлями птицу, добывать удами и колоть острогой рыбу — ни ружья, ни сабельки к той поре у казаков не осталось, да и пил по счету, один дырявый баркас на всех и гнилая, железом по дну исчиненная долбленка, выловленная еще в пути караванщиками.

Когда пароход, боявшийся зазимовать на Севере, не у притона, уводил из гиблого места баржи, то гудел, гудел прощально, тревожно. Все население нового, пока еще безымянного поселка высыпало на берег, иные бедолаги в воду забредали, тянули руки, а на руках дети. Такой рев и плач людской огласил северный обской берег, что капитан давил и давил на ручку гудка парохода, чтобы заглушить тот рев. В отдалении на низком, подмытом берегу стояла одинокая тонкая фигура в черном, размашисто крестила караван, все прощая людям, но, может, его, мальчишку, крестила. Узнай теперь! Ни слуху ни духу о семиреченских семьях, высадившихся за Обдорском на обской берег. Сколько Щусь ни расспрашивал Лешку Шестакова, оказавшегося с низовьев Оби, бывавшего даже в самой губе, ничего тот ему вразумительного сказать не мог: «Знаете, сколько их там было, спецпереселенческих-то поселков, и ничего-ничего не осталось. Говорят, которые в Салехард, бывший Обдорск, убегли

спасаться. У нас в Шурышкарах тоже спецпереселенцы есть. А вам зачем, товарищ младший лейтенант? Там родственники, да?» — «Да нет, один мой сослуживец интересуется, тетушка там у него жила».— «А-а, может, у мамки спросить? Она тамошняя, она у меня наполовину русская, наполовину хантыйка».— «Да не надо. Чего уж там, разве найдешь человека на такой большой земле?» Чем дальше жил на свете Щусь, тем больше он тосковал по тетушке. Со временем это сделалось болезнью, ото всех скрываемой. Тетушка Елизавета — тоска, мать, сестра, женщина женщин, прекрасней, добрей, лучше ее не было и нет никого на свете.

Начальник слово сдержал и, как догадался Щусь, всю жизнь сох по своей монашке, не женился, будто бы искал даже Елизавету — для него, мол, для Платошки. Он был не только боевой командир, тот начальник, присушенный монашкой, но и добрый, в общем-то, человек. Как смутно сделалось в Тюмени, как сами большевики начали садить и выбивать старые боевые кадры большевиков, тут же сбагрил подростка в Тобольск, и так хорошо, так ловко это сделал, что за парнишкой не осталось никаких хвостов. Щусевы, местный художник Донат Аркадьевич и преподавательница литературы одной из тобольских школ Татьяна Илларионовна, были бездетны, мальчика приняли в своем доме родным, они знали тетушку его Елизавету, она даже и жила какое-то время у них, но события, происходившие в гражданскую войну и после нее, чем-то и где-то зацепили красавицу, пришлось ей искать монастырскую обитель для уединения.

Вместе с Платоном в ученической сумке прибыл пакет для Щусевых. В конверте том была фотография девушки такой красивой, что глаз не оторвать. Тетушка — ученица губернской гимназии. Еще в конверте было письмо и бумажки-бланки какие-то с печатями. Платон без проволочек был не только усыновлен Щусевыми, но и переименован в Алексея, да и не просто переименован, но крещен в ночное время выгнанным из храма попом, тайно справлявшим требы и службы.

Время начиналось страшное, тюменского начальника расстреляли, пробовали таскать Доната Аркадьевича, но его, как ни странно, спасала дореволюционная ссылка. Вон он когда еще боролся за землю, за волю, за лучшую долю! Борец-то, между прочим, вместе с братией из художественной академии побегал по улицам столицы, потряс красным флагом в 1905 году и поехал бесплатно в Сибирь на бесплатное житье, за ним, уж добровольно, ринулась и возлюбленная его, Татьяна Илларионовна,— все как в лучших революционных романах! Люди тогда старомодные были, в Бога веровали, не бросали друг дружку в беде, не предавали походя.

И еще спасло Щусевых безупречное, скромное житье, всеобщее уважение тобольчан. Цеплялись насчет мальчишки большевистские непримиримые и неистовые борцы за чистоту рядов совграждан. Супруги Щусевы взяли грех на душу, по письменному наущению начальника соврали: дескать, это сын девушки, заброшенной ветром войны из казачьего Семиречья, но казак погиб, мать была, по слухам, в монастыре, но как монастырь разогнали, она где-то в вихре революционных бурь затерялась. Простоватый с виду провинциальный интеллигент Донат Аркадьевич был уже крепко бит и трепан жизнью, голой рукой его не так-то просто ухватить — с фотографии тетушки Елизаветы он написал портрет маслом и придал ему черты сходства с Алешей. Отдаленно-то по породе они и были немножко схожи, художник это сходство где штришком, где мазком усугубил. Он же, Донат Аркадьевич, видя кровавый разгул в стране, начал править Алексея на военную стезю, наверное, полагал мудрый старик, что уж военных-то, силу-то свою и мощь, большевики подрывать не будут, не совсем же они остолопы, чтобы сук под собой рубить.

Ах, Донат Аркадьевич, Донат Аркадьевич, папашка старенький, какой ты все же наивный был, как ты все же мерил новый мир по старому аршину, как светло заблуждался насчет новых людей, нового мира и в особенности насчет текущего момента. Молодость, духовная недозрелость да смелость натуры и ладность фигуры помогли и помогают спасаться приемышу и от бурной жизни, и от собственной дури.

Все шло по заведенному плану: школа, экзамены, посылка документов в Забайкальское военное училище — к документам приложены аттестат с круглыми отметками «отлично» и справка военрука тобольской школы о безупречной военной подготовке в пределах десятилетки, копии удостоверений «Ворошилов-

ский стрелок», постоянного члена МОПРа, донорской станции и характеристики одна хвалебней другой. «Нам иначе нельзя, мы всегда в подозрении»,— лепетала Татьяна Илларионовна. И Алексей с туманного детства понимал, что только отличной учебой, безупречным поведением, безукоризненной боевой выучкой, беззаветной храбростью он сможет снять с себя, со Щусевых, со своей святой тетушки вечную вину. Понять бы еще: в чем та вина? Не видел он бела света ни в детстве, ни в юности, ни в школе, ни в военном училище — все выправлял себя: показательный, передовой гражданин передового в мире общества. А как уж радовались ему, его покладистости, радению Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна, из кожи лезли они, чтобы получше его одеть, послаще накормить. Что там говорить, благоговели они от счастья, что Бог послал им в награду любимого всеми мальчика, ну и он старался платить им любовью — уж на что писать ленив, а из училища слал им письма каждомесячно.

Первый проблеск в слепом сознании, первый урок, первое отрезвление в безупречно выстроенной жизни, в вышколенном, целенаправленном умишке образцового ученика, гражданина и курсанта произошел на озере Хасан, в боях за сопки Безымянную и Заозерную.

Курсантскую роту спешно пригнали к местам боев 1 августа, 2-го весь день продержали под дождем — слишком много скопилось возле сопок умных комиссаров и наставников, сил не жалеющих на боевое слово, призывающих вдребезги разбить зарвавшихся самураев, неувядаемой славой покрыть славные знамена. Ораторы стояли в затылок, добросовестно отрабатывая свой сдобный хлеб. В результате не отдохнувших, голодных, с ног валившихся курсантов, к бою не годных, выдвинули под крутой склон сопки, придав роту выбитому с высот сто двадцатому стрелковому полку.

На склонах сопок Безымянная и Заозерная копнами чернели застрявшие в грязи танки, скособоченно стояли орудия, всюду там и сям на земле виднелись замытые дождем бугорки — убитые, догадались курсанты, но духом не пали, просто решили они, да им и помогли это решить речистые комиссары: тем передовым красноармейцам не хватило храбрости и умения в бою. Вот они, курсанты, пойдут, уж они этим дохлым самураишкам дадут. И шли на крутой склон в лобовую атаку, и расстреливали их японцы с высоты, так и не пустив наверх, не доведя дело до штыковой схватки.

Отброшенные в очередной раз назад, курсанты лежали в размешанной грязи и отдыхивались, ничего не понимая. Как же так? Они ж орлы, герои, а их косят, как траву, какие-то зачуханные японцы в очках?! Наконец пришло озарение: надо думать, надо уметь, надо хитрить, надо тактику применять на практике. Командир отделения Щусь подполз к командиру роты, попросил в сумерках пошуметь, хорошо пошуметь, сделать полную видимость атаки, он с остатками своего отделения попробует обойти пулеметчиков. Пригодилось все: и выучка, и ловкость, и выдержка,— он помнит, как, уже бросившись на хорошо окопанный расчет пулемета, судорожно всаживая нож в живое тело, почти обезумев, стиснутым ртом вырыгивал чапаевское из кино: «Р-ррре-ошь, не возьмешь! Р-ррре-ошь...» — потом с фланга пластал из пулемета японцев, гасил огневые точки, и когда рота, остатки ее, наконец-то достигнув японских окопов, зарычала, завизжала, увязнув в рукопашном бою, он ринулся в человеческую кашу, что-то тоже крича, вытирая слюняво раззявленный рот соленым кулаком, не понимая, чья это кровь, его или того японца, которого он колол ножом.

Во тьме окопной ямы, залитой грязной, вязкой жижей, он вроде бы кого-то ткнул штыком, отбросил, и откуда-то возник перед ним низенький солдат в каске, он так и не успел уразуметь — откуда. Забыв все правила штыкового боя, бросился дуром на врага и был умело поддет штыком «под зебры». Молнией полоснула боль, оглушающий удар по голове — и все...

Очнулся утром на пути в госпиталь с забинтованной башкой и лицом так, что один только глаз из белого светился. Он был уверен, что сопку они все-таки взяли, японцев разбили, искромсали, да так оно и подтверждалось в сводках: взяли, разгромили, неповадно будет самураям нарушать священные наши рубежи.

С горестным смущением узнал он потом: сопку-то они всю так и не взяли, только положили уйму народу, так как стреляли из орудий и из танков по своим — связь была аховая, гранаты не взрывались, автоматические винтовки заедало. На переговорах о возвращении сопок и восстановлении закрепленных границ на Хасане японцы куражились над самодурствующими советскими

правителями, требовали компенсации, получили все, что требовали, так что вторую половину сопки брали уже «застольными» боями наши униженные дипломаты.

В госпитале Щусю вручили орден Красной Звезды, после госпиталя подержали еще в училище и не столь уж гоняли, сколь показывали новобранцам — герой. Выпустили наконец-то, присвоив звание младшего лейтенанта, послали в распоряжение Сибирского военного округа, оттуда в двадцать первый полк, в первую роту, куда прибыл из госпиталя Яшкин и рассказывал про фронт почти как про Хасан: порядка нет, связь никудышная, по своим как стреляли, так и стреляют, комиссары как болтали, так и болтают, командиры как пили, так и пьют, танки как вязли, так и увязают. Одно утешение: немцы ввиду стремительного продвижения и при своей-то образцовой дисциплине и связи тоже в своих лупят, бомбят своих за здоровую душу.

А родители, Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна, меж тем покинули сей неспокойный свет, один за другим отплыли к тихим берегам лучшего мира. Тетушка потерялась в миру — нет ни дома, ни семьи, ни любимой женщины. Военный человек. Спец. Экая должность! Экая дурь! Какой смысл в такой жизни? Чтобы топтать других? Ломать судьбы? Готовить людей на убой? Но они и без подготовки погибнут на такой войне, с подготовкой такой вот, что в двадцать первом полку, которые погибнут и до фронта. Мальчишек растят, спасают от зла, добру учат, чтобы они творили еще большее зло в битве за добро? «О Господи! Что за жизнь! Что за дурацкая путаница в башке! И разламывается башка, и выпить нечего, да и не хочется». Хотелось бы, разбудил бы Груньку, помял, она деваха разбитная, добыла бы из-под земли...

А мальчишек жалко. И этого доходягу Попцова... Может, и хорошо, что он отмучался? Добил его дубарь, помог ему. Да он бы все равно скоро умер. И списали бы его, в тайные отчеты незаметно внесли. Он, слава Богу, уже не познает ужаса боя, никто не подденет его на штык, не всадит пулю ему в грудь. «Царство тебе небесное, парень. Лежишь вот сейчас в полковом морге, в ямине глубокой на полу валяешься, и ничего-то тебе не больно, жрать уже не хочется, братья солдаты не рычат, не бьют тебя, мокрого». Щусь почувствовал на лице мокро, неторопливо, как милая тетушка Елизавета учила, перекрестился в темноте и утих, жалея себя, людей, весь свет жалея и радуясь тому, что такого вот раскисшего, жалостливого его никогда никто не видел, не знает и не узнает,— забылся беспокойным сном, облегченный слезами и молитвой, которой его обучила опять же тутушка и которую он уже не помнил до конца: «Упокой, Господи, души усопших раб своих... и прости им все согрешения, вольные и невольные...»

Старшина Шпатор завел было нотацию насчет несвоевременного явления в казарму подразделения, но Яшкин громко, чтобы всем было слышно, объявил:

— Первая рота сегодня отдыхает! — Понизив голос, добавил: — Не гомони, старче, хотя бы в этот страшный день.

Лейтенант Пшенный более в расположение роты не являлся. Кто-то уверенно заявлял, что его судили, отправили в штрафную роту, кто-то заверял, что он осел в штабе полка и принял роту в третьем батальоне. Щусь насчет Пшенного ничего не говорил, да его особо и не донимали расспросами, радуясь, что другого командира роты не присылают и правит в подразделении младший, привычный всем лейтенант, все последнее время отсутствующе глядящий куда-то выше их и дальше их.

Происшествие в первой роте отозвалось где надо: красноармейцев из первой роты одного за другим вызывали в особый отдел полка, где главным был старший лейтенант Скорик.

Но прежде своих подчиненных побывал у Скорика младший лейтенант Щусь.

Они когда-то учились в одном военном училище в Забайкалье, из которого и была брошена курсантская рота на Хасан. Курсант Щусь, как написано было в наградном листе, в штыковой атаке заколол трех самураев, отбил вражеский пулемет, обернув его в сторону противника, приземлил наступающую цепь врага. Когда пулеметные ленты кончились, курсант снова ринулся на врага, получил штыковое ранение, но все же на сопку Заозерную взобрался, где и подобрали его санитары. В читинском госпитале ему вручили орден, после чего молодой

герой поистребил вина не меньше бочки и восхищенных девок больше, чем самураев в бою.

Лева Скорик в бою не бывал, но в званиях и по службе продвигался успешней героя хасанских боев, аж вот куда додвинулся — до начальника особого отдела стрелкового полка, количеством штыков, точнее едоков, равного дивизии. Большинство командиров двадцать первого полка терпеть не могли бывшего сокурсника Левы Скорика, давно бы его схарчили, но Щусь был любимцем командира полка Азатьяна, тот, не иначе как стремясь поглумиться над ожиревшими, самодовольными тыловиками-штабниками, поручил выщелку-орденоносцу раз в неделю проводить с ними строевые занятия.

Младший лейтенант Щусь, к общему удовольствию рядового и младшего состава, гонял майоров, капитанов, старших лейтенантов и лейтенантов до седьмого пота, да еще в заключение заставлял пройти строевым шагом по расположению полка, чтобы все видели, что возмездие в божьем миру еще существует. С насмешкой, не иначе, кричал нескладному капитану с древней дворянской фамилией Дубельт, култыхающему вразнопляс со строем:

— А ну-ка, полковой меломан, пе-эссню-ууу! И-и-ы, рысс-два! Рысс-два!

Капитан Дубельт не знал современных строевых песен, отказать, однако, строевому командиру, их истязающему, не решался и под шаг запыхавшихся тыловых чинов затягивал таким же тощим, как он сам, тенором: «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ва-аши жо-о-оны?» «Наши жо-о-оны — пушки заряжоны, вот кто на-аши жо-оны!» — чуть озоруя, однако и потрафляя лихому строевику, рявкали штабники.

— Ррыс-два! Рр-рыс-два! — так ли ладно, так ли складно вторил младший лейтенант Щусь.— Выше ногу! Шире шаг! Подобрать животы! Р-рас-спрямить спины! Рр-рысс-два! Рррыс-два!

Не забыл Щусь и про своего соратника по училищу. На первом же занятии въедливо поинтересовался:

— А что, старший лейтенант Скорик не служит в нашем достославном полку?

— Служит, служит! — мстительно откликались истязателю тыловики, давно уже никого, кроме себя, не уважающие.— Поблажку сам себе выдает. В строй его! На цугундер!

И оказался особняк Скорик в строю. Бывший его сокурсник уделил ему особое внимание:

— Старший лейтенант Скорик, подтянитесь! Не сбивайте шаг. Не тяните ножку, или я займусь с вами индивидуально строевой подготовкой. Вечерко-о-ом! После отбоя!

— Зараза! — кипел Скорик.— Достал, достал! Ну ты дождешься! Ну я тебя куда-нибудь упеку!..

Упечь было бы просто, поводы подавал сам младший лейтенант Щусь: он напивался, а напившись, являлся к штабу полка, митинговал:

— Эй вы, тыловые крысы, отправляйте меня на фронт, иначе я вас всех до смерти загоняю. Рожи ваши видеть не могу! Войско обжираете!

Младшего лейтенанта хватали патрули, волокли на офицерскую гауптвахту. Но его оттуда непременно вызволял полковник Азатьян и подолгу увещевал, обещая: скоро, может, уже с нынешним составом бойцов, двадцать первый стрелковый полк целиком и полностью, вместе со своим штабом, отправится на фронт. С кем тогда он, командир полка, пойдет в бой? С этими, как совершенно точно их называет неустрашимый герой, болванами, да? И что будет в полку с ребятишками-красноармейцами, если его покинут такие люди, как командир первого взвода? Они останутся на растерзание держиморд пшенных, да?

— Иди, дорогой мой, в роту, иди, береги парней, учи их бою, терпению и сам терпи. Я ж терплю! Мне, боевому командиру, совсем от тебя недалеко, на Халхин-Голе, получившему награду и ранение, каково? Ты все осознал, да? Иди, дорогой мой, иди! И не напивайся больше. Я бы тоже вместе с тобой напился, побунтовал бы, перебил все окна в штабе, да что окна, я бы весь этот штаб перебил, но нельзя, дорогой, нельзя-а-а. От нас родина требует врага бить, не окна, врага, врага, дорогой мой.

Начальник особого отдела вдоль и поперек изучил выписку из личного дела младшего лейтенанта Щуся — никакой зацепки в бумагах не нашел. Родом Щусь из русско-немецкого иль казачьего поселения, что в Семиречье, под Павлодаром.

Зацепка малая, чтоб упечь куда надо героя Хасана. Скорик запросил павлодарский гражданский архив, тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Щуся в армию и направлял в военное училище. Хоть советскую икону пиши со Щуся — настолько чист он и безупречна его биография. Ма-ахонькая, совсем крохотная зацепка в бумагах была: род казаков Щусей где-то на уровне прадедов сплетался с немецкой ветвью, и не отсюда ли странное и непривычное уху отчество — Донатович? Да и фамилия Щусь? И эти голубые глаза с водянистой размытостью, заключенной в резко обрисованный двумя кружками серый зрачок, и эта невиданная аккуратность во всем. Сколько помнил Скорик Щуся, ни одной он волосинки лишней не переложил с четко расчерченного расческой пробора, ничего лишнего на темечке не нагромоздил. И как, как из Щусева превратился он в Щуся? Накуролесил Щусь достаточно для суда, разжалования и штрафной роты, да никак его не выдернуть из объятий полковника Геворка Азатьяна. Обожает его полковник, грудью заслоняет. Но вот, кажется, и полковнику скоро на дыбу идти: в полку разлад дисциплины, воровство, истязания, драки, много больных и наконец всему венец — смерть красноармейца в строю, нападение на офицера.

— Что у вас там произошло, Алексей, расскажи-ка мне подробней,— по-свойски, небрежно обратился Скорик к Щусю.

Но тот не принял его тона.

— Здесь,— помотал он рукою над головой,— не школьный класс, не клуб с танцами и девочками. Вызвали, так извольте обращаться, как положено в армии, по званию.

— Да-а, звание, звание. Что-то оно у тебя...

— Я все в жизни приучен добывать трудом и в бою, поэтому мне звания и награды даются не так легко, как некоторым.

Старший лейтенант Скорик понял тонкий намек, привыкший к покорности собеседника, помрачнел, помолчал.

— Всякому свое,— молвил он и со вздохом добавил: — Надо кому-то нести и эту неблагодарную службу,— выразительно пошлепав по столу ладонью, заключил он.

— Вот и неси, а в свояки не лезь!

— По-нят-но! — раздельно и четко произнес Скорик и повторил: — Ясненько. Ну так что ж, бойцы твои вознамерились поднять на штыки советского офицера?

— Они столь же мои, сколь и ваши. Но вы удобно устроились. Отдельно от них живете, а родину любите вместе. И правильно бы ребята сделали, если б это быдло запороли. Я не дал. Жалко парнишек. Ты обрадуешься работе. Одряб вон от безделья, паутина по углам.— И понимая, что подзашел, что хватанул лишку, сбавил пыл.— Да таким оболдуям, как Пшенный, самое подходящее место на штыке.

— Уж больно вы того, товарищ младший лейтенант... резковаты. И, простите, дерзки. У меня тут не положен подобный тон...

— Да мне начхать, что тут положено, что не положено. Экая церковная исповедальня, где говорят только шепотом. А меня не это занимает. Мне вот спросить хочется: давно ли вы были в солдатских казармах? Совсем не были? Так я и знал. Побывали б там, так не ублюдком Пшенным интересовались бы — интересовались бы тем, что умер боец не на фронте, не в бою, для которого призван государством.

— Здесь не меня спрашивают. Я спрашиваю. И государство не троньте. Не по плечу вам эта глыба. А вот как человек погиб, расскажите, пожалуйста, подробней.

— Чего ж рассказывать-то? — протяжно вздохнул Щусь.— Какой-то прохиндей, тыловая крыса какая-то спас себя или сыночка своего, взятку ль получил, сунул в армию непригодного. Попцов прибыл в роту больной. И кабы он был один такой. Морока одна с ними. В пути, на пересылках, в карантине Попцов совсем дошел. В роте он ни одного дня в строю не был, два раза в санчасти лежал. Его бы комиссовать, домой отправить, подладить, подкормить. Да много тут таких, а медчасть одна...

— Все это я знаю и без хождения в казармы. На вот, распишись.— Скорик бросил Щусю листок, напечатанный типографской краской,— ну там о неразглашении разговора, в особенности военной тайны, и т. д. и т. п.— Щусь черкнул

в конце листа наискось свою короткую фамилию, отшвырнул бумагу брезгливо. Скорик небрежно сгреб ее в ящик стола.— Объяснительную писать все равно придется. И вот еще что...— Он помолчал, подумал.— Беседовал я тут с твоими орлами из первого взвода. Каждому из них давал листочек, где написано: обязуюсь, мол, сообщать о сговорах, вредных влияниях, намерениях дезертировать и так далее и тому подобное. Обязан. Служба у меня такая. Так один из твоих орлов, по фамилии Шестаков, чуть мне голову чернильницей не расколол...

— Во молодец!

— И я так же думаю. Так вот. Чтоб этот добрый молодец был и на фронте боец, скажи ему: не на всякого офицера можно со штыком да с чернильницей бросаться — обратно прилетит и ушибет до смерти. Скажи ему, чтоб не болтал об этом происшествии в роте. И тому громиле, что припадочного изображает, ну, который «у бар бороды не бывает» глаголет, скажи, чтобы не заигрывался.

— Это уж сам ему скажи. Наедине.

Скорик спрятал глаза, открыл стол, что-то в нем перебирая.

— И это вы знаете. Но на всякий случай тоже не разглашайте. Да и врет он, сочиняет, деляга, всякую чушь, безвредно для товарищей сочиняет. Есть такие, придурками живут, на придурков рассчитывают. Немцем тебя посчитал,— Скорик смотрел в упор, испытующе,— за аккуратность. Не допускает мысли, что офицер из русской армии может быть прибран.

— Оттого что настоящего русского офицера он не видал, больше шпану зрел,— подхватил Щусь. Отвернувшись к окну, постукивая пальцами по столу, он силился уразуметь: зачем Скорик все это ему сообщил? зачем такую гнусную подробность доверил? Чтоб знал Щусь, что не все бросались на старшего лейтенанта Скорика с чернильницей, не все припадочных изображали, были и те, что бумажки о доносительстве подписали, время от времени они исчезают из расположения роты по вызову в штаб полка: полы, мол, мыть, баню топить, иль за почтой, иль наглядные пособия капитану Мельникову поднести — тонкая политика в армии, памашь!

Скорик поднялся, давая понять, что беседа окончена, и, глядя в стол, произнес:

— Не ломай голову, не дури и не дерзи лишку. Сломают. А ты на фронте нужен.— Подал руку.— Держи! Все же дважды однополчане. И здесь, Алексей Донатович, о родине иногда тоже думают. Враг-то на Волге.

(Продолжение следует)

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

*

ИСКУШЕНИЕ ЖИЗНЬЮ

* * *

Что же сделается вдруг
Этим яблоням и сливам,
Если выпадет из рук
Жизнь воробушком пугливым?

Кто бы плакал, да не ты:
Почве чуждо отвращенье,
И она без тошноты
Примет это угощенье.

А когда, сомкнувши рот,
Побредешь к иным пределам,
Почва тоже в свой черед
Станет чьим-то нежным телом.

И уже в твоей горсти,
Позабывшей все приливы
Смертных мук, начнут расти
Эти яблони и сливы.

* * *

Осенний сон осы прекрасен и глубок,
Меж двух оконных рам просторнее, чем в храме:
С той стороны стекла воркует голубок,
А с той прядут кудель беседы вечерами.

А ей и дела нет до наших передряг,
Она лежит и наслаждается покоем,
Она уже мертва, и сон ее набряк
Тяжелой нежностью к ромашкам и левкоям.

Ей видятся луга, сходящие с ума
По солнцу, синевой пропахшие безбожно,
И чтобы увидать, что храм ее — тюрьма,
Достаточно открыть глаза. Что невозможно.

* * *

Нестерпимейший зной превращает сафьян в кирзу,
Дни проходят за днями, как будто за взводом взвод,
Если что и способно хоть ночью навлечь грозу,
Это стоны цикад, раздражающие небосвод.

И когда ты по звездному лезешь наверх лучу,
Вместе с темным пространством смещаясь куда-то вбок,
Кто-то вдруг с укоризною треплет тебя по плечу,
Оборачиваешься и видишь, что это Бог.

* * *

Не гляди исподлобья и не
Осуждай мировую рутину —
Жизнь во всех проявленьях прекрасна вполне,
Взять хоть эту картину:

Три ханыги из горлышка пьют,
Парень девку таскает за косы,
Голубочки воркуют, отходы гниют,
И цветут абрикосы.

* * *

Кукушка на сосне и рыжики в корзине,
И можно шляться, и не печалиться, и не
Пижонить, и брести по ржавчине дорожек,
Зажав, как медный грошик, осенний свет в горсти.

Здесь ни добра, ни зла, а отношенья проще,
И сонный лепет рощи похож на плеск весла
Харона, и лишь в том различны постулаты,
Что здесь не надо платы ни раньше, ни потом.

О, полно горевать о том, что век твой прожит,
Тебя еще положат в дубовую кровать,
И сладко будет спать и видеть над собою
Созвездия, гурьбою шагающие вспять.

* * *

Мы прожигаем жизнь дотла и копим слитки лжи,
И отражают зеркала все наши кутежи.

Ночь, опьяненная вином, хохочет сгоряча,
Но кто там ходит под окном, прозрачный, как свеча?

Кто там рубашкой шебаршит и дрыгает ногой —
То ль праведник, то ль вечный жид, то ль ведьма с кочергой?

Давай-ка думать, голова, как, избежав вины,
Не спутать Божии слова с искусом сатаны.

Ведь если дьявол нас пасет, загнав, как скот, в загон,
Одна молитва и спасет, молитва, не закон.

Чтоб разобраться что к чему, а что совсем не в счет,
Ты будешь пялиться во тьму, как некий звездочет.

Ты выйдешь в поле, хмур и строг, и поутру придешь
На перекресток трех дорог, а там одно и то ж —

Там вздрогнет каменна́я твердь, потом раздастся вздох:
«Налево смерть, направо смерть и только прямо Бог».

СЕМЕН ЛИПКИН

*

ЗАПИСКИ ЖИЛЬЦА

Повесть

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В воскресным утром Лоренц вытащил из ящика украинскую газету (на русскую подписаться не удалось), из нее что-то выпало. Ему хватило ума спрятать открытку от родителей и прочесть ее, уединясь. Он узнал, что Лоренц Михаил Федорович должен явиться такого-то июля 1933 года в одиннадцать часов утра по адресу Мавританская, два, к следователю Шалыкову, комната восемнадцать.

С той ночи как арестовали участников марксистского кружка, прошло больше месяца. Естественно, что Лоренц ждал обыска, ареста. Ему нужен был совет, но с кем он мог поделиться тайной? Она была опасна и для него и для собеседника. Володя Варути, замешанный в это дело в той же мере, что и он, неожиданно исчез. Мадам Варути лепетала нечто невразумительное о бригаде художников, посланных на село. Она была очень напугана, об аресте Лили Кобозевой — ни слова.

Плох был Андрей Кузьмич. Гепеушники, производившие обыск, оскорбляли его, оскорбляя при нем Лилю. Они пришли после полуночи, кончили к утру. Лилю увели быстро, задолго до окончания обыска, не дали ей как следует попрощаться с отцом. «Шлюха, не задерживай машину, шофер, думаешь, не человек!»

Все для них было важным, значительным, даже портреты обеих жен Андрея Кузьмича, даже Лилины конспекты, записи университетских лекций. Один из них сперва отнесся к Андрею Кузьмичу как будто без злобы, спросил: «Дело житейское, где у вас туалет?» Он увидел Часослов екатерининских времен, Кобозевы сохранили старинную книгу и привезли ее сюда в начале прошлого века, когда старообрядцев сослали в Новороссию, сравнительно недавно окончательно завоеванную у турок. «Ваша книга или дочери? — спросил гепеушник и, услыхав ответ, сказал с искренним презрением: — Инженер, вуз кончили, а темнее самого отсталого колхозника. Теперь икон да лампадок ни в одной культурной хате не сыщешь».

На работу Андрей Кузьмич пока не ходил: помогли соседи, дали в лапу знакомому участковому врачу, он устроил Кобозеву бюллетень. Чемадурова кормила его, как маленького. Он все поглаживал висевшую у него на груди на шнурке какую-то подвеску, — нет, не крестик, амулет старообрядческий, что ли. Он заговаривался, ни с того ни с сего стал вспоминать одну из квартир на Мавританской, где сейчас разместился НКВД: «Я там бывал часто у Зоси Амбражевич, ухаживал за ней, когда был гимназистом, я, поверите ли, был очень влюбчив, а она — красивая, полька и все такое. Она теперь в Бельгии, у них там завод, старухой, наверно, стала. У отца тоже квартира была, поверите ли, большая, но мрачно было у нас, а у Амбражевичей — штофные обои, гобелены со всякими пастушками и маркизами».

Дворник Матвей Ненашев, очерствевший на своей нечистой работе, сказал ему напрямик:

Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

— Не вернется ваша Лилька. Как попала на Мавританскую, считайте, что нет у вас дочки. Женитесь. Не для чего-либо, а для чистоты в квартире.

Андрей Кузьмич ответил ему укоризненно:

— Наша вера не позволяет нам в третий раз жениться.

По ночам он долго молился, и от чудных, не старящихся слов, от двоеперстного знамения, от лампадки перед ликом мирликийского чудотворца ему становилось легче, к утру он засыпал. Для спасения дочери он ничего не предпринимал, не ходил в бюро пропусков, не просил о свидании. Передачу ежедневно носила Чемадурова, но у нее не брали. Андрей Кузьмич как-то ее обидел — пристально взглянув на кольцо на ее толстом пальце, сказал:

— Не кольцо украшает руку, а то, что рука щедро дарит.

И это она, деятельно-добрая, должна была слышать от него, от безвольного и вялого! И она ему ответила, мягко улыбаясь:

— Дурак ты у нас, Андрей Кузьмич! Потому тебя и жены бросили, что дурак. А перед Господом — умный.

И Андрей Кузьмич поцеловал ей руку.

Весь этот месяц Миша ждал, что придут его арестовать, но пришла открытка. Он решил посоветоваться с Цыбульским.

Рашель была дома: Миша забыл, что сегодня воскресенье. При ней, Миша чувствовал, говорить не надо. Цыбульский, в голубой майке, пил пустой чай. Мелко поблескивало колючее серебро его кудлатой головы.

— Здорово, Миша, — ответил он на приветствие. — Люблю аккуратистов. — И объяснил Рашели: — Мы с ним решили пойти искупаться, на камушки.

Рашель гладила железным утюжком толстовку Цыбульского, тщательно выпрямляя парусиновые складки. Она посмотрела на Мишу ласково-безразлично. Она и на мужа теперь всегда смотрела именно так. Чужая порода. Не враждебная как будто, а чужая. Так на крестьянском дворе кошка смотрит на козу.

Они пошли молча, миновали Николаевский проспект, пересекли Кардинальскую, спустились к Пушкинской, мимо школы, где учился Миша, свернули по Полтавской, и вот уже слева — старые стены казармы, мимо которых, может быть, ночью возвращался с морской прогулки, с Платоновского мола, Пушкин, а потом, может быть, везли Лизогуба или Степана Халтурина, и вот красноармейцы выглядывают из раскрытых окон, еще немного пройти — и будет великолепная Мавританская и направо то здание, куда завтра к одиннадцати утра должен явиться Миша Лоренц.

В Екатерининском парке около памятника великой императрице (теперь — обелиск в честь жертв революции) Цыбульский спросил:

— Ты ко мне пришел по поводу Лили?

Миша показал ему открытку. Цыбульский внимательно ее прочел — Мише показалось, что два или три раза.

— Миша, ты хочешь моего совета?

Миша тревожными глазами ответил: да, да.

— Во-первых, не бойся. Будешь бояться — пропадешь. Тебя вызывают как свидетеля. Конечно, они легко могут превратить тебя в обвиняемого. Будь к этому готов. Отвечай на вопросы кратко. В подробности не вдавайся. Любое лишнее слово может погубить тебя, погубить твоих товарищей. Ни одного имени не называй сам. Не старайся следователю понравиться, остроумием например. Тебе предложат стать осведомителем. Откажись спокойно, не возмущаясь, но твердо. Когда сильно прижмут, так, что дышать не сумеешь, скажи: «Не хочу». Помни: они знают мало. Сделай так, чтобы после твоего ухода они знали столько же, сколько до твоего прихода. И еще помни: следователь — сволочь. Не сволочь в следователи не пойдет. Не пугайся его угроз, пугайся его ласки...

Камушками назывались опрокинутые морем между портом и Графским пляжем остатки развалившихся дамб. Здесь было глубоко у самого берега, поэтому сюда не приходили семьи с маленькими детьми, было сравнительно тихо. Глядя на скроенное кое-как, но крупное, здоровое пятидесятилетнее тело Цыбульского, Миша устыдился своей впалой груди, тонконогости. Они поплыли, Миша отставал. Он самому себе показался щепочкой, веточкой, и не по своей воле он плыл, а волна передавала его другой волне.

Когда они легли спинами кверху на камни, неровно покрытые скользкой зеленью, Цыбульский тихо спросил:

— Что происходило у Лили? Чем занимались?

— Изучали Карла Маркса. В подлиннике.

Цыбульский рассмеялся:

— Я тоже как-то попал в тюрьму за изучение Карла Маркса. Просидел всего полгода. Наверно, потому, что изучал не в подлиннике. Как ты думаешь?

Цыбульский повернулся на бок и прошептал:

— Пораскинь умом, прикинь, кто провокатор.

Миша сомкнул мокрые ресницы. Солнечный свет преобразился в лиловатые пятна с золотой каймой, набухшие у самых глаз. В этих лиловатых пятнах возникли Кобозева (она ему втайне нравилась, но он понимал, что ей неинтересен), Оля Скоробогатова, высокая, с обескураживающим целомудренным взглядом серых глаз, с тонкокожим лицом, на котором виднелись веснушки и прыщики, слегка припудренные, уверенный в себе, статный, плечистый, твердый в своих убеждениях Калайда, спокойный, добродушно-насмешливый Эмма Еле-Советский. Нет, нет, из них — никто. Володя Варути, товарищ детских лет? Исключается. То, что Володя внезапно покинул его, уехал из города, — конечно, трусость, но нет, нет. Лиходзиевский? Может быть, но он бывал редко, опасных разговоров при нем не вели. А впрочем, все ли разговоры упомнишь?

На другой день он выходил из помещения бюро пропусков, держа в руке новенький паспорт (их недавно стали выдавать в обязательном порядке всем городским, вернулись к царским обычаям) и пропуск. Миша повернул направо. К парадному ходу вело несколько ступенек. Перила на лестнице сверкали белизной. Комната восемнадцать оказалась на третьем этаже. Никаких штофных обоев, гобеленов, только необыкновенно — для советского учреждения — тихо и чисто. Двери — такого же белого цвета, как и перила на лестнице, — очень высокие и широкие, двустворчатые, с мордочками фавнов по краям. Вот и табличка: «Г. Г. Шалыков». Миша вошел.

— Надо сперва постучаться.

Это сказал ровным голосом сидевший за письменным краснодеревым столом молодой еще человек, светлый блондин с глубокими залысинами, роста скорее среднего, одетый по тогдашней партийной моде во френч. Миша показал ему открытку.

— А, это вы. — Он слегка шепелявил. — Я вас вызвал, чтобы услышать ваши показания по делу контрреволюционной квадриги.

Он брал быка за рога. Никаких предисловий. Миша это понял, но сердце его сжалось, стало страшно.

— Садитесь. Что означает слово «квадрига»?

— Четверка, четверица. Того же происхождения более распространенное слово «квадрат».

У Миши отлегло от сердца. Он сразу очутился в своей сфере.

— Так, хорошо. Значение слова «квадрига» вам известно. А с каких пор? Уточним.

— С каких пор я знаю слово «квадрига»?

— Лоренц, не повторяйте моих вопросов, иначе у нас пропадет уйма времени. Отвечайте.

— Латинским я специально не занимался. Читаю, не более того. Думаю, что знаю это слово давно.

— Как давно?

— Точно не скажу. Лет с четырнадцати.

— Не валяйте дурака, Лоренц. Когда вы узнали от участников контрреволюционной группы, что она решила себя назвать квадригой?

— Я впервые об этом узнаю от вас.

— Так не пойдет, Лоренц. Вы заставляете меня заподозрить вас в соучастии, хотя у меня для этого пока нет данных. Я вас вызвал как свидетеля и надеюсь, очень надеюсь, что как свидетель вы отсюда и выйдете. Неужели вы думаете, что мы глупее вас? Вы идиотика из себя строите, скрывая то, что известно весьма многим. Ваши друзья кричали на всех перекрестках, что они — квадрига. Об этом знает даже Лиходзиевский, который интересуется девочками на пляже, а не политикой, и виделся с квадригой всего-то раз или два. А вы, можно сказать, их закадычный друг, не знаете ничего. Глупо, Лоренц. Ладно, оставим квадригу. Когда вы познакомились с Лилей Кобозевой?

Значит, Лиходзиевский. Но что мог накапать Лиходзиевский?

— С Лилей Кобозевой я познакомился, когда она приехала из Ленинграда и поселилась в нашем доме. Это было пять лет назад.

— Вам было известно, из какой семьи Кобозева? Может быть, вы никогда не слыхали, что старожилы до сих пор называют помещение на Покровской магазин Кобозева?

— Я хорошо помню старого Кобозева, деда Лили.

— Хорошо помните? Это интересно. — Шалыков что-то записал.

Лоренц сказал:

— Я родился в доме Чемадуровой и помню всех его жильцов. Не знал, что это интересно.

Шалыков посмотрел на Лоренца с недоумением. Следователь начинал сердиться.

— Часто вы встречались с Лилей Кобозевой?

— Часто. Особенно с тех пор, как мы поступили в университет. Вместе ходили на занятия.

— Чтобы попасть в университет, Кобозева два года проработала на фабрике по изготовлению кафельных печей. Вам это известно?

— Смутно. Мы об этом никогда не говорили. Хотя вы правы, я мог бы догадаться. Мы с Лилей ровесники, но она отстала от меня на целый курс. Сейчас я вспомнил, она мне как-то сказала, что в комсомол вступила на фабрике.

Шалыков опять что-то записал.

— Какое впечатление на вас произвела Кобозева?

— Она была активной комсомолкой. — Миша еще что-то вспомнил, обрадовался. — Упрекала меня однажды в том, что я не веду никакой общественной работы.

— Втягивала, значит? Задача студента — прилежно учиться, штурмовать твердыню знаний. А они баламутят, сбивают молодежь с пути. Очень ценю ваше показание.

Вот и сказал лишнее. А ведь Цыбульский учил отвечать коротко.

— С остальными вы познакомились у вашей соседки по дому Кобозевой, знаю. Дайте им характеристики.

— Я не умею. Это не моя область. Я будущий лингвист, а не писатель.

— Хорошо, помогу вам. — Шалыков стал снисходителен. Видимо, он искренно считал, что и писателем может быть, если понадобится. — Что вы скажете об Иване Калайде?

— Он коммунист с незапятнанной репутацией. Брат прославленного героя гражданской войны.

— Вам известно, что Ивана Калайду собирались исключить из партии за участие в троцкистской оппозиции?

— Слышу об этом в первый раз.

— Странно, Лоренц, более чем странно. О чем вас ни спросишь, обо всем вы слышите в первый раз. И вот что интересно. Вы, кажется, человек неглупый, студент последнего курса, а ни разу не подумали: как это брат комсомольца-героя и сам еще недавно секретарь губкома комсомола — теперь всего лишь библиотекарь? Должность низкооплачиваемая, бесперспективная, она для старушки, райского одувана, а не для коммуниста — участника гражданской войны.

Миша смутился. Он действительно никогда не задавал себе этого вопроса. Он, кажется, что-то слышал о прежнем видном положении Калайды, но вполуха. А работа библиотекаря казалась ему даже заманчивой. Шалыков на него посмотрел так, что Миша понял, что следователь заметил его смущение, но жалеет его, не хочет, так сказать, бить лежачего. И как бы желая перейти к другой, более легкой для Миши теме, спросил:

— Что вы знаете об Эммануиле Елисаветском? Кто его родители?

— Я их никогда не видел, никогда не был у него дома. Отец его переплетчик. Эмма рассказывал, что благодаря профессии отца приохотился к чтению. («Что это я? Опять болтаю лишнее!») Слыхал, что живут они очень бедно.

— Что значит бедно? Вы, например, живете богато? В советской стране нет ни бедных, ни богатых, пора запомнить. Ваш отец — бухгалтер. Намного ли больше его зарплата, чем у переплетчика?

— У нас квартира лучше. А у них одна комната, говорят, очень плохая. Может быть, у них семья большая, детей много, а нас только трое.

— Может быть, может быть. А то, что Елисаветского называют по-украински Ледверадянським, то есть Еле-Советским, вы тоже впервые слышите от меня?

— Я слышал эту шутку раньше.

— Шутка? Почему по вашему поводу так не шутят?

— Из моей фамилии такого каламбура не получишь.

— Лоренц, вы можете довести человека до белого каления. — Шалыков стал кричать, его шепелявость исчезла, голос высоко и нервно зазвенел. — Не сдается ли вам, однако, что Елисаветского лучше бы назвать не еле, а антисоветским?

— Я никогда не слыхал от него антисоветских высказываний.

— Никогда?

— Никогда.

— Мне вас жаль, Лоренц. Вы еще молоды, еще только начинаете лгать, но у лжи, как гласит народная мудрость, короткие ноги, и вы знаете, куда эти ноги вас приведут?

Шалыков нажал кнопку звонка. Вошла девушка в военной форме, приземистая, почти без талии. От нее резко пахло женским потом и духами. Шалыков приказал:

— Тася, достань-ка свое зеркало, пусть он посмотрит на себя.

Девушка, не удивившись приказанию, вынула из верхнего кармана гимнастерки круглое зеркальце и поднесла его к лицу Миши.

— До сих пор краска с лица не сошла, — услышал Миша голос Шалыкова. — Но это хорошо. Совесть не совсем потерял, стыд есть. А ты иди, Тася.

Миша и вправду почувствовал, что щеки его горят. Девушка вышла. Шалыков поднялся из-за стола и снова сел, но уже на той стороне, где сидел Миша.

— Я кое-что вам напомню. Разве даже Ивана Калайду и обеих подруг не возмутило мракобесие Елисаветского, его гимн боженьке Иегове, его кощунственное заявление о Карле Марксе?

Дрожь пошла у Миши по всему телу. Откуда Шалыков знает? Лиходзиевский? Но его не было в тот вечер, когда Эмма говорил о Боге, о нации. Может быть, Володя Варути рассказал Лиходзиевскому, а Лиходзиевский донес Шалыкову? Да, да, Володя ведь не любит Эмму, ревнует к нему Лилю.

— Я жду, Миша, — поторопил его Шалыков, поторопил ласково, назвал по имени. Он был убежден, что Миша уже сломлен.

Но Миша не сдавался, хотя и понимал, что сейчас для него все будет кончено.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

Шалыков непритворно рассердился.

— Я с вами обращаюсь как со свидетелем. Но вы всем своим поведением принуждаете меня считать вас виновным в преступной антисоветской деятельности. Выгодно вам такое поведение? Мы вас всех знаем как облупленных. Иван Калайда — заядлый неразоружившийся троцкист, то есть предатель дела революции. Кобозева и Скоробогатова поддались его зловредному влиянию, запутались. Елисаветский — еврейский буржуазный националист. Не скрою, лично вас пока мы не поняли до конца, но поймем, обещаю вам, сегодня поймем.

Явная угроза. Мише отсюда не выбраться. К тому же захотелось помочиться. Разрешит ли Шалыков выйти? Миша постеснялся спросить. Шалыков опять смягчил голос, к нему вернулась шепелявость.

— Упорство, Миша, прекрасное качество, но его надо отличать от упрямства, которое присуще одному малопочтенному животному. Я знаю, что во время вражеской словесной вылазки Елисаветского присутствовали, кроме квадриги, вы и Владимир Варути.

Он не назвал Андрея Кузьмича. Забыл? Или Володя Варути, рассказав обо всем Лиходзиевскому и все же опасаясь его, умышленно не упомянул старика? Как ответить Шалыкову? Миша понимал, понимал ясно, отчетливо, что этот ответ решит его, Миши, судьбу, раскроет ему самому, кто же он, Миша. И Миша сказал:

— Мы довольно часто собирались в таком составе, хотя мои научные интересы находятся в иной плоскости. Контрреволюционных речей при мне Елисаветский никогда не произносил.

Шалыков нажал кнопку. Вошла Тася. Короткие толстые ноги, низкий зад, низко расположенные подушки грудей.

— Ивана Калайду ко мне.

Зазвонил телефон. Шалыков поднял трубку.

— Сейчас, Наум.

Он положил трубку и сказал:

— Пойдем, Тася.

Они вышли, но Миша не остался в одиночестве. На него смотрели со стен Сталин и Дзержинский. Сталин улыбался, покуривая, и его улыбка не обещала спасения. Он улыбался, как злой мальчик, который смотрит, как его товарищ мучает котенка, и Миша был тем котенком. Иным казался взгляд Феликса — серьезный, даже уважительный. «Ты должен понять, — как бы объяснял рыцарь, — или ты нас, или мы тебя. Лучше мы тебя».

Миша сомневался, вправе ли он встать, пройтись по большому кабинету, но все же он встал, приблизился к венецианскому окну. В Екатерининском парке играли дети. Миша вспомнил, что правее был Троицкий монастырь, его уничтожили, а он так поэтично белел в купах зелени и цветов. Кто-то сравнил наш город с пестрой турецкой шалью, раскинутой среди пустыни. Хотел бы он жить в монастыре? Монахов Миша уже не помнил, наверно, и не видел их ни разу.

Нестерпимо хотелось помочиться. Можно было в графин, но куда вылить воду из графина? Открыть окно? Страшно. Пиджак у него был всего один, да и тот отцовский, слишком широкий для него, Миша его не любил и не надел, пришел в брюках из рогожки и в рубашке, а напрасно, можно было бы в пиджаке. А не выйти ли ему попросту из кабинета? Миша взялся за ручку двери — дверь была заперта снаружи. Видно, Миша не расслышал, как Шалыков ее запирал.

Боль пронзила его с внезапной режущей силой, как будто полоснули его длинным ножом от сердца до ног через пах. Миша сел в кресло, сжался, ему казалось, что так будет легче. Боль действительно немного утихла. Он заснул в кресле.

— Сволочь! Труд уборщиц не жалеешь! Попроситься не мог!

Миша открыл глаза, увидел Тасю. Она стала тяжело бить его по лицу. Ногам было мокро, холодно. Боль, стыд, холод, ужас.

Появился Шалыков. Тася ему доложила:

— Под себя сцит, гад.

Шалыков удовлетворенно посмотрел на Мишу и приказал:

— Пусть введут Калайду Ивана.

Тася вышла, и красноармеец впустил в кабинет Шалыкова заключенного. Калайда сделал от двери два шага и остановился. Боже правый, во что его превратили за какой-то месяц! Недавний комсомольский вожак, высокий, статный, уверенный в себе хозяин страны, — он теперь стоял будто заколдованный злым волшебником. Он придерживал штаны (все пуговицы были спороты) — бессильный, покорный раб. Черты лица по-стариковски заострились. Он посмотрел на Мишу и мгновенно, жалко потупился.

— Повторите, Калайда, что говорил Елисаветский.

Калайда спокойно, внятно пересказал мысли Елисаветского.

— Кто при этом присутствовал?

— Я, Кобозева Лидия, Скоробогатова Ольга, Варути Владимир и он, Лоренц Михаил.

— Как реагировал на антисоветскую вылазку Лоренц?

— Одобрительно.

— В каких выражениях?

— Точно не помню, но одобрительно.

— Неправда! — не выдержал Миша. Он поднялся. Две неровных полоски темнели на его брюках из белой рогожки. — Вы лжете. Как вам не стыдно, Иван!

Калайда сказал все так же спокойно, внятно, без злобы:

— Кому из нас должно быть стыдно? Вы сейчас пойдете домой к папе и маме, а я пойду назад в камеру.

Калайду увели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У Шалыкова было хорошее настроение. Он подзаправился. Миша, конечно, не знал, что все дело затеяли из-за Калайды. Мальчишки и девчонки были приправой. Задание состояло в том, чтобы дискредитировать Калайду в глазах молодежи, и прежде всего той молодежи, что служила в НКВД и для которой само имя Калайды было насыщено воздухом военного коммунизма, пыланием

героических лет. Вот куда заводят троцкистские кривые тропки — в буржуазное болото! Эту мысль надо было вбить в молодые головы, еще кое-где кружившиеся при имени Троцкого. Успех Шалыкова был замечателен еще и тем, что Калайда раскололся неожиданно быстро, от него ждали волынки, а он через две недели после ареста, после третьего допроса уже осознал глубину своего падения.

Когда-то Шалыков работал под руководством Калайды, но его должность, хотя и озаренная пламенем тех годов, была мелкой, чиновничьей: Шалыков заведовал хозяйством губкома комсомола. У него даже не было своего кабинета, он делил комнату с единственной машинисткой, и однажды Калайда вызвал его к себе: машинистка жаловалась, что в комнате создаются невыносимые для работы условия, нечем дышать из-за вонючих мазей, которые Шалыков хранит в ящике стола и втирает в голову, борясь с ранним облысением. Калайда был с ним мягок, чуточку насмешлив, называл его — впрочем, как и все сотрудники губкома, — Ген Генычем (Шалыков был Геннадием Геннадиевичем, насмешка заключалась в том, что комсомольца величают по старинке, по имени-отчеству). В НКВД знали биографию Шалыкова, потому-то именно ему поручили дело Калайды.

Шалыков повел себя умно. Не издевался над бывшим начальником, но в то же время давал ему понять, что и он, Шалыков, не прежний гужеед на хозяйственной работе, он вырос, между прочим, неплохо знает партийную публицистику, в курсе всего, читал и «Уроки Октября» и статьи Бухарина, информирован о борьбе с вульгарной переверзевщиной, с идеалистическими отрыжками Деборина и иже с ним.

На допросах Шалыков избрал для себя такую роль: я нахожусь там, где должен быть, а ты, Калайда, немного запутался, но ты образованнее меня, опытнее, враг у нас общий, помоги разобраться. Как знать, может быть, ты опять станешь моим начальником, и это будет вполне справедливо. И Калайда ему доверился и стал играть в той же постановке, что и Шалыков. Он — кстати пришлось — рассказал своему единомышленнику-следователю о вздорной, но тем не менее весьма отвратительной и безусловно враждебной речи Елисаветского. Тогда-то Шалыков понял, что Калайда взметнул белый флаг, что скромный завхоз победил некогда блестящего вожака губернской молодежи.

Раздражало Шалыкова поведение остальных. Эти сопляки оказались тверже закаленного коммуниста. Фигуристая Кобозева говорила с ним надменно, как с лакеем, Скоробогатова была беременна, что несколько осложняло дело, Шалыков с таким случаем сталкивался впервые, не знал, как поступить, а спросить у начальства не было бы наилучшим решением. «Вопрос, заданный наверх, — трефной», — учил его Наум Уланский. Не было Шалыкову ясно и то, что делать с Елисаветским, который тихо, но нагло отрицал марксизм-ленинизм. Конечно, все это были мелкие помехи, главное он выполнил, хоть сейчас мог подать начальству Калайду — зажаренного, с огурчиком и картошечкой. Но очень хотелось Шалыкову получить и Лоренца, опыт ему подсказывал, что такие малахольные приносят органам наибольшую пользу, потому что люди им доверяют.

Но вправду ли Лоренц был малахольным, то есть со странностями, простаком, законным предметом насмешек? В таком случае, что такое ум? Спиноза непременно прослыл бы на нашем базаре глупым, ему всучили бы гнилой товар. Все относительно. Ум прожженного дельца-капиталиста спасовал бы перед трудностями социалистического общества, где, например в торговле, главное — не выгодно продать или выгодно купить, а ловко украсть у государства. В то же время, как знать, советский удачливый ловкач растерялся бы, попади он в условия свободной конкуренции. Шалыков бесспорно был не лишен сообразительности, но если бы он был действительно умен, то со всех ног побежал бы в ту ярославскую деревню, откуда он родом, откуда предки его шли в московские половые, а он пошел в органы. Но не понял Шалыков, не сообразил, не побежал, и его потом угнали гораздо дальше, вслед за Калайдой, вслед за всеми, кого он отправлял на каторгу, в ссылку.

А Лоренц так и просился в ряды малахольных, потому что был равнодушен к ученой карьере, вообще к карьере, к деньгам, к благам жизни, не трепыхался, не хитрил, не умолял, не требовал, не пил, стеснялся девушек. Малахольный! Но не раскусил его Шалыков, не так прост был этот студент со слабым мочевым пузырем. Не надо было быть мудрецом, чтобы понять, что сведения поступили

к Шалыкову от двоих, от Лиходзиевского и Калайды. Забыл Калайда или не захотел вспомнить, что при словесном взрыве Елисаветского присутствовал Андрей Кузьмич, — и вот уже Шалыков об этом не знает. Только то и знает Шалыков, что ему выбалтывают. Значит, болтать не надо.

А Шалыков видел перед собой сопляка, раздавленного, обосцавшегося, униженного. Один поворот — и яичко будет облуплено, и мы его съедим. Он сел по эту сторону стола и задушевно сказал:

— Я вас понимаю, Миша. Вы солгали, потому что не хотели выдать товарища. Я имею в виду Елисаветского. Между прочим, он не очень достоин вашей дружбы. Что-то у нас плетет о ваших взглядах на советскую литературу. Но дело не в этом. Эмма парень неплохой. Проблема состоит в том, чтобы вы себе самому ответили на вопрос: где вы — в охранном отделении у жандармского полковника, или вы там, где люди гибнут за то, чтобы вам жилось спокойно, где Дзержинский отдал свое сердце временам на разрыв? Разве здесь предают? Здесь некому предавать, потому что вы и мы — одно. Калайда, будучи зрелее вас всех, понял это раньше вас, вы в этом только что убедились, я вас не обманываю. А остальные — и Елисаветский, и Кобозева, и Скоробогатова (бедняжка в положении, мы ее скоро выпустим) — тоже раскаялись, и мы их спасем, они наши, мы боремся за их спасение. Но мы должны и других уберечь от неверного шага, и тут вы можете нам помочь.

— Чем я могу помочь?

— Вопрос вами поставлен правильно, грамотно. Нужна точность. Я предлагаю вам активизироваться, сотрудничать с органами. Мы будем встречаться раз в неделю. Необязательно здесь, можем летом на пляже — у чекистов, вы же знаете, лучший в городе пляж, — зимой, скажем, у меня на квартире или в номере в «Бристоле» за легким ужином. Вас уважают товарищи и педагоги. И мы будем вас уважать. Вы кончаете в этом году. Мы поможем вам устроиться ассистентом, посодействуем принятию в аспирантуру, предоставим возможность не задерживаться, получить побыстрее степень, звание.

— Я не могу дать согласие на ваше предложение.

— Почему?

— Я не вынесу такой психологической нагрузки. Первый разболтаю повсюду о своих секретных обязанностях.

— Не верю, что вы такой бесхарактерный. Подумайте, Миша, подумайте. Вы устали. Сейчас вы подпишете обещание, что обязуетесь нам сообщать о контрреволюционных разговорах или поступках, ставших вам известными, — кстати, это долг каждого честного советского гражданина, — и я отпущу вас домой. К папе и маме, как выразился Калайда. А они, наверно, уже о вас беспокоятся.

— Я не могу подписать такое обязательство, оно мне не по силам, я не создан для такого рода деятельности. Отпустите меня. Я действительно устал.

— Еще раз говорю вам: подумайте. Я вас оставлю наедине с собой. Мы сила, мы очень большая сила, с нами — хорошо, против нас — плохо.

Шалыков не хотел, чтобы Миша видел, как он раздражен. Он вышел и запер дверь снаружи. Сталин по-прежнему улыбался, закуривая трубку. О Мише Сталин, видно, не думал. Зато железный рыцарь, куда бы Миша ни пошел по кабинету, следил за ним со стены. В этом взгляде не было ни осуждения, ни злобы, только тьма. А в большом венецианском окне широко светилась земля. Летний день победно догорал. Закат казался пламенем жертвенного костра, и это сжигающее день пламя было не смертью дня, а жизнью дня. «Stirb und werde», — вспомнил Миша слова Гёте. «Умри и возродись».

И вот закат потух, день был сожжен, в окне, как всегда на юге, сразу, без постепенного перехода, стало темно, и Лоренц в комнате следователя — как Иона в чреве кита: всюду тьма, тьма.

Часов не было (наверно, так нужно было, чтобы в комнате следователя не было часов), Лоренц чувствовал, что давно прошла полночь. Послышался звук поворачиваемого ключа, кто-то вошел, зажег свет.

Теперь их стало двое: Шалыков и его начальник Наум Уланский, маленький, кругленький, с пухлыми щечками, короткорукий. Он с детской веселостью рассмеялся:

— Гена, ты что, забыл о нем?

Уланский подошел к окну, начал задергивать плотную занавеску, у него не ладилось, он нагнулся, громко издал неприличный звук, мерно пожелал себе:

«Будь здоров, Наум Евсеич!» Он хорошо чувствовал четырехстопный хорей. Взглянув на Мишу, Уланский обратился к нему легко, с подкупающей ироничностью:

— В чем тут у вас дело? Давайте разберемся. Почему вы стоите, как раввин на свадьбе пономаря? Гена, чем ты его напугал?

— Да вот, отказывается подписать. — И Шалыков протянул Уланскому квадратный бумажный листок.

Миша понял, что новый, кругленький, по должности выше Шалыкова. Наум Евсеевич удивился:

— Какая чушь! Вы обязаны подписать. Обычная формальность. Как билет в театр. Только дает право не на вход, а на выход. Я не думал, что среди моих земляков найдутся такие гоголевские Коробочки. А еще студент, без пяти минут ученый.

Миша взял из рук Уланского бумажку. Это оказалось набранное типографским способом обязательство. Гражданин не должен разглашать факт вызова к следователю, а в том случае, если ему станет известно об антисоветской агитации или об антисоветской деятельности, групповой или индивидуальной, сообщить...

Миша почувствовал, что сейчас заплачет. «Не подпишу», — хотел он и боялся сказать, но боялся не этих слов, а того, что вырвутся из горла слезы. И когда он понял, что не жалкие были слезы, рождавшиеся в нем, что были то слезы преображения, он стал сильным и сказал:

— Не подпишу. Ни о чем сообщать не буду.

Шалыков с какой-то воровской быстротой неожиданно оказался перед глазами Лоренца, сдавил тяжелой крестьянской рукой его горло, то горло, из которого еще пытались вырваться слезы, крикнул:

— Подпишешь, в рот ... !

Наум Евсеевич, глядя на Мишу понимающим, проницательным взглядом, приказал:

— Отпусти его, Гена. Не такой он поцайло, каким ты его мне изображал. А если вдуматься, так он поступил честно, мог бы подписать, а не сообщать, а он не стал вилять, признался, что сообщать не будет. Да и не всякому коммунисту, не то что беспартийному, незрелому юнцу, по силам наша работа, трудная работа солдат Дзержинского. Но я верю, Лоренц нам не враг. Он хотя и беспартийный, а по убеждениям коммунист. Ведь правда, Лоренц, коммунист?

Лоренц кивнул.

— Так я сразу и подумал, — обрадовался Наум Евсеевич. — Гена, дай ему подписать бланк.

Шалыков давно, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, работал среди евреев, не видел разницы между ними и собой, и только теперь, когда Уланский его так унизил, он в первый раз вспомнил, с какой ненавистью и презрением говорили о жидах возвращавшиеся в свои ярославские края из Москвы разбогатевшие, мордастые половые. Шалыков достал из ящика другую бумагу, сердито сунул ее Лоренцу. Это тоже было набранное типографским способом обязательство, но в отличие от первого оно ограничивалось тем, что гражданин не должен разглашать факт вызова к следователю.

Миша подписал. Подписал и Шалыков пропуск, посмотрев на свои наручные часы. Миша, растерявшись, сказал: «До свидания». Шалыков, утратив к нему интерес, не ответил. А Уланский пожелал:

— Всех благ!

Коридор был освещен ослепительно ярко. Он был пугающе пуст, но чувствовалось, что работа кипит, во всех комнатах кипит. Сколько раз вспоминал потом Лоренц этот коридор, и бумагу, которую он не подписал, и бумагу, которую он подписал, и «всех благ!» маленького, кругленького Уланского (фамилию которого он тогда еще не знал), и свой позор в кресле, и свой угодливый утвердительный кивок, и лестницу с белыми перилами, и двоицу фантомных личностей в штатском, о чем-то болтавших у самых дверей, и красноармейца, которому он сдал пропуск, и то (о жгучий, вечный стыд!), как он, Миша, почему-то бодро кивнул на прощание этим штатским фантомам, и предутреннюю прохладу, резко повеявшую с моря, из темной глубины Екатерининского парка.

Свобода! Миша свернул за угол. Ему было холодно в летней рубашке. Он опустил закатанные рукава. Серый сумрак нависал над зарождающимся днем.

И вдруг, без какого-либо вступительного проблеска во всем своем сказительном, рапсодном могуществе зажглась, заиграла, запела заря. Она была могущественной, но не страшной, она была с детства милой, с детства желанной, как и эта безлюдная, нежно и задумчиво удаляющаяся улица, до боли родная, — маленький мирок, в котором затевался, накапливался, рос большой, беспредельный мир: и казармы справа, и какое-то наглухо закрытое учреждение, на которое Миша раньше не обращал внимания (Психиатрическая лечебница имени Свердлова), и невысокие дома, чьи стены, кое-где обвитые плющом, воздвигались из местного, быстро темнеющего от влаги известняка (когда-то Миша прочел, что из того же полного безысходной печали и забвенного времени известняка строились дома в Вавилоне, где на реках сидели и плакали), и окна домов, такие одновременно грустные и ликующие, как глаза соседей, и старик в ермолке в одном из окон, недвижный, как будто нарисованный, и голубок с голубкой, которые молча, но выразительно поцеловались на булыжнике сонной мостовой у самых ног Миши, и афишная тумба, и школа, в которой он учился, и здание почты, одно из старейших в городе, некрасивое, но все же прелестное вследствие сочетания русской архитектурной казарменности с южной беззаботностью и открытостью, с дыханием Понта Эвксинского и пением птиц, чьи пернатые предки кружились над аргонавтами. «Господь мой, — шептал Миша, — Отец мой, видишь ли Ты меня? — шептал, потеряв власть над собою, но крылатой была эта потеря власти над собою, это добровольное и могучее подчинение Тому, Кто был в нем. — Видишь ли Ты меня? Плохой ли я? Но я хочу быть хорошим, только Тебе я хочу служить, только Ты — правда моя, только перед Тобой — мое обязательство».

Приближаясь к дому, он внезапно понял, что не волнуется. Раньше он беспокоился бы о родителях, которые, конечно, в ужасной тревоге: он ушел вчера утром, не сказал куда, впервые не ночевал дома, не предупредил, — но не в этом дело, не это главная правда, а про ту, главную Правду, решил он, пока не скажет ничего.

В квартире Лоренцев услышали его шаги. Юлия Ивановна, в этот ранний рассветный час одетая так, будто собралась в гости, выбежала к нему, припала к его груди, он обнял ее, увидел сверху жалкий черно-серебряный пучок на ее голове, с костяной шпилькой, сердце его сжалось, на глазах выступили слезы, он погладил этот пучок.

— Детка моя, — сказала Юлия Ивановна, — мы с папой всю ночь не спали. Уже решили туда пойти.

Федор Федорович почему-то не поцеловал его, а пожал ему руку, буркнул: «Сейчас чай будет» — и вышел на кухню, и скоро стало слышно, как он накачивает примус.

Мишу ни о чем не расспрашивали: когда надо будет, расскажет сам. То была деликатность смиренных, уходящих. После завтрака он прилег, но сна не было. Отец пошел на работу. «Не спал всю ночь, какая уж там бухгалтерия», — подумал Миша. Он мучительно любил и жалел отца. Федор Федорович гордился способностями сына, верил в его звезду и в отличие от соседей не хотел видеть его неприспособленности к советской жизни, а видел только его торжествующее, чуть ли не академическое будущее. Миша знал, что все произойдет по-иному, не принесет он радости отцу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Двор уже гудел утренним гулом. Миша присел на скамеечке под шелковицей — поспать не удалось, а в университет сегодня пойти не хотелось. Расфранченные пионерки Фанни Кемпфер и Соня Ионкис отправлялись в школу: они учились во вторую смену. Они, видимо, торопились, — как тут же выяснилось, их задерживала учившаяся вместе с ними Дина Сосновик, но вот появилась и она, золотоволосая, большеглазая, ее рано развившемуся девичеству было тесно в застиранном, выцветшем платье. Грузчик (по-нашему снощик) Квасный уже вернулся из порта после ночной погрузки и, пьяный, валялся возле дворового крана, в полном отчуждении от мысли, но инстинктивно, однако, хватая за голые ноги хозяек, когда они подходили к крану. Напротив в окне второго этажа брился опасной бритвой Теодор Кемпфер. Слышно было — из раскрытого окна вни-

зу, — как напевает французскую песенку Рашель. Походкой преуспевающей, сильной старости прошел Павел Николаевич Помолов, легко неся битком набитый портфель.

— Здравствуй, Мишенька, почему ты не в университете? — спросила, медленно ступая, мадам Чемадурова. — Скажи маме, что в Церабкоопе на Бессарабской дают хорошую селедку, очередь пока небольшая. — В руках у нее выглядывало из мокрой газеты тупорылое керченское серебро. — Ты навестил бы Антона Васильевича. — Она наклонилась к нему, прошептала: — Опять к нему приходили. Мучают старика. А он тверд. Как умерла Прасковья Антоновна, так он и утвердился. Все мы приходим к Богу, когда от нас уходят люди.

Миша понял, о чем она говорит. Верующие избрали Антона Васильевича церковным старостой, имея на то хитрый умысел: как-никак, думали они, еврей, он легче с ними столкуется. Но бывшее, давно ушедшее еврейство Антона Васильевича не помогало православию. Городские власти хотели закрыть последнюю, единственную в нашем городе церковь, но закрыть не насильно, а по настоятельной просьбе некогда верующих, а теперь все понявших трудящихся. А просьбы все не было. Поп-новоцерковник вел себя как-то непонятно, прихожане ему не доверяли, подозревали его в дурном, не доверял ему и Антон Васильевич, хотя и ругал себя за это. Гепеушник приходил к Антону Васильевичу в церковь до начала службы, а то и домой к нему, подмигивал с бесовской ужимкой, сначала намекал, а потом прямо говорил, что есть сведения — недобитки нэпманы прячут в церкви золото, грозил обыском. Посоветоваться Антону Васильевичу было не с кем, каждый день приносил плохие новости: в кладбищенской церкви устроили мастерскую по изготовлению памятников, в католическом храме святого Петра — клуб иностранных моряков, это сделали по просьбе трудящихся-католиков, а по просьбе трудящихся-евреев синагогу превратили в военкомат, а лютеранскую кирху, где в траву у потемневших стен трогательно-благодарно вливалась улица Петра Великого, заколотили просто так, без просьбы. И все меньше людей посещало церковь, одни тугоухие старики да старушки, и новоцерковники им не нравились. Как быть дальше? Дьякон молчал, но молчал со значением, отчего тревога Антона Васильевича только увеличивалась. Священник, наоборот, говорил много, но невпопад.

Антон Васильевич, в молодости неверующий, крестившийся из-за любви к Прасковье Антоновне, только теперь, когда она его навеки покинула, по-настоящему пришел к Богу, тут Чемадурова была права. Миша сидел под шелковицей, глядел ей вслед. Она грузно двигалась по двору, потом вошла в полутемную комнату Сосновиков, — прежняя владычица всех этих квартир, всего этого огромного дома, который с прошлого столетия стоял на трех улицах, старая женщина, потерявшая, казалось бы, все и не утратившая ничего. Почему-то именно сейчас, после бессонной ночи в НКВД, Миша подумал о ее судьбе. Ее христианская доброта, ее щедрость в дни ее богатства были известны всему городу. Что же произошло у нее с мужем? Вот что слагалось из отрывочных и, возможно, апокрифичных рассказов давнишних жильцов.

...И дом и магазин церковной утвари Мария Гавриловна унаследовала от родителя, купца первой гильдии Дугаева. Девушкой она была некрасивой, нескладной, только голос у нее был редкой, славянской певучести и волосы роскошные: спустится по лестнице, она уже внизу, а толстая коса ее до верхней ступеньки доходит. На святках у знакомых она увидела офицера Чемадурова.

— Он как картинка, — призналась она, стыдясь, дрожа и пылая, матери, у которой был такой же широкий, немного приплюснутый нос, как у дочери.

— Мужчина не должен быть картинкой, — отрезала мать и добавила, чтобы подчеркнуть глупость дочернего признания: — Волосы не умеешь убирать как следует, вкуса у тебя никакого, а старших не слушаешься.

Дугаевы навели справки — у Чемадурова не было ни кола ни двора, только штабс-капитанское жалованье, пустота и видимость. Но дочь была упряма, сыграли свадьбу. Продолжал ли Чемадуров служить или, женившись, вышел в отставку — этого жильцы не помнили. Жена родила ему двух сыновей, младший, к счастью, лицом пошел в отца. Старик Дугаев перед смертью завещал все имущество дочери. Зять в завещании не был упомянут. В случае смерти дочери наследниками становились внуки. Чемадурова поручила мужу управление домом, но штабс-капитан не приносил ей денег, полученных от жильцов. Тогда Чемадурова наняла управляющего, а мужу стала выдавать — буквально, говори-

ли, гроши — на мелкие расходы. Она была щедра, но знала цену деньгам. Замечу, что такое купеческое знание нисколько не противоречит щедрости. Чемадуров ушел из дому, сошелся с молодой вдовой, на ее деньги открыл тир, но прогорел. Штабс-капитан опускался все ниже, стал жучком на бегах. Иногда он приходил на Пантелеймоновскую (замечательно в нем было то, что он не пил, он был игрок) в пятую гимназию, почти нищенски, но чисто одетый, жаловался сыновьям на их жестокую мать, ничего у них не просил, но съедал их завтрак. Как-то через мальчиков он передал жене письмо. Он просил двадцать тысяч, а за это обещал дать ей развод. Деньги нужны были ему, по его словам, для покупки виноградников в Овидиополе. Ответа не последовало. Мальчики принесли матери второе письмо от отца, на этот раз он просил всего одну тысячу. И опять не получил ответа. Он повесился в номере при трактире «Олень», недалеко от сада общества «Трезвость», оставил записку: «В моей смерти прошу винить мою жену».

Чемадурова, говорят, и слезинки не проронила, но устроила так, что самоубийцу похоронили как христианина, правда, не на городском кладбище, а в пригороде: помог знакомый священник-покупатель. Сыновья год после смерти отца почти не разговаривали с ней. Старший был уже врачом, младший — на четвертом курсе медицинского факультета, когда разразилась мировая война. Молодые Чемадуровы надели военную форму, отправились на позиции. В последний раз они навестили мать в восемнадцатом году. С тех пор от них не было вести. После первых большевиков прошел слух, что их видели в Крыму у Врангеля...

Как она жила, когда у нее все отняли? Кое-что, мы знаем, она припрятала, да много ли? У них было одно хозяйство с Фридой Сосновик — ее труд, Фридины деньги. Помогал ей Антон Васильевич, перед которым она благоговела. А может быть, она была в него влюблена, по-прежнему, хотя и старчески-нежно, очаровываясь мужской красотой? После смерти Прасковьи Антоновны она стала помогать ему по дому, хотя у знаменитого куафера была прислуга, которая стирала не только на него, но и парикмахерские простыни и салфетки. У Антона Васильевича отняли его особняк, но оставили ему две комнаты, он брал патент, ему покровительствовала его клиентка, жена командующего округом, бывшая актриса.

На судьбу Чемадурова не жаловалась. Сначала надеялась, что сыновей увидит, потом и надеяться перестала. Вплоть до 1928 года у нас сравнительно легко выпускали за границу, и если бы сыновья были живы, думала она, то они бы ее вызволили отсюда, взяли бы к себе. Ей было теперь под восемьдесят. Длинная жизнь ее тянулась без супружеской ласки, без сыновней любви. Пока она была хозяйкой дома, она всем казалась властной, деловой. Никто не видел ее ночных слез. Нет, не винила она себя в смерти мужа, она его и мертвого презирала, она винила себя в том, что полюбила его однажды, пустого, бездушного, вот уж действительно картинку, винила себя в том, что не сумела вызвать к себе любовь в сердцах сыновей. Ей не было жаль отнятого, разграбленного добра, но приятно ей было, когда она слышала: «Дом Чемадуровой». Она любила помогать людям, но не было в ней, и она это сознавала, христианской всеобщности, она выбирала бесхитростных, трудолюбивых и лишенных порока близости к власти. Она не жаловала новых жильцов, вселившихся по ордеру, и общалась главным образом с теми уже немногими, кто в былые годы снял квартиру у нее самой. Смеялась она редко, но хорошо, славно: так смеется бедное дитя, выросшее из милости в чужой богатой семье, но созданное для того, чтобы тихо и радостно любить жизнь. И прожившая половину века своего в минувшем столетии, она была Мише Лоренцу милее и роднее многих его сверстников...

Жил рядом и другой человек, родившийся в девятнадцатом столетии, который был ему ближе и нужнее молодых, — Цыбульский. Теперь Миша ждал его, переполненный пережитым мучительным днем. Вечером он обо всем расскажет родителям, но только после разговора с Цыбульским.

Слесарь вернулся с работы в светлый предвечерний час. Внушительных размеров херсонский арбуз казался невесомым в его крупной, шершавой руке. Лицо, покрытое загаром и копотью, светилось фонариками умных глаз. По дороге Цыбульский пальцем постучал Лоренцам в стекло раскрытого окна, кивнул Мише. Когда Миша вбежал к нему, он, голый до пояса, мылся на кухне под краном. «Рашели нет», — обрадовался Миша. Не торопясь Цыбульский надел

чистую майку, красиво разрезал половину арбуза, другую половину прикрыл куском марли, пригласил Мишу к столу. Он слушал, не прерывая Мишу ни единым словом. Только когда Миша сказал (а это его мучило): «Я поставил подпись, по-моему, слишком низко, отступил от последней строки сантиметра на три, как бы они туда чего-нибудь не впечатали», — Цыбульский успокоил его:

— Глупости. Им это не нужно. И вся бумажка — грошовая.

А когда Миша кончил рассказывать, Цыбульский набил гильзу табаком, вкусно закурил, одобрил:

— Ты вел себя хорошо. Конечно, слегка в штаны наклал, когда согласился со следователем, что ты по убеждению коммунист, но кто тебя осудит? Времена не желябовские. Я, политический, вел себя с царскими жандармами иначе, но вся-то штука в том, что ты не политический, а обыватель, а они не царские жандармы, а налетчики. Я думаю, что больше они не будут тебя трогать. Поняли, что от тебя мало толку. А будут трогать, так помни: лучше умереть от них, чем быть с ними. Ты увидишь, что именно Калайда, самый слабый, получит самый большой срок.

Цыбульский на этот раз оказался не совсем прав. Действительно Ивану Калайде дали восемь лет концлагеря, в то время как Лилю Кобозеву и Олю Скоробогатову присудили к ссылке в Нарьян-Мар на пять лет. Оля в тюрьме родила девочку, пора тогда была мягче, ребенка отдали родителям арестованной. А Елисаветского поместили в Психиатрическую лечебницу имени Свердлова. Он вышел оттуда через два года. Говорили, что он стал слабоумным. Миша решил навестить его. Семья переплетчика жила в центре города, на Успенской, но на заднем дворе, рядом с отхожим местом, а окно выходило на мусорный ящик. Родители Эммы обрадовались Мишиному приходу, но Эмма с ним не поздоровался. Лицо его было желтым, одутловатым, взгляд бессмысленным. Он помогал отцу переплетать книги, но не читал их — так при нем сказала Эммина мама. Двое младших делали уроки. Миша о чем-то спросил Эмму, но тот не ответил, отвернулся, как показалось Мише, с больной брезгливостью. Мать Эммы заплакала.

Вернувшись после войны из Германии, Миша узнал, что Елисаветский умер во время эвакуации, на какой-то станции между Новороссийском и Сталинградом. А Лилю и Олю судили повторно, отправили из Нарьян-Мара в концлагерь на десять лет, и они исчезли из жизни. Совсем недавно Мише сказали, будто Калайда, отбыв срок, стал в Норильске заместителем начальника планового отдела. Не сказали ему только, что в этом отделе вкалывает зэк Шалыков, — следователь, значит, предвидел правильно, он снова работал под началом Калайды.

Мишу больше не вызывали на Мавританскую. В аспирантуру его не приняли, ассистентом не взяли, он устроился в университете лаборантом. Он продолжал заниматься лингвистикой, изредка статьи его печатались, даже в Москве. Он был одинок все эти предвоенные годы, редко встречался и с Володей Варути, хотя они жили в одном доме. И мертвые продолжали с ним жить в одном доме. Мертвые, мертвые, видите ли и вы его оттуда — из золы, из снега, из газовой камеры, из вечной мерзлоты, из вечного дня?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Выслали из города греческое население, но Димитраки оставили. Этим супруги были обязаны Севостьянову. Профессор самым решительным образом воспрепятствовал удалению из Института глазных болезней и высылке жены Димитраки, старой, тяжело больной, только что оперированной. Милиционера профессор прогнал, представителя горздрава прогнал, товарищей из района прогнал. Власти разводили руками: «Капризный старик! Но — сила, гениальный окулист, депутат Верховного Совета СССР! Ладно, оставим банабачку, может, старуха еще и ослепнет, и мужа ей оставим, хотя на что он ей. Тем более есть прецедент, одной греческой семье уже разрешено не выезжать, у них там старик член партии с апреля семнадцатого года».

Лоренц заметил в родном городе одну особенность наших знатных людей — ученых, артистов, художников кисти и пера: чем постыдней, чем подлее они в главном, тем непреклонней, строптивей позволяется им быть в бытовых частно-

стях. Впрочем, к Севостьянову это правило было применимо с оговорками. Уже тогда, в тот ужасный день, когда он, назначенный румынами ректором университета, сказал Лоренцу: «Вас недооценивали ученые большевистские бонзы», Лоренц почувствовал, что бывший глава наших черносотенцев растерялся. Одно дело — ненавидя революцию, кричать, что Россию продали жиды и поляки, а другое — участвовать в поголовном истреблении нации. Что-то важное поднялось со дна его жесткого, дрогнувшего сердца. Лоренцу рассказывали, что все годы оккупации он укрывал в своем Институте глазных болезней врача-полукровку Сироту, а когда один из сотрудников донес, профессор поехал к самому примару Пынте и уладил скверное дело. И теперь, когда пришли за женой Димитраки, он заорал: «Здесь нет ни эллина, ни иудея, здесь больные!»

Димитраки со слезами на колючих глазах, увлажнявшими мягкие мешочки, попросил у профессора разрешения реставрировать у него на дому какую-нибудь мебель, комод, скажем, или кресло, и профессор, глядя на старые, но крепкие руки столяра, удовлетворенно заметил: «Только у вас, Христофор Никосович, да у меня хорошие, уверенные в себе руки, а все прочие теперь калеки, паразиты, ничего не умеют».

Вот и вернулась домой мадам Димитраки, сгорбленная, седенькая, только волосы усиков и бородки были черными. Операция прошла удачно, у Севостьянова были колдовские руки. И связи у него были колдовские, он помог, не выслали греческую чету, которая здесь родилась и прожила семьдесят лет. Христофор Никосович гордо шел с женой от остановки трамвая на Покровской. В трамвае, правда, произошло неприятное происшествие. Один пассажир, в очках, с портфелем, толкнул мадам Димитраки, которая больными глазами не увидела, что он решил сесть на освободившееся место, и обозвал ее жидовкой. Он, видно, был из новых жителей города, не привык, путал эллинов с иудеями, но это пустяк, мадам Димитраки была счастлива. Половину ее смугло-желтого, сморщенного личика занимали темные очки. Старые жители Покровской шумно выражали супругам свой восторг. Соседи по квартире приготовились к встрече, Ионкисы принесли розы и вазу с фруктами.

А тут и вторая радость — освободили Фриду. Она пришла сама, чуть ли не на рассвете. Дина и Миша лежали вместе. Дина, завернувшись в простыню, бросилась к матери. Она ждала Фриду со дня на день: деньги следователь взял. Фрида подошла к постели, поцеловала Мишу. Она мечтала о зяте, и вот у нее есть зять, больше, чем зять, — сын, ведь он вырос на ее глазах, и она заплакала. Если бы Еличка была жива, ей было бы уже сорок лет! А давно ли Миша и Володя Варути принесли ее, мертвую, из Немецкого клуба! Кажется, это было вчера, и Вольф бросил их вчера, и в подполе они прятались только вчера.

Миша сердцем понял, о чем думает, о чем плачет Фрида. Может, это было немного смешно — он выпростал из-под одеяла голую руку и погладил длинную, темную и, как у Дины, изъеденную раствором худую руку Фриды. Как сильна эта маленькая женщина! Все было против нее — от предательского легкомыслия Вольфа до тотального могущества националистического социализма, но она, Фрида, выстояла, вырастила дочь, спасла от гибели ее и себя.

Почему тогда, в военном октябре 1941 года, не все, обреченные на поголовную гибель, покинули город? Причиной, как всегда и всюду, были жизнь и смерть. Подавляющее большинство тех, кто страшился немцев, еще летом эвакуировались на пароходах, но в город прибывали толпы из местечек, занимаемых захватчиками. Дина Сосновик, студентка экономического факультета, была на практике в деревне в Андрей-Ивановском районе, Фрида ждала ее, не хотела, не могла уехать без дочери, а когда дочь вернулась в город, в сентябре, под ихний Новый год, было уже поздно, талоны на пароход не выдавались, единственный путь из города — по морю — был предоставлен армии, и тот, кто жил недалеко от порта, видел, как в тумане, стелившемся над морской водой, исчезали одно за другим суда, перебрасывавшие армию в безнадежно сражавшийся Крым, — исчезали «Украина», «Армения», «Абхазия», «Жан Жорес», «Котовский»... Суда ушли, армия ушла, а Дина и Фрида Сосновик остались.

И другой Сосновик, Антон Васильевич, остался: разве церковный староста, православный человек с русским паспортом, к тому же глубокий старик, мог предполагать, что для немцев он — еврей? И для себя — еврей?

И Абрам Кемпфер с женой и дочерью остались: разве мог Абрам поверить большевистской брехне, будто цивилизованные немцы уничтожают людей, как

дикари, гайдамаки? Ну, будет гетто, мы привыкли, но будет и коммерция, Европа. А Рафочка, его сын, был призван в армию, и только он один из семьи Кемпферов избег страшной участи: он погиб в боях под Кенигсбергом.

И учитель Александр Кемпфер остался, потому что он был немолод, слаб, одинок, и брат уговорил его не покидать город, и самого его пугала участь беженца, — и куда бежать? В неизвестность? А здесь все свое, каждый камушек — товарищ детства.

И Теодор Кемпфер и его жена, урожденная Шпехт, остались, потому что пятый пункт паспорта убедительно утверждал, что Теодор немец, и фамилия его немецкая, и имя немецкое, и надеялся он в качестве фольксдойче не пропасть, а — чем черт не шутит — даже всплыть наверх.

И Маркус Беленький, проводив на фронт трех младших братьев, остался, потому что — об этом соседи не знали — у него были документы на приморскую дачу, целое состояние, приобретенное еще покойным отцом, расстрелянным чека, немцы это поймут, они ведь не жулики, культурная нация, врут о них большевики, врут, как всегда. Ну так будет гетто.

И многие, многие остались, потому что здесь они родились, женились, потому что здесь, в городе, было их временное жилье — дома, их постоянное жилье — могилы близких, потому что у одних болел ребенок, у других мать. К тому же, если правду сказать, было приятно смотреть, как зловещее учреждение на Мавританской удирает, удирает, удирает, погружая на машины бумагу, накопленную за столько лет, — ведомости убийц. Приятно было читать расклеенное на стенах домов воззвание, подписанное секретарем горкома партии Пиневичем и секретарями Ильичевского и Октябрьского районов Никодимовым и Геру: «Не навсегда и не надолго мы оставляем родной город».

И он, Лоренц, остался — и только ли потому, что при смерти был Федор Федорович и не мог он покинуть беспомощную Юлию Ивановну с умирающим на руках, не мог уйти, зная, что отец умирает? В армию его пока не брали из-за плоскостопия, но как знать, прояви он настойчивость... Может быть, ему мерещилось начало иной жизни? Нет, нет, он ненавидел нацистов, нет, нет, не надеялся он на свое немецкое происхождение, не связывал с ним свою судьбу, нет, нет, нет!

А город горел, и далеко-далеко было видно пламя. Огненные зарницы вспыхивали над морем. Почти каждую ночь немецкая авиация совершала на город групповые налеты, сбрасывала тысячи зажигательных бомб. Уже противник занял Болгарские Хутора, Рыбачьи Курени, Сухой лиман, рвался к винодельческим плантациям. Его звуковещательные станции призывали бойцов так громко, что было слышно на Либентальской дороге: «Ваше сопротивление бесполезно. Большевики оставляют город». Наконец-то, как мечтал Цыбульский, они уходили, но горек ему был такой уход. А сам он ушел еще в сентябре на пароходе и погиб в море.

Не так они ушли, как мечталось. То был другой уход. Через двадцать три года в город снова вступили немцы. То были другие немцы.

Потом оказалось, что нашими господами будут слуги наших господ. Мы стали частью Румынии — страны, на которую мы с детства привыкли смотреть как на пригород, как на предместье. А теперь мы сами превратились в ее придаток — в Заднестровье, в Транснистрию. Граница с рейхом проходила, кажется, возле Жмеринки или Ярошенки — точно мы не знали, нас не известили. Принадлежность к Румынии, пусть даже формальная (мы отлично понимали, кто наши истинные хозяева), однако, немного успокоила жителей: все же, говорили они, Антонеску лучше Гитлера. И когда Покровскую переименовали в улицу Антонеску, старенькая наша дворничиха Матрена Терентьевна так выразила настроение жителей: «Хай гирше, абы инше».

Настроения евреев украинская поговорка не выражала. Впрочем, сначала вести были обнадеживающими. Будто бы Антонеску не соглашался с крайностями гитлеровского антисемитизма. Будто бы в соседней Бессарабии евреев загнали в кишиневское гетто, но не убивали, там они мастерят и торгуют, хотя живут ужасно скученно. Будто бы и у нас в городе будет гетто, и даже назывались улицы — Родионовская, Мясоедовская, Сербская, Костецкая. Некоторые соседи с нетерпением ожидали освобождения еврейских квартир — необходимость в жилье была острая, за все время владычества режима у нас, в большом портовом

городе, не было построено и десятка домов. Составлялись словесные договоренности: «Если немцы уйдут, квартиры вернем, о чем речь».

Но возвращать квартиры не пришлось. Немецкое командование густо расклеило объявление: все евреи с желтой шестиугольной звездой на рукаве должны в такой-то день, в такой-то час явиться к зданию милиции Центрального района (бывшего участка) на Покровской. Для абсолютной ясности было указано старое, привычное название улицы.

И вот что удивительно: подчинились, явились, аккуратно пришили к рукавам суконные желтые звезды. Разве нельзя было ослушаться, затаиться в большом городе, или бежать в деревню, в степь, в кукурузу, в виноградники, или раздобыть рыбачью лодку, пуститься в открытое море куда глаза глядят, или вооружиться чем попало и — перед собственной гибелью — уничтожать врагов рода человеческого? Но мешало рабье сознание, безотчетная покорность только одной, только заданной возможности. Не надо думать, будто это рабье сознание складывалось веками в диаспоре. Нет, в диаспоре они были рабами телом, но не душой. Только после семнадцатого года, когда они впервые за две тысячи лет слились с государственной властью, признали ее своей, они стали рабами всем существом. Ушло из сердца высокомерие нищих, но имевших Книгу, презрение безоружных к вооруженным, но темным, ушел из сердца великий и мудрый страх прадедов, порожденный святой инквизицией, беззаконием венценосцев, гайдаматчиной, погромами, и еще не родились, хотя уже зачинались в глубине существа, отчуждение от власти национальных социалистов, смелость отчаяния, бесстрашие безнадежности, вольнолюбие обреченности. Народ, которому предстояло заново родиться в газовой камере, был еще всего лишь семенем в чреве беды, еще должен был утвердиться его мозг с быстрым разумом и отважной хитростью смертника-борца.

Фрида и Дина, вернувшаяся из села, обдумывали, две умницы, как им быть. Одно они знали твердо: не пришьют они к рукаву желтую звезду, не придут к зданию участка. У них есть другой выход.

Когда Вольф Сосновик собрался, прихватив заветный чемоданчик, уехать в Америку, Фрида, которая хорошо знала своего мужа, ибо любовь к нему не затемняла, а просветляла ее сердце, привела Вольфа на могилу Елички и заставила его там поклясться, что, как только он устроится, он немедленно возьмет к себе жену и дочь. Вольф поклялся горячо, со слезами на глазах, более того, когда они, возвращаясь, проходили мимо могилы Менделя Мойхер-Сфорима, он перед памятником писателю повторил свою клятву. Но он уехал и забыл о них. Кое-какие деньги он оставил, хватило их ненадолго. Фрида не знала никакого ремесла, она поступила уборщицей в артель, выделывавшую кожу. А тут начался второй голод, всеобщий голод, даже большие деньги превратились в бумажки, а у Фриды денег, в сущности, не было никаких. Дина стала плохо расти, плохо учиться, от постоянного недоедания у нее на уроках кружилась голова. Однажды мастер Валентин Прокофьевич Редько дал Фриде полбуханки хлеба и шесть кусочков сахара. Фрида застеснялась, не хотела брать, но он неожиданно сказал ей на чистом идиш:

— От рахмунес аф айер тохтер.

Разве она, мать, нуждалась в таком совете, разве она не жалела свою дочку? И почему этот хохол обратил на нее внимание? Женскими чарами Фрида и раньше не обладала, она поняла это давно, а теперь ей за сорок, она стала просто уродом, высохла от горя и голода, рано поседела, лицо в морщинах, верхний передний зуб выпал. А Валентин Прокофьевич был мужчина видный, толстый, здоровый, как жеребец. Он часто и громко смеялся, любил вставлять в речь еврейские присловья — он родился в местечке. Был он скуп, прижимист и хитер, ой до чего хитер, а какие дела делал! Откуда же его необычная щедрость к неказистой уборщице? Вскоре все прояснилось: Валентин Прокофьевич попросил Фриду вынести из артели во время обеденного перерыва пакет средних размеров и спрятать у себя. Фрида нехотя согласилась: с мастером ссориться нельзя, а поручение опасное. Он заметил ее нерешительность, подбодрил ее:

— Мало ли что женщина под проймой ховает, а мне неудобно, на мастере всегда длинный глаз. Не нервничайте, завтра к вам зайду, заберу.

Случилось так, что когда Валентин Прокофьевич впервые посетил Сосновиков, Фрида по стремянке поднималась из подпола, который был вместо ледника. Валентин Прокофьевич вежливо наклонился, взял из рук Фриды

кастрюлю со вчерашним водянистым супом, заглянул в подпол. Так началась для Фриды и Дины трудная, но сытая жизнь.

Редько научил их тайно выделывать кожу. Они работали, а он продавал. Сосновики ожили. Правда, запах был тяжелый и было опасно, за это можно было сесть, но питались они теперь хорошо, прибарахлились, Дина приносила домой похвальные грамоты отличницы. Редько приходил за товаром раз в неделю вечером, он пил, похваливал наливку, ел синенькие с помидорами, с удовольствием рассказывал:

— У москалей она называется сыромять, они ее делают в овсяном квасу, а то и в простокваше, мажут березовым дегтем. Деревня. А у нас товар тонкий, не хуже замши или шевро. Работа, кто спорит, вонючая, за это я ничего не скажу, но спросите людей — все подтвердят: Редько не злыдня, Редько понимает человечность. Как вы раньше жили? Куска хлеба вам раньше не пахло, а теперь поправились, и сами вы, Фрида, извините за выражение, на женщину стали похожи, и сзади и спереди, и дочка, слава Богу, растет красавицей, прямо пирожное с кремом.

Валентин Прокофьевич был человек толстый, но легкий. Он мог провинциалу из Ямполя продать вещь втридорога, но человека — так чувствовала Фрида — не продаст. Он понял ее с полуслова, они быстро договорились. Он переедет к ним. Как бы ни была плоха комната Сосновиков, она все же лучше комнаты Редько за второй заставой, у черта на куличках, куда воду приходилось тащить чуть ли не за версту. Редько даже в очередь в райисполкоме не ставили: он да жена, сын в армии, есть площадь — куда же им еще? Приобрести жилье за деньги ему было нетрудно, да невозможно — откуда, спросят, деньги? Теперь жилищный вопрос решался, как говорится, сам собою. Валентин Прокофьевич с супругою переберутся в комнату Сосновиков, а Сосновики, мать и дочь, поселятся в подполе, там и будут они на Редько работать, там они, может, и спасутся.

Редько рисковал жизнью, но не говорил об этом, Чемадурова отметила в нем эту черту, сказала Фриде:

— Я ему доверяю. Бог нас не оставит.

16 октября в девять утра последний советский транспорт отчалил от гавани. Но противник почему-то в город не вступал, продолжал энергично обстреливать порт и заводы. Хотя немцы были тогда сильнее наших, они не были умнее. Им было известно, что на территории завода «Экспортлес» глубоко в землю закопались части Приморской армии, но неизвестно им было, что армия драпанула, ее штаб и политотдел давно плыли по Черному морю, а немецкая дальнобойная артиллерия по-прежнему опасливо обстреливала территорию «Экспортлеса».

Безвластие было столь тяжко и кратко, что не принесло никакой радости жителям. Вечером в город вошли немцы. С ними были и румынские части. Когда они достигли Мясоедовской, из старой больницы пустились от них бегом на костылях раненые красноармейцы, которых не успели вывезти. Немцы их не трогали, смеялись. Потом один из этих раненых, оставшийся в живых, говорил, что самое страшное для него за всю войну был тот смех немцев.

А Федор Федорович умирал мирно, не от пули, не от осколка — от эмфиземы легких. Он задыхался, часто сжимал белую тонкую руку в бессильный кулак. Антон Васильевич прислал священника. Федор Федорович причастился. Священник был черный, высокий, похожий на цыгана, борода как уголь. Под рясой у него была синяя косоворотка. Когда Миша смущенно прикоснулся к его руке десяткой, священник, тоже смутившись, тихо сказал:

— Не надо. Антон Васильевич уже произвел оплату полностью.

К ночи Федору Федоровичу немного полегчало. Свист и хрип прекратились. Он еле слышно спросил:

— Они ушли?

— Ушли, папа, — ответил Миша. — В городе немцы и румыны.

Федор Федорович закрыл глаза, разжал руку, восковыми, почти бестелесными пальцами погладил простыню.

— Уходи, Мишенька. Не надо тебе здесь оставаться.

— А как же мама?.. — спросил Миша. Он хотел добавить: ...одна, — но замолчал.

— Уходи, Миша. Ты русский, уходи к русским. Иначе тебе нельзя. А мама...

Он затих. Юлия Ивановна наклонилась над мужем, прислушалась.

— Мишенька, нет папы, — сказала она.

Утром пришли Чемадурова и дворничиха Матрена Терентьевна. Димитраки сколотил гроб, дешевый, но аккуратный. Омыли покойника. Никто не видел, как улетела его душа, желтые огоньки свечей трепетали над подсвечниками, затянутыми в белую кисею, — наверно, чтобы воск на них не капал... Наняли телегу. Даже от лошади сильно пахло: возчик в обычное время развозил по дворам керосин. Восьмидесятилетние Чемадурова и Матрена Терентьевна сели на телегу в ногах гроба. Юлия Ивановна и Миша пошли пешком. С ними были Димитраки, мать и сын Варути, священник. Хотел прийти и Антон Васильевич, но его отговорили: стар, тяжело ему будет, — но все понимали, что дело не в старости, а в другом.

Женщины бесшумно плакали. Только Юлия Ивановна то подбегала с прерывистым плачем, отстраняя Мишу, поближе к телеге, то повторяла и повторяла:

— Феечка... Феечка мой...

Так смешно и странно всю жизнь называла она отца: не Федечка, а Феечка. Это имя не шло к отцу, суховатому, строгому, но, может, смешное, ласкательное, оно и выражало самую суть Федора Федоровича — его деликатность, скромность, преданную любовь к жене и сыну. Почему он перед смертью с такой не свойственной ему торжественностью сказал Мише: «Уходи к русским»? Не в Красную Армию, а к русским?

Лоренцы были выходцами из Саксонии, их предок служил в обозе наполеоновских двунадесяти языков, так и застрял в плену, устроился в Новороссии. Прадед, дед и отец Федора Федоровича были настройщиками роялей, а он стал бухгалтером (у него не было слуха, пошел в мать). И Россия была для Федора Федоровича родным домом, родной землей, он слился с Россией, а сейчас сольется с ее землей то, во что была одета его душа, станет ее землей.

Прохожие на них не обращали внимания. Кого могла тронуть смерть одного среди поверженных тысяч, среди погребенных под камнями разбитых, сгоревших домов и среди тех, прокаженных? Миновали обугленные павильоны Привоза, развалины вокзала — сколько юношей уезжало отсюда за славой и со славой возвращалось? — развалины управления железной дороги. Недалеко от Второго христианского кладбища, там, где трамвай до войны поворачивал на Мельницы, мостовую пересек немецкий обер-лейтенант. Он остановился, с почтительным любопытством посмотрел на телегу, на гроб, на священника. О чем подумал завоеватель? О том ли, что и он, и его удачливый вождь, и его победоносная армия — ничто перед этой нищей телегой с гробом неизвестного покойника, перед этим тихим, но союзным с Богом страданием близких и родных, перед крестом на груди православного пастыря?

Что-то поразило Мишу во взгляде офицера. Это был взгляд человеческий, взгляд несчастный, а потому добрый, и Миша решил, что неожиданная доброта взгляда поразила его, потом он понял, что было нечто иное. На скудных поминках Чемадурова ему сказала:

— До чего был похож на тебя немецкий офицер, которого мы встретили возле кладбища. И глаза твои, и лоб, и даже возраст, по-моему, твой.

Так вот в чем дело: обер-лейтенант был похож на Мишу, и Миша это невольно почувствовал, и ему надолго запомнился немецкий офицер. Убийца? Нет, он не мог быть убийцей. Мысленно Миша сооружал его биографию. Скажем, филолог, как и Миша, но из католической семьи. Почему же он служит убийцам? Потому что он их раб? А чей раб Миша?

Прошла неделя. Устанавливался новый порядок. Военная — истинная — власть принадлежала немцам, их войскам, их тайной полиции, а фиктивная, гражданская, иллюзорная была отдана румынам, которых здесь возглавил примар Пынтя. Он был обозначен и почетным издателем газеты на русском языке «Свободный голос». Еще не потеряли силу советские деньги, Миша купил первый номер. Газета была того же формата, что и прежняя. На второй странице бросалась в глаза карикатура: Сталин, одетый в бурку и папаху, гонит красноармейцев в пасть смерти, а позади него радостно потирают руки раввин в талесе и капиталист, на обширном брюхе которого, как на старых плакатах Дени, была выведена цифра «1 000 000». Сюжет несложный. Под карикатурой подпись: «Рисунок художника Владимира Варути, специально для „Свободного голоса"».

Университет пока не приступил к занятиям, но его канцелярия работала. Ясно было, что, когда университет откроется, Мише предложат читать курс. В

тот роковой день к Лоренцам пришла университетская уборщица. Она сказала, что новый ректор, профессор Севостьянов, вызывает Михаила Федоровича к себе сегодня в пять часов.

До здания, где помещался ректорат, было от дома Чемадуровой не более двадцати минут ходьбы, но Миша вышел в три, благо Юлия Ивановна уснула. Он отметил, что Покровская начала оживать. Появилась свежая вывеска «Комиссионный магазин Икрянистова». Какой же вы быстрый, господин Икрянистов! Кафе Дитмана опять стало называться «Кафе Дитмана». Наследники отыскались, что ли? На углу Почтовой румынские солдаты и местные полицаи отгоняли прохожих на другую сторону Покровской. Весь квартал от Почтовой до Полицейской был оцеплен. Внутри оцепления сбились в живую толщу женщины, старики, дети, люди всех возрастов, и у всех на рукавах — желтые шестиугольные звезды. Миша вспомнил сообщение одного гебраиста: так называемая Звезда Давида в священных книгах не упоминается, это шестиугольный герб маленького немецкого города, где в значительном количестве жили в средние века евреи.

Все, кроме детей, держали в руке по небольшому чемодану. Много взять не разрешили, да кто знал, что надо было взять, как сложится жизнь в гетто. Никак она не сложится, но они этого не знали. Не сегодня, а завтра придет время их гибели, завтра, завтра их убьют, убьют всех, а сегодня еще продлится час-другой время их сбора у здания бывшего участка, да еще час-другой будут они двигаться по городу, спустятся по Севастопольскому спуску, пройдут под мостом, дойдут до бойни, и дождик их обрызгает, и приморский добрый октябрь их высушит, и загонят их туда, где забивали скот, и убьют.

Так как за месяцы войны в город хлынули люди из окрестных местечек, где годы текли медленнее, то в толпе виднелись и глубокие старики в капотах и в белых карпетках, и могучешеие мясники, и все это среди лиц давних горожан, знакомых Мише благодаря своей общности, а не благодаря отдельным особям.

Миша остановился напротив участка, у изваяния Лаокоона и его сыновей, обвитых змеями. Он узнал соседей: вот белесое лицо Маркуса Беленького, рядом с ним его мать, вот и семья Кемпферов. Александр Рафаилович, учитель, виден в профиль, губы его трясутся, пенсне почему-то плохо держится, соскакивает. Он без чемодана, под мышкой у него книга — может быть, неразлучный с ним Гораций? Привлекает внимание Фанни, она выше и крупнее всех прочих Кемпферов, ей двадцать три года, она пловчиха, у нее спортивный разряд, она не может поверить в смерть. Абрам Кемпфер беседует с товарищем по несчастью, видимо, хочет узнать, понять. У товарища по несчастью, старика из местечка, на ухе слуховой аппарат, а в руке Библия, ему бы, чтобы понять, заглянуть, заглянуть бы в Книгу, а он, напрягаясь, слушает Абрама Кемпфера. Зинаида Мойсеевна озирается, как будто ищет кого-то. Издали она кажется Лоренцу безумной. Узкая мостовая отделяет его от обреченных. Но что это? Зинаида Мойсеевна показывает пальцем (не на него ли?), кричит:

— Возьмите и его! Почему вы его не берете? Он такой же еврей, как мой муж, он его брат!

Фанни обняла ее, стала ей что-то шептать, наверно, уговаривала, успокаивала. Зинаида Мойсеевна оттолкнула дочь:

— Почему ты, мое солнышко, девочка моя, должна чахнуть в гетто, а этот доносчик будет жить припеваючи? Возьмите его, возьмите его!

О ком это она? Миша оглянулся. Он увидел Теодора Кемпфера. Секретный сотрудник бежавших органов выглядел превосходно. На нем был плащ модного тогда белого цвета, широкое, кавказского покроя кепи, густо, глянцевито чернели усы и бачки на гладко выбритом, упругом лице. Почему он пришел сюда именно в этот роковой день? Или повлекло его то же чувство, что влечет преступника к месту его преступления, и он пришел, чтобы в последний раз взглянуть на родных, на братьев, от которых он внутренне отрекся? А Зинаида Мойсеевна неистовствовала. Ее сухие белые космы выбились из-под черного платка, она растолкала худыми руками соседей, кинулась к полицаям.

— Берите его! Вот этого, усатого! Он тоже еврей! Он наш родственник!

Теодор застыл от безмерного, высасывающего душу страха. Люди на той стороне Покровской отодвинулись от него, как от призрака. Два полицая направились к нему по омертвелой, бесшумной мостовой.

— Паспорт!

Теодор пришел в себя. Руки его еще дрожали, но на лице появились краски былой самоуверенности. Он предъявил паспорт и сказал чуточку пугливо, но самую чуточку:

— Пожалуйста, проверьте. Я немец. Фольксдойче. Я уже заполнил фольклист. Жидовка, наверно, с ума сошла от страха, кричит черт знает что. — И добавил, надеясь нагло, как игрок: — Позвоните в гестапо. Там обо мне знают.

Полицаи медленно, как это делали и наши милиционеры, прочитали все пункты паспорта. Действительно, немец, Кемпфер, Теодор Рафаэлевич. А Зинаида Мойсеевна не унималась. Платок сполз на плечи, нимб седых кос дымился на голове.

— Проверили? Теперь видите сами: он Кемпфер. И мой муж Кемпфер. И я Кемпфер. И моя дочь Кемпфер. Но мы идем в гетто, а он, паскудняк, сволочь, остается в городе. Он займет всю нашу квартиру! Но он еврей! Он еврей!

— Не надо, Зина, умоляю вас, успокойтесь, — сказал Александр Рафаилович. Вандалы уничтожали его мир, его Рим, он умирал с томиком Горация под мышкой. Понял ли он хотя бы сейчас, что и эти, пришлые, убийцы, были одной из тех победительных народных властей, которыми он привык восторгаться? Что и требовалось дока-зать.

— Почему не надо? Разве он не ваш родной брат? Почему вы, ученый человек, гордость семьи, должны подыхать в гетто, а Теодор, продажная тварь, будет считаться немцем? Посмотрите, люди добрые, на моего мужа и на этого новоиспеченного фрица, разве они не похожи как две капли воды?

— Братья они, верно говорит жидовка, на одной квартире живут, — подтвердил кто-то из зрителей. Может быть, тот человек ненавидел Теодора за его связи с НКВД, а может быть, то была другая, более древняя ненависть.

Зинаида Мойсеевна посмотрела на того человека, увидела рядом с ним Лоренца, заголосила на той, обреченной стороне:

— Мишенька, мы уходим, не забывайте нас! Не забывайте нас, Мишенька! А мы уходим! Скажите им всем, что Теодор наш родственник, не немец вовсе, а еврей. Вы же сами настоящий немец, вам поверят!

Полицаи приняли решение. Один из них остался с Теодором, другой вернулся, доложил немецкому унтер-офицеру. Получив от него приказание, он потребовал паспорта у Абрама и Александра Кемпферов. Ясно, все они Кемпферы, все евреи. И похожи, одна мать родила. А усатый думает, что умнее всех. Хитрозадый, а дурак. Полицай подмигнул сослуживцу. Другой полицай потащил Теодора через мостовую. Теодор упирался, вот он вырвался, упал, как мальчик, который не хочет идти с папой. Его модный плащ одиноко забелел на безлюдной мостовой. Казалось, что ее гладкий булыжник дрогнул от его протяжного одноголосого крика:

— Я не пойду в гетто! Я немец! Их бин фольксдойче! Разберитесь!

— В гетто, в гетто разберемся, — сказал без злости полицай и впихнул Теодора в оцепленную толпу, как куклу в битком набитый мешок.

Братья отвернулись от Теодора. Им стало больно и стыдно. Но тут произошло нечто такое, что заставило сразу же забыть о Кемпферах. В двух кварталах от участка со стороны Соборной на мостовой появился высокого роста, прямой и стройный человек. Идти в этот день по мостовой запрещалось, переходить ее тоже нельзя было. Прохожему кричали, свистели, раздался даже выстрел, но он продолжал идти медленно, спокойно, властно. Когда он приблизился к участку, где немцы и полицаи оцепенели от непонимания, все увидели, что прохожий стар и красив, и его седая красота смутила даже унтер-офицера. В руке у старика был маленький куаферский чемоданчик, на рукаве — бархатная желтая звезда. «Антон Васильевич!» — загудело в толпе, и он вошел в нее, седоголовый, и засветилась над ней его эспаньолка, загорелись огненные глаза.

А на том тротуаре, где стоял Лоренц, появилась, тоже со стороны Соборной, низкорослая толстая старуха. То была Чемадурова. Она хрипло дышала. На своих восьмидесятилетних, со вздутиями ногах она неотступно двигалась вслед за Антоном Васильевичем от самого его дома. Лицо ее покрылось известковой белизной. С белых губ слетели слова:

— Опомнитесь, Антон Васильевич! Не надо вам туда! — И к полицаям, к толпе на той стороне, к толпе на этой стороне, ко всему миру: — Вы разве не знаете его? Это наш церковный староста! Он русский, православный! — И опять к старику: — Антон Васильевич, миленький мой, вернитесь, Христа ради!

Антон Васильевич низко ей поклонился. Пальцы мастера сложились в щепоть, он перекрестил себя и ее.

— Ради Христа я и пойду. В гетто я пойду ради Христа. Мой Бог терпел и мне велел. И я все вытерплю, все, все, как вытерпел Он. Не отрекусь от Него в этот час, пойду на муки. Не сам иду — Он мне велел идти. Прощайте, Мария Гавриловна, добрая душа! Прощай, Мишенька!

Где-то был дан знак, и многотысячная толпа обреченных, оцепленная конвоем, двинулась по Покровской к месту своей поголовной гибели. На другой стороне улицы шли прохожие, останавливались, смотрели. Знакомых среди обреченных не искали, но невольно находили. Злорадства не было, упаси Бог, но и сочувствия, сострадания Лоренц не замечал. Затвердели души, как длань Исава, давно привыкли к тому, что насильно уводят друзей, родных, соседей, уводят на смерть. Только осенние акации ничего не боялись и платанам было начхать на любые органы власти, и ветви деревьев кивали согражданам своим, и посылали им вслед пожелтевшие листья — одного цвета со звездами на рукавах, да и у деревьев появились на рукавах звезды. Что это? Акации шелестят, платаны ли плачут, или Зинаида Мойсеевна кричит, вырывая свои седые космы:

— Посмотрите, люди добрые, на небо посмотрите, Господь Бог пришил к своему рукаву желтую звезду!

Шли и шли обреченные, и Лоренц шел, но по другой стороне улицы, но свободный. После встречи с ректором он вернется домой, а те, обреченные, не вернутся. Не вернутся взрослые, которые не плачут, не вернутся малые дети, которые плачут, еще не зная, что неразумно тратят Божий дар — слезы. И Лоренц не знает еще, что из ста шестидесяти тысяч вернется только Маркус Беленький. Один, один из ста шестидесяти тысяч. Но что-то великое в своем бессилии, вечно живое в кажущемся умирании своем рождалось в душе Лоренца, и ему захотелось, чтобы ему захотелось поступить так, как Антон Васильевич, — пойти в гетто, а может быть, и на смерть во имя Христа, — но, желая этого, он знал, что так не сделает: силы не хватит, душевной силы — веры не хватит.

Толпу заставили убыстрить шаг, и Лоренц убыстрил шаг, толпу двинули по Севастопольской, и Лоренц пошел по Севастопольской, но в начале спуска стоял немецкий патруль, прохожих вниз не пропускали, уже начиная от здания Публичной библиотеки запрещалось жителям выходить из домов, было пусто и было страшно от пустоты, и пошла оцепленная толпа под мост, а он остался в начале спуска, и в ушах у него шумело, а в сердце жило то, что, слегка картавя, сказал Антон Васильевич: «Ради Христа я пойду в гетто... Ради Христа...»

Севостьянов принял его быстро. В черной академической шапочке он был очень похож на свои фотоизображения в газетах и журналах. Как и предполагал Лоренц, новый ректор предложил ему читать курс. Среди разговора спросил:

— Вы немец?

— Я русский. Фамилия немецкая.

Севостьянов слушал удовлетворенно, но был он растерян. Хотя он видел Лоренца в первый раз, доверчиво сказал ему:

— Чем больше нас, порядочных людей, будет с ними, тем лучше будет для родины. Жестокости кончатся вместе с войной, а Россия никогда не кончится, немцы это наконец поймут.

— А румыны поймут, профессор?

— Румыны — это ненадолго. Бутафория. Транснистрия. — Севостьянов вскинул выразительные, как у музыканта, руки в твердых монархических манжетах. — Кто это сказал, что румыны не нация, а профессия? Кажется, покойный государь? Вы не помните, коллега? Впрочем, не будем злословить. Я думаю, недели через две мы приступим к занятиям. Я надеюсь на ваше сотрудничество, Михаил Федорович.

Лоренц откланялся. Приступим к занятиям, коллега. Через две недели... Студентов осталось мало, многих взяли в армию, считалось, что университет эвакуировался. Неужели Севостьянов ничего не понимает, неужели он, называющий себя христианином, может не думать о тех, обреченных? А он, Лоренц, раньше думал об обреченных? Убивали дворян, убивали купцов, убивали крестьян, убивали оппозиционеров, — а что делал он, Лоренц? Учился, читал, жил.

До поздней ночи он беседовал с матерью. Решили сделать так, как советовал перед смертью Федор Федорович. Трудно будет Юлии Ивановне одной, но

Мише надо уйти. К своим. Через темный, беззвездный двор пошли к Чемадуровой. Она сказала, как Федор Федорович:

— Иди, Миша, к русским. За маму не бойся, вместе бедовать будем, вместе легче.

Рано утром с рюкзаком за плечами Лоренц вышел из дома, где он родился, из спящего дома Чемадуровой. Накрапывал дождик. В Николаевском саду к мрамору парапета, на котором они в детстве сидели с Володей Варути, с Еличкой, прилипли багряные кленовые листья. Улица, вымощенная синей итальянской лавой, была тиха и так печальна, так печальна. Ее задумчивость щемила сердце. В кармане у Лоренца — карта нашей области. Два пути было у беглеца: на восток в Николаев и на север в Елисаветград. Он выбрал север.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Румыны, будучи фашистами с человеческим подобием, выгодно отличались от большевиков бытовой разумностью, естественной направленностью своей энергии, но их беда заключалась в том, что разумность их была крайне ограниченной вследствие ничтожности государственного опыта, а источником их энергии были гитлеровцы, которые потребность в румынах определили для себя как второстепенную и кратковременную. И бесспорно мешала румынам извечная и бессильная жадность полунищего, неуважаемого королевства. Подобно немецким нацистам, румынские железногвардейцы не доросли до национального самосознания, остановившись в своем развитии на ненависти к другим нациям и на воспаленном самолюбии, но у них не было и того незамысловатого национального чванства, которое стало движущей силой рейха. Притом что Гитлер был бесконечно сильнее и хитрее Антонеску, цель его, хотя и грандиозная, была гораздо проще: он хотел создать всемирную, на худой конец всеевропейскую, немецкую империю, уничтожив или поработив остальные нации, кроме нордических, германоязычных, с которыми снисходил слиться. Антонеску, лишенный гениальной простоты Люцифера, ставил себе, как все политические посредственности, задачу более сложную: он не собирался порабощать или уничтожать, он, бедняга, мечтал орумынить население захваченного края, орумынить медленно и по возможности без боли, но силенок у него было очень мало, ни числом он не мог взять, ни умением, ни тем более высокой духовной культурой. Чтобы стать хозяином королевства, ему пришлось, в сущности, истребить железногвардейцев, но что путное, завораживающее чернь мог он изречь вместо их выкриков? Добропорядочный, но бескрылый, скучный обскурантизм. Даже за двадцать лет владычества не удалось по-настоящему орумынить Бессарабию, которая всегда была, казалось бы, естественной частью Румынии. Возвращение насильственно отторгнутой Бессарабии придавало Антонеску в глазах румын черты национального героя, но закрепить эту землю за собой не удалось ни Румынии боярской, ни Румынии — гитлеровской служанке, ни, позднее, Румынии социалистической. Однако тот первый военный год был годом упоения: наконец-то потомки даков перебрались за Днестр, утвердились на другом берегу Понта Эвксинского, гостеприимного. Когда-то стояла там великая держава единоверцев, держава рухнула, осталось пестрое и впавшее в бедность население. Эти пестрота и бедность, казалось, должны были помочь румынам обольстить обитателей захваченного края. Антонеску понимал: единственное, что он мог дать нашим землякам, это вожделенный капитализм, по которому они истосковались, как странник в пустыне по воде, и тут, надо сказать, он, сам нищий, постарался. Вот пример. Что построили в первую очередь большевики, когда они через три года вернулись? Они начали с того, что нужно было государству, а не людям: восстановили здания обкома, облисполкома, комитета государственной безопасности, а потом уже нехотя и неспешно занялись всем прочим. Румыны мыслили гораздо банальней, то есть разумней. Разрушен вокзал? Значит, надо в первую очередь восстановить вокзал, потому что население нуждается в вокзале. К слову сказать, эта свойственная Европе приземленная разумность иногда мешала и немцам. Истинный нацизм, истинный тоталитаризм окрыляется безумием, дерзким и своекорыстным. Но вернемся к вокзалу. Румыны, слабенькие, восстановили его кое-как, на скорую руку, просто расчистили завалы, убрали мусор, щебень, соорудили подобие перрона, касс. Овладев

изумительным портовым городом, огромным, богатым краем, румыны так и остались королевством окраинным, пригородным...

К подобию вокзала поезд приближался почти ежедневно. Приезжали в город главным образом военные, но виднелись и цивильные, и не только немцы и румыны — появились и деловые люди из других частей оккупированной Европы. Они же и уезжали. Что касается местных жителей, то они могли ехать только до границы с рейхом, — за немногими исключениями.

В марте 1942 года, когда солнце щурится сквозь туман и утро похоже на слепую красавицу, на перрон сошел невысокого роста, довольно полный, можно сказать, тучный пожилой пассажир в тирольской шляпе с тульей, обмотанной шелковым шнурком, в добротном длиннополом пальто и с клетчатым пледом на руке. Проводник помог ему спустить по ступенькам советского вагона два больших, но потертых и, видимо, тяжелых кофра. Подошел сцепщик, спросил:

— Отнести? До извозчика?

Пассажир сначала опешил: там, где он жил, он привык к другим носильщикам, с бляхой, в форме, — но потом он даже обрадовался, ответил по-русски:

— Да, да, до извозчика, пожалуйста.

Его, конечно, удивило, что сцепщик подрабатывает, выполняя обязанности носильщика, но он принял как должное ту странность, что тот предложил ему извозчика, а не такси. Хотя у сцепщика было два нелегких груза, он шел быстро, и полный пассажир едва за ним поспевал, боясь потерять его в толпе, и у него начиналась одышка.

Но волнения были напрасны. Благополучно остановились на площади. Знакомый скверик, знакомая извозчичья пролетка времен Колчакова и покоренья Крыма, приземистая, узкая. Пассажир дал сцепщику две оккупационные марки, но тот не уходил, пассажир с неудовольствием прибавил третью и спросил у извозчика:

— Сколько вы с меня возьмете до Покровской, может, знаете, дом Чемадуровой?

— Сколько дадите, — сказал извозчик.

Был он так же тучен, как и пассажир, но небрит, белая щетина дробилась на его круглом, пропеченном нашим солнцем лице. Пассажиру ответ не понравился, но он, тяжело дыша, втащил оба кофра в пролетку и неудобно уселся между ними. Лошадь поплелась по Пантелеймоновской.

Не знаю, таково ли свойство всех людей, но у наших горожан бросается в глаза особое отношение к родному городу: каждый считает, что это его город, его и ничей больше, ну, скажем, как жена — мужняя и ничья больше, и после долгого отсутствия муж к ней возвращается, и она его встречает, его среди всей толпы, и он видит только ее, а она только его. На другом конце этой улицы, если идти к морю, помещалась гимназия, где учился тучный пассажир, и он решил, что непременно придет на нее взглянуть. Вот показался Привоз, безвкусно восстановленные длинные серые здания рыбного ряда, и пассажир с умилением отметил, что по-прежнему на улице перед зданием торгуют скумбрией, бычками, чирусом и крупной камбалой в ведерках. Сейчас, подумал пассажир, начнется молочный ряд, но знакомого здания не было, только виднелись издали на столах бидоны.

— Когда-то здесь был большой магазин Фридганта, глубокий, даже летом прохладный. Какое золотистое, какое пахучее масло было у Фридганта! Только в Дании как-то ел я такое масло. Наша университетская клиника оптом покупала для больных.

— Что было — видели, что будет — увидим. Теперь у нас никаких Фридгантов нет.

— Ах да, — вспомнил пассажир и смутился. — Постойте, где мы? Здесь должен быть Фруктовый пассаж. А дальше — кладбище, Первое христианское.

— Было кладбище, потом сад юных пионеров, теперь ничего нет, был пассаж — теперь зоопарк. Зверей вывезли. А мы свернем на Трехугольную.

— Почему не сразу на Покровскую?

— Сразу нельзя. Дом ремонтируется, его наполовину разбомбили. Надо в объезд, а там уже на Покровскую попадем, или, по-новому, на улицу Антонеску.

Какие прелестные названия: Трехугольная площадь, Гулевая, Книжный переулок... Пожилой пассажир чуть не заплакал, увидев дома своего детства, с каменными навесами балконы на мифологических плечах титанов, женскую

гимназию Бален де Балю... Недаром, уже приближаясь по железной дороге к городу и стоя у окна, глядя на красный недвижный вагончик, затерянный среди мокрого будяка и чабреца на какой-то сонной утренней станции, на жалкий базар, на женщин, улыбавшихся сквозь щелку платка и по степной земле отъезжающих как бы назад, в прожитые годы, он говорил себе: «Для слез еду сюда, для слез». Но теперь он увидел, что не только для слез приехал сюда, что нет на земле места милее, и если его предприятие закончится успешно, то не послать ли к черту все и доживать свои дни здесь, здесь.

— Боже мой, Покровская церковь! — как мальчик, восхитился пассажир.

Он восхитился бы еще сильнее, если бы видел, какой церковь была раньше, хотя бы год назад, — заброшенная, обворованная, зимою не топленная, роспись на стенах висела пузырями. Теперь стены были выкрашены в голубую и белую краски, роспись возродилась, в греческом облике церкви младенчески сияли черты украинской мазанки, купола щедро золотились, ступеньки, поднимаясь с двух сторон, образовывали дугу, над ней был вход, а под дугой был нижний вход, и на паперти, как в давние хорошие времена, стояли нищие бабы и калеки нынешней войны, а над верхним входом Богоматерь с покровом смотрела на болезных детей своих лучистыми глазами.

«Почему два входа, внизу и наверху, странно, что я впервые это заметил, в детстве ни разу не обратил внимания», — подумал пассажир. Извозчик показал на церковь кнутом.

— Румынам надо спасибо сказать. Что правда, то правда.

— Прихожан много?

— Много. Особенно по воскресеньям, по праздникам. И молодых полно. Ровесники Октября сейчас далеко, воюют, а вот бывшие пионеры так и прут. Все церкви, какие остались, теперь действующие.

— Приятно слышать. А у нас в храмах пусто. Разве что свадьбу справляют. Ну и похороны. Я говорю о католических. Мы, русские, в свою церковь ходим. Но больше для того, чтобы не потеряться на чужбине.

— Извините, конечно, за вопрос: вы из Дании приехали?

— Почему из Дании? Из Чехословакии. Но родился я здесь.

— Это видно без бинокля.

— Почему, однако?

— Нашего узнаешь хоть в Париже, хоть в бане. По выговору и личности.

— Я здесь не был почти двадцать пять лет. Шутка сказать — четверть века.

— Ваше счастье.

— Случайно, не слыхали, Чемадурова еще жива?

— Какая Чемадурова?

— Так мы же с вами едем в дом Чемадуровой.

— Это название такое. А что была на свете Чемадурова, я и не думал.

— Дом, по крайней мере, на месте?

— На месте. И место хорошее, и дом громадный, крепкий. В наше время разве так строят? С какой стороны подъедем?

— Лучше всего со стороны Николаевского проспекта, где был магазин Чемадуровой. Магазин церковной утвари.

— Не помню я такого магазина.

Но магазин не исчез, приезжий сразу его узнал, хотя над стеклянной дверью не висела вывеска с золотыми выпуклыми буквами на черном фоне и в окнах не светились милые обрядовые предметы, а из одного окна почему-то теперь торчала дымоходная труба. Здесь прошли его детские годы, здесь, когда он приходил из пятой гимназии, мать, всегда сердито, выдавала ему серебряную или бумажную мелочь, доставая ее своей пухлой рукой из кассы-конторки, и многое, многое вспомнилось ему, и, как поется в романсе, набежала искра на сухие глаза. Приезжий, потрясенный зрелищем родительского дома, отпустил, не торгуясь, извозчика, сам поднес к двери два тяжелых кофра, перстнем на пальце постучал в стекло возле дверной ручки. Он услышал слабый голос:

— Кто там?

— Гость, — с напускным весельем, волнуясь, ответил тучный приезжий.

— Женичка! Ты приехал! Дверь не заперта, толкни посильнее.

В последний раз она слышала его голос почти двадцать пять лет назад, но безошибочно узнала его, то был голос ее сына, старшего сына. И он узнал ее голос, хотя когда-то он звучал иначе — властно и резко.

Она лежала под двумя одеялами, верхнее было рваное. Видимо, в помещении было не очень тепло. Ее седая непричесанная голова опиралась на три подушки. Наволочки были не первой свежести. Из-под кровати выглядывал урыльник, наполненный мочой. Евгений Чемадуров, поставив на пол кофры и сбросив на них плед, наклонился над матерью, поцеловал ее дряблую, мокрую от слез щеку. Постель дурно пахла. Она перекрестила его, краем простыни вытерла глаза, они у нее, как и раньше, были маленькие, острые, умные.

— Приехал, Женичка, — повторила она. — Я так и думала, что, если живы, кто-нибудь из вас объявится. А я плохая. Но рада, рада. Возьми стул, вон тот, у стены, он покрепче, садись, рассказывай. Или позавтракаешь сперва? Я тебе скажу, что делать, у нас это непросто, а мне самой трудно.

— Мама, не беспокойтесь, я в поезде подкрепился. И вам кое-что привез съедобного. Вы ужасно живете, мама, никакого комфорта. Я подъехал прямо к магазину, думая, что скорее всего застану утром вас здесь, а не дома, наверху, оказалось все как-то не так. Квартиру отняли?

— Все отняли, все нажитое забрали. Да Бог с ним, нажитым. Я, Женичка, ухожу, умираю.

— Мама, не надо так говорить. А все, что отняли, я верну, дом верну, и все будет как нужно, может, вместе заживем.

— Хорошо бы. Как ты сам жил все эти годы? Хоть бы весточку о себе подал. Как в пропасть — ты и Жорж. Он живой?

— Живой. Я вам писал дважды, один раз в двадцать втором году, а потом лет через тринадцать-четырнадцать, когда в Праге советское посольство открылось, письма были рекомендованные, но остались без ответа. А еще писать я опасался, думал, причиню вам неприятности.

— Не получала я твоих писем. Где ты теперь живешь? Где Жорж? Постарел ты, ой постарел, Женичка.

— Мы оба в Карловых Варах. Теперь они опять называются Карлсбад.

— Знаю, бывала, еще до той войны бывала, водичку пила. А жили мы, я и твой папа, в гостинице, по-ихнему в отеле, высоко на горе.

— Вот-вот, водичка — она моя специальность. Я практикую при отеле «Глостер», это в конце той улицы, где курзал, источники.

— Там и сейчас рано утром, чуть свет, оркестр пиликает? И монашки со своими кружками приходят?

— Оркестр играет по утрам, и монашки воду пьют. А знаете, кто хозяин «Глостера»?

— Раз ты спрашиваешь, могу догадаться. Неужто Жорж?

— Он. Вернее, его жена.

— Она у него русская?

— Мама, вы Жоржа почти не знаете, уехал он от вас студентом. Он человек получился цепкий, зоркий, вперед смотрел. Немка его жена, судетская немка из Хеба. Мудрец Жорж.

— В каком смысле?

— А в том смысле, что немцы теперь хозяева мира. Не хочу скромничать, я неплохой врач, могу, положа руку на сердце, сказать, что больные меня ценят, но без Жоржа мои дела пошли бы хуже на чужбине. Он иногда суров со мной, но любя, по-братски суров. Он достал от солидных лиц письма к местным властям, деньгами, правда, в обрез меня снабдил: дом надо вернуть.

— Попробуй, дело отличное. Я ухожу, а вам жить. И твоя жена немка?

— Нет, я не оказался таким дальновидным, как брат. Русская она, землячка наша. У Жоржа детей нет, а у нас два сына, старший со мной, он тоже врач, внука мне подарил, а вам правнука, Димочку. А младший на фронте.

— Против русских воюет?

— Мобилизовали. Я сейчас кое-что достану, заодно и портреты посмотрите.

Он был очень похож на мать — ростом, полнотой, узкими, инородческими глазами, но взгляд был скучный, тусклый. Шумно дыша — живот мешал ему наклоняться, — он расстегнул металлическую застежку, стал вытаскивать из кофра, сам любуясь, подарки для матери: широкое пальто из мягкого сукна с пестрой подкладкой, два платья, черное и темно-бордовое, шерстяной костюм, целый набор — жакет, блузка, юбка. Все выложил на стол бережно, весело сказал:

— Это вам, мама, вам от меня и жены. А в другом кофре еще есть бижутерия всякая и люстра богемская, подарок Жоржа.

Мария Гавриловна поблагодарила его глазами, про себя отметила, что костюм будет ей к лицу, вещь ценная. И пальто, видно, дорогое. Наконец сын добрался до фотографий. На одной он сам, еще в русской офицерской форме, и жена, молодая, некрасивая. «Хорошее у нее платье», — сказала Мария Гавриловна, откладывая фотографию. Потом появились и заснятые карлсбадским фотографом внуки, сперва еще школьники, в гольфах, потом взрослые, галстуки бантиком, лица без нашей нервности, но и без нашего советского разумения. А у одного из них лицо было такое, что в глазах у Марии Гавриловны потемнело и желтая рука ее задрожала.

— Тот, справа, на отца твоего похож. Картинка. Старший?

— Старший. А вот еще картинка, правнук ваш.

Мария Гавриловна поцеловала карточку. Бутуз ей понравился, толстенький. На душе стало легче, светлее. А сын положил на одеяло новую карточку. Там был изображен Жорж, красивый, холеный, важный иностранец, совершенно ей незнакомый. На обороте было написано: «Дорогой мамушке от любимого сына. Жоржик».

— Что за мамушка? И почему он знает, что именно он любимый сын? Мне кажется, что я к вам относилась одинаково.

— Он по-русски немножко забыл. Хотел написать «от любящего». А сыновья мои по-русски почти не говорят, но понимают. Сноха русская, но по-русски слова подбирает с трудом и произносит их, как чешка. Мы с вами вкусно позавтракаем, мама.

Предвкушая удовольствие, которое доставит матери, он принялся вытаскивать из кофра продукты — консервы с диковинными этикетками. Мария Гавриловна смотрела: чужие этикетки, чужой вроде человек, а сын, сын, Женичка приехал, старший ее!

— У нас в «Глостере» высшие немецкие офицеры лечатся, отдыхают, это все через них добыто, — сказал Евгений Чемадуров. — Сейчас мы с вами отведаем по чашечке бразильского кофе. Мама, давно вы пили настоящий бразильский кофе?

— Никогда, кажется, не пила, я люблю чай с молоком. Женичка, ты уж меня прости, возьми ведро, сходи за водой во двор. Ты помнишь? Надо свернуть за угол на Албанский переулок, там ворота и напротив ворот, в конце двора, кран.

— Но я вижу, что в магазин провели воду, вот раковина.

— Не идет вода, Женя, приносим со двора.

— И туалет на дворе? Никакого комфорта. Однако позвольте, мама, насколько мне помнится, я могу попасть на двор через заднюю комнату, вижу дверь, не забыл. Так же будет быстрее. Зачем в обход?

— В задней комнате другие жильцы.

— Жильцы в полутемной комнате, с окном в парадную, без воздуха? Что за люди?

— Хорошие люди. Редько их фамилия. Муж и жена. Сын, как и у тебя, в армии, на фронте. Они мне разрешают через них проходить, но тебя они еще не знают, а время теперь такое, сам понимаешь. Я слегла вот уже два месяца тому, почти с самого Нового года, Юзефа Адамовна за мной, как дочь, ходит. Я тебя познакомлю с ней и с Валентином Прокофьевичем.

Так вернулся в отчий дом доктор Чемадуров. Отчий дом. Где был дом его отца? У той женщины, к которой он ушел от матери? В трактире «Олень», где он повесился? А где его, Евгения Чемадурова, дом? При отеле «Глостер», где заправляет противная немка, его свояченица, и где Жорж, хотя и любит его по-братски, не преминет показать, кто хозяин. И только один у него воистину отчий дом — здесь, в этом бывшем магазине без самых необходимых удобств, здесь, в этом несравненном городе, здесь, где в конце пребывает начало, и он должен вернуть роду Чемадуровых отчий дом.

Хлопоты оказались тяжкими, дело не двигалось, хотя мать в сохранности и в удивительном порядке столько лет содержала все бумаги. Румыны прямо не отказывали, но и не спешили так просто вручить карлсбадскому жителю огромный дом, занимающий почти три квартала в центре города.

Приехавший из протектората врач был не первым, кто обращался к румынской администрации с подобными просьбами. Канцелярию примара Пынти осаждали своими заявлениями, присланными из Франции, бывшие владельцы банков, домов, бывшие помещики, надоедал лично бывший хозяин теплых

морских ванн, полунемец, проделавший дальний путь из Аргентины. Власти Транснистрии не возвращали белым эмигрантам отнятое у них большевиками имущество, и на то были две причины. Во-первых, с какой стати? Румынам это имущество было нужнее. Во-вторых, румыны решили опираться на местных жителей, а не на приезжающих, на нынешних, а не на бывших. Они поместили, например, в «Свободном голосе» некролог, посвященный при них скончавшемуся Павлу Николаевичу Помолову, отметив его разнообразную деятельность и героическую смерть его сына. Характерный штрих: улицу Помолова не переименовали. Чиновники примара посылали поздравления именитым старцам по случаю их юбилея, даже если юбиляры занимали ответственные должности при большевиках и были членами партии.

Доктор Чемадуров уже начинал понимать враждебность румынских чиновников. Он не знал, что ему делать. Семья Редько, с которой он сошелся, считала, что он даром тратит время. Ему нравилась госпожа Редько, нравилось, как она слушает его рассказы о заграничной жизни, о плоском, чисто швабском остроумии чехов (Швейк — удивительное исключение), он старался быть блестящим, наблюдательным, и если бы не господин Редько, он сидел бы с ней часами. Но и назойливым нельзя быть, и он бродил по городу, он и в этом находил радость, горькую радость. Знакомых юности он не нашел. Несколько часов, сам не зная почему и для чего, он простоял на Уютной улице, где жила его первая любовь, гимназистка седьмого класса, которая курила — вещь в ту пору неслыханная. Он бывал в родном городе и в трудные дни первой войны, и в безумные дни смуты, но никогда он не чувствовал той непонятной, тайной тоски, которая как бы незримо ползала по улицам рядом с ним и то билась головой о берег моря у обрыва под Уютной улицей, то, обессиленная, прижималась к стволам деревьев. А между тем нельзя было утверждать, что город умирает. Наоборот, в его жилах закипела алая кровь частной инициативы. На базаре процветало, громко торжествуя, натуральное хозяйство. Крестьяне, отвергая деньги, охотно отдавали дары садов, огородов и полей в обмен на румынскую обувь и одежду, хотя и то и другое, как заметил Чемадуров, давно вышло из моды. Раньше не хватало всего. Простыни в деревне, у кого они были, служили украшением, на них не спали. Теперь румыны в изобилии снабжали не только городское, но и деревенское население товаром пусть устаревшим, но пригодным для жизни. Открылось множество комиссионных магазинов, ресторанов, казино, кабаре и небольших буфетов, где торговали самодельными пирожными и сладкими колбасками с халвой. Румыны истребили насильственное, ханжеское пуританство сталинского режима, и нравы регентства так обнажили и разнообразили половую жизнь, что в городе стали сильно опасаться венерических болезней. Если же вспомнить о партизанах, то их не опасались, они себя пока никак не проявляли, и описания их блестящих подвигов, напечатанные после победы, бесспорно имели жанровое сходство с описанием легендарного мятежа французских моряков во время гражданской войны.

По словам Валентина Прокофьевича Редько, который всегда обладал верными сведениями, в катакомбах действительно расположились оставленные партией и органами подпольщики, но они занимались блудом и пьянством и отправляли оказией на Большую землю доносы друг на друга.

Дела Валентина Прокофьевича шли в гору. У него оказался природный талант негоцианта. В отличие от жалких деятелей советской торговой сети, которые умерли бы от конкуренции, как эскимосы от насморка, ибо их успех был основан только на алогизме системы, Редько быстро и даровито усвоил законы свободного предпринимательства. Временно отступившие бесы, может быть (хотя вряд ли), лучше понимали Россию лапотную, крепостную, зато у новых бесов было человечье чутье: югу России был потребен озон капитализма. Валентин Прокофьевич теперь торговал кожей открыто, бесстрашно, и не только кожей подпольной выделки, но и той, которая попадала в его руки через посредство румынских интендантов. Когда приходилось производить натуральный обмен с крестьянами, Редько поручал это помощникам — сам он все свое время уделял более серьезным сделкам. Один из таких помощников однажды чуть его не подвел. Об этом стоит рассказать, а рассказ поневоле надо начать издалека.

В конце Албанского переулка, рядом с тем двором, где когда-то помещалась фирма «Лактобациллин», поселился еще при добровольцах молодой сравнитель-

но генерал с женой и семилетним сыном. В его распоряжении, как и у молочной фирмы, был большой двор, где на конюшне стояли лошади, и одной из незабвенных картин нашей детской поры был величавый выезд генерала и его мальчика верхом на двух крупных белых лошадях. Потрясало нас, мальчишек, в особенности то, что не только генерал, но и его семилетний сын был одет в военную форму, у него были сапожки со шпорами, мундир, погончики. Дети бегали вслед за всадниками, даже не смея завидовать и замирая от счастья зрелища, а владельцы лавок и мастерских вместе с заказчиками и покупателями, прервав дела, выходили на улицу, смотрели, задумывались. Фамилия у генерала была заметная на Руси, и только для того, чтобы дать о ней представление, назову его Ознобишиным, а настоящую фамилию объявить воздерживаюсь, потому что представители этой старинной дворянской отрасли еще живы, а один из них, говорят, стал в эмиграции известным писателем.

Судьба семьи сложилась так. Генерал исчез вместе с Добровольческой армией, сын его стал простым матросом, ходил в загранплавание и тоже исчез — говорили, что сбежал к отцу, который тогда еще был жив, — а мадам Ознобишина старилась, преподавая в средней школе французский язык. В пожилом возрасте она приняла сердечное участие в несчастном немом (но не глухом) юноше, выросшем в интернате. Она взяла его к себе. Седая, стройная, с быстрыми черными глазами, она быстрыми шагами, дымя на ходу дешевой папиросой, спешила из школы домой, и люди о ней говорили нехорошее. Она и в самом деле жила с немым.

Мадам Ознобишина различала в его мычании какие-то слова, ей действительно понятные, и уверяла соседок, что его можно вылечить. Он ходил на базар, стряпал, мыл полы. Очень любил выпить и радостно мычал, когда годившаяся ему в матери возлюбленная приносила под праздник бутылку вина. Мадам Ознобишина еше обожала рассказывать о его уме, находчивости и доброте и находила в нем сходство то с Джеком Лондоном, то с артистом Абрикосовым. Румыны вспомнили об Ознобишиной как о вдове русского боевого генерала, участника белого движения, написали о ней в газете. Это послужило ей поводом завязать — или возобновить — знакомство с некоторыми видными интеллектуалами-квислингами, и один из них, искусный врач, нейрохирург, кажется, вернул юному ее другу дар речи. Когда мадам Ознобишина, счастливая, помолодевшая, привезла его на трамвае из больницы (а дома их ждал обед с вином) и стала его ласкать, бывший немой внезапно оттолкнул ее, и первая связная фраза, которую она от него услыхала, была такой: «Отстань, старая курва!»

Он не только жестоко отверг покорную, позднюю любовь своей спасительницы, но приводил на ее квартиру, в свою комнату, молодых женщин, а иногда во время таких свиданий посылал Ознобишину за вином (деньги он давал), и она, все так же дымя на ходу папиросой, торопилась исполнить его поручение. Этот ничего не умевший верзила (его имя было Максим, но весь переулок вслед за мадам Ознобишиной называл его Симочкой) был не из самых ловких помощников Валентина Прокофьевича, но тот верил в его честность и преданность. Оказалось, что Редько ошибся.

Поздней январской ночью Симочка по какому-то спешному торговому делу устремился к комнате Редько. К его удивлению, несмотря на ночное время, дверь была открыта, а за дверью стояла женщина и дышала зимним воздухом. Хотя в комнате было темно, Симочке показалось, что он узнал Фриду Сосновик.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Подпол, в котором почти три года прожили и проработали Фрида и Дина, был не такой уж маленький, его площадь равнялась четырем с половиной квадратным метрам и без малого двум метрам — высота. Каждую неделю Валентин Прокофьевич привозил из ближайших сел опоек, овчину, козлятину, и шкуры отмачивались в двух больших чанах, занимавших в подполе немало места. Дальнейшая стадия производственного процесса заключалась в обезволашивании: волос и эпидермис удалялись с помощью зловонной смеси сернистого натрия, извести и воды. Это длилось несколько часов. Затем обезволошенные шкуры погружались в третий чан, наполненный суспензией извести. Так назы

ваемое зеленое голье обеззоливали солями алюминия и смягчали мягчителями из плесневелых грибов.

От гниения кожи при ее влажной обработке поднимались удушливые, вонючие газы и пары. А в комнате над полом окно выходило в парадную, воздух поступал только через дверь, но дверь надо было держать закрытой не только зимой, но и летом. Ни одна живая душа в доме, даже мать и сын Варути, даже Юлия Ивановна, не знала, что Фрида и Дина скрываются в комнате Редько.

Еще в советские годы Фрида как-то с горькой улыбкой рассказывала, что в Талмуде в книге «Наши́м» («Жены») среди немногих причин, по которым униженная женщина имела право на развод, указывалось ремесло мужа — кожевник. Спали мать и дочь, сидя между чанами и мешками на корточках, а то и стоя. В первое время они просили себе смерти, потом привыкли. Ночью во время многочасового обезволашивания шкур они поднимались наверх и с разрешения хозяев, которые и сами задыхались от зловония, открывали дверь минут на пятнадцать. Их могли случайно увидеть со двора, но если бы не эти короткие, жадные глотки воздуха, они бы давно погибли. Особенно стало трудно летом, когда во дворе, по южному обыкновению, жильцы сидели даже после полуночи, беседовали. Вот мимо двери задвигалась при лунном свете чья-то тень — и мать и дочь должны быстро и тихо шмыгнуть в подпол.

— Мы уже мыши, а не люди, мыши мы теперь, — сдавленным шепотом причитала Фрида, и шепот был таким, что его в самом деле могли услышать и понять только мышь или белка, а не человек.

Она и до войны много лет занималась этой адской и противозаконной работой, и Дина, возвращаясь из школы, а потом из института, помогала ей, но в те годы Фрида проводила в подполе не более четырех-пяти часов в день, да еще с перерывами, а Дина и того меньше. И тогда был страх, но не сравнить его с теперешним: сама их жизнь стала страхом. Они забыли свет солнца, дневной свет мог принести им гибель. Выползая, как мыши, ночью из норы, они, пугаясь дыхания ветра, шороха шелковицы, смотрели недвижными глазами оробевших зверьков на одинокое сияние звезды. Тяжелой, старческой походкой двигалась к ним из соседней комнаты — Редько разрешал — Мария Гавриловна, обнимала их, рассказывала о той жизни, которой наверху жили человеческие существа, о ценах на базаре, о новых магазинах, о событиях в доме, о румынских офицерах, гуляющих с нашими шлюхами по Кардинальской. Они слушали внимательно, но безучастно — то была иная, чуждая и теперь им не нужная жизнь на земле, жизнь людей, а они жили другой жизнью, жили в земле жизнью мышей. Смешно и стыдно сказать: для них было немалой, памятной радостью, когда в иную добрую ночь им удавалось добежать до уборной, до отвратительной дворовой уборной, в которой в каждом из двух очков ее выглядывал застывший конусом кал, получивший всенародное наименование монаха. Но большей частью отправления совершались тут же в подполе, одна вонь не мешала другой, а выносила за ними Мария Гавриловна, пока была здорова, а когда слегла, этим занялась Юзефа Адамовна.

Оказалось, что добытчик Редько был женат на женщине удивительной доброты. Отец ее, низкорослый, надменный, усатый, служил до самой смерти своей швейцаром в гостинице «Московская». Она выросла в семье грубой, скопидомной, корыстной, но — сосуд, созданный из глины, — она была наполнена милосердием своего Создателя. Она и выглядела миловидно, моложе своих сорока шести лет, хотя и неправильно было бы назвать ее красивой. Ее глаза излучали такой свет, который проникал в душу. Казалось, что свет излучали даже ее пепельные волосы, собранные в узел, и ее работящие руки, и губы, не произносившие буквы «л» и улыбавшиеся как-то нерешительно, с непонятной боязливостью, но тем чудесней была улыбка.

Они подружились, эти четыре женщины, и только потом по-настоящему поняли Фрида и Дина, каким богоданным счастьем были для них Мария Гавриловна и Юзефа Адамовна. Казалось, Редько одобряет близкую, самоотверженную дружбу жены с двумя его тайными работницами и старухой Чемадуровой, но когда Юзефа Адамовна просила его прекратить или хотя бы приостановить на время выделку подпольной кожи — ведь им денег хватает, и они сами уже задыхаются от испарений, — Редько не хотел ее слушать.

— Валя, для кого копим? — плакала Юзефа Адамовна в постели. — Может, уже убит наш Владик.

Редько целовал ее мокрые глаза, ее губы, но был тверд:

— Мужчина должен знать свою справу: чтоб его дети жили лучше, богаче, чем он. Для Владика и копим.

Однажды жена сказала мужу:

— Ты выйди на двор на часик, я им воду согрею, пусть хотя бы помоются.

Редько согласился, похвалил ее, обнадежил:

— Не сразу, Юзенька, не сразу, подожди трошки, мы еще с тобой и Владиком заживем как надо, не хуже людей.

Валентин Прокофьевич такими словами часто утешал жену, и она, согнув высокую, еще молодую шею, склоняла пепельноволосую голову, и он гладил ее, и она верила ему, всегда верила, всегда знала, что он жаден до денег, хитер, напорист, но при этом порядочен, основателен, ей предан и душа его в хорошие минуты открывается добру. И жена приникала к мужу, как тростиночка к большому, толстому, надежному дереву.

Юзефа Адамовна замечала, как месяц за месяцем растет отчуждение Сосновиков от людского рода, в особенности у Фриды. Юзефа Адамовна не могла себе это объяснить, но ее охватывала тревога, и она вослед за Чемадуровой пыталась вовлечь мать и дочь в происшествия человеческого существования. Когда те выползали ночью из подпола и открывали дверь на двор, чтобы дышать, Юзефа Адамовна, стараясь не разбудить мужа, в одной рубахе сходила с высокой кровати, наливала им в кружки компот, предлагала печенье, но те ели неохотно, есть не хотелось, хотелось дышать. Юзефа Адамовна тихо повествовала. Володя Варути стал большим человеком, его в газете называли крупным национальным художником Транснистрии, он выезжал в Бухарест, одет с иголочки, ему устроили выставку, его боготворила литературно-художественная молодежь. Не знала Юзефа Адамовна, что сотрудничество Володи в грязном, антисемитском «Свободном голосе» оправдывалось этой молодежью как незначительная, но необходимая уступка оккупантам во имя настоящего искусства. Власти предоставили ему с матерью роскошную квартиру на Пушкинской и там же, внизу, ему отвели под мастерскую магазин.

А в другой раз медленно и осторожно, опасаясь причинить Сосновикам боль, Юзефа Адамовна сообщила, что скончалась Юлия Ивановна Лоренц, хоронить будут послезавтра. Фрида выслушала эту весть почти спокойно, а Дина вскрикнула, в испуге оборвала крик, заплакала, в первый раз за все оккупационные ночи и дни она заплакала, и обе они вернулись в подпол, а когда наступило утро, еще туманное, Дина приподняла крышку подпола, тихо-тихо пригнула ее к полу, поднялась по стремянке наверх и приблизилась в полутьме к постели супругов. Юзефа Адамовна услыхала, проснулась. Дина позвала ее к себе рукой в рукавице.

— Положите это Юлии Ивановне, — попросила Дина и дала Юзефе Адамовне кусок кожи — грубо вырезанный цветок, на котором гвоздем Дине удалось кое-как нацарапать: «Незабвенной Юлии Ивановне Лоренц от Ф. и Д.».

Большинство жильцов дома въехали сюда уже при румынах, покойницу мало кто знал, ее решила отвезти на кладбище и похоронить рядом с Федором Федоровичем дворницкая семья. Купили на деньги Редько гроб, позвали священника. Весь день возле усопшей провела Мария Гавриловна. Как живая лежала в гробу Юлия Ивановна, даже румянец как будто вспыхнул на впалых щеках, и стало видно Чемадуровой, как похож Миша на нее. Пришли две женщины из соседнего дома, и с большим, богато набранным букетом живых цветов, ухоженная, надушенная, появилась по-прежнему худая, очень постаревшая, но великолепная, по-заграничному одетая мадам Варути. Юлия Ивановна в эти годы стала чем-то вроде приходящей прислуги в семье Варути, и мать известного художника подчеркивала гуманность и благородный характер своего посещения. И среди цветов блистательного букета оперной дивы прошлых времен (в газете ее называли исконно румынской дочерью Транснистрии) и тощих букетиков от Ненашевых, Редько, Чемадуровой притаился кусок подпольной сыромяти, неумело и грубо в очертаниях цветка вырезанной Диной Сосновик в том зловонном, тесном и сыром подполе, который был частичкой Божьего сияния на огромном пространстве империи диавола.

Юлию Ивановну хоронили в холодном, не по-южному метельном январе 1944 года — почти через два года после приезда в родной город доктора Чемадурова. Он уехал быстро, пробыв у матери около двух недель, и многое стало с того времени иным: советские войска победно двигались по Украине.

Именно в ночь накануне похорон Фрида Сосновик, выбравшись из подпола, приоткрыла дверь, и не только для того, чтобы глотнуть свежего воздуху. Ей хотелось взглянуть на окна Юлии Ивановны, мысленно проститься с ней, всматриваясь в окна и стены ее квартиры как будто в черты покойницы. Где-то теперь Миша, жив ли он? Только сейчас, ночью, ощутила она тяжесть утраты. Вьется снег, жесткий свет неба равнодушно, недвижно лежит поверх метельной пляски снега, а рядом, так близко, уснула вечным сном женщина, с которой столько пережито, столько связано. Разве впервые на эту землю падает снег, разве впервые недвижно и жестко блестит луна, — почему же впервые нельзя сделать два-три шага, чтобы поцеловать мертвый лоб соседки? Разве этот поцелуй может остановить или повернуть время?

И так же, как ночь повеяла снегом, повеяла болью смерть родного человека, болью людской жизни, и мышь снова стала на мгновение дочерью человеческой, и как раз в это мгновение подбежал к двери по пустяковому торговому делу Симочка, и верзила заметил женщину, и ему показалось, что он узнал ее. С постели поднялся Редько и увел Симочку в глубь двора.

На другой день, когда хоронили Юлию Ивановну, в комнате Редько произвели перемены. Подпол был прикрыт ковром, на ковре поставили взятый у Чемадуровой ломберный столик, на столике — узкое длинное зеркало, пудреницу и прочие бабские причиндалы. Работу в подполе Редько велел прекратить. Прошло несколько тревожных суток. Дворник Матвей Ненашев привел господина из румынской префектуры. Несмотря на холодную зиму, пальто румына и даже пиджак были распахнуты, виднелся яркий шерстяной пуловер. Волосы, выглядывавшие из-под шляпы, и бакенбарды были черны, блестели бриллиантином, но когда господин, представившись (он показал удостоверение), вежливо снял шляпу, оказалось, что у него крупная круглая лысина.

— Это вы и есть Валентин Прокофьевич Редько?

По-русски он говорил совершенно правильно, даже, чувствовалось, с удовольствием, хотя и с сильным акцентом. Полицейские для Транснистрии в основном набирались среди жителей Бессарабии, где русский язык не забывался.

— Мадам — ваша супруга?

— Супруга. Юзефа Адамовна Редько. Юзя, покажи аусвайсы.

— Что вы, не затрудняйтесь. Кто еще с вами живет?

— Только я и супруга.

— А за дверью?

— А за дверью, в бывшем своем магазине, живет бывшая владелица нашего дома Мария Гавриловна Чемадурова.

— Знаю, знаю, почтенная и, кажется, весьма старая дама. Это ее сын недавно приезжал из протектората?

— Ее старший сын. Главный врач карлсбадского санатория для высших офицеров вермахта.

— О, большая честь. Могу ли я заглянуть к столь со всех точек зрения достойной даме?

Господин из румынской префектуры постучал в дверь, не сразу услышал: «Войдите», обвел взглядом ловчей птицы все помещение, и в его фисташковых зрачках отразились и старуха на бедной кровати, толстая, с узкими умными глазами, голые стены, раковина, стол, сундук красного дерева длиной в метр, шириной и высотой в семьдесят сантиметров (старинная работа), двустворчатый шкаф. Улыбаясь — мол, простите, формальность, — попросил разрешения заглянуть в сундук и шкаф, потом, так же понимающе улыбаясь («Тысячу извинений!»), открыл два шкафа в комнате Редько, сел, но не уходил, молчал. Что в это время чувствовали в подполе Фрида и Дина? Валентин Прокофьевич налил господину из префектуры стакан сельтерской с вином — этой смеси научили наших жителей румыны. Господин одобрительно осушил стакан, а Редько напомнил:

— Юзефа, ты в парикмахерскую собиралась.

— И я пойду, снегу навалило, — воспользовался словами Редько дворник.

Господин из префектуры разрешил. Он остался наедине с Редько. Тот сказал:

— У меня к вам просьба, господин...

— Флоря, к вашим услугам.

— Я хочу, господин Флоря, открыть магазин по продаже кожи, кожевенных изделий.

— Пожалуйста, хоть в ближайшие календы. Королевское правительство поощряет коммерцию.

— Мне будет очень удобно, сами видите, если мне предоставят магазин, где сейчас живет госпожа Чемадурова.

— Превосходно. Куда же мы поместим почтенную старую даму?

— Освободилась на первом этаже во флигеле плохонькая квартирка — умерла хозяйка. А там есть кухня, уборная. Мария Гавриловна только выиграет.

— О, ваша просьба нелегкая.

Полицейский набивал цену. Просьба была легчайшая. В опустевшем городе теперь не было жилищного кризиса. Во всяком случае, такие квартиры, как Лоренцев, не ценились. Редько могли бы занять хорошую квартиру, если бы не боялись за судьбу Фриды и Дины. Да и как лишиться подпола, этой фабрики? Валентин Прокофьевич весь разговор завел для того, чтобы возникла возможность дать полицейскому взятку, но не за укрывательство еврейки, это было бы безумием! Мысль о магазине и о переселении Марии Гавриловны пришла к Редько в день смерти Юлии Ивановны, и когда, явно по доносу Симочки, появился полицейский, он быстро сообразил, за что он даст взятку, хотя мог бы устроить свое дело безо всякой взятки. Господин Флоря получил пять тысяч оккупационных марок. Подозревал ли он что-нибудь? Видно было одно: он доволен.

— Госпожа Чемадурова может перебираться хоть сегодня. А вы занимайте магазин. Завтра приходите за бумагами. Или лучше я сам занесу, мне надо быть поблизости в одном доме.

Прощаясь, он небрежно добавил еще несколько слов:

— Среди ваших, так сказать, компаньонов, вернее служащих, есть некто Симочка. Плохой, очень плохой Симочка.

Валентин Прокофьевич с помощью своих парней благоустроил Марию Гавриловну в квартире Лоренцев. Закипела работа и в магазине. Над дверями, как в безоблачные годы, вытянулась вывеска «Кожа В. Редько». Столяры соорудили стойку, шкафы, кассу. На полках появился всякий сапожный товар, хромовые головки, подметки, халявки, заготовки, просто отрезы кожи. Накануне открытия, как водится, магазин омыли. Симочка едва снова не онемел, увидев среди приглашенных господина Флорю, который много пил не пьянея, пел крестьянские румынские песни, провозгласил тост: «Пусть те, кто в могиле, пожалеют, что они не с нами в такой веселый день». Он долго рассказывал скучные анекдоты и почему-то сообщил:

— У нас в городе Дорохое евреев не тронули, даже цадик там поныне здравствует.

Участников торжества рассмешило слово «Дорохой», решили, что в нем вся соль. Когда пиршество кончилось и остались только парни Валентина Прокофьевича, они стали бить Симочку. Валентин Прокофьевич не бил, только напоминал:

— Мясо ваше, а кости не трогайте.

Окровавленного, потерявшего сознание Симочку отнесли домой. Нос у него был переломан, как у боксера, все остальное в порядке. Мадам Ознобишина, забыв свою боль, свою ревность, кинулась к нему со слезами, нервная, тонкая, седая, выхаживала его целую неделю. И что же? Все кончилось для нее неожиданно счастливо, Симочка снова принадлежал ей, снова стал мыть полы, готовить обед, при этом он продолжал выполнять поручения Валентина Прокофьевича, да еще с рабской преданностью. У него были осторожные, ловкие руки («Шелк и железо», — гордилась мадам Ознобишина), и он по приказу Валентина Прокофьевича повесил в комнате Чемадуровой хрустальную люстру, которую привез в подарок матери ее старший сын. Доктор уехал, так и не добившись возвращения дома. Оба сына, Женичка и Жорж, теперь не реже чем раз в два месяца писали матери. Письма их были деловые, сыновья инструктировали старуху, но Валентин Прокофьевич считал, что румыны дом никогда не вернут:

— У румын, как у большевиков: если нельзя дать хабар, то дело не выгорит. А хабар дать нельзя, они не возьмут, потому что дом большой, чересчур большой. Румыны и сами еще не знают, как быть с таким имуществом. Подождем.

А ждать уже не было времени: все ближе и ближе слышалось горячее и громкое дыхание Советской Армии. «Свободный голос» еще печатал всякую

ерунду, радио оккупантов либо лживо кричало, либо лживо молчало, но жители, выросшие и созревшие во лжи, хорошо понимали: скоро немцы и румыны уйдут. Стало заметно, что увеличивается в городе число немцев и сильно уменьшается число румын: когда земля горит под ногами, не играют в Транснистрию. Наконец-то дали о себе знать партизаны из катакомб: в самом центре города, на Соборной, рядом с нашей главной аптекой, на стене большого красивого дома (кстати, он сохранился в великолепной эмигрантской памяти Бунина, точно им описан) появилась надпись: «Долой фашистов!» Тут же на улице были рассыпаны сотни, а то и тысячи пятиугольных звездочек из красной бумаги. Да, партизаны не дремали.

Правобережная Украина была очищена от чужеземцев. Ходили слухи, что бои гремят близко, чуть ли не возле Вознесенска. Уже некоторые хозяева магазинов намекали в частных разговорах, что они здесь были оставлены по списку обкома партии. Оккупационные власти расклеили по всему городу воззвания, в которых достаточно красноречиво, но малоубедительно уговаривали жителей не верить вздорной болтовне о приближении советских войск. «Мы сильны как никогда!» — утверждали авторы воззвания, и это ясно означало, что им приходит конец.

Валентин Прокофьевич разобрался в ситуации не позже, а даже раньше других. Его надежда на безбедную, нормальную, спокойную жизнь рушилась. Деньги, которые он получал за свой товар, быстро теряли всякую ценность. Как быть дальше?

Однажды он задал Юзефе Адамовне вопрос, не этот, а более простой, хотя и неожиданный:

— У тебя в Польше есть родственники?

Юзефа Адамовна задумалась.

— Папа говорил, что в Кракове живет его двоюродный брат.

— Переписывались?

— Не знаю. Мама и я не переписывались. А вот как папа...

— У тебя есть там троюродные братья, сестры?

— По словам папы, должны быть.

— Фамилия — как у тебя?

— Да, Пшерадские. Почему ты вдруг спрашиваешь о них?

— Думаю, Юзенька, думаю. Не оформить ли нам в городской управе отъезд в Краков к твоим родственникам? Посылают же немцы молодежь на работу в Германию, а вот мы сами, добровольно, хотим отсюда уехать. Польские мы, не советские. Может, что и выйдет.

— Валя, большевики вернутся?

Она не спросила «наши» или «Красная Армия», а — «большевики». Мало в каком из городов России так долго продолжалось отчуждение жителей от власти, как у нас.

— Вернутся. Очень скоро вернутся.

— Ты боишься, что тебя посадят за частную торговлю, за магазин? Но ведь ты рисковал жизнью, укрывал двух евреек.

— У большевиков предвидеть ничего нельзя, кроме плохого. Но дело не в этом. Надоело мне жить в духоте. Сил больше нет. Хочу на волю.

— А в Кракове будет воля?

— Сначала поедем в Краков, а там увидим. Мы с тобой не больные, еще не старые, есть голова на плечах, устроимся. Может, удастся из Кракова дальше двинуться, на Запад.

— Про мальчика нашего забыл?

— Не забыл, Юзя, день и ночь думаю о Владике, потому и трудно мне.

И предчувствуя катастрофу, он продолжал торговать, был, как всегда, прижимист, и хотя не требовал теперь от Сосновиков ежедневной работы, выделка подпольной кожи не прекращалась. Все же легче стало обеим женщинам — большую часть времени они проводили последние три месяца не в подполе, а наверху, в комнате. Каждый день приходила к ним Мария Гавриловна, подолгу с ними сидела. Она была два года назад при смерти, но после отъезда сына быстро пошла на поправку. На девятом десятке она почувствовала, что корень ее жизни еще крепко держится в земле. Гибель Антона Васильевича постепенно отходила от нее в дальнее былое, и пусть неясно, неярко, а зажглись какие-то радости — возникли сыновья, внуки, правнук Димочка. Она теперь не

одна, хорошие ли, плохие, а есть на земле Чемадуровы. Как знать, может быть, не грабителям, не безбожникам дом достанется, а своей крови. Сладко было ей молиться в Покровской церкви, похорошевшей, как невеста, и все реже вспоминала она долголетнего старосту церкви Антона Васильевича, все чаще в ее душе утверждались покой, свет, тишина. Она кормилась благодеяниями четы Редько, но старалась, несмотря на преклонные годы, отплатить им посильными хлопотами по дому. Кроме того, она получала, хотя и скупо, продуктовые посылочки от сыновей и делилась всегда с Редько и несчастными Сосновиками. Жизнь ее облегчилась, когда она заняла с помощью Валентина Прокофьевича квартиру Лоренцев, где были вода, уборная, комфорт, как говорил Женичка. Она не верила в то, что вернутся большевики, потому что ее обманывали ее душевная тишина, покой, потому что боялась прихода тех, кого ненавидела давней, бессильной, пылающей ненавистью. Она знала, что ненавидеть людей нельзя, но разве, думала она, ненависть к исчадиям диавола — грех?

С продуктами в городе становилось все хуже и хуже. Крестьяне перестали приезжать на базар. Это было опасно. Говорили, что большевики уже совсем близко, в Березовке. Не знали жители, что только распутица мартовская, дожди, мокрый снег затрудняют продвижение советских танков и мотопехоты к городу.

В начале апреля земля немного подсохла. Большевики заняли станцию Двухдорожную. Между морем и лиманами не затихали бои. Голоса орудий долетали до северных окраин города. В порту немцы уже грузились на пароходы, барки, катера, рыбачьи лодки и просто на плоты. Румыны, обезумев от понятного страха, бежали из Транснистрии к Днестру, домой, но их вылавливали то русские, то немецкие солдаты, убивали. Советская авиация бомбила город. Повсюду пылали пожары — на товарной станции, в порту, на Кардинальской. Рушились здания. Упала первая бомба и на Албанский переулок — загорелся Немецкий клуб. Это произошло тихим апрельским солнечным утром. Валентин Прокофьевич почувствовал, что стены магазина задрожали. От открыл двери — по Николаевскому проспекту бежали в смятении жители. Валентин Прокофьевич увидел среди бегущих Ознобишину и Симочку — она впереди с папиросой во рту, он позади. Люди кричали, и, прислушавшись, Валентин Прокофьевич понял, что они бегут в катакомбы. Он вызвал из подпола Фриду и Дину.

— Возьмите с собой хлеб, еще что-нибудь. Постойте, я вам дам чемодан с товаром. Ждите нас в саду около фонтана. Там бомба не опасна. Не так опасна. Аф гихер. Скорее.

— Немцы нас не схватят? — спросила Фрида. — Лучше бомба, чем немцы.

— Немцы бегут, им не до вас. Наверно, их уже нет в городе.

Фрида и Дина в первый раз за всю свою подпольную жизнь вышли на улицу. У одной в руке чемодан с кожей, у другой — мешок с продуктами. Они шли, с непривычки цепляясь за выступы известковых стен. Свет больно резал глаза. Горело апрельское небо, горел вдали город — может быть, Присутственная улица, может быть, Герцогский сад. Люди бежали, не обращая внимания на Фриду и Дину. Мать и дочь пересекли неширокую мостовую и подошли к парапету вокруг фонтана. Вода не била из искусственной скалы. Здесь, вспомнила Фрида, любили сидеть ровесники — Миша Лоренц, Володя Варути и ее Еличка. Пахло морем, ветром, порохом, гарью. Они стали ждать.

В это время Редько, набив карманы купюрами и драгоценностями, укладывал в два больших чемодана куски кожи. Юзефа Адамовна собирала кое-какие вещи, продукты. Он приказал:

— Возьми один чемодан и свой мешок и иди к Сосновикам. Они возле фонтана. Я быстро к вам присоединюсь.

— Валя, а что будет с Чемадуровой?

— Я не забыл о ней. (А он забыл на минуту о ней.) Иди в сад, я приведу ее.

— Не пойду никуда без тебя.

— Юзефа, делай, как я говорю. Там женщины одни, отвыкли от свежего воздуха, помочь им надо.

— Только ты у меня один. Я не уйду без тебя, не уйду.

— Юзя, я ударю тебя.

— Ударь.

Они пошли через двор вдвоем. Над двором низко летели советские бомбардировщики. Что им здесь надо? Военных объектов поблизости нет. Немецкий клуб опять стал клубом для немцев, но только и всего. В квартирах дома

Чемадуровой не осталось ни одного жильца, все убежали, а по двору в шерстяном чехословацком костюме двигалась им навстречу старая Чемадурова. В руке у нее была плетеная корзина с крышкой.

— Бросьте, бросьте! — крикнул Редько и поднял ее, толстую, старую, на руки и быстро пошел со своей тяжелой живой ношей.

Юзефа Адамовна, подхватив чемадуровскую корзинку, побежала вперед. Внезапно откуда-то из земных недр вырвался объемной полосой огонь, и когда все трое были уже в комнате Редько, стены упали. Упали стены Албанского переулка, упали стены Николаевского проспекта, они упали, но не горели, а горело то, что было внутри, и сгорели под обломками дома и сама владелица дома, и Юзефа Адамовна, и Валентин Прокофьевич. Видно, им на роду суждено было погибнуть от советской бомбы.

Фрида и Дина остались одни в пустом Николаевском саду. Вокруг фонтана, имея какую-то свою цель, кружились по камушкам голубь и голубка. Было так тихо, как, наверно, в первый миг после потопа. Кто же выпустил пернатую чету, чтобы узнать, кончилась ли беда? А разве после потопа кончилась людская беда? Вдруг показалось, будто загремел гром, будто хлынул сильный дождь. Это было непонятно, ведь сияло апрельское солнце, день разгорячался. В конце Николаевского проспекта между кленами и каштанами появился танк, первый советский танк. Он, как дождь, двигался темно и неспешно.

— Мама, пойдем, — сказала Дина.

— Куда мы пойдем?

— Не знаю, мама, пойдем.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Когда после окончания войны Лоренца заставили прослужить в Германии целый год, он в первые месяцы казарменной тягомотины в Каменце несколько раз делал попытки описать свой путь от родного города до харьковской земли по захваченным немцами пространствам. Но как только его слова ложились на бумагу, они переставали выражать то, что пережил, перечувствовал беженец, нет, беглец, когда он, голодный, обовшивевший, обессиленный, пробирался от степной балки к мазанкам на горе, от разрушенного хлева к полусгоревшему навесу полевого стана или клуни, когда, таясь в ночах от чужих, он упорно шел к своим, не веря своим, опасаясь своих.

Исследователь слов, Лоренц не обладал даром слова, чтобы оживить пережитое, и вскоре прекратил безуспешные попытки, оборвал записи на третьей или четвертой странице тетрадки, хотя и не терял надежды, что когда-нибудь к ним вернется. Ничего у него не получалось, когда он хотел рассказать о живом свете звезды, проникавшем через продольный разрез в глиняной стене в тот сарай в селе под Знаменкой, где он нашел, без спросу, разумеется, пристанище на одну короткую, обрывистую ночь, — он лег, и его голова уткнулась в нечто теплое, и он не сразу понял, что то кобыла и что она беременна. Он вообще впервые понял, что живет единой, слитной жизнью с животными, растениями, болотами, с камнями и речками, но беспомощен был выразить это грифель репарационного карандаша, как не дано было ему изобразить и воронки от бомб, и трупы на дорогах, изъеденные временем, птицами и животными, и снопы, лежавшие на полях как трупы, и станки, которые, видимо, намеревались вывезти и не успели, а захватчикам, стало быть, они были не очень нужны, если дичали среди бесконечного поля под ветром, дождем и снегом, облепленные глиной и черноземом.

За тридцать два года своей жизни Лоренц только один раз покинул родной город, когда по приглашению редакции «Вестника языкознания» (на гонорар, полученный оттуда за статью) поехал в плацкартном вагоне во время отпуска в Москву, где провел две незабываемые недели. Теперь он впервые увидел сельскую, полевую землю Украины, два месяца он скитался по ней, и эта земля, в веках потерявшая цель свою и ныне сама потерянная, даже в позоре и порабощении, в дождях и туманах была прекрасна, как милая сердцу женщина, когда она улыбается сквозь слезы.

Пытаясь в крохотной комнатке, под низкими сводами старинного здания немецких казарм одушевить чистую скрижаль тетради своими буквами, Лоренц не мог преодолеть непреложность последовательности событий. А нужно ли

было ее преодолевать? Что раньше и что сильнее обожгло его сердце — горелое дыхание глины, поваленные в испуганных садах яворы, рев покинутого скота, мерзлый буряк, который он с жадностью и отвращением грыз в каком-то погребе, убитая миной корова, которую свежевали бездомные дети, нежный, еще таивший свой трепет лист березы в следу лошадиного копыта или человек, повешенный немцами в петле на шесте колодезного журавля?

Немцев он долго не встречал, потому что прятался от них, но они все время неотступно были с ним, он думал о них, боялся. Однажды он заночевал не в кукурузе, не среди черных, мокрых и смятых нив, не в сарае, а в хате. Он попросился, хозяйка его впустила, налила ему полный стакан молока из глечика, дала кусок хлеба, молча уселась против него, смотрела угрюмо и пытливо, как он ест. Потом сказала:

— Наш голова до мене зайшов вчора, як повечеряла. Каже, крейду я тоби дам, треба хату побилыты, нимци люблять, щоб чисто було. А чи в хате не чисто?

Ее сорокалетнее лицо было в частых резких морщинах, более белых, чем само лицо, пальцы тяжелые и ржавые, как железо, — непонятно было, как они держались на таких тонких, слабых кистях, — а глаза тусклые, жалостливые. Всю жизнь она трудилась от зари до зари, чтобы в хате было чисто, сытно, тепло, как у людей, а люди были соседями, на том стоял мир. Лоренц провел у нее весь день, и весь день она молчала, ни о чем у него не спрашивала, например, когда вернутся наши, и только когда он собрался исчезнуть в темноте мира, сказала: «У лыпни узялы мого чоловика на фронт, потим и сына узялы, жодного лыста не маю» — и дала на дорогу Лоренцу несколько вкрутую сваренных яиц в тряпочке...

Светало, когда он дошел до речки. Он не знал, как она звалась, но и она тоже не знала его имени. Декабрь еще не сковал воду, зябко поеживался над нею очерет, и Лоренцу тоже было не тепло в старом отцовском демисезонном пальто, немного его согревала полушерстяная фуфайка, ее вложила в рюкзак Юлия Ивановна. За речкой, бессильные побежать дальше, чернели два недлинных порядка села, а за ними опять степь, опять степь. Кроме речки, молчало вокруг все, что было способно двигаться — жители, собаки, петухи, — и Лоренц почувствовал благодарность к речке, к ее влажным гласным, ибо если бы не она, то могло бы показаться, что во всем мире нет больше звуков, что Украина онемела, потому что по-немецки говорить отказывалась, а на своем языке боялась. Привычным взглядом присматривал для себя Лоренц дневное безопасное пристанище до наступления ночи, когда можно будет снова пуститься в путь к своим. Ему почудилось, будто очерет ему сказал: «Левее, левее» (ведь он начинал понимать язык произраставшего) — и он двинулся в камышах вдоль речки влево, увидел утоптанный спуск к воде, понял, что здесь брод. В самом деле, вода едва доходила ему до колен, но остер, колюч был ее холод. Лоренц вышел на противоположный берег, по ногам больно пробежало предвестие судороги, но, слава Богу, обошлось. На краю села он увидел нечто вроде барака, по запаху понял (он теперь научился многое понимать), что здание предназначено под свинарник. Он осторожно заглянул в слегка приоткрытую дверь и услышал хруст и дыхание. Он тихо толкнул дверь внутрь. С лебеды, которой здесь кормят свиней, поднялся высокий, его, Мишиного, роста, бородатый красноармеец — так просыпаются люди, которые спят непрочным сном. Рядом с его большими ногами стояли, похожие на куски водосточных труб, сапоги, обмотанные ремнем и портянками, и вся эта обмотка была закручена за крюк в стене и сверху прикрыта пилоткой. Желтее соломы были его волосы, они золотились на висках, прежде чем влиться в темную рыжеватость бороды. Он начал смотреть на Лоренца и смотрел долго — так смотрит игрок-тяжелодум в решительный момент на свои карты. Наконец он произнес, придавая особый смысл незначащему приветствию:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Гражданская одежда ваша, или вы переоделись?

— Моя.

— Значит, не военный. Человек эпохи «Москвошвея».

«Ого, — подумал Лоренц, — какие стихи знает!» И решил, что надо кое-что сообщить о себе, назвать родной город.

— Иду от самого Черного моря.

— И я оттуда иду, — повеселел бородатый красноармеец. — Давно идете?

— Могу ответить точно: я вышел из города утром двадцать четвертого октября. А вы?

— Я немного раньше... Сядем, закурим, чтобы умнее быть.

— Спасибо, не курю.

— Тоже неглупо.

Они уселись рядом на давно лишенной природной мягкости, как бы вбитой в цемент грязной лебеде. Красноармеец достал прямо из кармана махорочную труху, оттуда же вытащил огниво и несколько тщательно разорванных прямоугольничков газеты, из одного листочка умело свернул самокрутку, зажег, затянулся, сказал:

— Пищи, конечно, никакой?

— Почему никакой, — загордился Миша и вытащил из кармана пальто подарок колхозницы.

— Яйца! Дар небес! Пир Платона! Все сразу съедим?

— Как пожелаете.

— Пожелаю, очень пожелаю. А вы на меня не обидитесь?

Поев, красноармеец предложил:

— Отплачу родниковой водой. — И подставил ко рту Лоренца солдатскую флягу.

Вода была холодная, вкусная. Красноармеец отпил после Лоренца и сказал:

— Традиционный вопрос наших земляков. На какой улице вы жили?

— В доме Чемадуровой со стороны Албанского переулка. А вы?

— В студенческом общежитии на Старосельской. А потом в другом общежитии. По правде говоря, я вам набиваюсь в земляки, я сам из села. Только учился в вашем городе.

— Где вы учились?

Красноармеец ответил почему-то не сразу, как-то задумчиво:

— В университете. На филфаке.

— Вот неожиданность! Наверно, я вас не узнаю, бородой обросли. Как ваша фамилия?

— Литвинец Григорий Иосифович, — все так же задумчиво и медленно ответил красноармеец.

— Не помню вас, а я ведь знал в лицо почти всех студентов филфака. Я работал лаборантом.

Красноармеец, как близорукий, придвинул свое бородатое молодое лицо к лицу Лоренца.

— Боже ж мой, неужели... Послушайте, вы не Лоренц?

— Лоренц. Вы меня знаете?

— Так вас весь факультет знает. Легендарная личность. Автор знаменитой статьи об алано-сакской топонимике южноевропейского региона. Правда? Были несогласные, поддержал академик Орбели.

Лоренц был польщен.

— Статья-то моя, но вряд ли она знаменитая. Собственно говоря, к моим основным научным интересам она не имеет прямого отношения. Отдых пера.

— Подумать только, какая встреча, и где — в свинарнике на оккупированной территории! Студенты о вас говорили: «Человек-загадка. Опубликовал несколько превосходных работ в Москве, а у нас в университете не то что ассистенты, кандидаты наук, да и не все профессора до такой чести доросли, — и вот работает лаборантом. Обзванивает преподавателей, утрясает и чертит график». Действительно — загадка.

— Так получилось. Когда я кончил восемь лет тому назад, обещали мне место ассистента, годы шли, вакансии все не было.

— Вакансия... Она опасна, если не пуста. В аспирантуру не подавали?

— Не подавал. Меня предупредили, что партийная и комсомольская организации не будут меня рекомендовать, нечего мне позориться.

— А правда, что вы знаете тридцать языков?

— Гипербола в эпическом стиле. Кроме славянских, составляющих мою специальность, я знаю немецкий, немного французский, читаю греческие и латинские тексты. Начал изучать персидский, но война помешала, да и арабская графика мне трудно давалась.

— А правда, что вы дали обет целомудрия?

— Неправда.

— И слава Богу. А то в наш век женщины — это единственная радость. И опора. Вы в этом еще не убедились на опыте? Не краснейте, не буду. Скажу о другом. Я тоже знаю один иностранный язык, и как раз немецкий. Давайте поболтаем.

Он говорил по-немецки отлично, неожиданно с нижненемецким, как определил Лоренц, акцентом. Объяснил это тем, что их село расположено рядом с менонитской колонией на Николаевщине, а у тех колонистов нижненемецкое произношение, для него это был язык детства. Тут же рассказал о своем юношеском романе с девушкой из немецкой колонии — рассказ был грубоватый, малоинтересный.

Дорога стала легче, потому что пошли вдвоем. Шли долго, все полями, полями, заброшенными огородами, задами сел, стараясь держаться подальше от городов, поселков, железнодорожных станций и разъездов. Большая часть Украины была под немцем, но ее земля этого не знала, она жила своей обычной жизнью, пила дождь, ела снег, берегла и лелеяла существование всего произраставшего. И Миша и Литвинец жили, как земля, с той только разницей, что у них не было спокойствия земли, они-то знали, что они — под немцем, и боялись. Изредка судьба посылала им хороший день, и тогда, частицы земли, они вновь становились частицами людской семьи, ели и спали в хате. А за Кременчугом, на окраине совхоза, они прожили у одной женщины чуть ли не целую неделю, хотя в совхозе стояли немцы, говорили — взвод, и директор служил немцам, и зять партийного секретаря был полицаем (сам секретарь партизанил где-то в плавнях). Но сладкая была та неделя! Григорий Литвинец стал мужем хозяйки, ночью он спал с ней в хате, а днем с Мишей прятался в погребе, они читали книгу: «Хиба ревуть волы, як ясла повни», для скорости чтения вырывая листы, простодушие книги успокаивало. Хозяйка спускалась к ним с молоком, салом. Однажды вечером она привела женщину для Миши, и та женщина принесла в эмалированном чайнике самогон. Выпили вчетвером, Миша захмелел, заснул, та женщина вывела его, сонного, за занавеску к скамье под рукомойником, усадила, звонко полила на него воду из-под гвоздя и все говорила:

— Какой вы невыдержанный.

Она была нездешняя, эвакуированная из города. Ее подруга, Гришина хозяйка, открылась ей, предупредила о своих гостях, и она два дня готовилась к нечаянной радости, и когда пила, опрокидывала граненый стакан в рот по-мужски и при этом восклицала:

— Я как штык!

Она не теряла надежды, не злилась на Мишу, не отходила от него, они так и заснули на скамье под рукомойником. В окошко глядела волшебными глазами осенняя запорожская ночь, когда Миша, с разламывающейся головой, проснулся. Та женщина спала, сидя с ним рядом, положив голову ему на грудь, она храпела, и порой голова ее вздрагивала, но тело оставалось недвижным, горячее, с мягкой тяжестью. Миша остерегался отодвинуться, чтобы не разбудить ее, наконец решился. Он прислонил голову женщины к стене. Она открыла глаза, вздрогнула, но тут же заснула снова. Миша откинул занавеску, увидел на высокой кровати Литвинца и хозяйку. Одеяла не было, он голый, она в нижней рубахе. Литвинец сбрил бороду, и он лежал такой молоденький, томный. Глаза у Литвинца были ожидающе раскрыты. Миша понял: надо быстро одеться и выйти. Когда он тихо покинул хату, поднялся и Литвинец, но разбудил при этом хозяйку. Она пролепетала:

— Куда ты, Грицько?

— На двор.

Она семейно обняла его, пробормотала что-то милое, повернулась на другой бок и заснула. Она заголилась, и Литвинец, бережно переступая через нее, так же бережно поправил на ней рубаху. Он неслышно, почти не дыша, оделся, пошарил в шкафчике, вышел. На дворе, мелко дрожа, ожидал его Миша. Видно было, что Миша чувствует себя плохо от выпитого самогона. И они молча двинулись в путь, и то был путь к своим среди чужих, и снова кругом ночь, поле, редкие огоньки, доброта украинского неба и ужас иноземного владычества на земле. Литвинец сказал:

— Я с добычей: хлеб и цыбуля.

Помолчав, он спросил:

— Осуждаете меня?

И не дождавшись ответа, не желая ответа, заговорил:

— Вы меня тогда, в свинарнике, не узнали не потому, что я отпустил бороду. Я с середины второго курса перестал посещать университет, вот вы меня и забыли, а я не раз приходил к вам по всяким скучным делам, был старостой группы. Теперь я перешел бы уже на пятый курс. Когда мы доберемся до наших, вы подтвердите, что я студент пятого курса.

— Охотно... Почему вы столько лет не ходили на занятия?

— Я не ходил, потому что сидел.

— Как сидели?

— В зубоврачебном кресле. Пустой вопрос. Не как, а где. В тюрьме.

Веселая, отчаянная украинская печаль засветилась в глазах Литвинца. Вот идут они вместе по родной земле, захваченной чужеземцами, сын города и деревенский парень, праправнук саксонского ремесленника и потомок хлеборобов-крепаков, оба высокие, голубоглазые, светловолосые, и даже в их именах есть созвучие — Миша Лоренц и Гриша Литвинец, и могло бы случиться так, что не Литвинец, а Лоренц сидел бы в тюрьме.

— Когда вас выпустили?

— А нас, глубокочтимый пан Михаил, выпустили всех до единого еще в августе, и чабаны в чекистской форме погнали нашу отару на Вознесенск, и по плану нашего командования должны были мы дотягивать свои сроки в вознесенской тюрьме. Но по плану немецкого командования Вознесенск был уже взят, и чабаны погнали нас дальше на восток. Многие поумирали в дороге, ведь мы были остовы ходячие, бараны и овцы, мужчины и женщины. И вот что я, хитрый хохол, заметил: свалится бытовик или уголовник — не обращают никакого внимания чабаны, пусть гниет, где лег, а подохнет наша пятьдесят восьмая статья — остановятся, хотя и бегут от немца, составят акт, хотя и торопится конвой, задерживаться не желает. И все эти акты, все наши дела увозились на двух легковых машинах, в каждой — по начальничку, и у нашего конвоя связь не прерывалась с теми машинами, как дойдем до сельсовета, начальник конвоя начинает крутить телефон, нам в окно видно. Надо сказать, что постепенно отара наша, хоть и поредевшая, на той дороге окрепла, все же воздух чистый, теплый, а пища в поле да на бахчах растет, конвой напуганный, очеловеченный. Так добрели мы до новой географической точки. Городок зеленый, на высоком берегу, река течет из леса, все как в мирное время, только та странность, что детишки на улице не играют, а мы идем по улице все в гору да в гору, а на горе тюрьма, небольшая такая тюрьма местного значения, она, может, еще при Николае Васильевиче Гоголе сооружалась. Впихнули нас в тюремный двор. Прямо на дворе перед входом в трехэтажное здание сидит на стуле венском, как дома, лейтенант, начальник той небольшой старосветской тюрьмы, а перед ним на письменном столе — папки, наши дела, прибывшие на легковых машинах раньше нас, а над ним и над нами — немецкие самолеты, и слепому ясно, что немцы близко, может, рядом, и лейтенант нервничает, переживает, сильно трусит, ему бы поскорее лечь на курс, рвануть в машине на восток, и нет у него времени читать наши дела, и вот для быстроты и простоты организует он опрос так, чтобы мы сами называли свое имя, отчество, фамилию, статью, срок. Раскрывает одну из папок, будто сверяет бумагу с нашими показаниями, а папка взята для виду, наобум, нет у него времени, время теперь принадлежит немцам, а ему удирать надо. Кто говорит: «Пятьдесят восьмая, пункт такой-то», того направо, и там — почти весь наш конвой, а воров, взяточников, спекулянтов, насильников и представительниц древнейшей профессии — налево, и там лишь один охранник. И торопится, торопится лейтенант, к нему другой лейтенант выбегает из старосветского здания, и наш ему: «Ты бы мне помог» — а тот: «Мне своих дел хватает, давай-давай». И вот доходит очередь до меня, и я отвечаю — Литвинец Григорий Иосифович, статья такая-то, хищение имущества. Мой сосед по камере от меня далеко в толпе, меня не слышит, а слышит меня знакомый из другой камеры, тоже пятьдесят восьмая, но он быстро перенимает мой опыт, и мы с ним оказываемся на одной стороне. А когда всех опросили, загудела на дворе трехтонка под брезентом, стали сотруднички грузить папки и сами уселись, и лейтенант нас отпустил, он торопился, торопился, идите, говорит, к линии фронта, искупите кровью. Мы и побежали в лес, расползлись кто куда, а тут послышались выстрелы: это по приказу начальника тюрьмы

расстреливали всю пятьдесят восьмую статью, чтобы немцам не досталась. А мы, живые, каждый по собственному азимуту, я, например, к линии фронта, искупить кровью. Под Первомайском я снял с убитого бойца обмундирование. Чтобы все следы моего пребывания в тюрьме исчезли, мог бы и документы того убитого хлопца взять, но я их уничтожил: хочу жить и умереть под своим именем.

— Вы мне доверились, и я не обману вас, — сказал Лоренц.

— И не надо обманывать. Мир и без того лжив, а люди должны помогать друг другу в лживом мире. Только там истинное общество, где личное, человеческое выше общественного.

Среди ночи они дошли до крохотного хуторка на пригорке. Наверху три хаты, внизу смеется глупым смехом птица, река толкает камыши, и, шумя, колеблются их верхушки. У крайней хаты на кольях плетня, как водится здесь, висят кверху дном глечики, стеклянные банки. Дверь открыта, на пороге лежит собака с темными кольцами вокруг идиотически равнодушных глаз.

Когда они вошли в хату, собака осталась к ним безучастной. Оказалось, что, кроме нее, в хате нет жителей. Пустота была во всем — в двух голых комнатах, в чугунках на припечке и даже в глазах собаки, она вялой, больничной походкой приблизилась к людям. Они сели на глиняный пол, стали есть хлеб с луком, предложили собаке, та отвернулась и легла на прежнее место.

— Гребует цыбулей, — отметил Литвинец. — Или устала от жизни, ей уже ничего не надо.

— А скажите, как по-вашему, весь хутор пуст или только эта хата?

— А скажите, как по-вашему, есть жизнь на Марсе? По моим наблюдениям, пан Лоренц, вы любите задавать вопросы, на которые невозможно ответить. Откуда я знаю? Может, немцы, преследуя свои таинственные военные цели, изгнали всех жителей, может, люди сами разбежались по причине боев или крутых репрессий, может, их насильно эвакуировали наши, может, в других хатах немцы сейчас пьют шнапс или матери колыхают голодных деточек в люльках. Несчастная моя ненька Украина.

— И Белоруссия несчастна. И Ленинград. И Смоленск. И мы не знаем, что с Москвой.

— Чтоб та Москва под своды Тартара провалилась, я бы не заплакал.

Лоренц прекратил разговор, внезапно ставший неприятным. Литвинец понял, конечно, его молчание, взорвался:

— Почему вы молчите? Не нравится речь моя? Дружба народов нравится вам? А на то, что Украина гибнет, вам наплевать?

— Под немцем гибнет не только Украина.

— Немцы ее, полумертвую, добивают, а гибнуть она не под немцем начала. Не под немцем стали умирать ее язык, отроческая культура ее, по-отрочески неуверенно, то робко, то с неразумной дерзостью самоутверждающийся ее народ.

— Чушь, Григорий Иосифович. Где вы видели, чтоб украинский язык погибал? Издается огромными тиражами литература, которую, кстати, тот же украинский народ покупает крайне неохотно, — чтобы приобрести русского «Тартарена из Тараскона», нас принуждают купить и том унылых пьес Корнейчука. На русскую газету, местную или центральную, можно подписаться только по блату, насильно внедряется газета украинская, насильно записывают детей в украинские школы, при приеме в институты явное преимущество отдается уроженцам украинского села.

— Все, что вы перечисляете, — наглость, к счастью для вас, необдуманная! — крикнул Литвинец. Казалось, что в окна хаты с улицы бросают камни — так тяжело падали его слова. — Насилие! А скажите, досточтимый пан, во Франции тоже насильно записывают детей во французские школы? Или все французы хотят учиться в турецких школах, а их, бедных, насильно загоняют во французские? Во Франции тоже «Фигаро», «Монд» или с жоресовских времен «Юманите» насильно печатают на французском языке? Во Франции тоже при поступлении в какую-нибудь эколь нормаль или в ту же Сорбонну отдается предпочтение, ко всеобщему негодованию, французам? Во Франции тоже насильно предлагают романы Флобера или Селина в качестве принудительного ассортимента к сочинениям Бласко Ибаньеса? И если это именно так, то можно ли сказать, что во Франции происходит насильственное офранцуживание? Или что Норвегия онорвеживается? А Япония ояпонивается?

— Ваша тирада красива, но бессмысленна. Здесь аналогии невозможны.

— Почему невозможны? Нас сорок, что ли, миллионов и французов сорок миллионов, мы независимы, и французы независимы, а земля у нас не меньше и не беднее, чем французская.

— Кто же виноват в том, что французы так много дали человечеству, а украинцы так мало? У вас были и есть такие же возможности, как у любого народа, обладающего либо не обладающего собственной государственностью. Если у ребенка нет слуха, то скрипача из него не выйдет, и не надо, необязательно быть скрипачом, — только зачем сваливать вину на другого или на внешние причины из-за того, что у него нет слуха? Не сердитесь, но есть еще одно обстоятельство, вы человек разумный, должны это понять: французы хотят говорить по-французски, а украинцы, за редким исключением, не хотят говорить по-украински. Искусственно, сверху, против желания народа, утвердить национальный язык нельзя. Это обидно, печально, но ничего не поделаешь, надо смириться.

— Не надо смиряться! Никогда не надо смиряться! Почему украинец пренебрегает родным языком? Потому что в его стране этот язык не является языком науки, интеллектуализма, администрации. Потому что каждый на селе знает, что его дитя никогда не станет летчиком, инженером, директором совхоза, секретарем райкома, депутатом, кандидатом, лауреатом, если не будет учиться по-русски. А некоторые наши руководители, выходцы из села, даже притворяются, что не понимают родной речи, чтобы понравиться своим интернационализмом главарям метрополии. А в городе и вовсе тиха украинская речь, тише травки малой. Вы представляете себе Марсель или Бордо, где на улицах не слышно было бы французской речи?

— Так сложилась история Украины с царя Алексея Михайловича. Плохую службу ее языку сослужила близость к великорусскому.

— А мы хотим другой истории Украины! А мы хотим свернуть с дороги Богдана Хмельницкого с его еврейскими погромами, ненавистью к полякам и облизыванием романовского зада! Мы хотим своей, украинской истории. Долг каждого народа выразить перед миром свою сущность.

— Свое понимание Бога? — спросил Лоренц, вспомнив Елисаветского.

— При чем тут Бог? Я вам о своей боли, а вы — глупости, Бог. Вот так все, даже самые лучшие. У нас учился один абхазец. Он мне говорил: «Действие чеховской «Дуэли» происходит в Сухуми. Конечно, жаль бестолкового Лаевского, его подругу. Но в это время мой народ переживал страшную трагедию, обманутые люди уезжали в Турцию на муки и нищету, а здесь пустели селения, рыдала абхазская земля, но то, что для нас было душой, жизнью, было для великого русского писателя только местом с непривычным климатом. А кто этого Лаевского звал в Абхазию? Абхазцам он не нужен...» Поймите, для меня Украина не тема дорожной беседы, это моя жизнь, моя душа! Мы вовсе не прочь, как мечтал Мицкевич, соединиться со всеми народами в одну семью, но разве поляк предлагал при этом Польше роль служанки? Мы хотим быть в той семье не слугами, не меньшими братьями, а сородичами и сохозяевами. Чтобы дружить с другими нациями, и мы, украинцы, должны сначала сами стать нацией. А мы еще дети. Сорок миллионов детей. Дурные при Петлюре, испорченные, хотя и мечтательные, при Махно, отупевшие при нынешних главарях — мы все время дети, и никак нам не дают стать взрослыми. Как в средние века преступники похищали детей и не давали им расти, ломали им руки и ноги, чтобы дети в качестве монстров участвовали в балаганных представлениях, так и нас, украинцев, мучительно держат в детском возрасте, выкручивают нам руки и ноги, ломают кости, не дают расти, и мы скоморошествуем, уроды-фигляры. А разве мы не можем спокойно развиваться, как прочие нации? Разве мы не высказались через гений Сковороды, через великий певучий дар Тараса? Но где вы найдете созданные на украинском языке, напоенные духом украинской мысли оригинальные научные труды по физике, математике, химии? А вы, как филолог, должны знать, что зрелость языка определяется его научной терминологией, а не народными песнями и сказками. Поют все, и чукчи поют, и есть у чукчей Анакреон, может, он почище Тютчева будет, но нет Фарадея, Лавуазье, Лобачевского, Нильса Бора, Эйнштейна, нет, потому что всех нас оставляют насильно в детском возрасте, чтобы мы не росли, руки нам выкручивают, кости ломают. Почему мы обязаны русский народ называть своим старшим братом? Потому что он многочисленный? Но индийцев еще больше, китайцев и того больше, а

я что-то не слыхал, что они наши старшие братья. Потому что русский народ нас, в сущности, завоевал? Но разве германцы, завоевав римлян, стали старшими братьями итальянцев? Потому что он первым дал залп по Зимнему? Так мы его не просили. Потому что он древнее остальных советских? Но, во-первых, выражаясь языком экциклопедистов, он не древнее Адама, а во-вторых, когда русские были пастухами и звероловами, армяне уже читали эллинских философов, а таджики составляли звездные таблицы. Я не против советской власти. Но пусть на Украине будет украинская независимая советская власть, украинская армия, украинская валюта.

— За эти взгляды вас и посадили?

— За эти взгляды, пан Лоренц, за эти взгляды. Перед вами, если употребить формулу следствия, украинский буржуазный националист. А мой батько, тот самый буржуй, почти всю жизнь батрачил на помещика. И донес на меня после задушевной беседы мой односельчанин и однокурсник, мы с ним вместе в школу за пятнадцать верст ходили и в ночное вместе, и его батько батраком был. Вы Софокла читали?

— Читал. Со словарем в подлиннике.

— А Еврипида?

— И Еврипида читал.

— А Шекспира?

— Хватит, Гриша. К чему эти вздорные вопросы?

— Не вздорные. Все трагедии, все Эдипы и Медеи, Гамлеты и Макбеты — из детского сада, все их тревоги и беды ничто перед тем, что, может быть, испытала вот эта пустая украинская хата, где мы с тобой тайно, со страхом едим кусок черствого хлеба с цыбулей, которой гребует собака. А впереди — пани смерть...

Чем ближе они подходили к неровной, колеблющейся линии фронта, тем труднее и опаснее становился их путь. Случилось им и на немцев наскочить, и была такая странность: немецкие солдаты притворились, что их не видят, отвернулись от них, и скитальцы миновали село. В другой раз у них проверили документы, но не поняли русские слова, потребовали: «Аусвайс!» Литвинец, скрывая, что знает по-немецки, кое-как объяснил, что они возвращаются в родное село, они кригсгефангене, отпущенные военнопленные. Немцы снова требовали: «Аусвайс!» Литвинец снова им объяснял, в конце концов они надоели немцам, их отпустили, но пришлось им возвращаться обратно, родное село могло быть только позади, в тылу, а не поблизости от линии фронта. Может быть, Лоренц когда-нибудь и расскажет, как сравнительно недалеко от Харькова, в снежном, сыром, февральском лесу к ним по-звериному неслышно приблизился наш разведчик и сказал:

— С фронтовым приветом, славяне.

Он был в сапогах с отогнутыми голенищами. Короткий тулупчик был новеньким, ладным, из-под полы выглядывали ножны финского ножа. В руке он держал мину с колесным замыкателем. Бегло, скучающим голосом задал он два-три самых необходимых вопроса, безо всякого интереса выслушал ответы, спешил заговорить сам:

— До рельсов не пройти, немцы стоят через каждые сорок метров. Мерзнут, друзья, а стоят, охраняют дорогу. Ничего не поделаешь, принял решение, отползаю.

Взгляд у него был, наверно, острее финского ножа, особенно недобрый потому, что он все время улыбался без участия взгляда в улыбке. Ни Лоренц, ни Литвинец еще не знали, что особого рода разведчики в армии живут иной, привилегированной жизнью, к непрямому начальству относятся свысока, никто им не смеет давать какие-нибудь поручения, днем они большей частью спят, и тяжелый дух у них в землянке, котловым довольствием пренебрегают, у них за линией фронта есть подруги, питание, самогон, а то и водка.

— Так получилось, что пошел один, а то мы всегда вдвоем с сержантом, — доверился он незнакомцам. А потом к Лоренцу: — Говоришь, ты из Харькова?

Лоренц никогда этого не говорил. Он снова назвал родной город и добавил:

— Мы оба идем оттуда. Три месяца.

Разведчик, не обратив внимания на ответ, поправил треух, продолжил разговор о сержанте:

— Он взятие языка редко осуществляет. Мстит. Одного достанет — убьет, двух — убьет, вот если трех, так одного приведет. И наших, чертушка, убивает, говорит — фрицы переодетые или шкуры. Сам смелый, хорошо ориентируется в обстановке, но чувствительный.

Так, явно их пугая, он долго вел их сквозь кустарник, придавленный низким зимним небом, вел их кривыми тропками, проложенными нашими бойцами вдоль линии окопов, и остановился у неприглядной землянки. К ней сползало несколько ступенек, неуверенно, кое-как выдолбленных в глинистом спуске. Разведчик постучался в дверь, которая, вероятно, была доставлена сюда из чьей-то ванной, и, пропустив обоих вперед, вошел вслед за ними в землянку.

Там было темно и тепло. Не сразу увидел Лоренц двух военных, забивавших козла. На них были меховые жилеты. Разведчик обратился к одному из них по уставу, но с шутливостью в голосе:

— Разрешите доложить, товарищ капитан. Проявил инициативу, привел двоих. Говорят по-русски свободно. Пробирались через наши боевые порядки.

— Жаль-жаль, но слава Богу, — сказал капитан. Таким было его обычное присловье, но это выяснилось потом, как и то, что был он заместителем начальника особого отдела. — Документы!

Его партнер, огромный, как шкаф, зажег электрический фонарик. Капитан при свете фонарика внимательно стал читать паспорт Лоренца. Тупым, долгим взглядом обхватив Лоренца, он первый вопрос задал Литвинцу:

— Где ваш паспорт?

— У меня студенческое удостоверение.

— Вижу. Где паспорт?

— У старосты группы остался. Все студенты сдали ему паспорта, чтобы он отнес их в военкомат, получить назад уже не смогли.

— Почему студенческое удостоверение просрочено?

— Халатность. У нас все так...

— Где, когда встретились друг с другом?

— Мы шли вместе. Оба с филфака университета, я — студент пятого курса, он — лаборант.

— Почему вы не в армии?

— Мобилизовать не успели, меня еще в конце мая отправили на педагогическую практику на село. Когда вернулись, должны были организованно пойти в военкомат, но было поздно, немцы временно вступали в город.

— Название села, где были на практике?

— Я в родное село попросился, на Николаевщине...

— Как раньше назывался Николаев?

— Всегда был Николаевом.

— Где родился Ленин?

— Владимир Ильич Ленин родился в городе Симбирске, ныне Ульяновск.

— Врешь, продажная шкура! — заорал капитан. — Нет у нас такого города Симбирск и не было никогда, с Сибирью спутал, шпион!

— Это, знаете ли, нонсенс, — вмешался Лоренц.

Но капитан, не глядя на него, крикнул: «Молчать!» Успокоившись, он добавил крепкое ругательство и опять стал допрашивать Литвинца:

— Почему на вас военная форма?

— С убитого красноармейца снял.

— С какой целью?

— Удобнее в ней, да и привыкать надо.

— К чему привыкать?

— К службе красноармейской. Для этого мы и пришли к вам.

— Разберемся. — Капитан приказал разведчику: — Уведи, скажи, чтоб накормили. И пусть пока держат под охраной.

Разведчик повернул Лоренца к двери. Капитан испытывал к Литвинцу доверие. Таких много было на Украине. Данные другого ему не понравились. Капитан занялся Лоренцем:

— Вы еврей?

— Нет, русский.

— Вы немец?

— Нет, русский.

— Почему фамилия нерусская?

— Далекие предки были немцами.

— Далекие предки? Фатер-мутер?

Тут вмешался второй:

— Так и я Шульц. Украинец, с Донбасса, а Шульц. Бывает. Я вначале, как рядовым был, просил ребят на фронте не кричать «Шульц! Шульц!» — чтобы свои не подумали чего. А мне часто кричали, поваром я был.

Капитан знал — и показал это во время допроса Литвинца, — что болезненная подозрительность в условиях массового окружения бесперспективна, но тут он был упорен:

— Вы немец-колонист?

— Нет.

— Засланы к нам для шпионской деятельности?

— Нет. Я больше трех месяцев пробирался к нашим, чтобы служить в Красной Армии.

— Немецкий язык знаете?

— Знаю.

— Шурик, — сказал капитан Шульцу, — поговори с ним по-немецки, раз у тебя такая фамилия.

Шульц был огромен, рыж, лицо гладкое, маленькие глазки, светло-желтые ресницы. Он размахнулся. Резкая боль обожгла нос и губы Лоренца. Шурик опрокинул на него стол вместе с костяшками домино. Лоренц упал. Шурик придавил его тело столом и стал топтать пудовыми ногами в кирзовых сапогах между деревянными ногами опрокинутого на тело Лоренца стола. «Сейчас умру, — подумал Лоренц. — Или меня уже нет? Почему же тогда такая боль во всем теле?»

Открылась дверь.

— Смирно! — приказал капитан и доложил: — Обрабатываем шпиона, товарищ полковник.

— Неплохо, — одобрил полковник. — Служу с первого дня войны, а шпиона ни разу не видел. Поднимите его.

Шурик поставил Лоренца перед полковником и полою его же демисезонного пальто снял у Лоренца с лица кровь. Капитан уточнил:

— Имеет паспорт. Серия, знаки правильные. Фамилия немецкая.

— Покажи.

Полковник пробежал глазами паспорт и быстро посмотрел на Лоренца. А Лоренц приходил в себя. Где он видел этого полковника — маленького, кругленького, с пухлыми щечками, короткорукого? Вдруг полковник сказал:

— Не везет, не попадаются мне шпионы. А мы с вами знакомы, товарищ Лоренц. Восемь лет назад познакомились, вы еще студентом были, на Мавританской мы встретились, в нашем чудном родном городе. Я-то вас узнал сразу, хотя о вас не скажешь, что вы только что вышли из парикмахерской. Не помните? Уланский моя фамилия, полковник Уланский Наум Евсеевич.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Плохо на передовой, плохо и жутко, под пулей матери нет, ночью ты бил вшей в землянке, а рассвело — и не стало ни тебя, ни твоих вшей, но окружение хуже, и, попадая на передовую после окружения, чувствуешь — гора с плеч, отдыхаешь. Жизнь (а на передовой есть жизнь) обретает, словно в увиденном в детстве плоском кинофильме, четкое устройство: по эту сторону линии фронта — свои, по ту сторону — враги, а среди своих врагов нет, только не болтай, не жалуйся, не пиши умных писем, исполняй, но не лезь к начальству, будь как все. Если полевая кухня не отрезана, то на завтрак, хоть земля в огне, — перловая каша, в которую повар наливает мерочку хлопкового масла, или даже суп с вермишелью, чай с заваркой, два куска сахара, черный хлеб — две, а то и три здоровенных подковки, в обед борщ и та же каша, иногда и жилистое мясо, ужин как завтрак, перед атакой нередко сто граммов, а потом, бывает, и баня, и если ты не дурак, то белье стирать не надо, вместо грязного раздобудешь новое.

Сразу надо сказать, что красноармейцу Лоренцу предоставили особые условия, ему покровительствовал полковник Уланский. Чем-то привлек к себе Миша жестокое и сентиментальное сердце чекиста. Может быть, еще со времен дела

квадриги Науму Евсеевичу, неглупому, очень ловкому, очень опытному и по-своему смелому искателю и баловню опасного советского счастья, понравился этот безвредный неудачник, немного, конечно, малахольный, но разносторонне, как люди, окончившие университет при царе, образованный, знающий языки. К тому же Лоренц был земляком Наума Евсеевича, а в советском деятеле сильно развилось чувство землячества (на партийном жаргоне оно именуется местничеством).

Наум Евсеевич назначил красноармейца Лоренца переводчиком, дал ему через месяц звание сержанта, а по существу Лоренц исполнял офицерские обязанности, получал и соответствующее питание. Лингвистические способности Лоренца оказались просто драгоценными для полковника Уланского. С первых слов по произношению Лоренц определял, откуда военнопленный — из Баварии или Австрии, судетский или берлинец, это помогало уточнять сведения о переброске немецких войск, а кроме того, поскольку Лоренц сам заговаривал на диалекте пленного, ему в лад, это обеспечивало допросу явный успех, в особенности с той поры, когда вместо одиночных фрицев, сытых и уважающих себя, стали попадать в плен под Сталинградом после нашего ноябрьского наступления измученные, голодные, нервные, в русских кацавейках поверх рваных шинелей, волчьи обезумевшие стаи, которых голод и ужас превращали и возвращали в людей.

Однажды, когда Лоренц находился на маневренном корректировочном посту на правом берегу Волги, в районе Красных казарм, он был ранен в руку, его отправили в госпиталь на левый берег, за Ахтубу, в Ленинск. Уланский этому очень обрадовался: вот какие у меня люди! — и Лоренц, вернувшись из госпиталя через две недели, узнал, что награжден медалью. А в другой раз, тоже на правом берегу, на полупятачке знаменитого на всем фронте полковника Горохова, в ста метрах от переднего края обороны, так близко от врага, что носом можно было учуять, как немцы свежуют и варят румынских лошадей, неожиданно перед Лоренцем возник немецкий автоматчик, протянул вперед свои обмороженные руки и довольно сносно по-русски предложил:

— Русс, дай перчатки, дам тебе автомат.

Миша привел покорного автоматчика в штаб. По льду Волги между вмерзшими в реку шлюпками бесстрашно двигались наши грузовики. Впереди вырубленная снарядами роща, набитые рыхлым снегом воронки, небольшой холмик — густо заснеженный труп лошади.

Военнопленный оказался aus Pomern. Допрос ничего существенного не дал, но тут-то и проявился блестящий советский ум полковника Уланского. Наум Евсеевич доложил наверх среди прочего: «Тот самый немец, который еще вчера нам кричал: «Большевикен, вам капут!» — теперь мечтает обменять свое оружие, свой автомат, на красноармейские рукавицы». Живая, невыдуманная фраза пришлась по вкусу, говорят, самому Берии, а может быть, и Сталину. Уланский был произведен в генерал-майоры, а Миша Лоренц получил орден и стал лейтенантом. Тогда-то Миша решил, что пришло самое время замолвить перед генералом слово за Литвинца.

Миша встречался с ним довольно часто. Его товарищ по опасным скитаниям теперь служил телефонистом при штабе: прокладывал, исправлял линию-паутинку, опутывавшую стебельки полыни, пропадавшую в песчаной, мокрой от непрочного снега земле, чтобы неожиданно взобраться на ветку чернотала. Он шел под авиабомбами, артиллерийскими снарядами, среди мин, но зато почти всегда в одиночестве, которое скрашивает человеческую жизнь, если человек мыслит.

Генерал Уланский приказал привести к себе телефониста Литвинца. Солдат его не обрадовал. Верхним и нижним чутьем Наум Евсеевич что-то унюхал. Бывший лагерник почти всегда узнает бывшего лагерника на воле, тюремщик — бывшего арестанта. Но то ли запах войны, ее дым и гарь смутили, обманули нюх волкодава, то ли он доверял многократно испытанной бесхитростной честности Лоренца, а порекомендовал Наум Евсеевич красноармейца Литвинца в седьмой отдел политуправления фронта. Точно так же как в свое время Лоренц, рядовой солдат оказался находкой для отдела, чья агитработа была нацелена на врага. Литвинец превосходно сочинял по-немецки листовки, даже в стихотворной форме.

Из седьмого отдела Главного политуправления Красной Армии приехал на Сталинградский фронт полковник, и не простой — Вальтер Ульбрихт. Ему показали листовки Литвинца, ему понравился их сочный немецкий язык, впрочем, Ульбрихту на фронте нравилось все: еда, порядок, отважные политработники, он восхитился «катюшей», хотя с явной неохотой приблизился в сопровождении хозяев к высокому, тогда еще загадочному орудию — от его огня душа уходила в пятки. Потом Ульбрихта повезли к пятой переправе, раздался окрик: «Панорама летит!» — так наши прозвали «раму», немецкий двухфюзеляжный самолет. Очевидно, «раме» удалось быстро запеленговать рацию. Через полчаса на берег налетело шесть «Юнкерсов-87». Их сирены выли невыносимо — недаром им присвоили кличку «музыканты». Упали воющие бомбы, потрясенная река вздрогнула, выбросив на берег мертвых сазанов. «Юнкерсы» улетели, из грязного окопчика вылез один из вождей немецкого и международного рабочего движения, его столичная, может быть, на один раз выданная шинель была в пятнах воды и глины, он единственный из важной толпы спрятался в укрытие, понял, что совершил ошибку, неловкость, посмотрел на спокойных хозяев жалко, искательно. Ох какими жалкими становятся они все, когда-то грозные, страшные, как заискивают перед младшими, едва у них отбирают силу! Или, быть может, даже в пору своей силы они смутно понимают, что их сила держится ни на чем, на колдовстве, потому-то они так грозны и страшны?

Члену военного совета Хрущеву каждый день в пятнадцать ноль-ноль доставляли на самолете обед из кремлевской кухни, чтобы, упаси бог, не отравили члена слабо контролируемым фронтовым харчем, и летчики посмеивались над Ульбрихтом, он ждал их прилета, ждал приглашения к столу, а Хрущев сегодня пригласит его, а завтра нет, и Ульбрихт то сиял от счастья всем своим тогда безбородым лицом и даже приобретал прежнюю надменность, то ходил по Бекетовке унылый. Рассказывали Литвинцу, что был у Хрущева с Ульбрихтом спор, Хрущев, мол, доказывал, что в новой обстановке, когда немец впервые окружен, лозунг «убей немца!» устарел, а Ульбрихт не соглашался.

Все это была высокая материя, а для солдата Литвинца важным было то, что Ульбрихт с похвалой отозвался о его работе, а в этом Ульбрихт разбирался, и Григорий Иосифович пошел в гору. Вышло так, что он вступил в партию — не хватило у него твердости, решимости и, справедливо говоря, возможности оставаться беспартийным, работая в седьмом отделе. Он смущенно сказал Лоренцу: «Чем больше нас, честных людей, будет в партии, тем лучше будет партия», — и Лоренц вспомнил, что примерно так же рассуждал профессор Севостьянов, объясняя свое сотрудничество с румынами. Но пока мы ищем правды, судьбой распоряжаемся мы, а когда хотим благ, то судьба распоряжается нами. Возможно, что именно вступление в партию погубило Литвинца. После освобождения Белоруссии, когда мы уже заняли Литву, машинистка из политуправления фронта, подружка младшего лейтенанта медицинской службы Аглодиной, той самой, с которой лениво, скучно спал Литвинец (она была молода, не без женской прелести, но изо рта ее дурно пахло смесью водки и зубной гнили, а Литвинец по-крестьянски не терпел пьющих женщин), — так вот, машинистка ей передала, что на Литвинца отправлен какой-то запрос в Киев. Своей тревогой Литвинец поделился с Мишей, советовался, не попроситься ли из седьмого отдела подальше от греха на передовую, это иногда поощрялось, а его звал к себе в штаб земляк из Николаева, командир полка. Но тут пошли тяжелые бои, стало вроде не до него, тревога развеялась, и когда наши войска вступили в Германию, Литвинец уже был капитаном, а Лоренц — старшим лейтенантом.

Война для них завершилась в Каменце, в маленьком саксонском городке недалеко от Дрездена. Их поселили в казармах вермахта, сооруженных, как говорили, чуть ли не при Фридрихе Великом (впрочем, вряд ли, архитектура была не прусская) на окраине городка. Гористая, неровная улица между каменными двухэтажными домами (все дома были двухэтажные, на одну семью, русские этому удивлялись) вела к площади, где помещались ратуша и церковь. Круг площади размыкался у вокзала. Тут же поблизости — да и все было поблизости — кинотеатр, несколько пивнушек, зал для танцев, кафе «Гольдене зонне» («Золотое солнце») с четырехкомнатным отелем на втором этаже. От кинотеатра влево, то поднимаясь, то опускаясь, с большими круглыми зеркалами на поворотах (это тоже удивляло русских), текло плохонькое асфальтовое шоссе

в поселок Эльстра, там была мастерская мотомастера, и наши офицеры, которые обзавелись за триста никчемных оккупационных марок мотоциклами, часто ездили к этому мастеру ремонтироваться.

Война кончилась, но генерал-майор Уланский прочно, по-видимому, утвердился в Дрездене. Он стал начальником советской военной администрации в Саксонии. Теперь и Литвинец, как и Лоренц, находился у него в подчинении. Генерал часто в роскошном «мерседесе» наведывался в Каменц, давал приближенным понять, что у него обширные планы, а что за планы — пока не уточнял, можно было только догадаться, что речь идет о подборе кадров из среды местного населения, потому что наша, а возможно, и не только наша Германия станет советской, что, разумеется, не мешает нам забрать у немцев как можно больше, в первую очередь демонтировать и отправить в Советский Союз наиболее ценное оборудование фабрик и заводов. Это было всем понятно, всеми одобрялось — ведь немцы, учинившие разор и разгром России, обязаны были, хотя бы в малой мере, расплатиться за свои злодейства. Менее понятны были частые поездки генерала в окрестные горы (о них разболтал его шофер). Что ему там понадобилось?

Литвинцу и Лоренцу, выказывавшим понятное нетерпение (им хотелось домой), генерал говорил: «Вы мне нужны, потерпите всего лишь один годик, и я вас демобилизую, но поимейте в виду: здесь вам сытнее будет, а я вас обоих скоро представлю к награде, повышу в звании».

Обстановку в казармах нельзя было считать спокойной. Два офицера, например, оба члены партии, угнали грузовик, промчались через всю раздавленную Германию и удрали чуть ли не в Париж. Несколько солдат заразились сифилисом. Русские и украинские девушки, отправленные в годы войны в Германию, батрачили в крестьянских домах. Теперь они возвращались на родину, оставляя на контрольно-проверочных пунктах — прямо на траве, на обугленных остатках стен — аккуратно спеленатых младенцев, которых родили в немецком рабстве, и эта жестокость, неизвестная Европе со времен Спарты, производила нехорошее, нам не нужное впечатление на местных жителей. Многие молодые матери были одеты, пожалуй, нарядно, так до войны не то что на селе, но и в городе не каждая одевалась, все стриженные длинной волнистой стрижкой, брови тонко выщипаны, пальтишки с плечами, подбитыми ватой, туфли на толстых широких каблуках, ноги в чулках-паутинках казались голыми, слегка загорелыми. Не видно было, что батрачки голодали. Лица были наши, советские, но выражение глаз стало каким-то иным, и бедра онемечились не нашей круглотою.

Лоренц, тогда временно бездельничавший, слонявшийся по городку, случайно набрел на это зрелище. Неужели молодая мать способна бросить свое дитя, грудное дитя, на траву, на камень чужбины и уйти, навсегда уйти? Ожесточила фашистская неволя этих женщин, или они боялись? Чего боялись? Трудностей одинокого материнства в голодной, разрушенной захватчиками родной стране? Позора? Преследования за то, что, предавая родину, сблизились с немцами и пленными иностранцами — французами, англичанами, американцами, бельгийцами? Ведь они могли остаться — так поступали многие их подруги, бежали на запад.

Особисты и смершевцы на контрольно-проверочных пунктах на них не давили: хочешь — возьми ребенка с собой, хочешь — брось. О детях не беспокойтесь, увезут, устроят. Но вот одна из женщин, уже проверенная, уже оказавшаяся по ту сторону контрольного пункта, быстро вернулась, подбежала к оставленному ребенку, взяла его на руки, по-кликушески повторяя: «Дик! Дик, мальчик мой!» Все посмотрели, посмотрел, приблизившись, и Лоренц. Ребенок был от военнопленного-негра, личико — как негатив. И слезы выступили на лице старшего лейтенанта, и вспомнил он слова Эммы Елисаветского, что каждая мать — Богоматерь, и если бы он не был в военной форме, думал он малодушно, то поклонился бы в ноги этой молодой русской матери черного подобья Божьего, помолился бы за нее и на нее.

Случались в Каменце и происшествия другого рода.

Был отозван из армии майор Очир Ванькаев, толковый, скромный офицер, правая рука генерала: именно Ванькаев со знанием дела руководил демонтажом немецкого оборудования. Его дед, малодербетовский чабан, так душевно дружил с работником купца-гуртовщика, пьянчугой Ванькой, что назвал в его честь

Ванькой первенца-сына, вот и получилась фамилия — Ванькаев. Очир Ванькаевич был инженером-экономистом, до войны служил в Москве во Внешторге, был лично известен Микояну. Наверно, поэтому, да еще как прописанного в Москве, а не в бывшей республике, или, может, как отца русских детей, или еще по каким-то важным причинам его не выгнали из армии в 1944 году, когда ликвидировали калмыков как нацию и всех их выслали далеко на север.

У Очира Ванькаевича было три ордена, один довоенный, он, хотя и со смешным акцентом, бегло говорил по-немецки и немного по-английски, был корректен, исполнителен, но перед начальством не лебезил, знал себе цену. Жена у него была москвичка, русская. Он много читал, чаще всего — словари и энциклопедии, улыбался охотно и удивительно белозубо, и тогда его скуластое, цвета степного песка лицо покрывалось не совсем обычным, но приятным румянцем, а верхняя часть лица, надбровья и лоб, имела в себе что-то овечье, как будто он был родственником отары своего деда, но овцой он не был, все понимали, что собой представляет бывший сотрудник Внешторга, хотя почти никто не знал, какую огромную услугу он оказал советской власти в Саксонии. В предписании ему было указано убыть в распоряжение военкома города Ачинска Красноярского края.

Когда об этом доложили генералу, он, чего скрывать, растерялся. Конечно, знал Наум Евсеевич, что калмыков выслали за то, что они, как сообщалось в секретном письме за подписью Калинина, сотнями переходили на сторону врага, добивали раненых красноармейцев и командиров, грабили наши тылы, подарили белого коня под узорчатым седлом немецкому генералу, вступившему в Элисту. Знал Наум Евсеевич и то, что все это брехня, туфта, нужная государству, как любая другая туфта, но он до сих пор считал, что одно дело — население, а другое — проверенные кадры, а Очир Ванькаевич был человеком проверенным. Еще Наум Евсеевич знал, что когда Сталин (а значит, и Меркулов, которому подчинялся генерал) заинтересован в успехе дела, то он не смотрит на второстепенные изъяны в анкете работника, лишь бы работник был предан делу Сталина, отдавал бы себя целиком делу Сталина — жертвенно, с умом, вдохновением. Таким был сам Наум Евсеевич, таких он подбирал себе ближайших, доверенных подчиненных, таким был и Ванькаев. А дело, которое было поручено им, оценивалось Сталиным как важное, нужное.

Чтение энциклопедий, специальной литературы, умелые беседы с жителями привели Очира Ванькаевича к убеждению, что в горах Саксонии, где-то рядом, гитлеровцы добывают уран. Наша разведка об этом ничего не знала, советские лоуренсы пожимали плечами, слушая Наума Евсеевича, с которым Ванькаев поделился своей догадкой. Наум Евсеевич на свой страх и риск предпринял поиски, шахты были обнаружены. Очир Ванькаевич составил докладную, за подписью Уланского она помчалась к Меркулову. В докладной предлагалось закрепить добычу саксонской урановой руды за Советским Союзом навечно. Наум Евсеевич предвкушал свое торжество. Он уже видел, какой стол будет сервирован, как он будет себя держать, когда солнце сталинской милости озарит его и луч этого солнца, как золотая лопата, поднимет его, быть может, к самому светилу. Ванькаева генерал представил к ордену Ленина, просил присвоить ему звание полковника.

И торжество осуществилось, доклад был одобрен, весьма одобрен, на урановые шахты были посланы советские люди, но Наум Евсеевич не был отмечен, никак, ни словом не отмечен, а Ванькаева выгнали из армии. Так раньше Сталин никогда не поступал с преданными, удачливыми слугами. Чем же новым повеяло сейчас?

Да, растерялся Наум Евсеевич. Он уже второй военный год чувствовал, что у него ни наверху, ни рядом нет прежней опоры, нет земляков, собутыльников, друзей. Его еврейство, которое ему самому казалось милой, обаятельной черточкой в его незапятнанной чекистской биографии, теперь оборачивалось чертой отрицательной, как в его комсомольские годы дворянское или купеческое происхождение или, того хуже, необходимость отвечать в анкете: «сын священника». С них Меркулов требовал не газетной трепотни, а дела, и дела нелегкого, и Очир Ванькаев соответствовал своей должности, был знающим, трудолюбивым работником, с хорошей памятью, умел сочетать деловитость с дерзостью, а вместо него прислали из Москвы какого-то подполковника, армянина, который при первой встрече глубокомысленно заявил Науму Евсеевичу: «Я считаю, что

Балканы — пороховая бочка Европы», — и Наум Евсеевич подумал, что армяне и евреи редко бывают глупыми, но если бывают, так уж дальше некуда. И еще подумал Наум Евсеевич, что ему уже ничего не поможет, даже сверхподлость не поможет всплыть наверх, разве что кое-как удержаться над уровнем дерьма.

Беда, как положено издавна, не приходит одна. Не успел убыть Ванькаев, как арестовали капитана Литвинца.

Григорий Иосифович как раз только что возвратился из поселка Эльстра, куда он ездил не один, в коляске его мотоцикла сидела Анна Шелике, хозяйка «Золотого солнца». Поездка была прекрасная, они ездили к двоюродному брату Анны, портному Кюну, он шил Григорию Иосифовичу китель из собственного сукна (а до этого шил ему — на будущее — штатский костюм-тройку), они у брата пообедали (провизию привезли с собой), переспали. Когда Григорий Иосифович вернулся в казармы, он, естественно, не пошел в офицерскую столовую, направился прямо в комнату, которую делил с Лоренцем. Лоренца не было, на столе белела его записка: «Тебя вызывает Тыртов». Тыртов был начальником их отдела. Несколько озадаченный, Литвинец (было воскресенье) поднялся к Тыртову, но в кабинете вместо начальника сидел прилетевший из Киева следователь, молодой, в роговых очках, окающий. Он поздоровался с Литвинцом за руку, пригласил сесть и весело спросил:

— Так на чем мы остановились, Григорий Иосифович?

Литвинец подумал: «Погиб ты, Грицько!» Что надо теперь сказать? Ничего не надо было сказать: в кабинет вошли двое, сорвали с Литвинца ремень с личным оружием, погоны, ордена и медали.

Литвинца увезли: он бежал из тюрьмы, обманул органы, обманул армию, обманул партию. Почти четыре года огромную часть советской страны занимали немцы, они дошли до Эльбруса, уничтожили сотни городов, тысячи деревень, миллионы людей, все порушилось, но бумаги, накопленные органами, сохранились в целости. Стало известно, что Литвинцу дали новый срок — восемь лет. Лоренц не хотел этому верить, он надеялся, что будут приняты во внимание заслуги Литвинца на фронте, его боевые награды. Но приехавший из Дрездена генерал-майор Уланский авторитетно подтвердил: да, восемь лет. Наум Евсеевич тактично как бы забыл, что Литвинца ему рекомендовал еще в Сталинграде Лоренц, не упрекал его, был деловит, отправил Лоренца со срочным поручением к бургомистру.

Накрапывал противный среднеевропейский дождик. До ратуши было не более получаса ходьбы, было четверть девятого утра, а бургомистр приходил в девять. Лоренц посмотрел на свои наручные часы, впервые в жизни появившиеся у него здесь, в Германии, решил зайти в пивнушку, чтобы немного отдохнуть от этого слабосильного, но упрямого дождя, который шел в Каменце почти каждый день. Он взял кружку пива, оно стоило всего лишь семьдесят пять пфеннигов, его было вдоволь в отличие от питания, которого было мало, немцы кормились по карточкам впроголодь.

В ратуше было несколько посетителей, дожидавшихся бургомистра. Лоренц узнал Анну, возлюбленную Литвинца, она была с мужем Иоахимом Шелике. Бургомистр, геноссе Миерих, опоздал всего лишь на пять минут, но извинился перед согражданами. Это было не похоже на наших градоправителей. Не похоже на них было и то, что Миерих, пригласив к себе в кабинет первым, разумеется, советского офицера, одновременно с ним впустил и жителя, быстро при Лоренце уладил его дело и так же быстро договорился с Лоренцем об укомплектовании рабочей силой типографии: в этом и состояло поручение генерала.

Гиммлер как-то заявил: «Лишь немногие из присутствующих знают, что это значит, когда лежит груда трупов — сто, пятьсот, тысяча... Выдержать все это и сохранить порядочность — вот что закалило наш характер».

А что закалило характер коммуниста Миериха? Что сохранило его порядочность? Этот высокий, худой, с металлически белой головою саксонец прожил много лет в московской гостинице на Тверской, испытал все — и наш ныробский концлагерь, и концлагерь немецкий, куда он попал в 1940 году, когда после заключения пакта о мире и дружбе его привезли русские товарищи на границу рейха и сдали своим недавним и будущим врагам — немецким товарищам, он видел многое. Он видел грузовые фургоны, из которых вырывались густые клубы дыма с отвратительным запахом, а из дверей, открывавшихся под давлением изнутри, высыпалась масса распухших тел с глазами, выступавшими из орбит,

в одежде, пропитанной потом и испражнениями. Это было страшно, но еще более страшно было смотреть на лагерника, который, работая в швальне, наткнулся на вещи убитых жены и детей, он узнал эти вещи. «В крови своей жить будете», — запомнил Миерих услышанное в детстве предупреждение сельского пастора, и долго, долго он жил в крови. Он видел многое и теперь, видел плохое, видел ужасное, но другого пути у него не было, он другого пути не знал, потому что боялся узнать, не хотел узнать.

Когда Лоренц вышел из его кабинета, Анна, улыбаясь чересчур густо — по моде — накрашенным вишневым ртом, попросила:

— Господин старший лейтенант, обождите нас, мы вкусно вас накормим, без карточки, в «Гольден зонне», за счет фирмы. Мне к бургомистру не надо, это мой супруг затащил меня сюда, у него идея, ничего у него не получится, мы скоро освободимся.

Они и в самом деле вышли из кабинета бургомистра через несколько минут. Анна, молодо смеясь, но каким-то прерывистым, заводным, игрушечным смехом, рассказала:

— Иоахим попросил бургомистра разрешения отправиться в Крым, чтобы там открыть курортный ресторан. Господин Миерих сказал, что в Советском Союзе рестораны государственные. Но мой Иоахим не стушевался, он ему гордо ответил: «Если так, то я в Крым ни за что не поеду».

— Не вижу, что тут смешного, я просто навел справку, — немного обиженно сказал Иоахим.

Дождик, мелкий и колкий, набирал силу, но они шли медленно из-за хромоты Иоахима: он в самом начале войны, еще во Франции, удачно лишился ступни. Его демобилизовали, он вернулся в родной Каменц, где раньше служил кельнером в «Золотом солнце» у отца Анны, которого бросила жена, когда Анне было шестнадцать лет.

Анна тогда очень сердилась на мать, не отвечала на ее письма, жалела отца, кособрюхого, озлобленного, всегда в засаленном жилете папашу Кюна, как его называли посетители, с которыми он охотно выпивал рюмочку-другую. Открылся русский фронт, папашу Кюна взяли в армию, он был убит под Вязьмой. Одинокая двадцатичетырехлетняя девушка оказалась хозяйкой кафе и отеля, и всем, и ей самой, было ясно, что она должна выйти замуж за своего прихрамывающего кельнера. Она знала Иоахима с детства, он был старше ее всего на пять лет, но когда она была девочкой, он уже брился и ходил на танцы, он был славным парнем, невысокого роста, но хорошего сложения, можно сказать, красивый, его и хромота не портила, наоборот, придавала мужественность его мягкому облику.

Женившись на Анне, он угадывал каждое ее желание или нежелание, умел переставать быть, если ей делалось тоскливо, он был на редкость, по-женски ласков. Он с удовольствием, с наслаждением готовил для Анны ее любимые кушанья, изобретательно сопрягая малокалорийные продукты военного времени (он хорошо стряпал — единственное, что, по словам Анны, он умел делать хорошо), а когда его обсчитывали посетители — он считал трудно, медленно, еще в школе он заболевал мигренью от изучения дробей, — он смотрел на Анну такими растерянными, преданными, теплыми глазами, что ей хотелось его погладить, как котенка, утешить, чуть ли не взять на руки. Став его женой, Анна оставалась для него хозяйкой, законной распорядительницей имущества, которой он подчинялся умом и сердцем. Посетители его любили, впрочем, как и все, кто с ним сталкивался, он ладил со всеми, но дело по-прежнему вела Анна, все деньги были у Анны, только в одном Иоахим был неуступчив: просительно, порой униженно, трогательно, но всегда, как малое балованное дитя, упорно и настойчиво он требовал от Анны ежесуточного исполнения супружеских обязанностей. Анне это было скорее приятно, хотя не очень волновало, — так, думала она, полагается, так у всех.

Невинности ее лишил, когда еще отец был жив, остановившийся у них в отеле группенфюрер из Дрездена, но Анна почувствовала только испуг, который усилился, когда произошла задержка, но через неделю все само собою наладилось, Анна не хотела думать об этом событии, не задевшем, не потрясшем ее душу и даже тело, она считала, что Иоахим был у нее первым, и привыкла к этой мысли. А Иоахим не отказывался от своей ласковой настойчивости даже тогда, когда она была на последнем месяце беременности, и Анне было нехоро-

шо, а потом она вспоминала об этом с отвращением. Родился мальчик — давно замечено, что в войну чаще рождаются мальчики, — отец назвал его Рихардом, в честь весьма почитаемого в государстве композитора Вагнера. Кельнер Иоахим был с юных лет очень музыкален, любил оперу.

Так счастливо получилось: все соседние семьи редели, война пожирала мужчин, а семья Шелике прибавилась. Теперь Иоахим был не только кельнером, и поваром, и мужем, но и нянькой, и какой внимательной, бессонной нянькой, своего сокровища, своего чистенького, синеглазого, как мать, несравненного Рихарда. А как завидовали Анне соседки: женщины, потерявшие мужей, девушки, не нашедшие женихов. Иные пытались заигрывать с Иоахимом, но он видел на земле только свою Анну, желанную, длиннокосую, с детской синевой никогда, казалось, не обманывающих и всегда доверчивых глаз, такую проворную, толковую. Однажды фельдфебель, прибывший на восемь дней в отпуск, шлепнул ее по заду, когда, наклонясь, она вытирала столик. Анна влепила ему пощечину, фельдфебель галантно извинился, сказал, что просто не мог удержаться, больно она завлекательна сзади. Анна рассмеялась, простила фронтовика.

В 1943 году, после неожиданной сталинградской трагедии, капитуляции Паулюса, временного отступления армии с целью перегруппировки, Иоахим пополнил ряды немецкой национал-социалистской рабочей партии. Понятно, почему он понадобился партии: мужчин в городе было мало, большей частью подростки, инвалиды, старцы, арийское происхождение Иоахима Шелике было безупречным, это легко можно было проверить в маленьком городе, где все друг друга знали на протяжении нескольких поколений, Иоахим был честным солдатом, его ранило во Франции, патриотические чувства особенно были ценны после сталинградского котла, к тому же хозяин такого заведения, как «Золотое солнце», всегда мог пригодиться партии. Понятно и то, почему Иоахим не дал долго себя уговаривать: ему, маленькому человеку, польстило внимание власть имущих, значит, он кое-чего стоит, если ему оказали такую честь, и он всем своим существом привык обожать вождя. К тому же членам партии предоставлялась существенная льгота: они вносили в казну только половину причитающегося с них налога, и не надо было хорошо знать арифметику, чтобы усвоить эту выгоду.

Да, все было понятно, непонятным было только то, как быстро изменился характер Иоахима Шелике. Он стал на многих смотреть сверху вниз, хотя по-прежнему ласково, но уже покровительственно, даже с Анной он разговаривал теперь покровительственно, как умный с милой глупышкой, порою он и покрикивал на нее. Однажды, поджимая губы, как бы нехотя, как бы подчеркивая свою партийную нравственность, но явно гордясь, Иоахим намекнул, что к нему неравнодушна госпожа Поппе, а она была хотя и старше его, зато почтенного купеческого рода, вдова хозяина ткацкой фабрики. Уже на третий день своего вступления в партию Иоахим по любому поводу приговаривал: «Я как национал-социалист...»

Приобщение к партии сделало его более практичным и даже удачливым. Недостаток воображения и понимания обстоятельств приносил ему ту пользу, что он убедительно просил невозможного, и это обескураживало начальственных лиц, и они выдавали Иоахиму Шелике то, в чем отказывали более энергичным и заслуженным: полмашины дефицитного угля сверх нормы («Ведь сами посудите, у моего Рихарда бронхит, можно ли держать больного ребенка в нетопленной комнате?»), сахар, молоко («Ведь сами знаете, моя Анна кормит ребенка»). Детские коляски в тот год не продавались, возможно, даже не выделывались, но Иоахим и тут себя показал: в обмен на несколько пачек сигарет и банок кофе раздобыл коляску у соседей, старую, но в приличном состоянии.

Иоахима раздражало, когда, случалось, подвыпивший отпускник неосторожно рассказывал об отступлении в России, он не доносил на него, не таким подонком был Иоахим, чтобы заниматься доносами, но яростно кричал на перепуганного солдата, а по вечерам, умиляясь и торжествуя, читал Анне вслух обстоятельные, совершенно убедительные статьи из «Фелькишер беобахтер».

Хотя ранняя весна 1945-го принесла ошеломляющую весть о том, что русские заняли всю Восточную Пруссию и немецкая армия разваливается, Иоахим собственным глазам не поверил, когда русские танки и мотопехота тяжело, но без преград вошли в Каменц. Как-то странно, как-то недужно Иоахим оробел, его теплые глаза начали слезиться, покраснели, ему мерещилось, что болит нога

там, где отрезана ступня, оказалось, что он мнителен, пугается болезни. Целыми днями он лежал в спальне, Анна громко сердилась — мол, он отлеживается, вся тяжелая работа на ней. Наконец Иоахим поднялся с постели, пошел отметиться как бывший наци, но его — напрасно он опасался — не избили, не арестовали, отпустили быстро: он не знал, что бургомистр господин Миерих охарактеризовал его перед советскими властями как человека безвредного, которого даже можно будет со временем использовать в качестве лояльного, законопослушного гражданина новой Германии.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

По ордеру, выданному комендантом, одну из комнат «Золотого солнца» занял советский офицер, инженер-капитан, приехавший в Каменц в командировку. Он покидал отель рано утром, уезжая куда-то в горы, возвращался поздно вечером, никогда не требовал пива, только кипяток, сам стелил постель, сам чистил свои сапоги, шкаф на ключ не запирал. Анна увидела на одной из полок шкафа, над полкой с грубым нательным бельем, консервные банки, бутылки шнапса, спички, чай и сахар, папиросы в мягкой упаковке, они уже были известны в Каменце, мальчишки их называли «Пелёмор».

Как-то в субботу вечером инженер-капитан позвал Анну к себе, властно поманив ее рукою, Анна, трепеща, не отказалась, она очень боялась русских, беженцы из Пруссии, в особенности женщины, рассказывали о советских солдатах такие жуткие подробности, что холодело сердце. Господин капитан открыл консервы, они оказались рыбными, налил себе стакан водки, ей — полстакана, она, рабски подчиняясь, выпила, он ее молча раздел, она дрожала, ведь внизу был Иоахим, русский ее успокаивал на чужом языке, для нее непонятные слова были как мычание, он разделся сам донага, он был молод (потом узнала — двадцатого года рождения, а она — семнадцатого), ей впервые было хорошо, хотя немного больно, в инженер-капитане все было крупно и крепко. Она стала приходить к нему каждую ночь, иногда от Иоахима, потому что тот сразу же после этого, выкурив сигарету, шумно засыпал. Душ не работал, но она ухитрялась быстро привести себя в порядок и, на босу ногу, в халатике на голом теле, тихо, едва дыша, входила к постояльцу, и все повторялось: полстакана шнапса, постель, запретная сладкая боль, и все молча, не по-людски, только имя его она научилась произносить, оно было легкое: Леня, — и томное волнение охватывало ее вечером, когда она ждала знакомого шума его приближающейся машины.

Как ни был доверчив Иоахим, но он что-то заподозрил. Он проснулся посреди ночи, Анны рядом не было, не было ее и в уборной и около маленького. Иоахим поднялся наверх, они услыхали его шаги, шаги хромца, его дыхание. Он, постояв, спустился вниз. Утром он уложил свои вещи в большой чемодан, поцеловал Рихарда, коснувшись его дорогой свежей щечки заплаканным небритым лицом, и покинул «Золотое солнце». Он прошел мимо Анны, ей показалось, что он ждал от нее хотя бы какого-нибудь слова, но ни одного слова она не нашла для него. В полдень, как всегда, привезли пиво, и однорукий парень, держа в уцелевшей руке ящик с бутылками, спросил Анну: «Господин Шелике уезжает? Попутной машины дожидается, что ли, около кинотеатра?»

Анна, без плаща, хотя припустил дождь, оставив все как есть, даже кассу, побежала мимо остолбеневшего парня к кинотеатру. Там в ожидании дневного сеанса толпились несколько девчонок и мальчишек, все курили, а под узким балкончиком сидел на чемодане Иоахим, он тоже курил. Анна бросилась ему в ноги, стала их целовать, подростки смеялись, она подняла повинные детские свои глаза, увидела, что Иоахим плачет, взяла чемодан, а он был довольно тяжелый, пошла, и муж пошел за ней, прихрамывая, он любил ее, он ее простил.

И Анна его любила, жалела, каялась, все дурное объясняла проклятой русской водкой, проклятой войной. Инженер-капитан узнал обо всем у Анны, и для него у нее не было слов, но он, легко догадавшись, испугался, как бы чего не вышло из-за связи с немецкой семьей, перебрался на другую квартиру. Анна поклялась Иоахиму, что это в первый и последний раз, никогда она больше не обманет его, не изменит, она теперь не дожидалась его просьб, сама его звала в спальню, даже иногда днем, но Иоахим, не очень хорошо разбираясь в окружа-

ющем его мире, очень хорошо понимал Анну, чувствовал, что он ей как милый родственник, а не как муж, не как возлюбленный, ее душа почти не лгала ему, но и тело не лгало, тело Анны было правдивей ее души.

Инженер-капитан впопыхах забыл в номере три бутылки водки, Анна прикладывалась к ней каждый день, она жить уже не могла без привычного полстакана, а когда бутылки опустели, стала пить пиво, и хотя оно теперь было гораздо слабее довоенного, семь-восемь кружек в день давали себя знать. Как-то она поехала в Эльстру к своему двоюродному брату портному Кюну, у него был в это время заказчик, тоже советский капитан, совсем другой, чем Леня: он отлично говорил по-немецки, шутил, комплименты его были одновременно целеустремленные и остроумные. Они вышли, капитан взял ее под руку, сказал о ее глазах: «У вас диаманты и перлы», — Анна, смеясь, как девочка, ответила: «Это не ваши слова, это из деревенской песни», а капитан, тоже смеясь, возразил — нет, не из деревенской песни, а из стихов великого немецкого поэта Генриха Гейне. Анна услышала это имя впервые, в школе, она призналась с детской откровенностью, она училась плохо. Ей понравился этот высокий светловолосый капитан. Он пригласил ее в гостиницу, которая помещалась в Эльстре на втором этаже, над залом для танцев, Анна, конечно, отказалась, жители поселка хорошо ее знали.

Прибежище для них нашлось в самом Каменце. Они встречались днем, всегда на короткое время, на квартире у подруги ее матери, старого члена партии, которая в эти смутные дни предпочла жить у родственников в дальней деревне, поручив Анне присматривать за городской квартирой. Иногда любовникам удавалось выбраться, для разнообразия и на более долгое время, к двоюродному брату Анны в Эльстру. Анне казалось, что она любила Григория Литвинца, он ей рассказывал о своей родине — Украине, расспрашивал ее о том, как немцам жилось при Гитлере, это была не только постель, и она просила взять ее с собой на Украину. Литвинец не обещал, но и не отказывал, да и Анна в душе понимала, что не расстанется с Иоахимом, ей просто нравилось просить об этом Литвинца, получалось, что есть на самом деле любовь.

Иоахим ничего не замечал. Он теперь был одержим новой плодотворной мыслью: стать коммунистом. Он узнал из советской газеты о Майданеке и Освенциме, о гитлеровских зверствах, о том, как по вине вождя весь мир проклинает немцев, он опять начал читать Анне вслух статьи, но уже из газеты, основанной генералом Уланским, читал с неподдельным чувством горечи, стыда, негодования.

Между тем Литвинец уже с неделю не показывался. Уехал в командировку? Но он предупредил бы Анну, так уже было однажды. Она пошла по направлению к казармам, надеясь встретить Лоренца, с которым ее познакомил Гриша, не встретила ни в этот день, ни в следующий, а когда наконец встретила, Лоренц ей сказал, что Литвинец по срочному делу выехал в Москву, кажется, надолго. Потом окольными путями до нее дошло, что Гриша уехал не по своей воле, с ним стряслась какая-то беда, вот она и пригласила Лоренца, увидев его в ратуше, заглянуть в кафе, чтобы от Гришиного друга разузнать всю правду.

Пока Иоахим возился на кухне, Анна пыталась выведать у Лоренца подробности, то есть вернется ли Гриша, и на ее прямой вопрос Лоренц ответил тоже прямо: в Каменц Гриша не возвратится.

Иоахим весело принес из кухни на большом овальном блюде ароматный деликатес — Лоренц забыл, какой именно, он был равнодушен к еде, — разлил пиво по кружкам, устремил на Лоренца ласковые, теплые глаза и сказал:

— Я был нацистом, а вы коммунист, если бы я не был в первый год войны ранен во Франции, то могли бы мы стрелять друг в друга в России, и вот мы сидим за одним столом, за доброй кружкой пива, за добрым куском шпика, как друзья. Я не скрою, я любил Гитлера, верил в него. Нас обманули, подло обманули. Но я так думаю, что философия тогда хороша, когда она годится для каждой отдельной жизни, а я понимаю свою жизнь так: надо искупить перед русскими, перед всем миром свою вину. Некоторые немцы, когда смотрят на карту Берлина, говорят: «Здесь лежит будущая война». Я лично с этим не согласен. Вся Германия должна стать социалистической, как нас учит Вильгельм Пик, тогда новой войны не будет, вообще в мире никогда больше не будет войн. Я хочу стать коммунистом. Вы не могли бы замолвить за меня, господин старший лейтенант, словечко там, где надо?

— Я сам беспартийный.

— Знаю, у нас тоже в вермахте не было партийных, таков порядок, но до армии ведь вы были партийным?

— Нет, я был и остался беспартийным.

— Вы не коммунист? Если бы я вас не уважал, господин старший лейтенант, я подумал бы, что вы надо мной смеетесь, обманываете меня.

Иоахим потерял к Лоренцу всякий интерес. Он был ласков, но любил только тех, кто любил или мог полюбить его. Лоренц оказался человеком малопривлекательным. А он, Иоахим, еще старался для гостя! Не дефицитного шпика жалко — жалко своего труда. Кто бы мог подумать: этот советский офицер с виду такой обходительный, и лицо у него немецкое, и фамилия...

Вошли две посетительницы, видно, мать и дочь. Иоахим приветствовал их по-соседски, пошел за стойку, чтобы налить обеим по кружке пива. Анна, прежде чем убрать и помыть посуду, успела быстро сказать Лоренцу:

— Мне еще надо с вами поговорить, завтра в три, хорошо? — И дала адрес подруги своей матери, где было место их дневных встреч с Литвинцом.

Возвращаясь в казармы, Лоренц не думал об Анне, хотя удивился ее приглашению. Или, быть может, он старался отогнать от себя эту думу? Он размышлял о характере Иоахима. Ясно было, что содержатель кафе человек недалекий. И дело, конечно, не в том, что он давал себя обманывать жене — кто защищен от измены, будь он даже семи пядей во лбу, будь это мужчина или женщина. Почему Иоахим захотел открыть ресторан в Крыму? Почему он, видимо, не из страха, так поспешно задумал перешагнуть из гитлеровской партии в сталинскую? Но если посмотреть на дело с другой стороны — разве любая правящая тоталитарная партия привлекает к себе миллионные людские толпы только потому, что на свете много глупцов?

Эта мысль неверная. Глупых, по-настоящему глупых людей очень мало, и в них есть даже некая прелесть, душевность. Конечно, чистопородных глупых больше, чем умных, но не они составляют численную основу человечества. Подавляющее большинство людей — посредственности. И в этом нет для них ничего унизительного. Но пока люди верят в Бога, они не ощущают своей посредственности, ибо каждый из них знает, что, слитый с Богом, он велик величием своего Создателя, и пусть какой-нибудь сосед, согражданин в миллион раз умнее, талантливей — разве одна бесконечно малая, будучи в миллион раз больше другой бесконечно малой, не остается такой же бесконечно малой перед абсолютной величиной, перед Богом? Но посредственность, потеряв веру, утратила уверенность, стала нуждаться в иной опоре, и такая опора медленно стала утверждаться. Сила националистического социализма укрепляется тем, что его идеи, его пропаганда рассчитаны вовсе не на глупых (а тем более не на умных). Его идеи очаровывают забывшее о своем чудесном происхождении большинство, то есть посредственность. Гений отличается от таланта, между прочим (истина не новая), и тем, что талант находит сочувствие и понимание среди людей образованных, тонких, а гений доступен всем. История того, как две принцессы, которых отец любил, обманули и предали его, а третья, менее любимая, осталась ему верна и в несчастье, или история о том, как старый ученый омолодился с помощью нечистой силы и обесчестил девушку, — эти вечные истории волнуют всех, понятны всем, и высокообразованному и мастеровому.

Гениальность таких книг, как «Майн кампф» или «Вопросы ленинизма», мнимая, но что-то их сближает с истинно гениальными книгами, и это что-то заключается в пьянящей привлекательности их для большинства, которому кажется, что оно, впитав в себя эти книги, приближается к высокому, важному, вечному, прекрасному и мужественному.

Посредственность, лишенная веры в запредельное, всегда нуждается в истине ясной, бескомпромиссной, непогрешимой, безоттеночной, победной. Даже религия отступает перед грехом, когда принуждает, насильно принуждает, считать себя непогрешимой.

Поднимаясь по узкой улице в гору, Лоренц вспомнил, что и в его родном городе есть такие улицы, и тут же почему-то ожила в его памяти мысль, которую он прочел, когда в свои лаборантские годы пытался изучить персидский язык. Это было в предвоенном мае. Он поднимался вверх по Гаванному спуску и прочел в книге справа налево: «Тот, кто говорит, что близок к истине, тот далек от нее; тот же, кто говорит, что далек от истины, тот несет ее в себе, не зная об этом».

Нынешняя посредственность не может себе позволить духовной роскоши предположить, что величайшая творческая сила не в ней, что она, посредственность, далека от истины. Только возвышающее смирение преображает ее, но в восемнадцатом веке посредственность отказалась от смирения. Посредственность потому и посредственность, что должна постоянно, ежеминутно быть уверенной в том, что она — в созидательном слиянии с единственной, непререкаемой истиной. Истина, по ее глубочайшему убеждению, всегда единственна, всегда непререкаема, хотя она может меняться, сегодня она единственно гитлеровская, завтра — единственно сталинская, или наоборот, но всегда она должна быть наглядной, неопровержимой, властвующей, всеобщей, найденной, но не искомой. Без такой истины посредственность впадает в растерянность, в трепет, порою в безумие, а нередко и гибнет.

Думал Лоренц и о том, что вот он идет по земле, откуда в начале прошлого века вышел его предок-саксонец, но не его эта земля, красивая земля, но не его. Есть множество общих черт в жизни победителей и побежденных, есть и разное: Гитлер убивал главным образом ненемцев, чужих, Сталин убивал главным образом своих, — и у нас и у них тяжела жизнь, тяжела и мучительна судьба. Голос разума не умолкал в Лоренце, хотел об этом говорить, но голос крови молчал немотою камня. Есть общность судьбы, нет общности крови. Прекрасна земля Саксония, но не она мать-земля, мать-земля — далекая, дорогая, несчастная Россия. Его никогда не привлекали, а теперь ему и вовсе перестали нравиться слова Блока: «Да, скифы мы, да, азиаты мы». Кто спорит, сказал их поэт, может быть, и великий. По мнению Эмерсона, рождение поэта является основным событием истории. Это заблуждение. Основным событием истории является рождение любого человека, даже самого заурядного, потому что это есть новое, вечное рождение Бога. Но и тогда, когда человек не заурядный, а великий, родина ему не жена, как говорил Блок, а мать. Мать всегда одна, всегда и всюду одна.

Жена моя... Ни разу в жизни Лоренц не произнес эти слова как свои, а как мечталось ему сказать просто и нежно: «Моя жена сейчас придет», «Моя жена узнала», «Моя жена...» Холодно, что ли, и медленно текла кровь в его жилах, и поэтому не слышен ее голос? Ему уже тридцать шестой, а он никогда не знал женщины. Как это получилось? Вместе с порой созревания развивалась в нем болезненная, самолюбивая стеснительность, он стыдился своей небойкости, несветскости, малахольности, год за годом отравляло его непонятно как и откуда пришедшее к нему сомнение в своем мужском достоинстве. Бывало так, что девушки притягивали к себе его внимание, но редко: та была глупа, та заядлая крикливая комсомолка, та вульгарна. А те, которые ему нравились, смотрели на него как на пустоту. Ему нравилась Анна Шелике. Ему нравилась чужая жена, чужая недавняя любовница, чужая темная душа.

А что в ней было хорошего? Ее синеглазое обманчивое простодушие? Густо накрашенный рот, который умел источать не более двухсот, от силы двухсот пятидесяти обыденных слов? Беззаботный, прерывистый смех, смех распутницы и заводной игрушки? Все это так, но он предчувствовал, что завтра днем произойдет в его жизни нечто необыкновенное.

И оно произошло. Анна выглядывала из окна верхнего этажа, когда Лоренц приблизился к дому, в котором она ему назначила свидание. Он слышал, стоя у двери, как она спускается по скрипучей лестнице. Она открыла дверь, поцеловала его (она это делала еще при Литвинце), повела наверх, в маленькую комнатку, они уселись на постели, застланной байковым старушечьим одеялом, перед круглым столом, на котором стоял кофейник, уже горячий, рядом две большие чашки, несколько тоненьких печеньиц из плохой, темной муки, на стене висел портретик Адольфа Гитлера, но, перехватив взгляд гостя, Анна сняла портретик и несмело, виновато рассмеялась. Анна снова принялась расспрашивать о Литвинце, но уже вяло, зато жарко и однообразно жаловалась на одиночество, плакала. Когда Лоренц напомнил ей о существовании мужа, она с жесткой горечью удивилась:

— При чем тут Иоахим?

Все дальнейшее сделала Анна, но получилось у нее так, будто она только покорно и даже немного нехотя шла навстречу желанию Лоренца, и Лоренц ясно видел эту простительную хитрость, видел даже тогда, когда у него закружилась голова от восторга и страха. Анна поняла, хотя он и не думал ей в этом

признаться, что она первая женщина в его жизни, это ее сначала поразило, у нее было другое представление о советских офицерах, потом это ее растрогало, она его наставляла: «Не волнуйся, Михель, отдохни, и тогда тебе будет хорошо», — и ему в самом деле стало хорошо, но ненадолго, после этого ему захотелось от нее отодвинуться, все в ней сделалось ему чуждо.

По-иному засветились дни его. Он и сам не заметил, как прилепился к ней всей растревоженной плотью, всем благодарным существом. Она и теперь была ему нужна только в те минуты, когда он познавал ее, но только в ней, еще так недавно спавшей с его другом и продолжавшей спать с мужем, он обретал то, что, казалось бы, сотворено для всех, но не для него. Он ревновал ее, чужую, к мужу, и она ему говорила:

— Возьми меня к себе, кончишь службу, уедем вместе.

Он верил в то, что она этого действительно хочет, и он не ошибался, она не играла, как с Литвинцом, она полюбила его, ее волновало целомудрие завоевателя, одного из тех, кого все боялись, ее волновали его чистота, его неумелость, его господство над ее страной, она учила и научила его любви, он был ее властелином и ее созданием. Иногда, нечаянно, она его называла не Михелем, а Рихардом, он ей казался ее дорогим мальчиком, таким же беспомощным и родным.

Новый, 1946 год они встречали не вместе, она — в кругу семьи, он — в своей части, но 1 января во второй половине дня им посчастливилось (Миша заранее договорился с водителем машины Тыртова, начальника отдела) поехать вдвоем в Эльстру. Портновская мастерская Кюна, двоюродного брата Анны, напомнила Мише мастерскую Ионкиса в его родном городе: те же большие шкафы (товар у портного был свой), манекены выпуклогрудые, на одной ноге, примерочная за плотной занавеской. И сам господин Кюн, изящный, наполненный самоуважением, чем-то походил на Ионкиса из Мишиного детства. Господин Кюн всю войну работал в Берлине в военной мастерской, он не только видел, но и щупал полковников и генералов, их живот и пах, для него это были герои, которые благоволили с ним шутить иногда, и он, преклоняясь перед ними, тем самым возвышался в собственных глазах. Поражение Германии он объяснял чем угодно, но только не ошибочными или, избави Бог, дурными действиями вождя и его соратников. Когда он вернулся в Каменц, оказалось, что его жена и двое детей убежали от русских в американскую зону, ключи от мастерской оставили у Иоахима, и тот сохранил в целости все имущество господина Кюна, и благодарный Кюн сшил бесплатно Иоахиму костюм из собственного материала.

Благодетельная слепота помогла господину Кюну сохранить добропорядочность в фашистском государстве, он презирал двоюродную сестру за распутство, но молчал, боясь ее русских любовников. Когда парочка вошла в мастерскую, господин Кюн позвал Анну в заднюю комнату. Миша от нечего делать стал читать прибитый к стене прейскурант (вот чего не было у Ионкиса), цены на все виды работ были строго обозначены, но они дополнялись из-за инфляции количеством тех или иных продуктов. Мише послышалось, что Анна и Кюн спорят, и действительно Анна вернулась к нему взволнованная, злая, от этой злости она внезапно стала казаться старше и грубее.

Она ничего не хотела объяснять Лоренцу, повела его наверх, в спальню — там она и с Литвинцом лежала, — было очень холодно, немцы, оказалось, ради свежего воздуха не отапливают спальню. Анна, раздеваясь, ругалась, как солдат, сердясь на что-то за брата, Лоренцу эта ругань была противна, Анна поняла, заплакала. Лоренц привез кое-какую закуску, бутылку водки (все офицеры получили такой новогодний подарок), он выпил от силы сто пятьдесят, Анна — все остальное и продолжала плакать. На этот раз она была с Лоренцем не такой, как всегда, будто обязанность исполняла, потом опомнилась, стала целовать его лицо, губы, длинную шею, просить:

— Михель, любимый мой, начнем новую жизнь. Я разведусь с Иоахимом, он мне Рихарда не отдаст, но я и на это согласна, мы с тобою поженимся, уедем в Россию. Мне страшно здесь, Михель, я больше не могу жить в своем доме.

Вечером они расстались, так было договорено: Лоренц возвратится в Каменц один пешком или, при удаче, на попутной, а Анна переночует у брата, туда же на другое утро должен приехать Иоахим с маленьким Рихардом отдохнуть денек.

Лоренц спустился вниз. Анна на лестнице прижималась к нему, он чувствовал за спиной ее теплые груди, ее теплое дыхание, и вдруг из комнаты за

мастерской донесся до них мужской голос: «Игох, Игох», — а потом другой, тоже мужской, прошептал: «Бальд» — и неожиданно повторил по-русски: «Сейчас», — и оба голоса оборвались в темноте. Лоренц остановился, Анна испуганно вцепилась в него, поцеловала, с намеренно притворной грубостью и нежно, но решительно вытолкнула его на улицу.

Обманывает его Анна? Он, доверчивый и непрактичный, сразу разгадал в ней то, что его отталкивало. Он подозревал, что Литвинец был у нее не первым любовником, как она часто почему-то его уверяла, и не столько была противна догадка о ее прежних увлечениях, сколько ее ненужная ложь. От нее часто и густо пахло пивом, ее синие детские глаза иногда становились глазами зверька, их синева утрачивала людское свечение. Да и нужно ли было быть особенно прозорливым, чтобы разгадать эту замужнюю женщину, молодую мать, которая, едва разлучась с одним любовником, завела себе нового? Стоило ли Лоренцу пройти весь наш долгий, страдальческий солдатский путь, чтобы здесь, в чужой Германии, получить то, чем он пренебрегал на родине, чтобы соединиться, впервые соединиться, с женщиной, чья душа так далека от его души? Но правда ли это? Не обманывает ли он самого себя? Разве только его тело влеклось к ней, разве и его душа не освещалась ее темной любовью? А Лоренц знал, знал, что Анна любит его — пусть непрочно, пусть с хмельной и больной горечью, пусть, пусть... Но что, между прочим, означает по-немецки «игох»? Почему тот, другой голос тихо произнес русское слово? Неужели она изменяет не только мужу, но и ему, изменяет опять с русским, и Кюн предоставляет любовникам у себя уютное гнездышко?

Когда они через несколько дней встретились, Лоренц был зол на Анну, зол на себя. Поддавшись обольщению банальных ситуаций, он заранее предположил, что Анна будет с ним особенно ласкова, но нет, синие искры тревоги то вспыхивали, то гасли в ее глазах, она явно была чем-то напугана. Уже одетая, уже целуя его на прощание, Анна решила ему довериться. У ее двоюродного брата прятался дальний-предальний родственник их семьи, не родственник даже, юноша по имени Игорь Кюн. Он был из России, из города Сарепта. Двести лет, с большими, конечно, перерывами, длилась переписка между саксонскими Кюнами и сарептскими, навсегда оторвавшимися от немецкой родины. После русской революции связи прекратились, но вот сарептские немцы, то ли по своей воле, то ли повинуясь гитлеровской армии, удрали из России, некоторые попали в Саксонию, русские почти всех выловили и продолжают вылавливать, угоняют назад в Советский Союз, а там, наверно, в тюрьму, в концлагерь, а этот молодой человек, запомнив сохранившийся в семье адрес, пришел однажды ночью искать прибежище у портного в Эльстре. Кюн его сперва не понял, Игорь плохо говорил по-немецки, портной потом его неприязненно передразнивал. «Их бин аух Кюн», — уверял Игорь, как будто в этом было все дело. Двоюродный брат Анны не хотел прятать беглеца у себя в маленьком поселке, где все жители были на виду друг у друга, на основании семейных преданий он высчитал, что сарептские Кюны ближе покойному отцу Анны, чем ему, он требовал, чтобы Игорь сдался русским, позвал супругов Шелике на совет. Иоахим сказал, что считает это гнусностью, подлостью, если на то пошло, то он, Иоахим, спрячет Игоря в «Золотом солнце».

Анна, рассказывая, возмущалась: «Подумай, Михель, какой этот Игорь нам родственник, двести лет их семья прожила в России, с какой стати рисковать из-за чужого человека? Я говорю Иоахиму: ты ведь сам Шелике, а не Кюн, твое дело сторона. Возразить тут никак нельзя, но Иоахим кричит на меня, видно, сердится из-за тебя, а кричит из-за Игоря: «Все вы, Кюны, кричит он, не люди, а свиньи, а я никогда не был и не буду скотом, я не предам человека, попавшего в беду, придет время, переправим Игоря подальше, раздобудем ему хорошую бумагу, спасем!» Раньше Иоахим меня всегда во всем слушался, а теперь стало все по-другому. Нет у меня больше сил с ним ругаться, пусть он оставит у себя этого Игоря, пусть сам вместе с ним пропадает, а я уйду из дома, хотя это мой дом, а не Иоахима, уйду к тебе, только позови. Михель, миленький, возьми меня к себе!»

Вот, значит, в чем дело. А он был так низок, так слеп, что подумал, будто Анна его обманывает! А все потому, что он действительно слеп, он видит только ее и себя, а жизнь не есть связь двоих, жизнь есть связь всех. Ему стало стыдно, он привлек Анну к себе, пригнул свое лицо к ее густо накрашенному рту,

поцеловал ее, впервые поцеловал как старший, властно, Анна это почувствовала, при всем своем зрелом естестве она самой себе показалась беспомощной, слабенькой девочкой, это было такое сладкое, хрупкое чувство, Лоренц стал для нее силой, защитой. И незнакомая, печальная радость родилась в ней.

У себя в комнате Лоренц на хорошей плотной бумаге старательно (у него был неважный почерк) написал рапорт: он просил разрешения жениться на жительнице города Каменц Анне Шелике, в девичестве Кюн. Перечитав рапорт несколько раз, он явился к подполковнику Тыртову, начальнику отдела.

Подчиненные говорили о Тыртове: «Двадцать пять лет в строю, ни одного дня в бою», между тем по количеству боевых наград у них в части Тыртов уступал только генералу Уланскому, хотя попал на фронт позднее многих. Он начал службу в РККА в Кремле, в школе имени ВЦИК, имел возможность близко видеть руководителей партии и правительства, стал начальником школы верховой езды, учил жен и дочерей этих самых руководителей скакать на лошади, потом, как остроумно выразился один артист в постановке «Анна Каренина», начались для них другие скачки, и в этом была некоторая заслуга Тыртова. Первые полтора года войны Тыртов просидел в Москве, в Куйбышеве и опять в Москве за столом в отделе кадров ПУРа, но отдельного кабинета не имел. Потом начальник ПУРа любимец Сталина Мехлис рассердился на Тыртова за какую-то неисправность, выгнал из ПУРа, и Тыртов попал к Уланскому, который сказал о нем, что Тыртов ему нужен, как заднице гвоздь в диване. Служакой Тыртов оказался отличным, никогда из штаба фронта не отлучался дальше штаба армии, по всяким передовым не околачивался. Ему было поручено, между прочим, освещать личность Уланского, таков был порядок, Уланский об этом знал, не сердился, он иногда говорил Тыртову: «Ты видел новую машинисточку в штабе? Когда я стану молодым, обязательно ее помну. Запиши, Тыртов, пригодится».

Тыртов презирал еврейские шутки и еврейские штуки Уланского, все они одинаковы, что этот кругленький, пузатенький генерал, что Лев Захарович Мехлис, который строил из себя невесть что и которого товарищ Сталин вышвырнул наконец из ПУРа, вышвырнут и Уланского отсюда, пусть пойдет в военторг, делает гешефты. Презирал Тыртов и обоих выдвиженцев Уланского, больно они грамотные, Лоренц и Литвинец. Это он в свое время послал на Литвинца запрос в освобожденный Киев, взяли голубчика, — у Тыртова глаз наметанный. Вы, жидовские холуи, может, и языки знаете, и болтать о культурных мероприятиях умеете, но государство стоит не на вас, а на таких, как он, Тыртов. Вот и для другого черед настал, Лоренц принес материал на самого себя! Верхогляд определил бы Лоренца как дурачка, но Тыртов вникает: не русский, ясно по фамилии, не еврей (к чему безосновательные подозрения?), наверно, хуже — немец, и не случайно хочет жениться на немке. Советский офицер хочет жениться на немке из оккупированной зоны, на жене нациста! Водитель тыртовской машины уже доложил, что возил старшего лейтенанта Лоренца с хозяйкой «Золотого солнца» в поселок Эльстру. Вот вам выкормыш Уланского!

Подполковник не выдал своей радости, говорил с Лоренцем, как всегда, невыразительно, но без раздражения. Когда узнал от старшего лейтенанта, что Анна Шелике имеет мужа, естественно, удивился, но когда получил разъяснение, что Анна собирается развестись, закивал: все понятно, он доложит генералу, думает, что препятствий не будет.

Прошло три дня ожидания и счастья. Анна узнала о рапорте, и все ее существо заликовало, все косточки пришли в движение! Она начнет новую жизнь, уедет из этой нищей, голодной, опозоренной страны туда, где живут сильные хозяева, сама станет одной из них, из хозяев. Она ушла от Иоахима и поселилась на той квартире, где встречалась с Лоренцем, ждала его прихода, она никогда и никого не любила так, как полюбила Лоренца именно теперь, в эти три упоительных дня. Иоахим, раздавленный, убитый горем и стыдом, умолял ее остаться с ним, доказывал ей, что в Союз ее не пустят (как будто он сам не просил недавно разрешения открыть ресторан в Крыму), стращал, что не отдаст ей Рихарда, что Лоренц ее скоро бросит, но Анна его не слушала, у нее не было никаких сомнений, никакого страха, никакой жалости к мужу. За все эти три дня она ни разу не пришла домой повидаться с мальчиком.

Лоренц, обалделый от своей решимости и решительности, в первый раз нарушил военные правила, остался ночевать с Анной. Когда утром он пришел

в казармы, ему сказали, что прибыл из Дрездена генерал, вызывает Лоренца к себе.

Обычно Наум Евсеевич встречал его улыбкой, шуточкой, даже иногда сердечно. Не то было сейчас. Не ответив на приветствие, спросил с каким-то отвращением, столь не сочетавшимся с его круглым, румяным, поварским лицом:

— Почему являетесь небритым?

Внимание к формальной стороне военного быта не было свойственно генералу, он всегда требовал дела и только дела. Он посмотрел на Лоренца тем бесцветным и сверлящим взглядом, которым на Руси смотрели еще думские дьяки, когда люди говорили о лобном месте: «Дьяк на площади, так Господи прости!»

Генерал вовсе не хотел зла Лоренцу. Он хотел добра себе. «Болван, — думал он, — подвел меня, губит себя. А может быть, хуже, чем болван?» Он сжал в мягкие кулаки свои пухленькие пальцы, приблизился к Лоренцу, стоявшему по стойке «смирно», напирая на него животиком, закричал с той резкой музыкальностью, с какой кричат и поныне на базаре в их родном приморском городе:

— Вы понимаете, что вы натворили? Почему вы не дождались меня? Разве вы Тыртова не знаете? Он вам устроит то, что уже устроил Литвинцу!

— Я люблю эту женщину, — сказал Лоренц.

— Любите, кто вам мешает? Жениться вам на немке нельзя.

Наум Евсеевич немного успокоился. Он, чьим ремеслом были хитрость и коварство, не терпел хитрости и коварства от подчиненных, ему нравились простые, откровенные сердца, и чистые слова Лоренца, слова о любви, сказанные в казарме, произвели на генерала хорошее впечатление. Да, конечно, болван, но наш болван, к тому же только сейчас, на четвертом десятке, если вспомнить, что болтают сослуживцы, потерял свою драгоценную девственность, но парень без замыслов. Надо его спасти. Брак с немкой разрешить нет никакой возможности, глупость, вздор. Говорят, вкусная бабочка эта хозяйка «Золотого солнца». И вдруг Наум Евсеевич предложил, опять, как в лучшие дни, улыбаясь улыбкой толстяка:

— Приводите ко мне вашу невесту, я с ней побеседую, посмотрю, что она собой представляет, что можно для вас сделать.

— Разрешите пойти за ней? — обрадовался Лоренц.

— Вы приведете ее после шести вечера, но не сюда, в часть, а в ратушу, я там буду вас ждать.

Анна широко, по-детски раскрыла сине-фарфоровые глаза, узнав, что ее приглашает к себе сам генерал. Она надела то платье, которое достаточно кругло обнажало то, что у нее росло красиво, высоко и что Лоренц мысленно называл «в Тамбове не запомнят люди». В начале седьмого, когда окна ратуши стали на закате такими же фиолетовыми, как ее старые стены, взволнованная чета вошла в помещение. Оно было пусто. Они пошли по сводчатому полутемному коридору, Лоренц постучал в дверь кабинета бургомистра, услышал знакомый голос: «Войдите». Наум Евсеевич их ждал. Он был при всех регалиях, сидел, несколько отодвинувшись от стола, мешал животик. Он бросил быстрый цепкий взгляд на Анну, приказал:

— Товарищ старший лейтенант, оставьте нас, я поговорю с вашей невестой. Вернетесь через два часа.

Куда ему деться? Почему беседа длится так долго? Площадь небольшая, кружить вокруг «Золотого солнца» ему не хотелось, он поплелся через весь город по улице, отлого бегущей вниз, к казармам. Дойдя до них, он снова поднялся вверх. Трижды он проделал этот путь, тоска сжала его сердце, он чувствовал что-то похожее на тошноту, когда подошел к ратуше. Она была закрыта, ни одно окно не светилось. Башня ратуши равнодушно смотрела на площадь. Что произошло? Может быть, генерал отпустил Анну раньше? Какая оплошность, не надо было ему бродить по городу, а ждать здесь, на площади. Значит, Анна уже дома? Он поспешил туда, где был их дом, но в доме была тьма, пустота, дверь молчала. Он знал, что так будет, хотя не мог себе объяснить, почему он знал. Не мог себе объяснить и того, почему он опять подошел к ратуше, толкнулся в дверь, запертую на замок. Напротив желто мерцали окна «Золотого солнца». Лоренц пересек площадь, заглянул в освещенные окна, чьи решетчатые ставни были распахнуты. Он увидел Анну и Иоахима, они сидели за столиком,

Анна была в пальто. Ему показалось, что Иоахим его тоже увидел. Лоренц пошел в казармы.

Он не спал всю ночь, он долго помнил эту ночь, мысли были одна темнее другой, а самая темная неожиданно вспыхнула как острый, губительный луч догадки.

Утром его позвали к генералу. Двор казармы покрылся за ночь скользким мокрым снежком. Наум Евсеевич поручал ему весьма ответственную, кропотливую работу — составить для Меркулова обзор проделанной работы за весь период, указал объем, давал советы, предлагал примерные названия разделов. Закурил казбечину — подчиненные знали, он курил редко — и продолжал в том же скучном, деловом тоне:

— Я понимаю, вы меня не очень внимательно слушаете, ждете ответа на личный вопрос. Миша, она очень мила, не спорю, хотя, признаюсь, холодна. Я предпочитаю полек, они рабыни мужчин. Я имел вчера вашу Анну. Не лучшая киска моего донжуанского списка. Я нанес вам рану, может быть, глубокую, но для вашей же пользы. Это рана, сделанная ланцетом хирурга, а не мечом врага. Жениться вам на ней невозможно, теперь вы сами убедились, что затеяли глупость, чахотку вы бы от нее получили, чахотку и позор. Весной я вас демобилизую, вернетесь в наш город у Черного моря, женитесь на хорошей советской девушке, только смотрите не забудьте меня пригласить на свадьбу, обижусь. Я прикажу, вам принесут материалы. Идите.

Чтобы описать то, что почувствовал Лоренц, нужно другое перо. Он лег в своей комнате на койку, мокры были его сапоги, мокры были его глаза. Вся его жизнь показалась ему долгой, постыдной дорогой унижения, дорогой ничтожества. Ему отказали в приеме в университет, а он добивался этого. Для чего? Разве нельзя было изучать науки, мыслить без диплома, пойти, скажем, в дворники? А разве, если разобраться, не унизительным, ничтожным было его поведение на Мавританской? Он не предал своих друзей, но, в сущности, отрекся от них, от себя — для того, чтобы Шалыков или Уланский подписали ему пропуск на выход. Куда пропуск? Какой выход? Из «третьего отделения» в камеру объемом в одну шестую планеты? Он выдвинулся в армии, служа переводчиком при допросе пленных, то есть несчастных, тем более несчастных, что их превратили в нелюдей, уничтожавших людей. Основой его повышения было горе других, горе зверей, и зверей особенных, зверей-рабов. Рабы убивали рабов, рабы предавали рабов, рабами были и рядовые и генералы, и сам он стал любимым рабом генерала-раба, и этот генерал, отвратительный гепеушник, грубо, подло взял его любимую женщину и сам об этом сказал ему. Давно утратил генерал человеческий облик, но разве и он, Лоренц, человек? Он раб, и вот что страшно: уже не только телом раб, но и духом раб.

И вот еще одно свидетельство рабьей сущности его души: он взялся за работу, и эта пустая, не нужная живым существам, бессмысленная работа даже увлекла его, отдалила от тяжких мыслей.

В положенный час он с обреченной точностью механизма направился в столовую для младшего офицерского состава. Кусок не лез ему в горло. Он выпил стакан теплого киселя, вышел на улицу. Та же обреченность механизма привела его к «Золотому солнцу», заставила открыть двери. За столиками сидели несколько жителей. Иоахим стоял за стойкой, Анны не было видно. Печаль была на лице Иоахима. Он взглядом предложил Лоренцу выйти на улицу, сам вслед захромал, заговорил с неожиданной твердостью:

— Что вам от нас надо, господин старший лейтенант? Вы сделали все, чтобы погубить мою жену, только я один могу ее спасти. Мы маленькие люди, мы от вас зависим, но если вы порядочный человек, то не приходите больше.

И Лоренц ушел, ушел дорогой унижения, потому что для человека самое большое унижение — унизить, оскорбить слабого, зависимого, подневольного. А разве это не делал Лоренц, сблизившись с Анной, при этом даже не думая, что оскорбляет, унижает Иоахима? А действительно ли не думал?

Две недели Лоренц не покидал казарм, корпел над обзором. Ему принесли письмо, оно было от Дины Сосновик. Он ей написал, не веря, что придет ответ, но ответ пришел. Умерла его мама. Он думал о ней всегда, все годы войны, ее голос жил в нем, мягкий голос, не заглушенный ни Сталинградом, ни Курской дугой, ни Варшавой, ни Восточной Пруссией, и только здесь, в тишайшем

Каменце, он перестал о ней думать, слышать ее голос, потому что думал об Анне, слушал голос Анны. Умерла мама, его мама, его мама.

Лоренца вызвал к себе Тыртов. Выразил соболезнование в связи с постигшим его горем. Не счел нужным объяснить, каким образом он еще до Лоренца узнал о смерти Юлии Ивановны. Осведомился, как движется работа, удовлетворенно закивал, услыхав, что дело идет к концу, одобрил:

— Хорошо, что вы стараетесь, тем более что уже никакого поощрения ждать не можете. Есть приказ о вашей демобилизации. Вернетесь на родину, к мирному труду. Завидно, конечно, но я лично счастлив, что нахожусь там, куда меня поставила партия. Вы не знаете, за что арестовали Анну Шелике?

— Арестовали? Анну?

— Не знали? Разве с ней перестали встречаться?

Лоренц ринулся к «Золотому солнцу». Взялся за ручку двери — не открывается, заглянул в окно, в другое — никого. Постучался — не ответили. Он пустился почти бегом по асфальтовому шоссе в Эльстру. Грязный пот бежал по его лицу, когда он вошел в портновскую мастерскую. Кюн обводил по сукну мелом выкройку. Все еще держа мел в руке, он спокойно поздоровался с Лоренцем, не торопясь произнес сентенцию:

— Алкоголизм доводит до преступления. Это закон природы. В особенности если пьяница — женщина.

Вот что вкратце узнал Лоренц от портного. Сарептский Кюн тайно поселился в «Золотом солнце». Так пожелал Иоахим. Анна стала много пить, выменивая у русских солдат шнапс на свои тряпки. Она спаивала Игоря. Было ли между ними что-нибудь или это померещилось Иоахиму, но тот каждый день скандалил, устраивал сцены ревности, уже не стыдясь посетителей, сам начал пить с Анной и Игорем, однажды бросился на Анну с кулаками. Игорь повалил его на пол, дело было на кухне, Анна ударила Иоахима топором по голове. Игорь выбежал на улицу, позвал на помощь, лицо Иоахима было залито кровью. Анну стали допрашивать, но она была так пьяна, что отвечала бессвязным бормотанием. Анну и Игоря арестовали. Господин Миерих, бургомистр, устроил Рихарда в приют для сирот. Иоахим поправляется, он лишился левого глаза. Кюн навещает калеку. Анна в тюрьме в Баутцене. Что стало с Игорем — неизвестно, тут дело запутанное, военное.

— Вам разрешили навестить Анну?

— Не просил разрешения. Она погибла для себя и для меня. Одна женщина, жительница Эльстры, которую на три месяца посадили за спекуляцию, вышла из той тюрьмы, видела Анну, вместе работали, чулки чинили, штопали. Говорит, что Анна исхудала, почти не ест, только супа несколько ложек. А Иоахиму и мальчику я помогу, не оставлю их, так велит мне мой долг. Моя семья скоро возвращается в Эльстру, мы возьмем Рихарда к себе. Отцу-калеке будет с ним трудно.

...В части уже было известно о демобилизации Лоренца. Когда он вечером, усталый, в своем насильственно молчащем горе, вернулся в казармы, товарищи потребовали с него немедленно обмыть отъезд, его отсутствующий взгляд сначала почему-то всех рассмешил, потом что-то поняли, отступили.

Лоренц не сомкнул глаз до утра, он пришел к трудному решению: надо позвонить генералу, власть у него большая здесь, связи огромные, он может помочь Анне. Если вспомнить все, что произошло, то в этой просьбе было что-то низкое, даже грязное, но Лоренц не хотел думать об этом, он думал о несчастной Анне. После полудня ему удалось связаться по телефону с генералом. Наум Евсеевич выслушал его не перебивая, приказал:

— Оформляйте свой отъезд. Не морочьте мне голову благоглупостями. Привет землякам.

Лоренц навсегда покинул Германию. Победитель возвращался домой. За вагонными окнами в развалинах, в весенней грязи лежала перед ним поверженная страна врага. И Польша была в развалинах, и Украина была в развалинах. Кто победил и кто побежден? Не Сталин разгромил Гитлера, не русские одолели немцев — победило страдание, дух поборол плоть. Могучее государство фараонов поникло перед безоружным племенем, ибо маленькая, крытая камышом пустыни скиния Завета бесконечно сильнее великолепной, закованной в сталь конницы, неисчислимых копьеносцев и лучников, и государство, которому служил Понтий Пилат, не восторжествовало над другими государствами — восторжест-

вовало распятое страдание, и не знают ни прокураторы, ни гауляйтеры, ни секретари крайкомов и обкомов, что, не уставая, победоносно движется по земле сияющее страдание, воскрешаясь и воскресая. Стучали колеса вагона, стучало сердце Лоренца, стучались в сердце слова — собственные или где-то прочитанные:

«Ты, теперь я знаю, — Тот, кого я сам, давным-давно, оставил в начале далекого пути. Прости меня, Боже, за то, что я Тебя оставил, не потворствуй мне за то, что я к Тебе пришел. Дай мне высокую милость, дай мне идти Твоим путем, путем страдания. Это страдание есть счастье сострадания. Вера в Бога есть действенное сострадание всем униженным, оскорбленным...»

Земля, сотворенная Богом для радости нашей, двигалась в вагонном окне, смеялась и плакала, трудилась и думала, думал и Лоренц, думал о том, что в каждой религии есть четыре основы: вера в Бога — творца всего сущего; свод нравственных законов и правил; мифы; обряды и обычаи. Самая важная основа — первая, она может объяснить всех людей, она одна для всех. Да и вторая основа одна для всех, нравственные законы, в общем, тождественны у христиан и у иудеев, у поклонников Дао и у индуистов. Величайшие из слов, произнесенных устами человека — Нагорная проповедь, — родственны миропониманию древних персов, древних индийцев и уже совсем близки миропониманию древних иудеев. Довольно сильно отличаются друг от друга мифы, но особенно сильно — обычаи и обряды, они связаны не столько с религиозным мышлением, сколько с национальным, с бытом, характером, историей, занятиями народа, с природой его страны. И как странно, что именно обычаи и обряды отделяют железною стеною одну религию от другой, хотя не в них суть веры. Они милы, эти обычаи и обряды, но не от Бога они. Обрезание, которому такое важное значение придают иудеи и мусульмане, было и у язычников-египтян. Крашенки, которые расписывают православные на Пасху, были у зороастрийцев, в древней Согдиане при наступлении праздника весны обменивались крашеными яйцами. Конечно, в подобных обычаях и обрядах, овеянных теплом семьи, выражается детская любовь людей к Богу, но пора уже любить Бога не только по-детски, пора слиться в одно всем, для кого важна главная основа веры — понимание, что все мы, люди, потому и люди, что созданы Богом по образу и подобию Его. Только это понимание может спасти мир...

Станция Двухдорожная, последняя перед родным городом, где останавливался поезд, была разрушена. Поезд простоял несколько минут и тронулся дальше — в степь, в будяки, в живую грязь чернозема. По кукурузным бодыльям бежал ветер. Развалины хат, развалины платформ, умершие баштаны. Вот и станция Пригородная, как хорошо — сохранилось знакомое с детства ее двухэтажное, с башенками, красно-серое здание. Здесь, поблизости, спят в земле его отец и мать, скоро покажется мост над Водопроводной, железнодорожные мастерские, где когда-то работал Цыбульский, может быть — сейчас он увидит, — и от них остались одни развалины, и от дома Чемадуровой, а пока еще в город вливается степь, над ее воскрешенной душой сияет солнце марта; сияет земля, и ему кажется, что глаза земли смотрят на него с той тихой грустью, с какой смотрела мама, и земля не меняется, она такая же, как при скифах, такая же милая, как в детские годы Лоренца, такая же мягкая, терпеливая. Страдание не устало, страдание шествует вперед.

Ноябрь 1962 — февраль 1976.

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ

*

ДРЕВЕСНЫЙ — ОСИНОВЫЙ — СЕВЕРНЫЙ СВЕТ

СТАНСЫ

Что делать? Как что! Пришла весна — пахать...

В. В. Розанов.

Куда тебя леший несет! Заночуешь в кювете...
Гляжу, как заносит — шибает груженый прицеп.
Сильней вертанет — и хана, и никто не в ответе,
ужо и записывай памятку в книгу судеб.

Районного праздника милое разноголосье,
бутылка причасья, душевный дурной разговор —
ну все понимаю! — и дикий удар в переносье —
за что же? — и глаз побелелых бессмысленный взор.

На сцене кумач на столе и на стенке личина,
собранье никак не начнут, а кончать бы пора,
всё ждут из района, сказали, какого-то чина,
залазит на сцену, ползет под кумач детвора.

Российская поросль, сопливая наша надежа,
коль три поколенья сработалось, скисло, спилось —
такие ребята пропали... Эх Боже ты Боже...
Железо вживили в людей, и оно прижилось.

Речонка в тумане, и ранняя рань с косарями,
и росную радугу держишь-несешь на косе.
Что даром дано и чего не искал за морями,
а то, что искал, перечеркнуто в личном досье.

Безгласная участь какого-нибудь одиночки,
который не мог, отказался, не стал, не хотел, —
щербинка в огромной поруке, секунда отсрочки
прямого Возмездья проклятых убийственных дел.

И что же? Тебя стебанет развихлявшимся бортом,
а то стаканом в промежглазье: до дна не допил!
Иль сам ты на нет изойдешь в одиночестве бодром,
в страницу уткнешься или загремишь со стропил.
Натянем исподки, надвинем рабочие шоры,

не спрашивай, жить для чего и загнуться почем.
Поставил избу — набивай кружевные подзоры.
Что делать, мы знаем с Васильём Васильёвичом.

Играют на стеблях и, вздрогнувши, рушатся росы.
Права человека — долги материнской страны.
И радуга рдеет, и еле дымятся прокосы,
и долгая тень впереди: солнышко со спины.

ЗАПИСИ

Писемушко

Здрастуй Ванюшко мой сынушко бажоный
на два годичка незашто посажоный
говорят не виноватый ты Ванюшко
кланяется тебе твоя мамушка
и всем товарищам твоим и всем начальникам
как и звать не знаю величать ли как
прости Ванюшко меня простоголовую
таку негодную дурословую
все и складываю нонь да причитываю
а писемушка твово не прочитываю
а прочитывает сын мой Вовушка
он и пишет всяко писемушко
родной сын посажоный куролесливый
а чужой ученый жалесливый
скажу сделай чо дак он и рад
а уходит сам в байну в трубу играт
и пошто эту гадось в рот берешь
такой смирный веселый да всем хорош
у его труба ли квохчет ли керкает
а ку песню зведет всю сковеркает
давай брату гыт мать писать письмо
а письмо вперед и бежит само
нет уж мать по порядку веди не спеши
а ты не слушай меня знай пиши
дуда гнутая сарафаном звать
вся серебряна с такима папинкам
в байны сам сидит раскладет тетрадь
нуко с птичкама такима с крапинкам
а лони пришло эких-то пятеро
кто таки а свои говорят с конца озера
дак в палатке ночесь их заморозило
а у Вовушки ни отца ни матери
запустила их в зимню горницу
сама думаю кака может вольница
нет гыт мать мы художники
и тебе еще может помощники
эти двое-то с двоима женама
так что мы тебе не грабители
жаль смеюся говорю что не видели
непутевого мово посажоного
а ты Вовушко не жанат чево
а гыт мать все в жизни обманчиво
а сам поглядыват на фотку на сестру твою
на такую же дуру беспутную
добротой да красотой своей нещасную
в батьку видно тихую согласную

а вот как сынушко заключенный ты мой
одна беда мне с твоей тюрьмой
как пошли дожди картошка не копана
а сыны ушли дак не прикованы
мне высокодавленье такойстепени
ин до звездочек до края потемени
всю шатат меня ровно пьяную
на коленках в борозде тут и плаваю
изустала да пала да и запела я
во всю голову дура угорелая
говорить-то путем разучилася
до того сей год с картошкой добилася
не сердис на меня сыночек Ванюшко
плоха стала я где бы батюшку
нету батюшки нигде нет и в Пудоже
видно ждет меня к себе видать зовут уже
поклонися от меня всем начальникам
каким товарищам как звать величать ли как
а еще тебе сам напишет Вовушко
напиши ему беспутному два словушка
и за что меня только Бог наказыват
знает все мои грехи да не сказыват.

Цэл жизн

А в кубышке-недавашке накопились имена:
где ты, жив ли, Шилкин Сашка, батарейный старшина?
Деду первогодки-дети... Кто там как живи, а мы
и обуты, и одеты, и под праздничек пьяны.
Он разжалован в солдаты и опять произведен
за житейские таланты и родительский уклон.

Где природное бельканто — Арташес Мартиросян?
Наша пестрая команда строит хлев для поросят.
Строит водомаслогрейку. Вай, спасибо за урок —
за топор, черту и рейку, молоток и мастерок!
Хороша твоя беседа в тишине, когда отбой:
— Мой цэл жизн машин «Победа» и лубов! А твой какой? —
До сих пор не разобраться, джан варпет. Не знаю, друг.
Где ты, Саша Какабадзе? Где силач эстонец Кург?
Алгирдас, хэй, цвейки, цвейки!
Тэрэ, Кург, Арташ, бурифʼ!
В декабре на маслогрейке вялый трудовой порыв...

Без костра холодновато — жарко будет в лагерях.
Стрельбищем пылят ребята: кто-нибудь, глядишь, и бряк!
Перегрелся, салажонок? Перестынешь в декабре.
Эх, немало береженых так ли, сяк пере-пере...
Я храбрился: мол, не выдам! Выдали ногой под зад,
списывают инвалидом, даже пенсией грозят!
Пенсий много накопилось с пятьдесят шестого вплоть.
Посылал я... вашу милость, умудрил меня Господь —
подарил солдатский гонор инвалиду без войны.
Наконец, угрюмый донор обескровленной страны,
с целью жизни разобрался, голота и босота,
и поскольку не марался — люди, кровь моя чиста.
Крюк, топор. Леса и веси... Труд мужицкий мне с руки.
Только струйка польской спеси — не подарок, мужики.

ОСИНОВЫЕ СЛЕЗЫ

Синеет окно, и бумага чуть брезжит. Пятно
затем превращается в косоугольный квадрат —
с него начинается свет. Просыпаюсь и рад,
что именно так. На бумаге словечко одно

ночное, пустое спросонок, словечко-дичок.
Причина его непонятна и место — в печи.
Сожги его впрок или так лишний раз промолчи.
Огонь все живей сквозь поленья ручьями течет.

Береза кипит; ель стреляет; осина — она,
осинушка, белыми-белыми плачет слезьми.
В огонь, позабывшись, глядим, как бывало детьми...
Меж красных углей искросахарная белизна.

Кричащие краски полдневных далеких чудес —
те маки и розы, а если вблизи цветника
гранат зацветет, сила алого так велика,
что меркнет огонь... Чуть прихваченный холодом лес

зарделся с вершинок: осина цветет в сентябре
вчерашнею кровью и самою плотью ствола,
где отсветы все и оттенки она собрала,
какие сегодня у неба о ранней заре.

Древесный — осиновый — северный — это не цвет,
но свет: он целебен. Он мненье молвы опроверг
о серости цвета. Пред ним и гранат бы померк.
Когда я его опишу — то-то буду поэт!

Бросает его в белизну: набережный плавник
вконец выцветает, но дочерна темен испод;
на главке церковной — серебряный с прочернью, тот,
которым святят небеса. Я его ученик.

ПУБЛИЦИСТИКА

РОЛЬФ ЭДБЕРГ

*

КАПЛИ ВОДЫ — КАПЛИ ВРЕМЕНИ

Миллионолетия Рольфа Эдберга

Самое трудное в этом слове, сопровождающем книгу известного шведского писателя, ученого и общественного деятеля Рольфа Эдберга,— удержаться от чрезмерного цитирования и восторженных оценок. Полностью избежать ни того, ни другого не удастся. Восторженные оценки умерит, вероятно, сам предмет разговора, не располагающий к благодушию. Ибо с какой бы уверенностью ни сказано было «смертельно», оно и есть «смертельно», последнее слово перед катастрофой. Инстинкт самосохранения должен заставить человека, услышавшего предупреждение об опасности, непроизвольно остановиться и отшатнуться, то есть внять ему, а не любоваться тембром голоса.

Помню, какое нетерпение охватило меня, когда несколько лет назад я прочитал выпущенные «Прогрессом» под одной обложкой две книги Эдберга — «Письма Колумбу» и «Дух Долины». Казалось бы, несогласующиеся слова — нетерпение от опоздания, однако мое состояние таким и было. Я словно бы получил новое зрение, проникающее любые сроки и объемлющее любые расстояния, мне хотелось немедленно воспользоваться им и происшедшими от него переменами, и каково было сознавать, что человечество, похоже, уже перешло свой Рубикон, вступив на противоположный берег, где его усилия по спасению окажутся тщетными, а если еще не перешло — продолжает двигаться в том же направлении. Каково было убедиться, что оно промотало, как последний игрок, почти все запасы прошлого и будущего и что отныне требуются неимоверные усилия, чтобы сохранить оставшееся!

Эдберг не отчаяние в меня вселил; отчаяние наступает, когда не знаешь путей выхода. Тут пути были ведомы, я представлял их и до книг Эдберга. Вернее, я представлял направление, а он дал карту. Карту объемного изображения прошлого и настоящего человечества с границами изменений, снабженную историей эволюции от простейших видов до гомо сапиенс и от гомо сапиенс к гомо техникус. Последнее произошло моментально, и произошло в самолюбивом угаре, не считающемся с пользой и не стесняющемся в средствах. Это тоже был своего рода Рубикон между человеческой эволюцией и революцией. С определенного периода, почувствовав себя вершиной развития, человек отлепился от единого природного организма и повел свою судьбу самостоятельно, придя к результату, который мы сегодня имеем. Могли бы мы быть иными? Трудно сказать. Эдберг воздерживается от запрета срывать даже самые опасные плоды с древа познания, считая, что человека в его любопытстве не остановить и весь вопрос в том, как и для чего употребит он свои открытия.

Пока что это не только вопрос, но и трагедия. Трагедия ответа. Во имя собственного продолжения и спасения нам следовало бы быть другими. Когда соотносишь четыре миллиарда лет, потребовавшиеся для созидания столь прекрасной земной картины со столь организованными формами жизни, с четырьмя десятками лет, оставшимися, как предполагают специалисты, до ее необратимого увядания, во мнении, что нам следовало быть другими, сомневаться не приходится. Но что теперь делать, как измениться в срок, подобный вспышке молнии в ночи, осталась ли для этого хоть малейшая возможность?

Рольф Эдберг вселил в меня не отчаяние, а нечто более сложное. Мы не приходим в отчаяние от очевидности, что каждому из нас суждено умереть, воспринимая смерть как исполненность своего земного дела в цепи дел других поколений и как необходимый залог новой жизни. Больше того — мы могли считать, хотя и в этом можно видеть признак эгоизма, что если моя жизнь будет пройдена неудачно и неверно, сплавлена по течению обстоятельств,— это мое дело, и на судьбе человечества она никак не может

Журнальный вариант. Полностью книгу выпускает издательство «Олимп».

сказаться. Каждый из нас — только песчинка в пустыне и капля в море. А что такое песчинка и капля? Ничего. Но ведь когда-то и с чего-то, с какой-то малости привились сначала заблуждение и эгоизм, затем принятое разумом и узаконенное моралью варварство человечества, в котором оно ныне театрально признается, не оставляя, впрочем, как в игре, своих пагубных страстей. С чего как не с песчинок и капель каждой жизни это началось и продолжилось? На примере воды в этой книге Рольф Эдберг показал планетарность капли, а мы можем перенести ее на человеческую жизнь и убедиться в огромной, а теперь еще и горькой ответственности прохождения земного пути. Как капля соединяется с каплей, а песчинка с песчинкой, образуя моря и горы, скопилось в свое время и распространилось безучастие и равнодушие. «На наш век хватит» — эта жвачная философия возникла не сегодня, а на подкрепление к ней явилось убеждение, что вожаки, ведающие истину, знают, куда ведут, и до дурного не доведут. И вот дошли, что на нашу жизнь уже не хватает, а вожаки, и истину расщепившие, как атомное ядро, во взрывчатую смесь, беспомощно оглядываются на дело рук своих...

«Наша слабость заключалась в том,— указывает Рольф Эдберг,— что мы дали увлечь себя к неизвестному месту назначения, когда слишком многое предупреждало о грозящей аварии. Что мы не подняли бунт и не заставили стоящих на мостике избрать более осмотрительный курс. Засомневавшись, мы должны были действовать последовательно, не ограничиваясь глухим ворчанием».

Рольф Эдберг — писатель одной темы, быть может, самой сегодня необходимой и острой. Советский читатель имеет сейчас возможность познакомиться с третьей его книгой, не считая вышедшего недавно в «Прогрессе» и одновременно в Стокгольме диалога «Трудный путь к воскресенью» между Рольфом Эдбергом и нашим ученым Алексеем Яблоковым. Это даже и не диалог, а монолог на два голоса, сравнимый с тем, как если бы двое выбирались из завала и, передавая друг другу кирку, искали выход к воздуху и свету, зная, что от их усилий зависит судьба многих и многих.

Василий Розанов, замечательный русский философ и писатель, любивший сильные и парадоксальные выражения, говаривал, что «сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». Но талантливая тема не потерпит посредственностей, она барышня со вкусом. А когда тема становится еще и кричащей, ее нужно суметь сказать так, чтобы слышали клетки тела. Зрячему — озрись, здоровому — исцелись, ученому — начни сначала: это ведь не пустые противоположения, а насущное требование к современному человеку, исказившему свое значение и призвание.

«Капли воды — капли времени» и «Дух Долины» — это продолжение одной книги другою. Продолжение до тех пор, пока вода не создала человека, затем параллельные движения, перекличка, общий взгляд на эволюцию с разных географических точек. Мысль из одной книги свободно переносится в другую, подхватывается, уточняется, усиливается. Если может быть монолог двоих, то это диалог одного. Чтобы проследить пути воды, Рольф Эдберг поднимается в норвежские горы Рондане; чтобы проследить пути человека, он едет на его родину в Африку, в ущелье Олдувай в Кении, где в 50-х годах этого столетия были найдены останки самого древнего нашего пращура, более двух миллионов лет назад поднявшегося на ноги и начавшего движение по планете. Разные времена, разные точки отсчета, разные причины и судьбы — и все, в сущности, едино, все взаимосвязано и существует в одном течении.

Вода — праматерь человека и жизни. Праматерь и основа основ всякой живой клетки, которая без воды не могла бы зародиться, развиваться и существовать. Наш мир по неведомой счастливой случайности — объяснения, понятно, появились, но они могут быть лишь предположениями — единственная водная планета и потому единственная обитель жизни в Солнечной системе. Вода создала нас, и она в буквальном смысле нас кормит и поит.

«Капли воды — капли времени» — гимн воде, пропетый художником и ученым в одном лице с такой силой, на какую способна лишь благодарность, смоченная слезами. Потому что это одновременно и плач по воде, исторгнутый с не меньшей страстью. «Единственная в Солнечной системе водная планета стала планетой оскверненных вод». Каждое чувство в отдельности — и благодарности и скорби — могло быть и шире и ярче, но, соединившись вместе, они стали пронизывающими. Едва ли кому удастся освободиться от них. И на воду мы отныне станем смотреть с благоговением и печалью, представляя себя отнесенными к тому водоразделу, где спасительная влага превращается в опасность. «Подобно Леонардо да Винчи, людей разных эпох и разных стран волновала мысль о том, что, опуская руку в поток, ты прикасаешься к концу того, что было, и началу того, что будет».

Чтобы рассказать о том, что было, Рольф Эдберг, человек планетарного мышления и энциклопедических знаний, мог бы для обозрения планеты в ее миллионолетиях обойтись и без высокой географической точки. Она понадобилась ему, чтобы начать путешествие

с простейшего акта творения — с чистой капли воды, набухшей утренним часом от прилива корневой влаги. А чистую каплю воды отыщешь ныне не в любом месте.

Поразительны совпадения, с какими, удивляясь и вопрошая, считывают с этого чуда жизни свои мысли Рольф Эдберг и русский писатель Виктор Астафьев — один в горах Рондане, другой на берегах Енисея. «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра»,— замерев над енисейской каплей, посвятив ей замечательный монолог, благодарствует русский писатель в романе «Царь-рыба». И заканчивает его словами: «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа». Ронданская капля словно бы заставляет подхватить: «Вряд ли мы когда-либо получим исчерпывающий ответ на все наши почему. Но частичный ответ наверно содержится в поглощаемых тобой каплях дождя, в миниатюрных океанах клеток и в молекулярных облаках космоса; на вопрос, зачем мы существуем, не будет ответа, но мы сможем лучше понимать, чем обусловлено наше существование. Всякий раз, когда мы поднимаем руку на что-нибудь в нашем мире, мы поднимаем руку на самих себя».

Разные языки, разные интонации, разные способы мышления, но суть одна: мы плоть от плоти и соль от соли природы, мы пришли в мир, рожденные ею, и вопросы наши — от случившегося отчуждения и невольной за это вины.

Рольф Эдберг, начиная свое путешествие с капли воды и прослеживая ее пути к истокам, рекам, морям и Мировому океану, наблюдая за ее подъемом в атмосферу и падением на землю, за извечным и постоянным круговоротом воды в природе, рассказывая о могучих течениях по суше и морям, о свойствах воды и ее великой преобразовательной работе, пишет не популярный научный очерк, как может показаться с первого взгляда, оканчивающийся привычным теперь уже предостережением... Нет, его задача иная. Он словно бы и не ставит перед собой никакой задачи, а задача сама находит его, едва он застывает изумленно перед горной каплей воды, и наводит на воспоминания такой древности, которую привычными мерками не представить и для которой поневоле приходится прилагать научное мышление..

То же самое происходит и в «Духе Долины». Автор не просто вспоминает сам, но и нас увлекает по мере чтения вспоминать все глубже и дальше. Он пишет так, будто при нас возникли материки, заполнились в последних границах моря и расселились, следуя ходу воды, народы. В нас живет каждое движение планеты и каждый шаг человека. Явившись в этот мир только на миг, мы вобрали в себя всю его эпопею. Обладание этой памятью, этой генетической связанностью привело к тому, что в нас, в каждое поколение без исключения, раз за разом закладывалась связанность всего со всем и существования всего во всем. Природа рассудила, что ни к чему давать человеку для этого отдельный орган, все органы вместе должны сообщать свою информацию. Мы это слышали, видели, осязали и обоняли. Чувство родства не только с живым существом, но и с последней песчинкой и былинкой, лежащей и произрастающей подле, необходимости друг другу и дополнения друг друга вселялось, вероятно, в каждую клетку. И чувство соразмерности и справедливости, когда завещалось не брать у других больше того, что нужно, а взяв — вернуть.

Как бы то ни было, одно из первых назначений человека, коль выделился он в главную на Земле фигуру,— пастырствовать всему ходящему и ползущему, лежащему и текущему, недвижному и растущему. Гомо сапиенс способен это понимать, гомо техникус — нет. Ибо свершившиеся в нем изменения если и не так разительны, как в человеке разумном в сравнении с человеком умелым, то достаточны, чтобы говорить о безрассудстве какого-то высшего порядка. Это приближающееся к машине функционально мыслящее существо, обладающее человеческим видом.— как электролампочка, имеющая форму капли, как самолет, имеющий форму птицы, как подлодка, имеющая форму рыбы. Это подобие с другой, а часто и противоположной начинкой. Перед лицом такого создания, расплодившегося буквально в десятилетия и захватившего в свои руки управление жизнью, можно бы сложить и слово и дело, если бы за его спиной совсем рядом не просматривался конец. И подчиниться ему — значит пойти против всего, над чем миллионы лет с великим тщанием трудилась Природа. Он не эволюционное создание, а его самочинное искажение.

Когда Рольф Эдберг впервые поднялся в любимые им горы Рондане, катастрофой еще и не пахло и Земля оставалась в счастливом неведении относительно своей ближайшей судьбы. Географию тогда еще не затмила экология, и глобус Земли не напоминал облако от взрыва. Я моложе Эдберга на четверть века, но и я, впервые в юношеские годы увидев Байкал, не мог подозревать, какие над ним собираются тучи.

Воды наши — грехи наши. Как и почвы, как воздух в их единстве среды обитания. В ней нельзя сохранить что-нибудь одно, разрушая другое. Но помните из Псалтыри: «Глас Господень над водами многими...» Рольф Эдберг считает, что мы живем не на планете Земля, а на планете Океан. На две трети поверхность Земли занята водой, из космоса океан представляется единым разливом, а материки — выступающими из него

островами. Вода была и остается первоосновой жизни. У Эдберга любопытно было прочитать, что радиоастрономы ищут внеземные цивилизации в полосе волн от 21 до 18 сантиметров между водородом и радикалом ОН, которые и образуют воду.

Трагедия Земли заключается в том, что, плавая в воде, она все больше и больше начинает испытывать жажду. Еще десять лет назад можно было говорить лишь о жажде тропических, арабских и африканских слаборазвитых стран. За последние годы жажда переместилась в Европу, перекинулась в Америку, надвигается на Сибирь. Чистая и безвредная вода всюду становится редкостью. 80-е годы были объявлены ООН десятилетием пресной воды, специальной программой намечалось обеспечить ею каждую страждущую семью. Но программа эта не выполнена, на нее не хватило денег, которых потребовалось бы столько же, сколько мир тратит на вооружение за пять недель. Пять недель — десятая часть года. Если бы всего лишь десятую часть военного бюджета всего лишь одного года, как кружку воды из ведра, не пожалеть!.. Но нет, не нашли возможным взять толику из того, что пойдет на дальнейшее уничтожение и воды и воздуха.

За малыми исключениями, сегодня вся планета пьет зараженную жидкость, которую лишь условно можно назвать водой, отравленную или промышленными сбросами, или химическими удобрениями, или глобальным круговоротом в природе ядов, в котором уже нельзя отыскать ни начал, ни концов.

Наша страна — одна из самых богатых, если не самая богатая водными ресурсами. Только Байкал — обладатель пятой части поверхностной пресной воды на планете. И это не простая вода, а вода высшей пробы, как никакая другая насыщенная кислородом. Сибирские реки принадлежат к числу величайших на Земле.

Словно чума пронеслась над «водами многими» в последние четыре десятилетия. Днепр, Дон, Кубань, Днестр вместо живительной влаги несут перенасыщенные промстоками и химстоками растворы. Несть числа пересохшим малым рекам. Не надо больше гадать, «чей стон раздается над великою русской рекой». То стонет сама Волга, обезображенная плотинами и до предела загрязненная промышленностью. Каспий, Ладога и Азов плещут тяжелые от взвесей волны. Могучие сибирские реки, осиянные огнями крупнейших в мире гидростанций, представляют собой невеселую картину водохранилищ, из которых ни испить, ни освежиться. Чудом уцелевшая до сих пор Лена сейчас спешно пристегивается к плотинному хозяйству. История с Байкалом, не произойди она от отечественных голов, напоминала бы диверсию, а нынешние хлопоты по его спасению, кажется, подчинены правилу: чтобы возродить Байкал, надо его окончательно уничтожить.

И хотелось бы верить в опамятование, в разумные теперь уже не начала, а концы человека, в его искупительный опыт, но как поверить во все это, если... продолжение следует в том же духе.

И все же без надежды нельзя. Это она заставляет нас повторять те же истины и бороться за них, главные истины, которыми пренебрег человек. Это она продиктовала книги Эдберга и поднимает его, несмотря на преклонные лета, из дома и отправляет выступать с лекциями среди студентов, рабочих, профсоюзных активистов. Потерявший надежду опустил бы руки.

Я был в гостях у Эдберга в его родном городе Карлстаде. Полный вечер провели мы в разговоре. Говорить с ним непросто, это человек поразительного богатства ума и знаний. Такие люди в XX столетии, когда стало обычным отдавать образованию, как повинности, определенный срок, а потом питаться крохами со стола самосева,— такие люди ныне редкость. В этом легко убедиться и по его книгам.

Писать Эдберг начал поздно. Он прожил интересную жизнь дипломата, многолетнего члена парламента, губернатора штата. Кстати, в заслугу себе как губернатору он ставит перемены, происшедшие в профсоюзах: готовые раньше ради сохранения рабочих мест держаться за любое грязное производство, они обрели экологические принципы. Мы с этой проблемой только-только начинаем сталкиваться, когда министерства, чтобы сохранить убийственный для окружающей среды цех или завод, используют мнение рабочих коллективов.

Уже в почтенном возрасте во время одного из путешествий в обществе внуков Рольф Эдберг решил оставить для них нечто вроде завещания о наследовании Земли. Это и были «Капли воды — капли времени». Одна книга потянула за собой вторую, вторая третью...

Без надежды нельзя, и Рольф Эдберг видит пути к ней. Пути пока еще есть, но с каждым годом и днем они становятся все труднее.

Да, мир меняется в своем отношении к собственному дому. Нарастает экологическое движение, появляются новые, более чистые и менее энергоемкие технологии, человек начинает понимать опасность жить и мыслить прежними категориями потребительства. Экомышление, экосовесть, экософия становятся привычными понятиями. Моло-

дежь, напуганная грозящими ей перспективами, объединяется и требует спасительных действий. Все это, когда б не опоздало оно, способно приостановить разрушительные процессы. Но — не освободиться от них. Однако сейчас и важнее всего — приостановить. Но внукам нашим придется решать задачу посложней, чем новые технологии и экологические организации. Во имя продолжения рода им предстоит вызвать в себе, поднять почти из небытия, воспитать и утвердить гомо моралис и начать эту огромную работу с «жизненной демократии».

В «Духе Долины» у Рольфа Эдберга высказано предположение, что миллионы лет назад хлынувшая из недр Земли через гигантские разломы радиация могла в результате мутаций поставить четвероногое существо на две ноги и сделать его человеком. Не надо далеко ходить, чтобы сегодня возникло предположение обратного порядка: радиация, распространившаяся по планете в результате деятельности этого человека, способна опустить его обратно на четвереньки. С точки зрения природы это будет справедливо.

Продолжать ли нам петь безумству храбрых песни или все-таки употребить храбрость вместе с умом на то, чтобы избежать непоправимого?! Эти слова давно уже не звучат вопросом, но не стали и действием, а застряли где-то между вопросительным и восклицательным знаками.

Валентин Распутин.

КАПЛЯ

Рассвет в горах. От начала рода в каждом человеке живет утро. Ты слышал его зов.

Кругом тебя горы Рондане. Величаво сбрасывают они покровы ночи. На востоке заря проясняет силуэт Стуррондена. За Свартенютом высится Рондеслоттет — твой сказочный замок. По его подъемным мостам скользит лучезарный эскорт тишины.

Перед тобой оконтуренные светлой охрой легкие пики Смиюбэльина. Свежий утренний ветерок расчесывает склоны Рондхалсена, по которым ты поднимаешься.

Он расчесывает и душу, перебирая пряди воспоминаний, замыкающих круг времени.

Вновь эти горы и эти долины...

Ты останавливаешься на мгновение, оглядываешься назад. Где-то вдали в туннеле памяти — мальчик, юный подросток, глаза прикованы к вырезанной из какого-то журнала олеографии. Ему попалось изображение зимней ночи в этих горах, и в памяти запечатлевается имя художника: Харалд Сульберг. Потом он узнает, что художник работал над этим мотивом целых четырнадцать лет, задавшись целью создать картину, которая придала бы смысл всей его творческой жизни. Пока же подросток ощущает лишь неясное томление. Мерцание света в морозном воздухе, горный массив, словно плывущий навстречу зрителю, одновременно реалистичный и нереальный, навсегда врезаются в память. Каким-то непонятным образом они затем сливаются в уме с другой олеографией, воспроизводящей картину Теодора Киттельсена, на которой взору крестьянского парня Халдора будто в видении является мерцающий сказочный замок над темными горными гребнями. Прилежно читанный в оригинале и живо воспринятый Пер Гюнт дополняет видение: «Замок над замком встает! Ух, как сияют ворота!»

Рондане стали горами мечты за узкими горизонтами детства — недостижимыми, как призрачный дворец для мальчугана на картине Киттельсена.

Однако же через несколько лет юношески упругими шагами ты вошел через сияющие врата и состоялась твоя первая встреча с горами.

После этого было еще много встреч. И были годы, когда вместе с тобой с горами общался твой сын. Отчего впечатления обретали новую глубину.

В прошлом году здесь с тобой бродили спутники, представляющие еще более позднее поколение. Твое европейское сознание, пристрастное к календарям, отметило, что странников разделяло больше полувека,— младшие едва перешагнули рубеж своего второго десятилетия, тогда как сам ты достиг отпущенной тебе статистикой средней продолжительности жизни. Странно, как мало сказывалась эта разница. Твоя идущая на убыль мощь встретилась с их восходящей; вскоре обе кривые должны были разойтись.

Странствия с новым поколением сближают и разделяют. У твоих спутников была зоркая юная наблюдательность и большеглазое восхищение. Вокруг них жили мгновения. Они видели многое, чего ты сразу не замечал. В какой-то мере дело тут было в чисто физическом факте: их глаза помещались ближе к земле,— но все же

главной причиной следовало считать то, что юные глаза еще не износились от частого глядения. Быть молодым — значит иметь в душе место для простого и великого. И ты в их обществе ощущал, как возрастает твоя собственная острота восприятий и способность дивиться окружающему.

Разумеется, годы все равно рождали дистанцию, которая ложилась тенью между вами. Твои спутники выросли с другим представлением о мире. Твои добытые трудом, а то и в борьбе с самим собой познания были для них самоочевидными. Они знали куда больше, чем ты в их возрасте, могли четче задавать вопросы, вписывать в контекст каждое новое впечатление. Открывая неизведанное в своем первом горном походе, они шли не вслепую.

Если здесь, наверху, почти все осталось как было, когда ты впервые пришел сюда, то мир людей у подножия гор менялся все более резко. В леса твоего детства не проникали никакие яды. Ты ничего не знал о загрязненных и поруганных водоемах. Человек еще не споткнулся о ядерную энергию. Никто еще не знал слов «напалм» и «нейтронная бомба».

Вырастая одновременно с угрозами природе, стало быть, и человеку, твои младшие спутники говорили о них как о чем-то всегдашнем. Старший из братьев рисовал чернящие небо фабричные трубы и писал сочинения о шрамах на лике Земли. Любознательность обоих сочеталась с мрачным убеждением, которое полностью их не оставляло даже в самые яркие мгновения.

Сейчас ты вновь идешь один, как во время первого похода твоей юности. Ботинки кажутся тяжелее. Зеркало с каждым годом являет тебе лик все более далекого родственника.

Один — но не одинок.

Сейчас? Разве «сейчас» существует? И если да, то какая частица потока времени в нем заключена?

Говоря о времени, рисуешь себе судно, за которым струится череда событий и впечатлений, а впереди — неизведанный простор. Наше понятие о времени, сложившееся, надо думать, совсем недавно, исходит из представления о «сейчас» как о моменте, отделяющем прошедшее от наступающего. Это представление выражено в нашем языке, оно руководит нашими поступками. Но как только мы пытаемся ухватить теперешний миг, он ускользает от нас, обретая расплывчатые границы и неясную долготу.

Звезды источают свет. Свету ближайшей к нам звезды понадобилось четыре года, чтобы дойти до тебя; самой далекой, видимой невооруженным глазом,— миллионы лет. Усилив зрение телескопом, ты можешь уловить слабое излучение, начавшее свой путь в космосе вскоре после того, как образовалась твоя родная планета. А между тем «ближайшее» и «самое далекое» ты воспринимаешь одновременно.

Так и с каплями лет. Память ставит рядом все пережитое на жизненном пути. Воспоминания обрамляют друг друга, как годовые кольца на пне. Так что в «сейчас» — продление всех наших впечатлений.

Годы капают, и капли сливаются воедино.

У простых по применяемым технологиям обществ, связанных напрямую с источниками существования, часто наблюдаешь подлинное ощущение непрерывности временного потока. Они жили и во многих случаях живут в реальном измерении, которое ты с годами все сильнее желал бы сделать своим, ибо чувствуешь, что в нем и твои впечатления сделались бы богаче, а может быть, и вернее. И тебя не покидает мучительное сознание, что ты лишь временами и частично можешь соприкоснуться с ним, потому что сформирован цивилизацией, которая своими часами и календарями измеряет время категориями скорости и расчленяет его на точные отрезки.

В наиболее чистом и глубоком по охвату виде такое измерение действительности ты наблюдал у индейцев хопи. Для них происходящее измеряется не категориями скорости, а интенсивностью. В языке хопи нет ни имперфектум, ни футурум, никаких понятий, обозначающих что-либо в прошлом или в будущем. Они живут в непрерывном «теперь», где все случившееся прежде заключено в настоящем времени, и в нем же содержатся ростки того, что должно произойти.

Когда мы с нашим строем речи и мышления соотносим движение и события со временем, окружающий мир видится нам как бы через решетку; это делает наше восприятие бытия излишне плоским. Хопи измеряют все происходящее категориями ритма, у всякого явления свой ритм: свой — у дождя, свой — у камня, свой — у человека. В таком измерении пространство и время не существуют раздельно.

Для хопи, не заслоненного от прошедшего никакими преградами, естественно сказать о каком-нибудь давнем событии: «Я нахожусь здесь несколько лет назад».

Утро в горах, насыщенное возвращениями, открывает подступы к такому измерению. Тебе ведь все уже знакомо: изгибы линий, оттенки зорь. Память вкушает запахи и свет, журчащую воду и раскрывающиеся венчики дриад.

Ты находишься здесь много лет назад и за много лет до того. И ты не одинокий гость, потому что вместе с тобой идут товарищи по прежним походам и замыкает их вереницу юноша с пушком над верхней губой, твой тезка. В твоем странствии по тропам воспоминаний твои сопутники помогают тебе вновь ощутить толику радости ранних открытий.

Ветер прибавил в силе. Его напор весьма ощутим в расселинах и вдоль подножий скальных отвесов. Должно быть, поэтому в давние времена охотники назвали эту гору Смиюбэльин — Кузнечные Мехи. В погоне за оленями сюда забирались крепкие, суровые мужчины. Один из них — Пер из Хого — был бесстрашный охотник и превосходный лыжник, смело мчавшийся вниз по самым крутым склонам. О нем рассказывали много удивительных историй. Собирая в горах народные предания, эти истории услышал Ибсен и создал из того, что запечатлелось в его душе, образ Пер Гюнта с его легковесной мечтой свершить что-нибудь истинно великое — когда-нибудь, только не в данный момент.

Ты глядишь из-под ладони на сказочный замок. Чуть больше ста лет прошло с того дня, когда два первовосходителя вонзили свои альпенштоки в снег на крыше замка и возвестили, что вступают во владение горой. На самом деле выходило так, что посетители горы оказывались в ее власти. Ты сам наблюдал, как она пленяла поколение за поколением твоих товарищей по походам.

Когда вы в прошлом году странствовали вместе, младшие «первовосходители» уже поговаривали о будущих собственных походах. И на душе у тебя стало тепло. Еще один возврат!..

За Стедом и Стурсмедом копнятся облака. Под твоими ногами спешащая вода юлит между кочками, проталкивается между голышами.

* * *

Горы есть горы, они живут сами по себе.

Но в один из дней в объятиях морского ветра и соленых брызг, когда твои товарищи по прошлогоднему походу бултыхались в воде, как амфибии, ты замыслил совершить одиночное странствие к горным началам моря. Чтобы вода, так сказать, физически соединила тебя с твоими сопутниками. Какие-то из тех молекул, что освежили тебя в горном ручье, будут присутствовать в их играх на море.

Уже в долине, по пути наверх, тебя встретила увертюра — мажорная, как звуки оркестровых труб. Однако ты ищешь встречи с негромким, почти неприметным актом творения.

Он происходит вокруг твоих ног там, где ты ступаешь. На жестких стеблях и узких листьях в журчащем русле поднявшаяся от корней влага проступила на утреннем холодке и образовала большие капли, которые долго мешкают, прежде чем медленно, очень медленно оторваться и неслышно для человеческого уха пасть на землю. Несметное множество таких миниатюрных актов питает огромность океана. Непрестанно идет его возрождение.

Капля, отрывающаяся от листа или стебля,— не одно ли это из самых обычных земных явлений. И все-таки каждое такое событие — повод для удивления и раздумья. Когда смотришь на каплю, которая набухает на конце стебля, пока не может больше противостоять земному притяжению, кажется, что она заключена в эластичную пленку. Пузырь, растущий под давлением своего жидкого содержимого...

И ведь этот пузырь не лопается в падении. В пространстве между стеблем и землей движется шар.

Ударившись о камень, капля разбивается на множество капелек, тотчас принимающих форму шара и прыгающих словно резиновые мячики. Встречая воду (здесь — зарождающийся ручей), она вызывает череду неуловимых для глаза явлений. Правда, когда ливень обрушивает пулеметную очередь на поверхность озера, мы можем уследить, как капли отскакивают от препятствия. Вообще же для регистрации того, что происходит, когда капля встречается с водной поверхностью, нужны особые фотокамеры, с выдержкой в тысячные доли секунды.

Два исследователя в Кембридже фотографировали красную каплю, падающую на поверхность воды, окрашенной в синий цвет. Серия снимков показала, что сначала вокруг капли образуется кратер. Когда края кратера опускались, из центра его взлетал эластичный водный столбик, поднимая каплю на себе. Под конец капля отделялась от столбика и несколько тысячных долей секунды спорила с законом тяготения, прежде чем соединиться с объемом синей воды.

Что за сила обусловливает прочность капли?

Ученые подскажут вам ответ. Они нашли его не так давно. Всего две сотни лет назад было открыто, что вода — столь хорошо знакомое нам сегодня соединение водорода и кислорода, но лишь в самые последние десятилетия выявлены особенно-

сти воды, ставящие это обычнейшее вещество в ряд наиболее удивительных явлений природы. Сюда входит и то, что специалисты называют поверхностным натяжением; это оно заставляет воду образовывать компактные шары, которые падают с листьев и стеблей перед тобой. Ты наблюдаешь силу поверхностного натяжения в действии.

Пожалуй, можно сказать, что в падающей капле воплощена одна из основных для Вселенной форм. Известно, что изо всех тел у шара самое меньшее отношение поверхности к объему. Шар — решение, которое формообразующие силы космоса нашли как для бесконечно большого, так и для бесконечно малого. В космических просторах парят раскаленные звездные шары, скрепленные гравитационными силами. Мельчайшие атомные ядра — шарики, обязанные своим существованием тому, что нуклоны притягиваются к центру силой, очень похожей на поверхностное натяжение, наблюдаемое тобой в эту минуту. Объясняя энергию связей внутри атомного ядра, один из пионеров ядерной физики, Нильс Бор, сравнивал его именно с каплей воды.

Могучие силы скрепляют звезды, ядра, капли воды. Для расщепления атомного ядра кислорода нужны огромные ускорители. Сила поверхностного натяжения водяной капли заключена в удивительной способности водных молекул цепляться друг за друга. Причина чуда — неравномерное распределение зарядов. Положительно заряженная сторона одной молекулы притягивается к отрицательно заряженной стороне другой; нехитрое по видимости явление, но оно играет решающую роль для этой крупинки в пространстве. Молекулы образуют водородный мост с чрезвычайно плотной и прочной структурой. Нужны очень мощные силы, чтобы взорвать этот мост.

Здесь ты соприкасаешься с тем, что неотъемлемо заложено в тебе самом: связью воды и жизни. Водородный мост — мост жизни. Без него всякая земная жизнь была бы невозможна.

Когда сидишь на горном склоне подле медленного «кап-кап», вслушиваясь в безмолвие, чувствуешь близость чего-то крайне важного. Словно именно здесь — истоки многого на этом свете.

Белые кучевые облака поднялись выше. Поодаль свет зари дробится на сугробе. Ты еще успеешь туда. Спешить незачем. Когда сидишь, обратив взгляд на землю, одно открытие следует за другим, и картина мира расширяется. Кажется, Линней открыл глаза своим современникам на то, что самое великое в природе познается через малое. Капли над этим ручьем тобой еще не исчерпаны.

В известном смысле в одной только этой капле отражается вся наша Земля и ее жизненные предпосылки.

Материя не характеризуется постоянной структурой или формой. В той Вселенной, которую открывают нам современные космологи, все без исключения простые вещества могут фигурировать в тех же основных фазах, что и вода: газообразной, жидкой, твердой. Иные мы сами способны переводить из одной фазы в другую в нашей земной реальности, хотя вообще-то при нашем ограниченном опыте склонны говорить о тех или иных веществах лишь как о газах, жидкостях или твердых телах.

Уникальная особенность воды в том, что в земной среде с ее узкими границами температур и атмосферного давления она может одновременно присутствовать в трех упомянутых фазах. Как здесь, в свете утреннего солнца на склоне норвежской горы.

По законам физической химии на нашем небесном теле вода должна находиться лишь в виде бесцветного газа. О температуре можно сказать, что ею измеряется энергия движения атомов и молекул данного вещества; и основываясь на предпосылке, что все природные явления подчинены определенным законам, ученые начертили кривые и составили таблицы, показывающие, когда те или иные вещества с изменением их молекулярного веса должны испаряться или замерзать. Если бы вода подчинялась той же схеме, что большинство других веществ, она бы закипала и испарялась при температуре минус 70 градусов. Лишь при дальнейшем понижении температуры она становилась бы жидкостью, замерзающей при минус 90 градусов. Вода не подчиняется аккуратным кривым ученых, и эта ее строптивость делает нашу планету пригодной для жизни.

Живая вода, плутовка вода! Один из основных законов физики гласит, что вещества расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Охлаждаемая вода повинуется этому закону до температуры плюс 4 градуса, после чего вдруг нарушает его, расширяясь. В твердом виде она легче, чем в жидком, — иначе озера замерзали бы от дна до самой поверхности и климат Земли был бы более суровым. Теперь же зимние льды накрывают озера крышкой, и они сохраняют большую часть накопленного тепла до тех пор, пока смена времен года не растопит лед.

В огромных термических интервалах космоса — от миллионоградусного пекла солнц до жестокой стужи абсолютного нуля — лишь в самых исключительных случаях можно встретить воду в жидкой форме. Новейшие прорывы в космос учат нас смотреть на земную воду с благоговением. Космофизика и космохимия обогатили новым смыслом древние мифы с их взглядом на реки и ручьи как на нечто священное.

* * *

Ледник под вершинами Стурсмеден и Веслесмеден, где ты переводишь дух,— архив, хранящий чередование времен года и веков. Снежные тучи и налетающие с воем ледяные ветры из полярных областей наслаивались друг на друга, будто годовые кольца в древесных стволах, меж тем как солнце описывало свои круги.

Ледник — затвердевший поток, но он не безжизнен. Он скользит, незримо для глаз медленно скользит по смоченному его влагой грунту, как и самый большой ледовый массив Земли, антарктический, который площадью превосходит Европу, скользит к морю, чтобы сбросить в него айсберги величиною с гору.

Запах стужи и вкус ледяного ветра от слезящегося ледника перебрасывают мостик в мир древнескандинавских представлений. Ореолом зимы окружен первый человек, который, согласно саге, появился в этих краях: Нор, пришедший на лыжах из страны квенов на востоке, когда горные пустоши покрывал снег, был внуком Старого Сне, сына Фросте (мороза), сына Каре (ветра). Мифологический покров, которым человек облекал окружающие его явления, был окрашен ледяной суровостью; возможно, в этом отразились впечатления о сменившей более мягкий климат бронзового века лютой зиме, когда горные льды начали разбухать и стужа поползла вниз по склонам, осаждая жилища людей.

Но и в суровости есть своя возвышенная красота.

На фоне скупых предпосылок жизни в горах особенно заметна красота некоторых растений: цветущего у самой бровки ледника лютика, сияющей свежими красками среди черных скал камнеломки, лишайника ризокарпон, рисующего на бедных питанием спарагмитах будоражащие душу карты неведомых материков и океанов.

Точно так же суровость зимы подчеркивает красоту гор.

В почти сверхъестественной чистоте она выражается уже в предвестнике зимы — инее. Есть что-то волшебное в том, как после холодной безветренной ночи ничтожный сдвиг в соотношении влажности и температуры преображает земной лик. Иней, чья судьба скоротечнее людского рока,— хладный брат росы. Оба рождаются из поднимающихся над лугами и озерами водяных паров, насытивших воздух у самой земли. В росе пары сгущаются в жидкость, в кристалликах инея переходят в твердую фазу, минуя промежуточное звено.

Морозный узор окружен необычайно светлым ореолом. Наука не может до конца объяснить его. Не для того же он существует, чтобы только подчеркивать красоту. Даже расточительная красота морозного утра — часть совершенного хозяйства воды, круговорота, в котором ничто не теряется.

Земледелец с инеем не в ладу, страшится его, если урожай не убран. А ведь иней и мороз не одно и то же. Первая ночная стужа замораживает влагу в тканях растений, тогда как иней образует покров, способный уберечь листья и ботву от гибели.

Как правило, вскоре после первых заморозков к преображению ландшафта подключаются водяные пары, охлажденные в более высоких слоях воздуха. Первые снежинки — будто небесный шепот, предваряющий густые пушистые осадки, когда ты идешь как бы под обширным невесомым водопадом и парящие кругом снежинки словно светятся. А иной раз зима сразу нагрянет с севера верхом на буране, еще и в колючем уборе из ледяных иголок наподобие тех, из которых сложены перистые облака.

Что же именно происходит там, наверху? Метеорологи долго недоумевали: какие силы формируют дождевые капли весны и снежинки зимы? Кое-что удалось выяснить.

Вся влага, выдыхаемая морями и материками, роса, иней, мгла и туман, которые солнце нагревает и поднимает вверх, собираются в незримый газ водяных паров высоко в воздушном океане. Этот газ присутствует там в самые ясные дни; он настолько разрежен, что солнечные лучи не преломляются, струясь между рассеянными в пространстве молекулами. Вспоминается видимый парадокс: влажный воздух может быть легче сухого, при той же температуре и том же атмосферном давлении он может весить на две пятых меньше.

На студеных высотах, куда поднимается легкая влага, не действуют земные законы. Водяной пар может охладиться до минус 40 градусов, прежде чем вдруг затвердеть. В переохлажденном воздухе пар склонен образовывать мельчайшие капельки, такие легкие, что они продолжают парить там, наверху; нужно до миллиона таких капелек, чтобы составить одну-единственную каплю воды.

Внезапно одна из миллионов капелек замерзает, становясь микроскопическим кристалликом льда. После чего этот кристаллик словно магнитом притягивает к себе тысячи соседних молекул воды, которые тоже твердеют, выстраивая с математической точностью более крупный кристалл вокруг первичного ядра. Все это происходит в мельчайшие доли секунды.

Рождение снежинки — драматический акт творения. Она возникает вдруг, словно вылепленная из пустоты.

Она может быть вызвана к жизни микроскопической пылинкой, принесенной с земли в верхний слой атмосферы восходящим потоком воздуха. Или прилетевшей с непрестанным дождем метеорной пыли из космоса. Такая пылинка может стать толчком к образованию первого ледяного кристалла, дающего начало цепной реакции, результатом которой будет снежная буря внизу, на земле.

Возможно, обилие дождей или снегопада прямо зависит от фаз Луны. Недавно искусственные спутники позволили установить, что солнечный ветер отклоняется от обычного пути при определенном положении Луны относительно Земли. При этом заряженные частицы встречаются с нашей планетой под иным углом, не так, как полагали прежде. И выходит, что Луна влияет на количество поступающей в атмосферу метеорной пыли — стало быть, и на число ядер, вокруг которых могут образоваться снежинки.

Прибавив в весе, снежинка притягивается к земле. В падении она сталкивается с другими капельками и продолжает расти. Одновременно осколки падающего кристалла становятся ядрами, способствующими образованию новых снежинок. У одной снежинки могут появиться полчища отпрысков.

Если снежинки падают в сторону той части планеты, где царит лето, происходит новое превращение. Встречая в полете более теплый воздух, они тают, становясь дождевыми каплями, которые при дальнейшем полете тоже растут, притягивая капельки, слагающие облака. В той же части планеты, где стоит зима, падающие кристаллы одевают землю белым покровом и откладывают на ледниках новый годовой слой...

Снегопад преображает весь ландшафт. Закупоривший озера лед и свежая пороша образовали новую поверхность, углы все сглажены, и глаз скользит по плавным кривым, почти чувственным формам. Снег запечатлел течение ветра; никакое другое время года не выявляет так отчетливо потоки зримого воздуха над ландшафтом.

В лесах и полях пишется повесть такая же свежая, как сама пороша. Лось и лиса, глухарь и заяц выводят на снегу каллиграфические письмена. Идешь на мягко пружинящих лыжах вдоль этих ночных посланий, и твое воображение вкупе с тем, что тебе вроде бы известно о поведении разных животных, наполняет следы жизнью и движением.

А снежное сияние, его изменчивые с каждым часом переливы...

Однажды вечером в горах Гёте наблюдал свет, которого не умел объяснить. «Ясный, не лучистый, подобный свету Млечного Пути, но гуще, почти как созвездие Плеяд, только более пространный», он возвышался пирамидой над вершинами всех гор, «насыщенный таинственным мерцанием, более всего похожим на огни светлячка». Он зрел вершину Монблана.

Что-то похожее ощущал и ты, глядя на картину Сульберга, горы твоей детской мечты. Но зима и в низины приносит что-то от духа гор. В вечернем свете над зимним болотом в лесу можно увидеть таинственное свечение «почти как от созвездия Плеяд».

Кто-то сказал, что вода — влага, помнящая кристаллическую форму родившего ее льда. Тонкое наблюдение. Однако оно ничего не говорит о чуде самого перехода из одного состояния в другое.

Ты не в силах наглядеться на это чудо. Как мальчуган на кушетке следил за таянием морозных узоров на стекле, так и ты способен с лупой в руках сидеть на корточках возле тающего снежника, ловя миг, когда снежный кристалл превращается в каплю воды. Такое впечатление, будто снег вдруг оживает.

* * *

Однако в лупу не рассмотреть тысячи индивидуальных организмов, вмещающихся в капле.

Тем не менее эти создания двигаются, уподобляясь миллиардам небесных тел. Они существуют, плавая, паря, добывая пищу, размножаясь, чтобы воспроизводить себе подобных,— конкретные формы жизни, такие же реальные, как твоя, заполняющие свои ниши в великой панораме бытия. В одном ковше воды больше таких созданий, чем людей на Земле.

Современные камеры с мощнейшими линзами позволяют получить изображения как этих полчищ, так и галактик, удаленных от Земли на миллионы световых лет. Тогда как слабые глаза, какими наделен наш род, не позволяют нам самолично проникнуть в мир водяных капель, как не дано тебе достигнуть Сириуса или Плеяд.

Вода бросает вызов не только чинным кривым химиков, диктующим правила поведения веществ с определенным молекулярным весом. Она изменчива в своих

повадках и в своем существе. Только вам показалось, что вы уловили ее свойства, как она буквально уплывает между пальцами.

Не так уж далек тот памятный день 1932 года, когда Гарольд Юри открыл изотоп водорода, который назвал дейтерием. От обычного водорода этот изотоп отличается тем, что в его ядре помимо обязательного протона содержится также один нейтрон. И этого довольно, чтобы вода перестала быть благом для жизни. Не забыт ужас Юри, когда он понял, что им открыт доступ к силе, которая, если применить ее во внутривидовых усобицах, может стерилизовать всю планету. Зловещий нейтрон делает тяжелую воду мертвой водой: пьющие ее животные умирают от жажды, поливаемые ею семена не прорастают.

Позже был открыт третий изотоп водорода — тритий. Три изотопа обнаружены и у другого элемента, входящего в состав воды,— кислорода. Когда три изотопа водорода в разных комбинациях сочетаются с тремя изотопами кислорода, в состав чистой воды может входить до восемнадцати молекулярных разновидностей. Добавим сюда пятнадцать обнаруженных в воде различных ионов (электрически заряженных атомов). И выходит, что обычная вода — отнюдь не однородное неизменяемое соединение, как полагали до недавних пор,— она состоит по меньшей мере из тридцати трех соединений в различных сочетаниях.

Любителей порядка больше всего смущает нервозная склонность воды то и дело изменять свои химические свойства при постоянном химическом составе.

Откуда получает импульсы молекула воды? Какие загадочные силы управляют ее поведением?

Джорджио Пикарди (род. 1895), пионер космической химии, всю жизнь искавший ответа на загадки воды, добивался быстрых и чудесных изменений, воздействуя на воду электричеством. И пришел к выводу, что изменчивость ее свойств зависит от явлений, происходящих в космосе, вдали от земного шара.

Путь Солнца с его планетной свитой вокруг центра Млечного Пути не правильная окружность, а извилистая кривая. А потому постоянно меняется и положение Земли относительно мощнейших галактических полей.

Предположив, что это влияет на химические реакции в воде, приближаемся к одной из важнейших основ природы. Вчера казавшееся необъяснимым начинает проясняться. Новорожденная снежинка не просто образовалась вокруг пылинки из космоса. Капля, что оторвалась от снежника, не просто повторяет одну из основных форм Вселенной. Внутри их действуют космические силы. Эти силы действуют в ручье у подножья ледника, в реке внизу, в зеленой долине, в море, куда упавшая капля только что начала свое странствие.

Влага Земли — влага жизни. Вокруг нас и внутри нас действуют силы из далей Млечного Пути; вода передает космические послания. Земля со всеми ее живыми организмами — лишь капля в могучем прибое космоса.

В твои размышления вторгаются пылкие голоса. У бровки ледника тебе видятся несколько молодых людей, представители трех поколений и все же удивительно близкие по возрасту: они пытливо следят за тем, как капли соединяются вместе, покинув лед.

Любознательность и радость бытия — не они ли постоянно движут наш род вперед?

Капля воплощает вызов простой и ясный: чтобы приблизиться к тайнам жизни — нашей и других организмов,— нам надо больше знать о свойствах воды. Чтобы больше знать о свойствах воды, необходимо несравненно больше знать о том, что происходит в космосе.

При всех открытиях, сделанных наукой в последние десятилетия, мы только начинаем по складам читать первые страницы огромной книги.

ИСТОКИ

Люди рано начали задумываться над загадками воды.

Наверно, бьющие из недр Земли источники с чистой прохладной водой уже в раннем детстве нашего рода были овеяны тайной. Откуда они берутся? Какие силы действуют в недрах?

Пришла пора, когда пробуждающийся разум начал доискиваться истоков всего сущего. Происхождения Земли и человека.

Вопросы были столь неслыханные, что ответы на них могли быть даны только в мифах. Мифы вовсе не были догмами, их отнюдь не следовало понимать буквально. Витая за пределами закостенелого, они в то же время обладали колоритной точностью. Под их внешним покровом угадываешь великие ритмы природы. Мифы были

плодом тех же движений ума, что современная наука. С поразительной меткостью интуиция предвосхищала модели, к которым позже пришла наука и которые она подчас может описать лишь в символах и формулах.

В многочисленных многообразных мифах разных народов бросаются в глаза одни и те же основные темы. Мифы повествуют о сотворении мира. И едва ли не всегда важнейшее место уделяется воде. К этому истоку, за которым либо пустота, либо хаос, приходит следопыт по тропам мифа...

* * *

Итак, многое в мифах воспринимается как поэтическое предвосхищение того, к чему приходят вооруженные хитроумными приборами астрофизики и геологи в своем поиске истоков жизни на Земле и рождения самой планеты.

В научных построениях сотворение мира начинается с хаотических испарений и космических волн, когда прах миров, разрушенных мощнейшими ядерными взрывами где-то в космосе, собирается во вращающиеся облака. Входящие в состав такого космического облака пылинки кремния, железа, урана и других элементов образуют частицы разной величины, эти частицы вместе слагают куски горных пород, из которых на окраине одной галактики возникнет планетная система. Скальные фрагменты ноздреватые, и в их порах содержатся газы из межзвездных пучин. Эти газы оседают в недрах планеты, когда будущий дом человека приобретает каплевидную форму.

Поначалу вокруг своей оси вращается замороженный шар. Сутки длятся всего три-четыре часа, пока приливообразующая сила, вызванная Луной, не замедляет его вращение. Давление внутри вращающегося шара возрастает по мере сокращения его объема, и взрывчатый материал в недрах — продукт космических ядерных взрывов — высвобождает радиоактивность, в пятнадцать раз превосходящую нынешнюю. Горные породы нагревались и стали плавиться, при этом глубокие недра Земли превратились в раскаленную массу, по сей день пребывая в этом состоянии.

Пока Земля еще поджаривала сама себя, она не могла удерживать никакую атмосферу. Водород и гелий, составляющие 99 процентов всех молекул в космосе, отбрасывались вращающейся планетой обратно, унося с собой огромное количество тепла. Когда Земля начала остывать, ее твердеющая поверхность, ничем не защищенная от солнечных лучей, тысячелетиями была такой же голой, какой и сейчас остается Луна.

Однако раскаленная магма из горнила в недрах планеты начинает прорываться сквозь тонкую поверхностную корку; Земля становится адским хаосом пылающих вулканов. Посмотри кто-нибудь из космоса на Теллус, он вряд ли смог бы представить себе известный нам мир, а ведь без того, что тогда происходило, Земля не обрела бы своих океанов, зеленого покрова, живых организмов.

Из кратеров поднималось жаркое дыхание самой Земли. Над расплавленными горными породами клубились вырвавшиеся из недр газы — метан и аммиак, азот и великое множество водяного пара, где самый легкий элемент — водород соединился с тяжелым элементом — кислородом, составляющим четыре десятых веса земной коры.

При таких химических реакциях в горных породах молодой планеты образовалась ее вторая атмосфера. Процесс продолжался, пока пар из кипящих недр не загустел в сплошной облачный слой, настолько плотный, что ни один луч света не достигал земной поверхности. «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною» — тьма, озаряемая лишь пламенем из недр и молниями яростных гроз. Началась самая долгая ночь в истории планеты. Под ее покровом готовилась сцена следующего акта.

Остывая, верхние слои водяного пара конденсировались в капли. Земля становится водной планетой. Капли дождя — каплями лет. Годы сливаются в миллионы лет, эпохи, во время которых древние дожди поливают родившую их планету.

Осадки выпадают над раскаленной землей. Первое время дожди не достигают поверхности, испаряясь вновь при встрече с жарким слоем газов у самой коры. В современных пустынях порой можно наблюдать явление, известное как призрачный дождь. Заблудившиеся тучи вдруг открывают свои краны. Высоко над пустыней видны темные завесы дождя, но он не достигает земли, испаряясь при встрече с горячим воздухом над песками. Наверно, миллионы лет, пока шло сотворение мира, над планетой шли такие призрачные дожди.

Однако во время долгой ночи земная кора продолжала остывать. Этому помогала и характерная способность воды поглощать тепло: огромное количество его утекало через облачную пелену и верхние слои атмосферы в мировое пространство. Дожди начали достигать земной поверхности, образуя древний океан. По-прежнему идут проливные дожди, но облака уже редеют. Как раз на этом этапе развития планеты и

сказывается предельно благоприятное расстояние от Солнца: будь Земля ближе к раскаленному центральному телу системы, пары никогда бы не конденсировались, дальше — вода замерзла бы, образуя сплошной ледяной покров.

С отступлением туч и ночного мрака Солнце озаряло планету, целиком покрытую водой. Будь поверхность Земли совсем плоской, толщина водной пленки повсеместно равнялась бы двум с половиной километрам. Но вулканы продолжают извергать расплавленные горные породы. Застывая, эти породы местами поднимаются над поверхностью воды, образуя острова, из которых вырастут континенты.

Так в общих чертах выглядит сотворение мира в изложении геологов и астрофизиков. Детали могут различаться. Одни считают, что вода уже существовала в свободном состоянии, когда земной шар обрел свои конечные размеры; по мнению других, расплав в недрах планеты лишь позднее изверг водяные пары. В основном же гипотезы совпадают: вода присутствовала в начале творения как своего рода околоплодная жидкость планеты.

Но первичный источник земной воды находится еще дальше. Наука постоянно раздвигает свои рубежи, и кардинальный рывок произошел, когда радиоастрономы начали открывать одну за другой многоатомные молекулы в межзвездной пыли. В 1968 году впервые была обнаружена в далеком космосе молекула воды. И стоило получить ее радиоспектрограмму, как вода, можно сказать, непрерывным потоком хлынула в телескопы радиоастрономов.

В наше время удалось установить, что горячие пары, выдохнутые вулканами из недр земных, некогда были холодными молекулами газов, возможно, и льдом на космической пыли, вошедшими в состав облака, из которого первоначально образовалась планета. Не укройся в порах твердой коры и мантии космические пары, глядишь, и не было бы на Земле ни одной капли воды.

Научный поиск не только во многом подтвердил древние мифы. Он заметно расширил горизонты воспринятого Западом библейского предания о сотворении мира.

* * *

Седьмой день творения отнюдь не последний. Сотворение мира продолжается и будет длиться до тех пор, пока Земля когда-нибудь не растворится в пылевом облаке, из которого будут формироваться новые миры. Поднявшаяся из океана твердь непостоянна по форме и расположению. Геологические эпохи преобразуют море в сушу, сушу в море.

Теперь мы знаем, что Александр Гумбольдт, один из великих путешественников, естествоиспытателей и географов прошлого века, первым мысливший категориями экосистем, интуитивно был на верном пути, предположив, что европейский и американский материки некогда отделились друг от друга; правда, ему представлялось, что Атлантический океан был образован устремившимися с юга на север водами библейского потопа, проложившими нечто вроде огромной речной долины. Мы знаем, что Альфред Вегенер был еще ближе к истине, когда сформулировал свою теорию дрейфа континентов, которую его современники посчитали такой смехотворной, что о ней не полагалось даже упоминать на геологических факультетах, чтобы не смущать умы студентов.

Исследования последних двух десятилетий выявили причинную связь, не обнаруженную Гумбольдтом и Вегенером, хотя они и наблюдали следствия. География, метеорология, океанография и астрономия вместе даровали нам новые знания о нашей родной планете. Образ земной коры, расчлененной на постоянно дрейфующие плиты, стал привычным для нас благодаря популяризаторской деятельности современных средств информации. Очертания суперконтинента Пангея с обнимающими океан Тетис рукавами Лавразия и Гондвана почти так же запечатлены в нашей памяти, как контуры материков, на которых мы временно дрейфуем. Мы усвоили, что континенты не только *могут*, но и *должны* перемещаться.

Сейсмическое зондирование показало, что земная твердь — тонкая кора, уходящая вглубь всего на пять—сорок километров. В масштабе она тоньше яблочной кожуры. Со своими блистающими горными вершинами и зелеными долинами земная кора — лишь тончайший слой шлаков на поверхности расплавленной массы, тоньше всего на дне океанов с их тяжелыми базальтами, несколько толще в сложенных более легкими гранитами материках.

По краям разделившихся частей шлаковой пленки бушуют вулканы, колышется земля. Через трещины в коре, как и на заре творения, извергается кипящая магма. Из глубокой борозды на Срединно-Атлантическом хребте, достигающем в высоту трех километров, непрестанно поступает магма, образуя новое океаническое дно, которое продолжает удалять Евразию и Америку друг от друга, правда, всего на два

сантиметра в год, но за двести миллионов лет это будет равно подвигу нового Атланта. Зато сокращается площадь Тихого океана; в частности, тяжелые базальты его дна втискиваются под Южную Америку в глубоководном желобе ниже Анд. Так и встретятся когда-нибудь Евразия и Америка с противоположной стороны, образуя, быть может, новый суперконтинент. Африка разворачивается на Запад относительно Европы, и Красное море расширяется, обещая стать океаном.

Хотя анализы не обеспечивают полной точности, геологи склоняются к тому, что вулканические выбросы в значительной мере состоят из воды, которая просочилась в недра через горные породы и впитывается магмой, когда она прорывает земную кору. В тех местах, где океанические плиты — например, в Тихом океане — погружаются в мантию под материком, чтобы расплавиться в недрах, они также захватывают с собой воду, которая поглощается магмой.

Стало быть, выдыхаемые вулканами водяные пары по большей части входят в круговорот: вода из поднебесья поступает в подземелье, чтобы оттуда вновь выбрасываться на поверхность и становиться облаками. Элемент природы, которому свойственно падать вниз, поднимается из земных недр, чтобы играть свою роль в великом безотходном процессе.

Каждая капля воды на Земле участвовала в ее образовании. Количество воды, полученной из космоса, никогда не возрастет. И никогда не убавится. Только качественное состояние меняется.

ПОТОК

Младшие услышали гул задолго до того, как путники подошли достаточно близко, чтобы увидеть водопад. Немного погодя и ты уловил журчание за горными бастионами тишины.

Позади у путников не один день зрелищ и впечатлений. Горные дали в солнечном мареве, что вливались через зрачки в кору головного мозга, чтобы надолго там утвердиться. Благословенное чувство собственной малости среди лабиринта гряд и теснин Смиюбэльина. Сумерки, когда чудилось: среди эркеров, галереи винтовых лестниц Рондеслоттета шепчутся горные тролли.

И всюду верным спутником — вода. Капли, на заре — неизменные капли с листьев и стебельков. Журчащие струйки среди камней. Белые струны ручьев на отвесных склонах. Тихая гладь водоемов с опрокинутыми вершинами. Рокот под ледниками, где собиралась талая вода; глядя, как она вырывается на волю, переливаясь льдистой синью в солнечных лучах, по-новому постигалось содержание слова и с т о к и.

И вот в девственно живописной долине Ланглуп, там, где тропа пересекает одноименную речушку,— водопад, тот самый, что манил к себе далеким гулом. На его фыркающих ступенях, в искристых водоворотах собрана вода из тысяч мест, послушная силам тяготения. Сама речушка — один из сотен притоков, которые река, широкой дугой огибающая горный массив, принимает в долинах Дёрол и Атна, накапливая силы для долгого пути к морю.

Самые юные путники уже резвятся у водопада, как всегда у любой воды. Карабкаются на скользкие камни, подставляя брызгам лицо. Есть в них что-то от амфибий.

Но то было другое лето, другое утро...

* * *

Теперь — одинокий путник у той же речушки, того же водопада. Закроешь глаза, и гул в одно и то же время рядом и где-то далеко.

Может быть, в самой дали журчит ручей твоего детства. Доверительно бормоча и булькая, крутя водяные колеса и неся через камни лодочки из коры к Атлантике, он все эти годы неотделим от потоков, которые звали тебя передохнуть и прислушаться. Сокровеннейшая струя твоих воспоминаний...

Ты родился у воды. Вода сопровождала тебя во всех твоих переездах. И теперь, на исходе жизни, за окнами кабинета — вода. Когда — степенная река, когда — лесное озеро, где из утреннего тумана доносится голос гагары, куда приходят на водопой косули и лоси и где журчит ручеек, вновь обретенный. Постоянная смена бликов на водном зеркале — часть твоего бытия.

В города ты направлял свой путь, чтобы трудиться, в нетронутые уголки природы — чтобы жить в согласии с велениями души. Наверно, эта двойственность знакома людям с тех самых пор, как они начали сбиваться в кучи в тесных поселениях. Когда Гораций удалился в Тибур у горы Монте-Сабини, он обрел там

то, что почитал существенным: речушку с прозрачной водой, перелесок и клочок земли. Литература изобилует примерами таких устремлений.

* * *

Покорный собственным влечениям или случайному стечению обстоятельств, ты за минувшие годы побывал у многих текучих вод. Коллекционер звуков воды, разных видов ее движения...

И все-таки каждый раз ты возвращался к речкам Севера. У них своя манера поведения в общении с ландшафтом. Большие реки текут в других широтах. Тебе же милы речки геологически молодых регионов. Подобно озерам, они — напоминания о ледниковом периоде, пусть даже русла их подчас были размечены в предшествующие эпохи.

Горный поток — река Скандинавии. Он переменчив, но не капризен, проказлив, как лесная фея, но достаточно деловит. Комбинируя водопады и заводи, мысочки и перекаты, он приноравливается к ландшафту, который еще не успел до конца изваять.

Когда следуешь вдоль потока, наблюдая, как он примеряется к местности, проходишь через ландшафты разного типа. И поражаешься, насколько гармонично текучая вода вписывается в разную среду. Отражая ландшафт в своем зеркале, она в то же время служит проводником, помогающим глубже познать его.

Резвый прохладный ручей, лихо ныряющий вниз с крутых скальных уступов, по своему характеру неотъемлемая часть горного ландшафта, выразительно повествующего о деятельности геологических сил. В зеленом поясе ниже границы леса поток еще полон воспоминаний о холодных вершинах, но и характер леса уже влияет на его цвет, и голос, и поведение. Так и кажется, что он отвечает на язвительные крики кукушки, отзывается на шелест колеблемой ветром листвы. Там, где вдоль берега выстроились мутовки хвощей, можно в миниатюре представить себе леса хвощеобразных, которые несколько миллионов лет назад покрывали обширные части планеты и пышные кроны которых создавали иное обрамление для текучих вод. Теперь их карликовые родичи украшают берег изящными узорами под сенью совсем других гренадеров растительного мира, напоминая в то же время, что и сегодняшние леса лишь временные формы флоры.

Достигнув равнины, поток расширяется, пески и суглинки мягко выстилают его ложе, течение замедляется. Реке передается что-то от простора плоского рельефа. Она охотно продлевает свое течение, извиваясь меандрами. Горный ручей, который ты видел пляшущим в лихом галопе, здесь в своем зеркале отражает спокойный лик равнинного ландшафта.

Каждый участок реки еще и дека инструмента, на котором играют разные времена года и переменчивая погода.

Река — всегда изменчивая, всегда другая и все-таки та же самая.

* * *

Никому не дано до конца понять текучую воду. Ни тому, кто, живя у потока, приспособился к его норову. Ни ученому мужу, пытающемуся решить загадки гидродинамики.

Взаимодействие текучей воды с ландшафтом глубже, чем оно представляется глазу. Дно реки, ее берега, обращенная к небу поверхность — не преграды непроницаемые. Между водой и землей втайне идет негромкий, но непрестанный диалог.

Большая река, малая, ручей существуют и в глубине земли, по которой текут. Они питаются не только той водой, что струится по поверхности, рожденная ледниками или каплями дождя. Менее половины воды в реке составляет поверхностныи сток. Главный источник — родниковые жилы, грунтовые воды и влага, которая всегда сама по себе сочится и струится в почве, пропитывая ее. Подземные воды — часть речного потока.

Тем не менее быстро циркулирующие поверхностные воды вместе с подземными ручьями, реками и озерами составляют единое целое на этой водной планете.

* * *

Вода в пути откуда-то куда-то всегда чем-то притягивает к сеое.

Пожалуй, нам в потоке видится нечто, чем мы сами хотели бы обладать в жизни и в мыслях: способность к обновлению, созиданию, чистоте.

Но и большие глубины влекут нас. Подобно Леонардо да Винчи, людей разных эпох и разных стран волновала мысль о том, что, опуская руку в поток, ты прикасаешься к концу того, что было, и началу того, что будет. Река — постоянно

другая и неизменно та же — стала уже в древних мифах символом потока жизни, потока всего сущего, нескончаемого круговорота.

Громче всего текучие воды говорят своими водопадами. Ниагара — «Большой шум», низвергающий воды Замбези с гигантского уступа Ммози-оа-тунья — «Рокочущий дым», которому суетная пошлость присвоила имя Виктории, широкие завесы Игуасу в бразильских дождевых лесах, окутанные водной пылью горные падуны, все эти эрозионные ступени — кафедры, с которых звучит громогласная проповедь природы, их гул — хоралы в исполнении тысяч органных труб, от которых все кругом вибрирует. Вздымающиеся над каскадами тучи брызг и дымка благословляют окружающее своей святой водой.

Если ты хоть однажды слушал большой водопад, его органная музыка продолжает звучать в твоей душе как неземная, космическая фуга.

МОРЕ

Косматый мускулистый вест врывается в продушины оленьих гор. Атлантика ударяет в нос.

Западный ветер и северное море сожительствуют в бурном двуединстве. Восточный ветер бывает порой навязчивым, но он черств и малость тривиален. Северный и южный ветры — каждый на свой лад виртуозы, способные на впечатляющие, хотя и быстротечные гастроли. Вест — властелин, деспотичный и капризный, как все тираны.

Он налетает с моря дождей и туманов, из той стороны, где встреча Гольфстрима с льдисто-зеленым потоком Лабрадорского течения постоянно рождает зоны низкого давления и циклоны, чьи завихрения засасывают воздушные массы над обширными пространствами в своем стремительном полете. Там, где вест берет старт от иссеченных льдами берегов Лабрадора, чтобы ринуться через Атлантику к Европе, он разрывает в клочья облака и хлещет волны, разметывая брызги и пену над курящимся морем. Он лепит гористый ландшафт из череды отливающих свинцом могучих валов, чем-то похожих на гранитные увалы. Внезапными вихревыми шквалами он сталкивает друг с другом дыбящиеся волны, кувыркает тучи, месит молочно-густые туманы, гонит по кругу дождь-косохлест. Он может выть, как тысяча бесов. Он будоражит душу ароматом приключений.

Ветер приносит море в глубь материка. В лесах за десятки километров от берега наполняет воздух его близостью, его дыханием.

Он тормошит одинокого странника на возвышенности вдали от моря, и тому чудится, что он в одно и то же время среди гор и на морском берегу, где лавины волн разбиваются об утесы. Борясь на перевале с тугим встречным ветром, странник вспоминает, как вместе со своими водолюбивыми товарищами по прежним походам слушал голос моря, истоки которого ищет сейчас.

* * *

Сидеть на омытом волнами камне, вдыхая море и ветер, и мыслить океанически. Пытаться представить себе объемлющий планету водоем, вознесенный над временем и пространством.

Вода преобладает на этом небесном теле, ею занято семь десятых его поверхности. Тем не менее она — всего лишь тончайшая пленка на мелкой вмятине земной коры. Когда Марк Аврелий в военном лагере на берегу Дуная размышлял о великом между малыми битвами, время его бытия представлялось ему мгновением в вечности, море — каплей в мироздании. Нынешние измерители пучин подтверждают: будь Земля размером с яблоко, Мировой океан составил бы каплю.

Эта самая капля внушает тебе исполинские мысли.

С той поры, когда планета представлялась нам гораздо большей, мы привыкли говорить о семи морях. На самом деле планета — один сплошной океан, над которым островами поднимаются атоллы и материки. То, что мы называем Атлантикой, Индийским, Тихим океанами,— заливы водоема, объемлющего Землю к северу от антарктического ледяного острова.

Океан со всеми его частями, получившими от нас раздельные имена,— единая динамическая система циркуляции. Прибой у твоего утеса несет послание от всех берегов мира. В нем вода, щебетавшая в тропической лагуне и шипевшая среди полярных льдов. Нельзя понять плеск близкой атлантической волны, не зная того, что происходит в антарктических пучинах и в других великих океанических заливах.

Среди примечательных черт воды назовем то, что общий ее объем остается постоянным в веках. Могут меняться очертания и глубины морей, могут шириться

и исчезать заливы Мирового океана — количество воды неизменно. Сегодня 97 процентов всей воды заполняет мелкие чаши планеты в виде соленых морей. Только 3 процента составляет пресная вода, притом три четверти ее заморожено в ледниках и полярных льдах. Остальное — менее процента от общего количества — в основном составляют подземные воды в жилах и пустотах, и лишь малая часть приходится на реки (что восхищают тебя своими бурными потоками) и озера (порой воспринимаемые тобой как внутренние моря). И только три стотысячных процента витают в виде пара в атмосфере.

Облака и реки — тоже море, одолженное на время атмосфере и суше. Море — все та же Вода, что была в начале творения. Но достаточно менее процента воды изменить свой облик, чтобы изменились все берега и с ними весь лик планеты.

Береговая линия зависит от постоянно действующей в веках силы. Эта сила — собственное давление воды. Каждая капля в океане давит на каплю, лежащую под ней, и так до самого дна, что заставляет воду сжиматься. Не будь этого, уровень воды был бы на добрых двадцать семь метров выше теперешнего и твой омытый водой камень лежал бы на дне материковой отмели.

А вот то прибывающие, то убывающие в ритме, подчиненном геологической шкале времени, льды заставляют очертания морей колебаться, подобно тому как колышется флаг на ветру.

Если бы льды Гренландии и полярных областей растаяли, уровень моря возрос бы на семьдесят метров. Обширные приморские районы оказались бы морским дном.

На самом деле, во всяком случае, в последние миллионы лет нормой были ледниковые периоды; зеленые паузы вроде той, которая пришлась на нашу долю, были краткими интермедиями. И когда ледовый покров достигал максимума, уровень моря был на сотню метров ниже теперешнего. То, что мы называем материковой отмелью,— временно затопленное Мировым океаном приморье. Подобно плечам человека, плывущего стилем баттерфляй, оно то поднимается над водой, то погружается в воду.

Еще не так давно шельф — прихожая материков — не был покрыт водой; тогда площадь суши на 15 процентов превышала нынешнюю. Дух захватывает, когда, созерцая бушующий водный простор, пробуешь представить себе, что происходило в промежутке от пятнадцати до десяти тысяч лет назад. Вода отступала, освобождая место для тундры, которую сменили хвойные леса и дубравы. Одетые в шкуры охотники преследовали мамонтов в угодьях, над которыми предстояло плыть мастодонтам-танкерам. Птицы порхали между деревьями, где потом будут ходить косяки рыб. Над полянами у бурных рек вьется дым стойбищ, где люди живут, любят и умирают, оставляя следы своих деяний и бытия среди того, что станет донным илом мелкого моря. Там, где кончается суша, вдоль бровки материка беснуется набравший силу над глубоководьем прибой.

Мысленно удалив воду, временно затопившую угодья древних охотников приморья, можно убедиться, что контуры материка продолжает пологий склон с возвышенностями и долинами, наземные русла рек тянутся дальше, пока не разветвляются там, где обрывается склон. Несущие ил пенистые потоки, рожденные тающими льдами, прорыли ложбины, заканчивающиеся глубокими бороздами. Древние берега оставили свой след в виде валунных гряд, подобных тем, что в вылепленном ледником ландшафте говорят нам, где некогда проходил урез моря. Сам материковый склон с его резко очерченным профилем наглядно обозначает линию разлома, некогда разделившего два полушария.

Продолжая мысленно удалять воду и за пределами материкового склона, мы вплотную прикоснемся к одному из величайших достижений нашего времени. Долго море казалось людям бездонным. Ведь за бровкой шельфа никакие лоты не могли нащупать дно.

Наконец эхолот вместе с сейсмическими, термическими и магнитными измерительными приборами раздвинули пределы известного нам мира, выявив скрывавшийся под влажным покровом самый обширный ландшафт всей планеты. Когда десятки тысяч замеров, произведенных исследовательскими судами разных стран, позволили составить карту, впервые показывающую подлинный облик Земли, наука была вправе считать это одним из своих великих завоеваний.

На этой карте материковый склон, служащий бровкой континентов, за которой начинаются настоящие глубины, предстает как одна из наиболее характерных черт в облике нашей планеты. На три-четыре тысячи метров спадает он круто вниз, к исчерченной на больших площадях песчаными дюнами равнине, занимающей более двух третей поверхности Земли.

Местами, где океанское дно под углом 45 градусов ныряет под континент, чтобы расплавиться в некогда породившей его мантии, материковый склон граничит с многокилометровыми впадинами. В самой глубокой из них — Марианском желобе

у острова Гуам, где на шкале эхолота стрелка перевалила за отметку одиннадцати тысяч метров,— вполне укрылся бы Эверест под двухкилометровым слоем воды. Цифры, говорящие о недостижимых для большинства земных тварей пределах. Немногие из самых отважных поднимались на высочайшие вершины, еще меньше число тех, кто опускался на величайшие глубины. Но и то: многого ли они достигли? Двадцать тысяч метров, отделяющие самую высокую точку земной поверхности от самой низкой, составляют три тысячных радиуса Земли. Поглядеть издалека, так самая высокая гора покажется едва различимой шишечкой, самый глубокий желоб — крохотной царапиной на земном шаре.

Морская пучина — мир вечного мрака и вечного холода. Волны процеживают солнечный свет так, что в прозрачной воде уже на глубине пяти метров он наполовину поглощен. Последняя голубая мгла пропадает у порога шельфа. Дальше не будет ни суток, ни времен года. Если температура поверхностного слоя за сутки варьируется в пределах одного градуса и меняется на несколько градусов в зависимости от времени года, то в пучине она неизменно держится около нулевой отметки.

Немногие доступные нам изображения этого потаенного мира позволяют представить себе ландшафты потрясающей красоты. Самое поразительное открытие — горные хребты, протянувшиеся зигзагами на пятьдесят тысяч километров через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Над этими хребтами, перед которыми теряются величайшие горные массивы материков, возвышается лес вершин и вулканических конусов. Некоторые части хребтов получили собственные имена: гора Венера, гора Юпитер, Альбатросские Кордильеры.

Но наиболее радикальным явилось открытие разломов полуторакилометровой глубины, которые тянутся вдоль оси срединноокеанических хребтов. В этих разломах запечатлены минувшие миллионолетия, в них пишется свежая история всякий раз, когда трескается земная кора, и в них же предвещается будущее.

Только в последние десять—пятнадцать лет разломы начали открывать нам свои тайны, но и то, что мы уже узнали, вызвало переворот в представлениях бственные имена: гора Венера, гора Юпитер, Альбатросские Кордильеры.

Но наиболее радикальным явилось открытие разломов полуторакилометровой глубины, которые тянутся вдоль оси срединноокеанических хребтов. В этих разломах запечатлены минувшие миллионолетия, в них пишется свежая история всякий раз, когда трескается земная кора, и в них же предвещается будущее.

Только в последние десять—пятнадцать лет разломы начали открывать нам свои тайны, но и то, что мы уже узнали, вызвало переворот в представлениях пути на дно задерживаются в организмах планктона. Подобно тому как в наземных горах вода струится бурными потоками, так вдоль материкового склона в пучину низвергаются потоки мути. Подобно тому как ветры приводят в движение песок пустыни, так и глубинные течения могут далеко переносить осадки по морскому дну.

Пока песочные часы отмеряют геологическое время, одна крупинка ложится поверх другой. Пусть за тысячу лет дно поднимется на сантиметр-другой, доли миллиметра. Все равно, с течением времени откладывается столько осадков, что за сто миллионов лет они могли бы заполнить океанские чаши, поднять море и покрыть водой весь земной шар. Достаточно уровню воды подняться на тысячу метров, чтобы лишь одна четверть площади материков высилась над морем скалистыми араратами.

Однако этого не происходит, потому что стенки океанских чаш растягиваются или их дно погружается в мантию. Разлом по оси Срединно-Атлантического хребта подвержен постоянным спазмам, сотрясениям, извержениям лавы. Непрестанно выступающая магма симметрично образует новое дно с обеих сторон, все больше удаляя полушария друг от друга.

Море старо, континенты моложе, но еще моложе дно океана. Возраст старших его частей, наиболее удаленных от разлома и близких к материкам, исчисляется в сто пятьдесят миллионов лет. В центре океана оно родилось вчера, всегда вчера, все эти миллионолетия — вчера. Здесь новое дно образуется сегодня, завтра, идет непрерывное омоложение, меж тем как берега дрейфуют и песочные часы переворачиваются, так что морское дно превращается в горы.

Происходящее в долинах океанических хребтов опрокидывает горные породы. Опрокидываются и наши представления о родной планете. Волны океана погребли последние остатки статического мышления. Перед нами вечно движущийся, непрестанно обновляющийся мир.

Все поверхностные волны, как бы злобно они ни шипели, как бы высоко к небу ни вздымались,— всего лишь мелкая рябь на могучей волне прилива, который катит по земному шару, подчиняясь длительному ритму, и лишь континентальные плиты могут его остановить; до Ньютона долго преобладало мнение, что приливная волна вызывается тяжелым дыханием китов. Длина одной прилив-

ной волны может равняться половине окружности планеты. В новолуние она может тяжким грузом обрушиваться на берег, когда Луна в первой четверти — нерешительно пересыпать песок, но всегда она налицо, самое постоянное явление на этой изменчивой планете.

Ни в чем так наглядно не выражается близость космических сил, как в вечном странствии прилива. Луна и Солнце неизменно притягивают океаническую оболочку вращающейся Земли. Дважды за лунные сутки, длящиеся на пятьдесят минут больше солнечных, бьется пульс прилива. Вращаясь по эллиптической орбите, Луна каждые 27,55 суток оказывается ближе всего к Земле, и тогда же сильнее ее притяжение.

Хотя Солнце в двадцать шесть миллионов раз больше Луны, из-за разницы в расстоянии его притяжение наполовину меньше лунного. Каждые 29,52 суток Солнце, Луна и Земля располагаются примерно на одной прямой, и раз в два года это совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. Когда оба небесных тела объединяют свои силы, образуется бурлящий и рокочущий сизигийный прилив. Ни одна капля Мирового океана не может избежать влияния соединенных приливных сил. Они воздействуют и на воздушный океан; даже упругая земная кора тянется к двум небесным телам.

Рано или поздно прилив встречает преграду в виде материка. При этом в секунду высвобождается столько же энергии, сколько вырабатывают за год все наши электростанции. Постоянное торможение увеличивает период обращения Земли вокруг своей оси за сто лет на две тысячных секунды. И каждый год Луна удаляется от нас на шесть сантиметров.

Некогда Луна находилась гораздо ближе к Земле, тогда приливы были сильнее, сутки короче. Когда-нибудь Луна совсем уйдет по спирали от нашей планеты, мощь приливов умерится, сутки станут длиннее.

* * *

Море не только приемник наземных рек. У моря есть свои реки.

Словно Гулливер в стране великанов, ты смотрел, как могучие реки разных континентов несут в океан свои воды.

Но величайшая река Южной Америки — не Амазонка, Азии — не Янцзы. Для Южной Америки это течение Гумбольдта, влекущее вдоль западных берегов континента антарктические воды к экватору; для Азии это Куросио, «синяя соль», которое из района вокруг Тайваня устремляется к западному побережью Северной Америки.

Величайшие реки планеты — те, что текут в морях и, в отличие от наземных рек, никогда не разливаются и не пересыхают. При средней ширине восемьдесят километров и глубине от пятисот метров до километра Гольфстрим переносит в двадцать пять раз больше воды, чем изливают в море все наземные реки, вместе взятые.

Впрочем, описание больших океанских течений нельзя сводить к сравнению с реками. Течения — один из элементов постоянной циркуляции воды. Они входят в состав огромных водяных колес, вращающихся в океанах по обе стороны экватора и у полюсов вокруг земной оси. Рождаемые ветрами, они, как и большие ветровые системы, управляются вращением Земли. Начинаясь внизу под пассатами как идущие на запад экваториальные течения, они словно встречают у материка некую незримую силу, которая вынуждает их от экватора устремляться в сторону ближайшего полюса.

Так, Гольфстрим, вобрав подогретые солнцем тропиков глубинные воды и проследовав вдоль восточного побережья Америки к Ньюфаундленду, сворачивает на восток. За Исландией его синий поток разделяется на две ветви. Бо́льшая из них вращением Земли отклоняется на юг. У берегов Африки она смешивается с более тяжелой холодной водой, которая вдоль океанского дна проникла из полярных областей в тропики, замещая воду, унесенную экваториальным течением. Великое водяное колесо в североатлантическом бассейне совершило один оборот, круг замкнулся, неугомонные молекулы воды начинают следующий. Ступицей колеса служит Саргассово море — море относительного штиля.

Меньшая ветвь Гольфстрима направляется к Северному Ледовитому океану и медленно описывает круг в арктическом водяном колесе, чтобы спуститься вниз вдоль восточного побережья Гренландии, охлажденная пунктиром айсбергов, не спеша плывущих призрачными кораблями навстречу своей кончине в более теплых широтах. В холодном Лабрадорском течении Гольфстрим встречает, словно чужака, часть самого себя. У места их встречи, окутанного туманами, как раз и начинает разгоняться ветер, который обрушивает прибой на берега Европы и с воем врывается в горные ворота Скандинавии, гоняя по склонам клочья разорванных им облаков. Властный нрав этого буяна обусловлен тем, что он составляет часть одного из поясов западных ветров, соответствующего на севере «ревущим сороковым» Южной Атлантики...

* * *

Бывают дни, долгие дни сплошного атлантического тумана, когда волны и тучи будто сливаются вместе. В такие дни всем существом ощущаешь, что море и воздушный океан — части одного организма.

Ничто в море — ни волны, ни течения, ни соленость, ни температура — не свободно от воздействия атмосферы. И ничто в воздухе над морем и сушей не свободно от влияния моря. Зной и холод, капли и снежинки, восходящие и нисходящие потоки воздуха, ветры в высокогорных долинах — все связано с динамикой Мирового океана. Все составляет сплошное единое целое, где нет места ни началу, ни концу.

Ветер водит хоровод и с морем и с воздушным океаном. Иногда он летит быстрее, чем вращается планета, иногда отстает от нее. Но никогда не отдыхает. Он сам рождается и развивается во взаимодействии моря и атмосферы.

Порой слияние бывает полным. Циклоны, ураганы, тайфуны, что проносятся над океанскими водоворотами со скоростью до двухсот километров в час, рождаются теплом и испарениями морской воды, которые, поднявшись вверх до высоты перистых облаков, расширяются и дают выход своей энергии среди туч. На поверхности океана хороший ураган способен вздымать вверх волны высотой до пятнадцати метров, разбивая их гребни в пыль, подобно снежным вихрям. В такие минуты опять же кажется, что море и воздух — одна стихия.

Доискиваясь истинной природы вещей, Лукреций отмечал: «Кажется удивительно, и прежде всего удивительно людям, что море не прибывает ничуть, несмотря на стремление потоков, что отовсюду в него впадают и льются обильно».

Объяснение было найдено: все дело в одном из великих круговоротов, в гигантском колесе, обеспечивающем постоянную циркуляцию пресной воды, колесе, приводимом в движение Солнцем, которое заботится о том, чтобы море испаряло столько же воды, сколько оно получает от рек и дождя.

Когда море, перестав быть морем, в виде облаков поднимается в выси, откуда оно некогда спускалось древними дождями, образуются подчас ландшафты дивной красоты. Не устаешь поражаться тому, что стотысячные проценты воды, находящиеся в небесах в виде газа, могут конденсироваться в несметные множества прекрасных летучих образов. Лежа навзничь, наблюдать полет облаков, чтобы запомнить и потом описать их формы,— тончайшее наслаждение. У всякого облака, даже самого изменчивого, своя индивидуальность.

Порой летнее небо уподобляется морю с гребнями волн и с континентами, которые словно плывут в синеве, как плывут материки в океане.

Во всех различных проявлениях жизнедеятельности облаков участвует море. Как приемник и как источник благих даров.

* * *

Море — везде.

В вечном движении над горами на дне, в глубинных течениях, в беззвучном диалоге паров и пузырьков воздуха с атмосферой, в парении туч. На этой планете нет ничего такого, в чем так или иначе не участвовало бы море.

Быть может, волны, гонимые ветром в глубь фьорда, воплощают основной вид движения во Вселенной, подобно тому как мягкие шарики капель повторяют форму небесных тел.

Все, что мы знаем о стебле у наших ног и о самой далекой галактике, дошло до нашего сознания на волнах света и звука. Скорость, с какой свободные протоны и электроны солнечного ветра пронизывают межпланетное пространство, в среднем в девять раз превосходя скорость звука, напоминает своими вариациями морской прибой. Магнитосфера Земли, умеряющая действие солнечного ветра, колышется волнообразно в соответствии с силой этого ветра, которая меняется в такт с вращением Солнца вокруг своей оси, с периодом в 25 земных суток на солнечном экваторе.

Вся Вселенная начинает нам рисоваться как сплошная огромная приливная волна, покрытая рябью прочих волн.

Должно быть, древние китайцы интуитивно понимали это. Образ волн лежал в основе их представления о бытии. С какой-то одержимостью они передавали ритмы пульса, вдоха-выдоха, роста и увядания волновым движением, тогда как западный человек пребывал в плену своей модели, основанной на частицах, представления о том, что все можно расщеплять на меньшие части, пока не получишь самый малый кирпичик, первооснову бытия.

Только в последние десятилетия проникновение в недра материи отвело волновой модели естественное место в западном мышлении. Квантовая теория сокрушила

механистическую картину мира и представила природу как сложную комбинацию волн. В современной физике элементарных частиц волны и частицы слились воедино.

В безбрежном пространстве, где облака частиц конденсируются в космические капли, воспринимаемые нашим глазом как звезды и планеты, известная нам форма жизни — пузырек пены на волне космической эволюции.

ЖИЗНЬ

Ты плывешь на лодке ночью по осеннему фосфоресцирующему морю. С лопастей весел капает жидкое пламя. При малейшем движении в воде вспыхивают огоньки организмов величиной меньше песчинки. Порой они собираются на ночные встречи такими полчищами, что в одном литре воды вмещаются миллионы светящихся шариков.

Ты зачерпываешь руками частицу моря. На твоих ладонях переливаются миллионы жизней. Как проблеск солнца во мраке. Как отсвет космоса.

Это свой, особый мир, но и этот тоже. Блестки в чаше твоих ладоней приближают праокеан, в котором начали копошиться первые клетки. А за морскими горизонтами угадываются космические просторы, откуда некогда явились кирпичики жизни.

В определенном смысле у жизни нет начала. Жизнь — то, что мы называем жизнью,— одна из форм организации материи, того, что мы называем материей. В определенном смысле жизнь всегда присутствует везде.

Как химическое соединение жизнь не уникальна. Она есть сплав распространенных во Вселенной элементов. Это водород, простейший среди атомов, исходное вещество ядерных реакций, создающих в недрах звезд все более сложные вещества, которые космические ураганы разбрасывают из горнила умирающих звезд светящимся пеплом по небосводу. Кислород, вместе с водородом образующий влагу жизни. Азот — главная составная часть всех белков; углерод — остов всего живого. Кальций — цемент для скелетов; магний для хлорофилла растений; железо для гемоглобина крови; сера, фосфор... Все представлено в небольших дозах в космическом ассортименте и все используется жизнью.

Вещество, слагающее растения и животных земного шара, прошло весь путь от рождения первой звезды. Коллапс звезд — начальная предпосылка жизни. В дыму взорвавшихся миров силы созидания соединили атомы в молекулы. Современные исследовательские экспедиции в космосе выявили, что многие молекулы космических облаков — органические, основу их составляют цепочки атомов углерода.

Во всяком случае, нам известно, что мельчайшие кирпичики жизни находятся в пылевых облаках Млечного Пути и притягиваются небесными телами — такими, как Земля.

Процесс созидания, начавшийся в космосе, очевидно, продолжался в древней атмосфере Земли. То, к чему сегодня пришли исследователи со своими ретортами, позволяет заключить, что встреча ультрафиолетовых лучей и буйных гроз с парами из недр планеты вызывала химические реакции с образованием нуклеиновых и аминокислот.

Последующий путь из воздуха в море был недолог. Мало-помалу в морской пене сложилась молекула, наделенная волшебным свойством делиться, создавая свою копию.

Чудо, тихое чудо претворило то, что было химией, в то, что нами воспринимается как жизнь. Код жизни начал составляться в космосе. Но предпосылки жизни могли реализоваться только в Мировом океане, больше нигде. Жизнь была рождена водой и в воде.

Первичная клетка была скорее всего вибрирующей каплей морской влаги с набором нуклеиновых и аминокислот, одетой в тончайшую мембрану, служившую в одно и то же время границей и фильтром в обмене между двумя химическими мирами — внутренним и внешним. От этих ранних стадий в ядре каждой земной клетки осталась несущая генетическую информацию двойная спираль ДНК. И с той же поры всякая клетка сохраняет капельку праокеана. Миниатюрный океан для открытий, не уступающих открытиям в крупных водоемах.

* * *

Новый акт в жизненной драме начался с разделения на разнополые существа. Намеки на такой раздел явились еще раньше, уже у одноклеточных водорослей. Амебы спариваются, сливаясь и образуя новую клетку, которая затем размножается

интенсивным делением; возбуждение и взаимная тяга наблюдаются уже в мире водяной капли. Однако для полноценного процесса требовалось разделение труда между разными группами клеток; часть их полностью служила размножению.

Делящаяся клетка оставалась неизменной в новых изданиях. Когда гены двух особей разного пола встречаются, образуя третью, жизнь обретает бесконечное разнообразие. Преобразующие, изменяющие силы жизни свободно проявляются в создании новых видов и особей, каждые из которых уникальны. Спектр возможных комбинаций так велик, что число их не измеришь даже числом световых лет, отделяющих нас от самой дальней звезды; для составных частей хромосом человека предполагается число 265 с двадцатью четырьмя миллиардами нулей.

С появлением разных полов инстинкт продолжения жизни, присущий уже единичной клетке, приобретает новый, более глубокий и насыщенный тон. Звучит первый несмелый аккорд любви.

Из пены моря родилась Афродита. Только в морской влаге сперматозоиды и яйца могли встречаться, чтобы зачать новые особи.

* * *

Некогда в Мировом океане возникло первое семя мысли. Где-то в его глубинах случилось чудо, коему предстояло расцвести в фресках Микеланджело, драмах Шекспира и симфониях Бетховена, чудо, в силу которого один из видов оказался в состоянии расщеплять атомы, странствовать через световые годы, дивиться собственному существованию, ломать голову над его смыслом и рождать мысли, могущие потрясти планету.

Но точно расшифровать эти «некогда» и «где-то» невозможно, поскольку не было никакого выключателя, вдруг исполнившего команду «да будет свет!». Человеческий мозг с его четырнадцатью миллиардами клеток, подобно всем другим специализированным органам,— плод длительной эволюции с взаимодействием различных, соседствующих друг с другом клеток.

Изначально возможности пытливой и творческой мысли, очевидно, были заложены в космическом веществе, из которого некогда сформировалась Земля. Если жизнь как физический феномен связана с тем, что происходило и происходит в атомах и галактиках, это должно быть справедливо и для психики.

Клетка — активное химическое поле. Она живет самостоятельной жизнью даже там, где выступает составной частью крупного организма. В крови свободно плавают клетки подобно тому, как в лужице воды плавают одноклеточные амебы. Те и другие поглощают частицы из окружающей жидкости, используя их в своем обмене веществ. Присутствует ли уже в свободно плавающих клетках в крови и в лужице некий зачаток сознания? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

По мере изучения мира океана мы наблюдаем все больше примеров плавного перехода к более высоким ступеням сознания, но рубеж, за которым инстинкт переходит в понимание, остается неуловимым. Мы наблюдаем совершенствование органов чувств, широкий спектр возможностей обучаться, выносить суждение и предвидеть, хотя и на основе категорий, отличных от наших собственных.

Сколько раз, глядя на море, ты говорил себе, что стоишь на рубеже мира, далекого от твоего повседневного опыта, однако в сознании мелькали странно знакомые образы, беглые воспоминания. Море что-то говорит негромко нашим органам чувств, обращаясь и к таким, о наличии которых мы сами не подозреваем, говорит на языке, который мы помнили, прежде чем начали забывать.

Море — отнюдь не мир безмолвия. Вода вибрирует от хрюканья и ворчания рыб, от пощелкивания ракообразных, от свиста, потрескивания и разнообразного глиссандо других созданий. Речь идет о сигналах, недоступных нашим органам чувств; многие частоты не воспринимаются нашими барабанными перепонками. Плавные движения рыб и китов — тоже своего рода язык; мы тут застыли на уровне детского лепета.

Порой нам остается лишь теряться в догадках. Личинки угря, похожие друг на друга как две капли воды,— откуда им в пучинах Саргассова моря известно, чьи «родовые поместья» находятся у западного побережья Северной Атлантики, чьи — у его же восточного побережья, чьи — в Черном море? Какими картами и компасами они руководятся в многолетних странствиях, которые перед тем совершили икринками в материнском чреве?

А коралловые полипы, эти самые миниатюрные строители, верные своим «чертежам», когда под беспокойными волнами они сооружают свои соборы и цитадели, лабиринты, галереи и своды, превосходящие архитектурной изощренностью и масштабами самые величественные строения человека и достигшие совершенства задолго до того, как жизнь из моря вышла на сушу?

Так же обстоит дело с созданиями, которые из мелководья древних морей, освещая путь слабым сиянием или двигаясь вслепую с помощью чувствительных щупалец, проникли в глубины, где у мрака не было начала и нет конца. Обитатели бездны не ощущают чудовищной тяжести. Внутреннее давление в их организмах уравновешивает внешнее. Когда они попадают вверх, тела их взрываются, они погибают мучительной смертью.

В этом ночном мире нет растений, потому что сюда не доходит необходимая для фотосинтеза солнечная энергия. Глубоководные обитатели кормятся не перехваченными по пути органическими частицами, непрестанно оседающими из поверхностных вод, а также питанием, которое реки несут в моря и которое сбрасывают обвалы на материковом склоне.

* * *

Все наземные организмы — морские эмигранты.

Из скученности на мелководье, где некогда зародилась жизнь, она сперва перебралась в продолжения Мирового океана — тонкие прожилки текучих вод на материках. Некоторые эмигранты обосновались в пресных водах, образовав там пестрый букет семейств и видов. Другие вернулись в океаническое отечество из заболоченного приморья и устьев рек. В этих пограничных зонах костистые рыбы обзавелись воздушным мешком для кислорода, своего рода первичным легким, которое могло превратиться в плавательный пузырь, облегчая передвижение, когда они возвращались в море. Напоминанием о пребывании в пресной и солоноватой воде для сельди, макрели и других репатриантов служит необходимость поглощать много соленой воды, чтобы жидкость в их тканях соленостью равнялась окружающей среде.

Великий переворот наступил около полумиллиарда лет назад, когда растения, вскормленные принесенными реками с гор илом и солями, начали перебираться на сушу. Зеленая волна из океана хлынула на голые до той поры материки. Кончилась долгая эра древнейшей пустыни.

Вплоть до высот, где горы встречаются с облаками, проникла волна сотворенной морем протоплазмы. Когда ты ходишь среди облепившего камни лишайника и влажного мха, можно подумать, что это случилось вчера.

Из лишайников, добывавших питание на выветренных скалах, и миниатюрных лесов мха, еще не пустившего корни в почву, вырос райский сад, ожидавший животных, когда они после долгих водных лет покинули море.

В пограничной зоне, где море встречается с сушей, неизбежность исхода животных из илистых луж и заболоченного приморья представляется самоочевидной. Здесь двоякодышащие рыбы глотают воздух, всплывая к поверхности пересыхающих тропических рек. Здесь ползают от лужи к луже жаброногие, оттопырив жаберные лопасти. Здесь современность отражает то, что произошло триста миллионов лет назад, когда рыбы, заглатывая воздух в примитивные легкие и загребая по земле мускулистыми передними плавниками, покидали высыхающие лужи, чтобы в конце концов приспособиться к чреватой опасностями наземной среде. Эти глотающие воздух, неуверенно ползущие, прощупывающие путь существа воплощали новое чудо жизни. В своих генах беженцы несли эскизы рептилий, которые залезут на деревья, чтобы в парении развиться в птиц, эскизы и других рептилий — далеких предков человека и мышей.

Жизнь не могла совсем освободиться от моря. Стаи птиц среди рожденных морем облаков, наземные животные, наполняющие свои ткани влагой за счет рожденных морем дождей,— все они дети моря и не могут отречься от своих корней. Покидая морскую среду, они несли море в себе — как субстрат и волну в жидкостях тканей и плазме крови.

* * *

Примат на берегу. Выходец из моря.

Вода была твоей первой обителью. Наполненной водой одинокой клеткой в темном океане матки зачиналась твоя крупиночка жизни, когда ты представлял собой крохотный свод генетической информации. Там ты прошел все стадии от первой клетки в древнем океане.

Глаз, принимающий световые волны и передающий электрические импульсы мозгу и сознанию, чтобы ты воспринял красоту моря и гор, сотворен из соков матки. Твой пульс воплощает приливо-отливные ритмы моря. Твоя кровь — груз гемоглобина, переносимый потоком соленой океанической воды. Твое горе солоно, как и твой трудовой пот.

Пока ты молод, тело твое на две трети состоит из воды. Ежесуточно ты должен наполнять свой протекающий сосуд. Жажда тенью сопровождает тебя. Когда жизнь подходит к концу, количество влаги в организме сокращается процентов на десять. Стареть — значит высыхать.

Твое лицо обращено к небесному дождю. Твои корни нащупывают влагу в мягкой почве.

ЧЕЛОВЕК

Ты объят (как и много раз в прошлом) задушевным бормотанием горной речушки.

Эта речушка рассекла горное плато глубокой бороздой — диким и в то же время идиллическим каньоном Ильманской долины. Буйная на кручах, смирная за валунами, она порой уходит вместе со своим бормотанием под землю, чтобы снова вынырнуть несколькими сотнями метров ниже.

В начале расселины, где угол падения русла особенно велик, громоздятся вперемешку огромные каменные глыбы — ты видишь себя карабкающимся через них в молодые годы и видишь юных товарищей по походам за тем же занятием, меж тем как сам ты остался стоять внизу. Все запечатлено на сетчатке.

Солнечные блики на воде, преломляющей лучи подобно призме. Солнечные блики и на наглядно демонстрирующих совершенство шаровидной формы бусинах росы в растянутой среди прутиков у воды паутине. Скоро солнце прощупает ажурную сеть и поднимет капли из ущелья к облакам.

В заводи у валуна разыгрывается миниатюрная драма. Водомерка гоняется за жучком. На тоненьких длинных ногах-ходулях она скользит по поверхностной пленке, как ты скользил бы на коньках по льду. Кажется, жучок обречен.

Не тут-то было. Миниатюрные железы жучка выбрасывают жидкость, растворяющую пленку перед агрессором. Лишившись опоры, созданной поверхностным натяжением, водомерка проваливается и тонет. Химическая война в идиллическом окружении.

А затем ты и сам, растянувшись ничком, окунаешь лицо в прохладную воду, ощущая себя в одно и то же время наблюдателем и наблюдаемым,— каков ты сейчас у речушки в глубоком ступенчатом каньоне и каким был в детстве у ручья.

Мысленно ты целиком погружаешься в речку, уменьшаясь до размеров личинки комара, цепляющейся за камни на дне. И качающиеся стебли водного мха, поглощающие углекислоту, которой всегда вдоволь ниже водопада, становятся высокоствольным лесом. И подобно тому как буря в лесных кронах не всегда доходит до подлеска, так и стремительный бег воды смиряется у корней мха, где обитает свой мир существ с разным образом жизни. Солнце переливается на стеклянистой надкожице растений, суетливая мелюзга пасется на волнующихся светлых лугах.

Покоен мир и на дне каньона. Летящий над горной пустошью ветер сюда не доходит. Волшебство солнца и влаги творит растительность, напоминающую пышностью тропики,— причудливый контраст суровости скальных бастионов. В воздухе дрожит знойное марево.

Мысли перебрасывают мостик к пышности подлинных тропиков.

Ты вспоминаешь уголок восточноафриканской пустыни суровее всяких скандинавских гор, клочок земли, куда тебя однажды привело паломничество к месту, где были найдены древнейшие следы человеческого поселения. Тяжелое пекло гнетет пустынный ландшафт, но ты, наклонясь над грубо обработанными камнями, некогда нехитрыми орудиями маленькой общины людей, вдруг различаешь в песке четкие слои ракушек. Они говорят о том, что в незапамятные времена здесь простирался берег.

Твое воображение наполняет окрестности зеленой листвой, ниже ракушечной полосы блестит гладь озерка, и само собой разумеется, что поселение расположилось там, где была питьевая вода.

Сотня тысяч поколений сменилась с той поры, когда кучка людей обосновалась на берегу исчезнувшего впоследствии водоема в дебрях Восточной Африки. Стихийная сила тысячелетиями влекла человека к воде.

Не так уж велика дистанция между жителями той влагообильной зеленой обители и последышем у норвежской горной речушки.

* * *

Когда человек из древней своей африканской родины босиком расходился по миру, где саванны и девственные леса уже кишели жизнью, пути его пролегали вдоль рек и морских берегов. Глядя на карту, живо представляешь себе начертанные

природой дороги, по которым шли наши предки, заселяя тогда еще огромное небесное тело. Пути воды — пути человека.

Вдоль морских берегов — к новым заливам и устьям, ожидающим появления нашего рода. Вдоль рек — в глубь континентов. Реки стали первыми европейскими и азиатскими столбовыми дорогами. Даже там, где отдельные группы одолевают горные перевалы, они прижимаются к пенным истокам рек. Возможно, сотни поколений длится подъем по речной системе, над которой потомки проследуют птичьими путями меньше чем за час. Заселение материков начиналось от рек.

Прозрачные, чистые потоки с гор и холмов встречали человека. Любовались ли сознательно странники и мигранты красотой блистающих струй, или картины природы воспринимались безучастно, как нечто само собой разумеющееся? Глядя на движение воды, постоянно слыша ее звуки, наверно, в душе они ощущали сродство со всегда сопутствующей им необходимой влагой, принимали дары воды с чувством зависимости и свободы.

Древнейшие культуры развились как водные цивилизации. Много тысячелетий назад в плодородном междуречье Тигра и Евфрата неведомые нам люди начали сеять зерно. На жирных наносных почвах, образованных Индом и его пятью притоками, выросла ранняя индийская культура. Возникновение китайского земледелия принято связывать с притоком Хуанхэ — рекой Вэйхэ в Северном Китае.

Полнейшая зависимость человека от воды всего нагляднее выражается там, где река, рожденная в богатой влагой области, протекает по засушливым землям. В поречье Нила возник созданный человеком оазис. Обрамленный с обеих сторон пустыней, он на тысячу километров протянулся зеленой извилистой кромкой вдоль реки. Именно на этих зеленеющих трех сотых площади пустынного края возможна жизнь. Река играла в жизненном ритме древних египтян столь решающую роль, что с Нилом они связывали годовой цикл: он начинался среди лета, когда разливалась река, и делился на три сезона — сезон наводнения, сезон роста и сезон уборки урожая при самой низкой воде. Уровень воды у мерной рейки ниже первого порога говорил, будет год урожайным или неурожайным.

Так в разных концах света образ жизни людей приспосабливался к пульсациям влаги. На севере — к весеннему половодью и осенним дождям. В Южной Азии — к специфическому климату с сезонным чередованием ветров и дождей, получившему название муссонного по арабскому слову «маусим» — время года.

В большинстве мест, где земледельцы окультуривают зерновые злаки, и всюду, где пастухи со своими стадами переходят от одного пастбища к другому, человек зависит от дождя. Дары облаков — отцовское семя, оплодотворяющее землю. Пастух и земледелец учатся толковать язык туч, от которых зависит их хлеб насущный. Когда глобальные изменения погоды влекут за собой засуху, заклинатели пытаются воздействовать на силы, управляющие дождевыми облаками.

Если же никакие заклинания не помогают, людям приходится сотрудничать в поисках воды для выживания. Пока взоры сверлят скупые на влагу небеса, руки докапываются до скрытых подземных запасов. Колодец становится местом встречи людей, как водопой — местом сбора диких животных. У колодца, где женщины наполняют свои кувшины, где поят своих овец и чужих верблюдов, посланник Исаака находит Ревекку, Иаков встречает Рахиль. Новые поколения часто должны углублять долговечные колодцы. Туареги, что на ветхозаветный лад и поныне в пору засухи бредут через выбитые пастбища к привычному водопою, измеряют глубину колодца числом людей, которые могли бы в нем поместиться, стоя на плечах друг друга. Самый глубокий известный колодец — в пятьдесят с лишним человеческих роста.

В речных долинах начали отводить воду на поля. Дело, требующее сотрудничества и определенных правил общежития. Возможно, первичное разделение труда, как и основные моральные предписания ведущих религий, обязаны воде своим возникновением.

Из-за воды уже в древности возникали и раздоры между людьми. Когда рабы Исаака в долине Герарской расчистили старые колодцы и выкопали новые, филистимляне, завидуя тому, что у Исаака хорошие стада и поля, стали оспаривать его право на воду. Реки объединяли, но и разделяли, рождая зависимость. Древнейшая история, запечатленная на шумерских глиняных плитках и в ведах, повествует о стычках, вызванных тем, что живущие выше по течению рек отводили воду на свои поля с ущербом для живущих ниже. Недаром в латинском языке ривус (река) и ривалис (соперник) — слова одного корня. Современные раздоры вокруг Инда, Меконга и Иордана воспринимаются как отголоски далекого прошлого.

Человек рано стал находить плавучие средства, чтобы отправиться в путь по реке. Поначалу он довольствовался бревном или связкой камыша, на которой можно было сидеть верхом. Незначительное на первый взгляд, на самом же деле историческое событие, ведь так зарождалось мореплавание. Несколько соединенных бревен соста-

вили первый плот. Связанные вместе и загнутые кверху на концах бунты осоки и камыша стали серповидными ладьями, по сей день плывущими на тысячелетних скальных стенах там, где на месте былых пышных зарослей ныне простирается пустыня, и на фресках у богатых когда-то папирусом берегов Нила. Где-то появляется первая долбленка, где-то одевают звериной шкурой каркас из веток.

С помощью шестов и весел (напоминающих ласты черепахи) человек соединяет свою мышечную силу с силой текучей воды — или борется с ней. Позднее он привлекает на помощь и ветер. Прямые паруса из пальмовых листьев, кож и пеньки много раньше лошади и осла начинают служить человеку.

Речное судоходство становится настолько важным для развивающихся обществ, что в древнеегипетском языке понятие «ехать» выражалось словами «я плыву вниз (вверх) по реке». Реки способствуют сплочению и расширению государств.

Речники начинают присматриваться к землям вокруг устьев. Ладьи укрепляют, чтобы плавать по большим водоемам, где вздымаются волны и рокочет прибой. Начинается новый этап в расселении человека по земному шару. В эстуариях возникают поселения, связанные с морем, посредничающие в меновой торговле между внутренними областями и другими приморскими селениями. Появляются морские кочевники.

Наверно, неизведанные просторы казались древним мореплавателям свежим плодом творения. Вечное стремление жителя приморья познать, что кроется за окоемом, манит совершать все более дальние плавания. Нередко облако на горизонте принимается за остров. Мореплавателю мерещатся Гесперидьі и Блаженные острова.

Продолжается поэтапное завоевание мира. Некоторые наиболее чреватые важными последствиями завоевания совершаются случайно. Океан может казаться безбрежным, но если судно подхватит одна из его собственных рек, он соединяет, а не разделяет, как первобытный лес или пустыня. Для подхваченного океанским течением нет возврата.

Тур Хейердал убедительно показал, что с течением Куросио рыбаки на простейших судах могли задолго до рождения письменной истории пересечь океан, совершив поэтапно ненамеренное переселение. Точно так же финикийцы, замыслив основать новые поселения на западном берегу Африки, могли сбиться с курса и, подхваченные Северным пассатным течением, пристать к восточному побережью Мексики. Подобно тому как наземные реки служили дорогами внутрь континентов, так и океанские реки могли доставить людей с запада и востока к заселенному последним материку.

Расселяясь по земному шару, человечество распалось на различные расы; теперь они встречаются, и часто встречи эти оборачиваются кровопролитием и жестоким угнетением. Впрочем, одновременно рождается новая, космополитическая эра. После медленного исхода из древней африканской родины человек — морской кочевник за несколько бурных столетий оплетает весь земной шар сетью коммуникаций.

Мир человека стал общедоступным и неделимым.

* * *

Задолго до того как это нашло свое отражение в письменных источниках, зависимый от воды человек должен был воспринимать ее струи как благотворную стихию, предмет почитания и поклонения. Кинокадры, на которых шимпанзе исполняют ритуальный танец, покачиваясь и размахивая зелеными ветками, когда проливается первый дождь сезона, позволяют предположить корни, уходящие в дочеловеческие времена.

Наверно, древнейшим из культов был культ источника. Сменялись сотни и тысячи верований, но жертвоприношения у источников сохранялись. В разных религиях священны и реки. Поток, иссякающий осенью и возрождающийся весной, воспринимался как олицетворение ритма и течения жизни. Омовение в реке стало очистительным ритуалом и посвящением, приобщающим человека к святости воды.

Да и в развитых обществах подчас встречаешь подлинный культ воды. Ганг, священнейшая из рек, чье бурное течение смиряется после того, как она ниже высокогорных ледников процеживается через нечесаные кудри бога Шивы, тысячелетиями сохраняет свою святость. Для правоверных индуистов паломничество к Гангу остается кульминационным пунктом всей их жизни, совершить омовение в его водах значит обновиться и очиститься от всех грехов, пить его воду — высокая честь, быть после смерти сожженным на берегу Ганга, чтобы прах смешали с водой купающихся и пьющих,— сокровенное желание каждого индуиста. Старики просят отвести их к Гангу, чтобы умереть на его берегу.

Ритуалы, в которые кто-то, быть может, верит, а кто-то нет, продолжают существовать, часто как отголоски исчезнувших религий. В христианских обществах Запада сохраняется очистительный обряд крещения. У народа тхай родичи покойного

смачивают каплями воды его руки; во время брачного обряда руки жениха и невесты увлажняют водой из священной раковины. Совсем другой обряд можно наблюдать ниже Братской ГЭС, одного из величайших в мире гидротехнических сооружений: после официальной регистрации брака русские жених и невеста даруют укрощенной реке свадебный букет и немножко шампанского.

Вначале полезное и священное были слитны. Когда же человек стал вмешиваться в естественный круговорот, священное отступило на второй план, а польза — предполагаемая польза — все больше абсолютизировалась. Там, где, блюдя ритуал, крестили новорожденных, увлажняли водой руки умершего или бросали в реку свадебный букет, эти акты стали показными, лишенными первоначального смысла. На воду все больше смотрели как на ресурс, с которым можно вольно обращаться.

Плотины давно стали частью технической истории человечества, и размеры их постоянно росли. Но когда человек вмешивается в круговорот воды, он одновременно вмешивается и в геологический круговорот. Запруживая реку, мы тем самым преграждаем путь илу, призванному обновлять морские берега и шельф; берег, не получающий больше песка из внутренних областей, съедается морем. Зато водохранилища заполняются илом, укорачивающим их век.

И вот Нил после тысячелетий тесного взаимодействия людей и реки стал ярким примером превратного обращения с водными ресурсами. Ежегодно сотни миллионов кубических метров пустыни ложатся на дно длинного искусственного озера выше Асуанской плотины. Убывает плодородие полей, лишенных приносимого половодьем питательного ила; нет больше ритмичного биения речного пульса — стремительно растет число моллюсков, в которых развиваются личинки, вызывающие у человека бильгарциоз. Подъем грунтовых вод влечет за собой засоление почвы; местами соль покрывает поверхность земли словно иней, угрожая к тому же сохранности пирамид. Изголодавшись по илу, уменьшается дельта с ее плодороднейшими почвами.

Драма Нила повторяется на других сценах по всему миру. Реки душат оковами, рвутся древние связи людей и воды. Когда Замбези перегородили Карибской плотиной, чтобы белые получили энергию для рудников медного пояса и тем самым повысили свой жизненный уровень, это явилось смертельным ударом для уникальной культуры банту в долине выше водопада Ммози-оа-тунья. До сооружения водохранилища на реке Вольта в этой области практически не знали бильгарциоза; двумя годами позже им были поражены 99 процентов детей. Когда стремление получить воду для полей и электростанций преградило путь илу, который река Колорадо несла через Большой Каньон в Тихий океан, приливо-отливное движение принялось разрушать некогда плодородные морские берега.

Индустриальные страны, пока не знающие недостатка в воде, бездумно разработали технологию, расходующую триста тысяч литров воды на производство одной тонны бумажной массы, шестьсот тысяч литров на тонну азотного удобрения и больше миллиона на тонну пластика. Мы редко задумываемся над тем, какого огромного расхода воды требует наша техническая цивилизация. Даже у нас расточительство во многих местах грозит тем, что к концу столетия будет ощущаться нехватка воды, и это при том, что нам следовало бы экспортировать воду в страны, страдающие от засухи.

При нынешних способах ведения хозяйства поверхностных вод, будь то свободно текущих в реках или заточенных в водохранилищах, не хватит, чтобы напоить людей и оросить их поля. Растет необходимость выкачивать воду из-под земли. Но подземные воды — ключевой момент водной стихии. Их объем в шесть тысяч раз превышает количество воды во всех реках Земли. А обновляются они медленно. Обычные методы эксплуатации подземных ресурсов тут не годятся. Если при использовании подземных вод не будет проявлена большая мудрость, чем в обращении с реками, последствия могут быть пагубными. В некоторых странах, страдающих от безводья,— таких, как Индия,— понижение уровня грунтовых вод уже принимает тревожный характер, потому что отток превышает приток.

Мало того, что на каждого жителя Земли приходится все меньше воды. Она уже не так чиста, как прежде.

Только что ты, стоя у кромки ледника, утолял жажду рожденной им влагой. И живо представлял себе, как Линней вместе с одним лопарем бродил по норвежским горам. Когда им захотелось пить, лопарь ножом вырезал во льду ямку, куда набежала вода. «Она была очень вкусная, и мы попили вволю»,— отметил придворный врач. Ты тоже вдоволь напился ледяной воды, пьешь и сейчас, окунув лицо в горный ручей, такой прозрачный, что кажется — ничто не отделяет тебя от камней на дне. Сама чистота освежает твое горло.

Но внизу, где кончаются горы, поток вливается в созданную нами технологию, пройдя через которую, вода несет в себе чуждую жизни новую химию. Для гомо техникус вода стала восприемником и переносчиком выделений индустриального

общества. Химическая промышленность ежегодно выпускает около тысячи новых соединений; молекулы некоторых из них обладают ядовитыми свойствами, сопровождающими вещество во влагообороте. Азотные удобрения — творцы мертвых озер; кислотные дожди душат жизнь в ее исходном элементе: в наши дни в Европе рекам достается в десять раз больше серы, чем в доиндустриальном обществе.

В богатых странах нет воды, совсем свободной от загрязнения. Только в начале речных систем, в высокогорных ручьях ты еще рассчитываешь встретить воду первозданной чистоты.

Несколько веков назад Рейн («чистый») вполне оправдывал свое название. Галька на дне прозрачного потока переливалась яркими красками — то было «рейнское золото» мифических карликов. Теперь золото Рейна погребено под наносами с оголенных склонов, промышленными и бытовыми выбросами. Вода, которую голландцы в устье реки пьют из своих кранов, многократно прошла через туалеты и индустриальные установки.

Даже самый большой водоем не застрахован от порчи. Одно из великих американских озер, Эри, практически мертво с середины 60-х годов. Некогда богатейшее рыбой Азовское море превратилось в гальюн. Редкой голубизны и прозрачности (до сорока метров) озеро Байкал обязано своей чистотой и цветом эндемичной инфузории, не приживающейся в других водоемах; теперь этому уникальному для нашей планеты организму грозит гибель из-за промышленных сбросов.

Предполагают, что к концу столетия объем сточных вод возрастет в десять раз. Растущие горы отбросов загрязняют грунтовые воды на все больших площадях. В питьевой воде даже после тщательной очистки остается до 20 процентов стабильных загрязняющих соединений, в основном индустриального происхождения.

Третьему миру с его хронической нехваткой воды грозит в этом смысле великая катастрофа. В сельской местности лишь одному из пяти жителей доступна относительно доброкачественная вода и лишь один из семи может пользоваться уборной, отвечающей требованиям санитарии. Речная вода кишит болезнетворными бактериями, грунтовые воды загрязняются выделениями человека.

Многие обитатели земного шара умирают от жажды, еще больше — от загрязненной воды. 80 процентов всех болезней вызываются недоброкачественной водой или плохими санитарными условиями. Только от поноса ежегодно умирает шесть миллионов детей, отравленных жизненной влагой! Еще миллионы гибнут от холеры, тифа, дизентерии и глистов. Единственная в Солнечной системе водная планета стала планетой оскверненных вод. В тишине среди горных вершин тебе слышится древняя мудрость:

Оскверняющий грязью светлые воды источника
Лишает себя питья.

Эти слова написаны греческим поэтом за пятьсот лет до начала нашей эры.

* * *

Загрязняя реки, человек загрязняет и море. Океан — конечная станция всего, что мы извлекаем из земли для нашего обмена веществ, и всего, от чего избавляется индустриальное общество.

Подобно приносимому реками илу, загрязнения оседают в основном на шельфе с его приглушенным светом и мягким, волнистым рельефом. К этому региону приурочена немалая часть процессов обновления в океане. Сюда устремляются многочисленные обитатели моря, когда сигналы в их организме говорят о том, что наступило время нереста и родов. Для многих людских поколений прибрежные воды были концентратом морских деликатесов. Девять десятых собираемых человеком плодов моря поставлялось шельфом.

Теперь отходы человеческой деятельности облаками окутывают водорослевые леса. Мутная вода отравляет нерестилища. Во многих местах хлорированные углеводороды создают преграды для рыб, находящих партнера с помощью химических сигналов. Азот и фосфор с переудобренных полей в небывалой степени усиливают свечение моря, служа кормом для жгутиконосцев; когда затем умерший планктон ложится на дно, связывается необходимый рыбам и ракообразным кислород. Вслед за материковыми водоемами обширные области перед речными устьями уже стали мертвыми водами.

Особенно страдают некоторые океанические рукава. Загрязнение Средиземного моря достигло такой степени, что исследователи предсказывают ему полную гибель на рубеже XXI века. Балтийское море, которое Томас Манн называл провинциаль-

ным водоемом, считают самым загрязненным морем планеты. Одно из следствий — полное зарастание матки у самок тюленей, так что они перестают рожать.

Осквернение мелких вод может возыметь далеко идущие последствия. Специалисты по химии атмосферы приходят к выводу, что воздушный океан — продукт не только газов, выделенных недрами планеты. Неприметная искра в теплых прибрежных водах древнего океана была не только началом жизни на Земле, она дала старт развитию, которое в корне изменило среду на дотоле негостеприимном небесном теле. Жизнь не только покрыла бесплодные ранее области почвой, необходимой для ее же дальнейшего роста, она воздействовала на химию атмосферы и обеспечивает благотворность воздушной среды для населяющих Землю организмов.

Английский специалист по химии атмосферы Джим Лавлок считает материковые отмели, устья рек и болота важнейшими частями земного организма. Болота и отмели ежегодно выделяют в атмосферу миллиарды тонн метана и огромное количество аммиака — биологические продукты, производимые прилежными микробами ветлендов, надежными участниками важных круговоротов. Метан наряду с другими факторами способствует регулированию содержания в атмосфере жизненно важного кислорода, от аммиака зависит кислотность воздуха.

На мелководье и в устьях рек зарождалась жизнь. Оттуда она разошлась по всему земному шару. И там же постоянно воссоздает условия, необходимые для ее существования. Если мы в технологическом пылу погубим шельфы, мангровые и другие болота, последствия могут оказаться роковыми для всего живого.

Теперь уже и сам океан не свободен от загрязнения. Круглые сутки его бороздят суда с отравляющими среду веществами. Часть груза идет на дно вместе с тонущими кораблями, часть попадает в море с материка после использования индустрией, часть вывозится на специальных судах и сбрасывается в глубоких местах. Гигантские танкеры с наполненным нефтью подводным чревом переваливают через волны, словно айсберги, и протискиваются через узкие проливы, на дне которых запечатлены навигационные ошибки. Ежегодно с потерпевших аварию танкеров, из промываемых в море цистерн и протекающих буровых скважин на дне в океан попадает шесть миллионов тонн нефти.

Облака тоже переносят отходы. Многие частицы, особенно с азотом и серой в своем составе, соединяются с водой, образуя пленку вокруг капель в атмосфере. Так возникает смог над промышленными районами и большими городами — опознавательный знак технической эры. Большая часть того, чем оскверняет воздух индустриализированный, урбанизированный, моторизованный человек, сбрасывается над океаном.

Во время атомных десятилетий, когда великие державы, производя испытания, беспардонно обращались с оболочками планеты, дожди приносили на землю радиоактивные стронций и цезий. Сотни атомных подводных лодок постоянно крейсируют в глубинах, и миру известно, во всяком случае, о шести серьезных авариях. И не меньше восьми искусственных спутников с ядерными генераторами, не долетев до космоса, смешали свою радиоактивную начинку с морскими волнами.

Не познав как следует законы океана, человек, наткнувшийся на атомную энергию, принялся топить в нем металлические и цементные контейнеры с радиоактивными отходами. К началу 70-х годов у берегов Америки и Японии было сброшено более ста тысяч таких контейнеров. Многие очень быстро были разъедены морской водой. Несколько лет назад мудрые головы придумали хоронить долговечные яды в глубоководных желобах, чтобы они вместе с океанским дном уходили под материки и поглощались недрами Земли. При этом упустили из виду одну деталь. В мантию погружаются твердые плиты, а не лежащие на них наносы. И атомные отходы все равно оставались бы потенциальной угрозой для будущих поколений.

Пока на суше растут залежи радиоактивных отходов, продолжаются, несмотря ни на что, поиски места для свалок на морском дне. Атомное общество не желает признать, что есть лишь один способ решить проблему: оставить в покое содержащийся в горных породах уран, вместо того чтобы манипулировать им в бомбах и электростанциях. Задумав убрать отходы подальше от порога собственного дома, американцы и японцы недавно в глубокой тайне приготовились сбросить их в водах Микронезии. Началось строительство специальных судов, и первый сброс был намечен на осень 1982 года. Однако тайну сохранить не удалось, и микронезийцы гневно протестовали против покушения на их океаническую родину.

Океан в пятьдесят миллионов раз старше нашего высокотехнологического общества. Однако в последнее время человек принялся изменять химию океана. Все, что стекает с материка, что падает с неба вместе с дождем и что сбрасывается в пучины, перемешивается в синей толще океанскими течениями. И хотя океан в целом еще заметно не пострадал, многие чужеродные вещества чрезвычайно вредны для морских организмов.

То, от чего мы как будто тайком отделались, возвращается. Когда пузырьки в морской воде лопаются при встрече с атмосферным воздухом, вверх летят не только кристаллики соли, но и многие из сброшенных в море отходов. Из тысячи тонн частиц, ежегодно взлетающих над морской поверхностью, несколько сот переносится облаками обратно на материки и выпадает с дождем и снегом.

И странствуя по твоим любимым горам, ты не можешь отделаться от неприятной мысли: может быть, капля, отделившаяся от кромки ледника, и вода в горной речушке не так уж чисты, как тебе хотелось бы верить.

* * *

Некогда люди жидкими струйками растекались по континентам. Теперь мощный поток катится к морю. Семь десятых населения Земли живет в приморье или вокруг устьев рек. Большинство миллионных городов располагается в дельтах и эстуариях; их число и размеры продолжают расти.

Долго жители приморья добывали лишь малую часть плодов моря. Еще в 60-х годах полагали, что можно спасти голодающий мир растущими уловами рыбы. Исследователи все точнее определяли пути странствующих косяков, техники конструировали все более хитрые орудия лова.

И вдруг мы обнаруживаем, что новые знания и усовершенствованные орудия чреваты обратным эффектом. Огромные капиталовложения в рыболовные флотилии и орудия требуют отдачи. Японские и советские суда бороздят Мировой океан, ведут разведку в далеких водах, соревнуются в быстроте лова. Автоматическая рыбопоисковая аппаратура регистрирует размеры и местонахождение косяков, ЭВМ направляют суда туда, где обнаружены достаточные скопления рыбы. Укрепленные на сетях гидрофоны передают записанные на пленку сигналы, приманивающие рыб; малые подводные лодки извлекают омаров из их нор насосами.

Страны с развитой техникой ведут на море хищнический промысел, руководствуясь зловещим принципом: не я, так другие... Уже резко сократились популяции сельди и тунцов. От таких действий прежде всего страдают жители бедных стран, для которых рыба важнейший источник белка. Богатые временно становятся богаче, бедные — на все времена беднее. Третья часть мирового улова перерабатывается на корм скоту и удобрения для полей в богатых странах.

Чтобы уберечь Мировой океан в мире необузданной техники, погони за ресурсами и растущих миллиардов населения, необходим порядок, в новых формах основывающийся на принципе, гласящем, что моря и то, что в них содержится, не могут быть собственностью отдельных лиц или государств.

Славная глава могла быть вписана в историю в стеклянном дворце у Ист-Ривер в тот день, когда ООН объявила океан всеобщим достоянием человечества. К тому времени некоторые страны уже успели повернуться спиной к будущему. Сразу после войны президент Трумэн распространил юрисдикцию США на прилегающий к Штатам шельф — самочинный акт, отодвинувший стрелку часов назад, во времена до Гроция, когда на морях распоряжались конкистадоры. Все более противоестественное деление материков на соперничающие государства было распространено на неделимую по самой своей природе стихию. Ссылка на то, что материковая отмель — продолжение территории приморского государства, ложна. Шельф выстлан илом, принесенным ручьями и реками из глубины континента. И приходящие на мелководье косяки рыбы не имеют представления о каких-либо границах.

Самоуправство Америки послужило сигналом для других стран, особенно тех, у берегов которых рыскали рыболовные флотилии великих держав, и они заявили о своем суверенитете в пределах двухсотмильной зоны. Не представлявшие прежде интереса малые острова стали яблоками раздора, поскольку их тоже можно было окружить подобными зонами. И когда в 1958 году собралась первая конференция по международному морскому праву, чтобы установить глобальный порядок пользования достоянием всего человечества, у мирового сообщества уже была изъята одна треть этого достояния.

Идет острая борьба устарелых воззрений с передовыми. Когда весной 1982 года после девятилетних переговоров и множества компромиссов конференция ООН по морскому праву приняла конвенцию, в которой старое представление о человеке как о властителе суши и моря уступило место взгляду на человечество как на попечителя общего наследия, это было крупным многообещающим событием. Впервые человечество изъявило готовность ввести общий режим для части земного шара — той его половины, что занимают глубокие воды океана.

Однако правительство технически наиболее развитой страны под давлением больших корпораций, желавших эксплуатировать богатства морей без оглядок на какую-либо международную солидарность, не присоединилось к конвенции. Его

примеру последовали некоторые другие индустриальные государства, когда осенью того же года состоялось ее подписание на одном из карибских островов. Страны, лучше других вооруженные знаниями, презрели мудрость и прозорливость.

Новая конвенция о море дала крен уже при спуске на воду.

* * *

Море и суша изменяют место встречи, прибой съедает берега.

Ушли под воду гавани Тира и Сайды. Тишина царит над некогда бурлившими жизнью кварталами, над складами, где амфоры наполнялись зерном и вином, над храмами и увеселительными заведениями.

Когда-нибудь вода накроет и современные растущие и шумные приморские мегаполисы. Центры, откуда гомо техникус простирает свою власть над океаном, станут частью океана — утонут, как утонули портовые кварталы Сайды и Тира, рассыплются, как песчаные замки, сооружаемые детьми на пляже. Море дает и море берет. Нас ждет судьба обитателей Атлантиды:

Над нами шумят,
Над нами плывут
Люди чужого племени.

Мы можем приблизить роковой исход. Похоже, уже приближаем. Сжигая в виде нефти, угля и газа растения минувших эпох и вырубая дождевые леса, мы насыщаем атмосферу углекислотой в таком количестве, что океану не под силу все переработать. Растет беспокойство ученых, опасающихся, что все более плотное «углекислое одеяло», не дающее теплу свободно улетучиваться в космос, повысит температуру Земли настолько, что начнется таяние материковых льдов. Повышение средней температуры на один-два градуса может выразиться куда более высокой цифрой на полюсах. Гляциологи обсуждают риск того, что огромные участки подвижного антарктического льда могут соскользнуть в море и повысить его уровень метров на пять, а то и больше. На картах можно видеть, как драматически такое явление изменило бы очертания берегов — море вторглось бы в небоскребы, банковские дворцы и трущобы миллионных городов.

Быстрое обрушение льда способно вызвать цунами, которые захлестнут берега всех континентов, начнется подлинный потоп, кара природы за наши прегрешения против среды.

Мы не знаем пока, может ли наступить критический момент в нашем неосмотрительном обращении с воздухом, с морем, с прибрежными водами, состояние которых обеспечивает необходимые для жизни условия. Тем более не знаем, когда это произойдет. Когда узнаем, будет поздно.

ПЛАНЕТА ОКЕАН

Снова утро капель, запахов, красок. Чуткая тишина, нарушаемая только чистыми трелями варакушки, поющей славу рассвету.

Ты лежишь, растянувшись на маленькой площадке на горном склоне, маленькой площадке на вращающейся планете, и все при тебе: синева вершин и журчание струй, волны прибоя и округлость Земли.

Минуты, когда ты остро ощущаешь, как прожитые годы, словно годовые кольца в древесном стволе, прилегают друг к другу плотно и неразделимо. Ты ступаешь по этой самой площадке в своем первом, ненасытном странствии, и здесь же рядом с тобой жаждущие открытий юные спутники, и ты — седовласый путник, в одиночестве прощающийся с горами, потому что скоро наденешь рюкзак и направишься вниз, и, может быть, еще вернешься, а может быть, и нет, и потому, купаясь в теплой волне восходящего солнца, взглядом впитываешь ландшафт, чтобы все и впредь оставалось с тобой: волнистое плато, и ручьи, и гора, что стала твоим сказочным замком,— уйдя от них, ты не расстанешься с ними.

Гёте, при всей пытливости его ума, стремился провести грань между сферами поэзии и науки. Он не одобрял искусственное умножение способностей человеческого глаза телескопами и микроскопами и попытки Ньютона анализировать цвета радуги считал пагубными для «сердца природы».

Но пульс природы не ослабел оттого, что мы установили, как она смешивает краски на своей палитре. Наши нынешние представления о волнах и частицах позволяют нам рассматривать белый свет как смесь различных излучений со своими длинами волн. Попадая в капельку взвешенных в воздухе брызг, луч белого света

преломляется точно в призме. Встретив внутреннюю стенку капли, он отталкивается и распадается на одноцветные лучи, которые под разными углами направляются к противоположной стенке. Выходя наружу, они обладают цветом, соответствующим их собственной длине волны, и образуют мерцающие дуги. Пользуясь точнейшими приборами, исследователи определили, что угол отражения красного луча равен 137°58′, фиолетового — 139°43′. Так возникает эфирно-хрупкая, неизменно повторяющаяся строгая последовательность цветов: по внутреннему краю радуги — фиолетовый, постепенно переходящий в синий, зеленый, желтый, оранжевый, и по наружному краю — красный.

Точно так же синий ореол над далекими вершинами и над морским горизонтом возникает при столкновении лучей определенной длины волны с частицами, образованными молекулами воздуха. Не отражайся свет от капель и частиц, небо было бы таким же черным, как межпланетное пространство, которое мы увидели с помощью космонавтов. Без опаловой дымки над гребнями тебе было бы трудно определять расстояния в горах; поди угадай, сколько до ближайшего из них — один километр или десять.

Для световых волн не существует близкого и далекого, верха и низа, вертикали и горизонтали. Лишь воспринятые глазом и обработанные мозгом, они создают воспринимаемую нами трехмерную картину ландшафта.

Это относится и к цветам. Составленные физиками графики скажут тебе, что радуга над долиной Стуре Утла — упорядоченная серия колебаний воздуха с длинами волн от примерно 0,000040 до 0,000072 сантиметра. Физики могут также поведать, что мир обязан своей многокрасочностью электронам, реагирующим на световые волны различной длины. Но без наблюдающего глаза колебания воздуха все равно не стали бы красками. Все, что мы знаем — или думаем, что знаем, — об окружающем нас мире, воспринято нами в виде закодированных сигналов, поступающих для расшифровки во вместилище сознания. Видимые нами цвета — измеренная глазом и истолкованная мозгом энергия световой волны. Дивная игра красок природы реализуется в узкой полосе частот, которые человеческий глаз способен перевести в цвета.

Все, что познал наш пытливый разум, ничуть не умалило поэтичную прелесть радуги и не лишило притягательности окутанные дымкой далекие вершины. Переливы озерной глади не теряют своей красоты оттого, что их отражает глаз, сам на 80 процентов состоящий из воды, а сверх того из белков, сахаров, жиров и солей. Радость при виде игры этих красок не убывает от сознания того, что она вызвана колебаниями воздуха там, где он встречается с водой. Напротив, выявляя, как чудесно созидает и действует через свои творения природа, уравнения и наблюдения ученых только делают картину мира еще более чарующей. Мы понимаем, что цветовая гамма на палитрах природы — зримое проявление сокровенных сил, в конечном счете определяющих строение материи.

* * *

За последние десятилетия ненасытная в поисках мысль расширила круг наших познаний с такой быстротой и в таком объеме, каких еще не видело человечество за свою короткую историю. С точки зрения знаний и технических достижений мы ушли от мира наших дедов так же далеко, как они от каменного века.

Одновременно волновавшая Гёте проблема пользы или вреда наших знаний обрела новое измерение, речь идет уже не об эстетических категориях, а о нашем выживании.

Есть ли на древе познания плоды, которых нам было бы лучше не отведывать? Существует ли некая граница, которую науке не следует переступать,— не потому, что ей не под силу идти дальше, а потому, что есть вещи, коих нам знать не надо? Не несет ли общество развитой науки и технологии в своем чреве зародыш собственного искоренения?

За период, такой же краткий и преходящий в истории Земли, как радуга в каплях утренней росы, наш вид приобрел в разных областях познания, угрожающие самой жизни. Наши знания о космических силах в недрах атома вооружили нас способностью одним неосмотрительным действием уничтожить плоды четырех миллиардов лет созидательной эволюции в жертвенном огне, который поглотит не только нынешнюю жизнь, но и все еще не родившиеся поколения.

До сих пор смерть индивидуума сочеталась с уверенностью, что род и вместе с ним частица отдельной личности будут жить дальше. Смысл жизни и смерти заключался в сознании того, что мы — капли в потоке жизни. Существование в тени ядерного гриба лишило нас уверенности. Наука и техника сделали нас потенциальными могильщиками всей нашей истории и нашего будущего на этой планете, рычагами действий, находящихся в вопиющем противоречии с импульсами природы.

Ядерное уничтожение уже не теория. Его тень неотступно сопровождает наши будни. Когда пальцы потянутся к кнопкам, полное истребление большей части человечества произойдет так молниеносно, что сами жертвы ничего не заметят. Если кто и выживет, нечего рассчитывать на сколько-нибудь осмысленное существование в мире, где текучие и грунтовые воды будут загрязнены радиоактивными изотопами и сам дождь станет смертельным ядом, разъедающим кожу и усугубляющим ядовитость почвы.

Медленнее по нашей мерке, но очень быстро в масштабах геологического летосчисления мы другими способами разрушаем природу, от которой зависит всякая жизнь.

Как будто нас ничему не научили роковые последствия разорения природы в минувшие тысячелетия, мы продолжаем душить дождевые леса — зеленые легкие планеты. Как будто нам не указ судьба древних цивилизаций, мы продолжаем расточать гумус, созданный растительностью былых эпох. Творим пустыни там, где росла трава под сенью деревьев, в чьих кронах шелест ветров был подобен гулу могучих потоков.

Что станется с живыми тварями, если пустыни будут расти, континенты высыхать? Нам не придется ждать ответа миллионы лет. Возможно, эмиграция жизни из моря на сушу была лишь короткой экскурсией; быть может, вид, посчитавший себя венцом творения, восстановит пустынный облик материков, какими они были до того, как их захлестнула зеленая волна жизни.

Преобразуя одну форму материи в другую, чтобы получить вещества, призванные утолить наши вожделения, мы распространяем с ветром и водой побочные продукты, загрязняющие и отравляющие среду. Вода будет продолжать свой круговорот, как бы ни загрязнялись реки, сколько бы яда ни несли рождающие их дожди, и хотя бы море, куда в конце концов поступают выделения нашей технической культуры, оказалось на грани экологического краха. Вода одинаково может нести яды и питательные вещества, болезнетворные отбросы и удобряющий ил. Конец потоков и океана наступит через несколько миллиардов лет в огне взорвавшегося Солнца. Но жизнь нуждается в чистой воде. Если влага, промывающая клетки, будет отравлена, нарушится химия самой жизни.

Пусть даже мы не станем собственными ядерными палачами, все равно нам грозит медленное удушение в разоренном, загрязненном и отравленном мире.

Может быть, мы и впрямь готовы остановить сердцебиение природы? И какие еще горькие плоды сорвем мы с древа познания? С трепетом спрашиваешь себя, какие бездны откроются, по мере того как мы будем вторгаться в сокровеннейшие тайники жизни и изменять компоненты двойной спирали генов, которая начала закручиваться уже в древнем океане. Пока что мы не умеем искусственно творить жизнь, научились только синтезировать органическое сырье. Каким же роковым могуществом мы будем обладать, когда справимся с этой задачей!

Нам предстоит дальше жить с грузом знаний, полных опасности. Все зависит от ответа на вопросы: *как* мы будем применять наши знания и *для чего* используем изобретения?

Наше нравственное и эмоциональное развитие отстало от технического. Нейрофизиологи считают, что левое полушарие головного мозга отвечает за логическое мышление, оно управляет речью, а также математической, технической, организаторской функциями нашего сознания, тогда как правое полушарие — центр художественного творчества, образного мышления, мифов, интуиции. Исходя из этого, они могут сказать, что дилемма заключается в том, что мы используем левое полушарие больше, чем правое.

При всем том, что на нас обрушивается растущий поток знаний, с каждым годом изменяя наше существование, знания эти страдают фрагментарностью, оторванностью от контекста. Наш дом в межзвездном пространстве — все еще мало изученная планета, и когда мы выходим в космос, каждое новое наблюдение неизменно рождает новые вопросы.

Мы начинаем осознавать величину нашего неведения. Уже это — важное достижение. Нам следует искать спасения не в ограничении поиска, а в новом знании. Ограниченное знание рождает самомнение. Рост познаний должен рождать смирение.

Чем больше мы узнаем, тем сильнее в нас ощущение чуда.

За тем, что поддается наблюдению и измерению, кроется тайна, и лучше других это сознают пионеры новой физики. Альберт Эйнштейн называл нашу интуицию священным даром, а аналитический ум — ее слугой. Отец квантовой механики Макс Планк видел в науке неустанное стремление и неуклонное приближение к цели, воспринимаемой поэтической интуицией, но не постигаемой вполне разумом. Эрвин Шрёдингер, еще один из пионеров квантовой физики, был одновременно мистиком, увлеченным древней индийской философией, и любил цитировать священную формулу брахманов «тат твам аси» — «это есть ты».

Это есть ты. Ты можешь разложить свое тело на составляющие его вещества. И получишь при этом самые обычные ингредиенты: два-три ведра воды, жира на несколько кусков мыла, угля на несколько карандашей, фосфора на несколько спичек, железа на один-два гвоздя, магния на несколько чайных ложек соли, извести для удобрения клочка земли, серы для отравления одной-двух озерных рыб.

Разумеется, это — ты. То, что когда-нибудь останется от оболочки жизни. Тем не менее описывать человеческое «я» всего лишь как временное скопление атомов и молекул так же неправомерно, как ставить знак равенства между радугой и получаемым с помощью приборов спектром электромагнитных волн.

Всякая форма жизни связана со всеми прочими формами. У них общий поток, общий дождь утоляет их жажду, они вписаны в море, в гору и в почву. То, что мы называем жизнью,— часть энергетической системы этой планеты, и согласно первому закону термодинамики составляющая твое тело энергия не может исчезнуть. Она лишь примет другие формы.

Когда угаснет твое сознание, прошедшие через тело молекулы по-прежнему будут участвовать в создании почвы, туч и галактик, в образовании оболочки для новой жизни.

Где-то в недрах своих ты прошел весь долгий путь от древнего океана, был в материале, некогда сложившем эту планету и постоянно обновляемом веществом, продолжающим поступать из космоса.

И где-то в этом странствующем веществе, в темных глубинах, куда не проникают никакие микроскопы и спектрометры, заложено то, из чего сложены твои видения и переживания, твои стремления и мечты. Где-то находится то, что делает материю глазом, через который бытие может наблюдать само себя, то, что рождает мысль — непрестанно движущуюся, непрестанно ищущую и доискивающуюся сокровенной сути бытия. Где-то — та интуиция, которую Эйнштейн называл священным даром и которая на некоем глубоком уровне связывает нас с космическими силами. Где-то — все то, что Шрёдингер за формулами квантовой физики пытался определить формулой «тат твам аси».

Жизнь будет выхолощена и ограничена, если наши восприятия сведутся к тому, что измеряется физическими приборами или описывается математическими символами. Пренебречь интуицией, чувством свой причастности к жизненным силам природы — значит отрезать одну из нитей, связывающих нас с истоками.

Это есть ты: не просто частица неохватной глазом целостности, но в каком-то смысле сама эта целостность. Возможно, новая физика прокладывает путь новому мышлению. Даже если она временами пользуется формулировками, которые могли принадлежать одному из мистиков Востока, все равно речь идет о строго научном мыслительном процессе, который в физике ведет к представлению о нерушимой целостности самой основы бытия. Пространство, время, материя, все процессы во Вселенной суть проявления этой целостности, подобно тому как водоворот — одно из проявлений воды.

Жизнь в ее физических воплощениях часто стремится стать чем-то иным, так и мысль претерпевает эволюцию. В своих исканиях она творит все новые картины мироздания и сама формуется каждой новой картиной. Возможно, уже следующее поколение в своем образе мыслей уйдет от нашего так же далеко, как наше ушло от своих предков в области техники.

Возможно, будет подорвана власть левого полушария нашего мозга.

Вряд ли мы когда-либо получим исчерпывающий ответ на все наши п о ч е м у. Но частичный ответ, наверно, содержится в поглощаемых тобой каплях дождя, в миниатюрных океанах клеток и в молекулярных облаках космоса; на вопрос, зачем мы существуем, не будет ответа, но мы сможем лучше понимать, чем обусловлено наше существование.

Всякий раз, когда мы поднимаем руку на что-нибудь в нашем мире, мы поднимаем руку на самих себя. Об этом нам говорят наши расширенные познания.

* * *

Может оказаться, что самым революционным событием последних десятилетий был выход в космос.

Прежде мы наблюдали различные небесные явления глазами наземного существа. Впервые человек смог увидеть собственную планету извне.

Космическая техника обязана своим быстрым развитием примитивному соперничеству держав в области гонки вооружений. Это пачкает страницу, которая могла бы поведать об одном из самых блестящих достижений творческой мысли человека, и высвечивает двоякий характер наших познаний. Войну на уничтожение между континентами можно вести не только из глубин океана, но и из космоса.

Но в то же время космические полеты запечатлели образ нашего мира как отливающего мягкой голубизной небесного тела, единственного в своем роде среди

черной нелюдимости этой части Вселенной, патетически отличного от льдов и пустынь, обнаруженных космическими зондами на других, соседних планетах. Наш мир — единственная водная планета и единственная обитель жизни в этой Солнечной системе.

Будучи наземными существами, мы называем наше небесное тело Землей. Из космоса видно то, что интуитивно угадывали древние мифы: мы граждане планеты Океан.

Но сверху видно также, сколь невероятно тонка пленка жизни, и мы остро ощущаем то, что разум уже говорил нам: когда мы освоим и истощим последний клочок на этом ограниченном в размерах, ранимом небесном теле, другого прибежища нам не найдется. Космическая техника, основанная на силах, которые могут привести к истреблению жизни, яснее чего-либо другого свидетельствует, сколь безумно наше поведение на планете Океан.

В великой совокупности все находится в динамическом равновесии. Возможно, наша родная планета — случайность в большой игре мироздания, человек — случайный продукт созидающих сил жизни. Возможно, одной из случайностей, которым обязан своим появлением наш род, был ход событий, приведший шестьдесят — семьдесят миллионов лет назад к уходу со сцены динозавров. Когда время ящеров истекло, у одного из них, стенонихозавра, соотношение веса тела и объема мозга было таким же, как у древнейших млекопитающих; продолжайся его эволюция, глядишь, и не нашлось бы места для того млекопитающего, чьи гены со временем передались человеку.

Но Вселенная не случайность. И жизнь как таковая тоже не случайность. Ее возможность, очевидно, заложена в космическом веществе, слагающем галактики. Обосновавшись на этой планете, жизнь неизбежно должна была продолжать свое существование. Могучим потоком она струилась в русле постоянно изменяющихся видов, участвуя в процессах, придавших планете ее нынешний облик.

С высот, на которые мы поднялись, кажется космической привилегией, что мы оказались одной из случайностей, созданных эволюцией на маленькой крупинке в огромности искривленного пространства.

Мы не знаем, когда планета Океан достигнет зенита в своем развитии. Не знаем, когда наш вид достигнет оптимального уровня в своем физическом и духовном развитии. Возможно, впереди у нас долгий путь, но может случиться, как это было в ходе тысячелетий со многими другими экспериментами жизни, что мы очутимся в эволюционном тупике.

Обращаясь к временным категориям, видим, что на этом этапе эволюции жизни наш вид совершил знаменательный скачок. На долю нашего поколения выпало пережить такую стадию в развитии планеты, когда один из видов начинает подвешивать собственные звезды на небосводе. Произошла вспышка сознания, вооружившая один вид неслыханной возможностью направлять или сбивать с пути свою эволюцию и эволюцию других живых существ.

И теперь перед нашим видом стоит задача, с какой не сталкивался ни один другой вид с тех пор, как в этой части космоса зажглась искра жизни. Потерпим неудачу — на этом небесном теле аналогичной ситуации не будет.

Сейчас звезды манят человека, как некогда суша манила кистеперую рыбу и степные просторы манили лесную обезьяну. Мы ищем братьев по разуму в безбрежном пространстве. Все известное науке о космическом веществе убеждает нас, что космическая пыль в других частях Вселенной должна была собираться в планеты, на которых пар конденсировался в океаны и газы образовали защитный атмосферный покров, благоприятствующий развитию жизни. Нет счета отдельным мирам, где эволюция должна была привести к появлению разумных существ, научившихся использовать планетарные ресурсы и обладающих своим мировоззрением.

Такое развитие могло осуществиться только на водных планетах. В космосе, у которого нет ни начала, ни конца, должно быть несметное количество аналогий планете Океан. Радиоастрономы пытаются установить контакт с иными планетными цивилизациями в узкой полосе волн от 21 до 18 сантиметров, между водородом и радикалом OH, состоящим из одного атома кислорода и одного атома водорода. Вместе водород и радикал OH образуют воду. Именно в названной полосе можем мы рассчитывать на встречу с другими цивилизациями, которые, возможно, старше нашей юной культуры и достигли уровня развития, превосходящего все, что способна представить себе наша фантазия.

Есть очевидная символика в том, что радиоастрономы называют узкий канал связи между 21 и 18 сантиметрами водяной дырой.

Может быть, когда-нибудь мы встретим другие галактические цивилизации у космических водяных дыр, подобно тому как обитатели нашей Земли встречаются у водопоя? Этого мы не знаем. Кто бы поверил в начале нашего века, что до его конца

мы сможем ходить по Луне, расщеплять атомы и умертвлять озера? Но мы вправе поверить, что наше прошлое было началом начала и многое, очень многое может произойти, прежде чем день достигнет апогея. Кто возьмется предсказать, что еще увидит наш род, если сам не положит конец своему существованию?

Ничто не может так способствовать воссоединению интуиции и знания, как наши выходы в космос. Взгляд на планету извне обогатил наше существование новым измерением. Новыми являются также знания и предполагаемые истины, в свете которых наши дни и деяния предстают как мимолетные эпизоды в потоке, перемещающем континенты, образующем и закрывающем моря. Тем не менее они могут вызвать у нас ощущение чего-то уже осознанного.

Наверно, в жизни каждого человека бывают мгновения — скажем, в узком промежутке между сном и пробуждением, когда душа особенно открыта восприятиям и все представляется возможным,— внезапного ясновидения, когда ты словно выскальзываешь из рамок собственного тела в некую обширную общность. Точно видишь извне, как ты погружаешься в вихревые струи истоков жизни и паришь через эпохи, прожитые океанами и горными хребтами. Если же пытаешься осмыслить это ощущение, оно ускользает.

Лучше всех описал его наделенный даром особого видения археолог и палеонтолог Лоран Эйсли. В очерке, который иронически назван мемуарами ученого профессора, он рассказывает, как после долгого перехода под жгучим солнцем прерий погрузился в воду речушки, берущей начало в Скалистых горах и впадающей в Мексиканский залив. Проплыв на спине на быстрину, он испытал такое ощущение, словно заскользил вниз по огромному склону материка. Холодные иголочки горной речушки кололи пальцы, а тепло Мексиканского залива звало на юг. «В моем движении участвовало могучее тело материка; я ощущал его вкус во рту; он катил подо мной буйными каскадами песка, струясь, подобно реке, песчинка за песчинкой, гора за горой вниз, в сторону моря... Я сам был водой и теми непостижимыми алхимическими веществами, что рождаются и обретают жизнь в воде... воде, которая вздымалась и опускалась в такт с глухим биением в моих сосудах, крохотным пульсом в вечном биении, которое поднимает вверх хребты Гималаев и которое их же опустит...» Возможно, продолжает Лоран Эйсли, нам не дано постичь тайну жизни, но я уверен, что она связана с водой; если на этой планете есть магия, то она помещается в воде.

Наши вылазки в космос подтверждают то, что на короткие мгновения смутно являлось нашим потаенным чувствам. Где-то неизменно присутствуют капли, потоки, вихри воды. Она во всем, что происходит и происходило на этом небесном теле. Придя однажды из космических далей, она по-прежнему связывает нас с космосом. Мы лишь недавно начали понимать постоянное действие космоса вокруг и внутри нас. Рождается новая ветвь человеческого разумения. Она подсказывает нам, как силы из галактических глубин воздействуют на организмы через воду в их клетках.

Ты возвращаешься к размышлениям, с которыми начинал свое странствие. Наверно, где-то за Плеядами и Водолеем кроются ответы на некоторые из наших настойчивых почему.

И может быть, нам еще предстоит когда-нибудь пережить потрясающее событие — встречу с другой галактической цивилизацией на волнах водяных молекул.

Лежа навзничь на склоне — кругом чистая горная тишина и утренняя роса,— ты говоришь себе, что будет безумной нелепостью, если мы лишим наш род всего, что ожидает нас на пути, по которому мы начали делать первые шаги. Сдается мне, что выход в космос может привести к решающему повороту в нашем поведении на родной космической крупинке.

То, что начиналось как простое желание расширить теоретические познания о Вселенной, может оказаться необходимым условием выживания.

* * *

В поисках смысла и уверенности мы должны привести наше существование в соответствие с законами планеты Океан.

Основная нравственная заповедь проста: обеспечить дальнейшее существование жизни. Она сложилась уже в древнем океане. В переводе на язык политики и техники это означает: не допускать ничего, что может угрожать основным предпосылкам жизни. Никакого разорения природы, никакого загрязнения, никакой игры с силами, с которыми мы можем и не совладать.

Мы достигли точки, когда все вопросы дальнейшего существования нашего рода (при условии, что мы не покончим ядерным самоубийством) надлежит рассматривать с учетом предельной нагрузки, которую может выдержать планета.

Если на каком-то острове сельская община владеет ограниченными угодьями с пастбищем на сто овец, всякий прирост стада в пределах этой цифры даст общине

больше мяса и шерсти. Когда же пастбищный ресурс будет полностью использован, каждая лишняя овца будет означать уменьшение продуктивности. Если кто-то увеличит свою отару, это скажется на других. Чем больше овец сверх сотни, которую может прокормить остров, тем меньше выпаса для всех; будут тощими овцы — община получит меньше мяса. Голодные животные выбивают пастбище, травостой не восстанавливается, земля становится рыхлой, ее уносит ветром. Неизбежный итог — экологический коллапс.

Нагружая планету сверх ее возможностей, мы глобально ведем себя подобно беспечной общине. Самой яркой иллюстрацией этого может служить то, что вопреки всем соглашениям происходит с Мировым океаном. Можно собирать урожаи на морской ниве в пределах реального воспроизводства, но не больше. Когда дорогостоящие, технически совершенные рыболовные суда и китобойные флотилии ведут промысел, не считаясь с резервами моря, уловы неизбежно падают из года в год.

То же самое происходит с почвой, с дождевыми лесами, со всеми эксплуатируемыми нами планетарными ресурсами.

Когда отдельные лица, предприятия и государства срываются с места, чтобы побольше заграбастать для себя, они обкрадывают не только современное, но и будущее человечество, подготавливают грядущий крах.

Культура многих племен, которые мы называем примитивными, включала механизмы, оберегающие от нарушения баланса участков обитания даже ограниченными силами этих племен. Точно так же мы должны позаботиться о балансе на планете, служащей нам обителью. Последовательно выяснить, что она без ущерба для себя может дать нам в каждой области.

Учет возможностей планеты требует прежде всего нового технологического мышления. Созданная нами до сих пор технология выглядит довольно мрачно. Производство материальных благ опиралось на расточительство ресурсов и влекло за собой все более рискованные изменения в химии среды.

Эта «серая» технология даже в самых своих усовершенствованных формах не сумела сравниться с «зеленой» технологией природы. Природа вновь и вновь использует одни и те же вещества в постоянных круговоротах и восстановительных процессах. Каждый упавший с дерева лист напоминает нам, что планетарные ресурсы конечны, а потому должны использоваться повторно.

Пример древесного листа говорит, что нам в нашем техническом бытии нужно оставлять питательные вещества на суше и возвращать их земле, вместо того чтобы безвозвратно сплавлять в океан. Из этого примера следует также, что нам нужно перерабатывать отходы и отбросы и снова пускать их в дело, вместо того чтобы сломя голову, без основательной подготовки развертывать широкомасштабный горный промысел на океанском дне.

Вода составляет немалую часть здания Жизни. Нет ничего важнее разумного использования водных ресурсов планеты. Чем теснее становится у водопоев, тем острее необходимость правильно распоряжаться ими.

В моих ушах звенят колокольчики продавцов воды на улицах стран Востока, отпускающих стаканы затхлой влаги. Сетчатка запечатлела образы женщин, нередко с грузом будущего во чреве, снова и снова бредущих за глотком воды, или жителей полупустыни, взволнованной толпой, словно в ожидании чуда, уставившихся в небо, откуда впервые за несколько лет падают долгожданные капли.

Одна из самых странных черт нашего времени — тот факт, что единственная водная планета Солнечной системы грозит превратиться в планету жажды. Разве это не чудовищное свидетельство банкротства нашей цивилизации с ее «серой» технологией и государственным пустословием, когда мы, такие мастера строить ядерные реакторы и космические корабли, конструировать межконтинентальные ракеты, не сумели сделать так, чтобы у каждого гражданина мира была возможность без чрезмерного труда получить достаточное количество чистой питьевой воды!

В ООН это хорошо понимали. Пытаясь хотя бы отчасти умерить возрастающую мировую жажду, объявили 80-е годы международным десятилетием воды. Поставили благородную цель: до конца десятилетия обеспечить всех чистой водой и удовлетворительными санузлами. В сельской местности пораженных засухой стран предполагалось снабжать водопроводом по 50 тысяч хозяйств ежедневно или устанавливать по 2500 колонок.

Эта программа не будет осуществлена. Миру это не по карману! Ведь понадобилось бы столько же денег, сколько за пять недель тратится на вооружение!

А ведь краны и колонки для жителей жаждущих деревень — всего лишь скромная первичная программа. Все наше водное хозяйство остро нуждается в новой технике, которая положит конец расточительству и загрязнениям и обеспечит справедливое распределение дара дождевых туч.

В великом природном круговороте к нам постоянно возвращается та же самая вода. Глоток воды из горной речушки содержит капли из колодцев Авраама, купальни Клеопатры и системы охлаждения ядерного реактора.

Перед чудесным круговоротом с участием моря и облаков, рек и подземных жил попытки техники сравниться с природными процессами выглядят тривиальными. В промышленности — замкнутый цикл, исключающий сброс даже одного кубометра загрязненной воды. В растущих населенных пунктах — раздельные системы труб для высококачественной питьевой воды и для канализации и полива улиц. Координация города и сельской местности в том смысле, что сточные воды крупных селений, очищенные от всего, могущего повлечь за собой засоление или отравление почвы, орошают поля, нуждающиеся во влаге. Там, где используют грунтовые воды,— контроль за их пополнением. В муссонных областях — создание искусственных подземных резервуаров, чтобы запасать избыточную влагу для засушливых месяцев. Трубопроводы для подачи питьевой воды из областей с чрезмерным увлажнением в засушливые; у нас ведь вошло в практику строить длинные сложные трубопроводы для транспортировки нефти и газа.

Тривиально, но именно серия таких мероприятий может вновь сделать реки здоровыми сосудами живого ландшафта, а небесное тело в целом — гармонично функционирующей водной планетой.

Чем не стимулирующая задача для человеческого разума, который слишком часто унижается, позволяя использовать себя для изобретения все более чудовищных средств уничтожения людей!

Технология в действии отражает общественный уклад. Выбор технологии равен выбору общества. Новая технология требует общества, основанного на иных, новых приоритетах.

Наша планета не может больше выдерживать «серую» технологию. Она стала также тесновата для соперничающих национальных государств. Мало отдельных корректировок системы, готовой развалиться потому, что не отвечает реальностям сегодняшнего дня: это все равно что разбирать Сахару по песчинке. Из понимания того, что мы живем в условиях самоограничения, должно вырасти новое мышление и умение действовать интернационально, с учетом интересов будущих поколений. При возрастающей тесноте на уменьшающейся в размерах планете выживание может быть обеспечено только бережным глобальным управлением ее ресурсами. И в числе наиболее неотложных задач — создание всеобъемлющего морского права, обеспечивающего неуклонно растущему населению Земли возможность совместно и на равных управлять нашим первым домом и последним прибежищем.

Как простые люди мы участвовали в ряде процессов, которые не могли осмыслить, процессов, инициаторы которых обладали властью, но не обладали достаточными познаниями. Эти лидеры слишком часто вводили народ в заблуждение, убаюкивая нас заверениями, что наши компетентные техники в неопределенном будущем найдут способ решить проблемы загрязненных вод, засоленных нив, заиленных водохранилищ и ядовитых отходов ядерной энергетики. Давай нажимай — наука и техника найдут решения!

Но мы не можем полагаться на смутные предположения и недостаточные знания. Мы обязаны разобраться в игре, в которую дали себя втянуть, и нести личную ответственность за свои суждения.

Мы?

Пока все решается в узком кругу, не мудрено и усомниться, что когда-нибудь сложится объединенное «мы»; мысль спотыкается о множество препон. И все же возникают новые течения, не замыкающиеся в государственных границах.

В космической перспективе земной шар с его бесчисленными подразделениями и неограниченными вариациями предстает неким организмом; во временной — организмом развивающимся. Мы видим себя частями фантастически сложной системы, где все сущее взаимообусловлено. Почему бы на почве этого понимания не вырасти подлинному мировоззрению взамен наших соперничающих частных воззрений?

Покуда господствовал утилитарный взгляд на природу, было утрачено ощущение таинства. Рисуемая нам новой космофизикой и новой космохимией картина маленькой, но восхитительно прекрасной крупицы в межзвездном пространстве должна бы хоть отчасти возродить в нас присущее древнему человеку восприятие дождя, чистого родника, текучей воды как священного дара.

Быть может, в конечном счете именно это необходимо нам, чтобы уладить наши глобальные обстоятельства.

* * *

У западного горизонта вызывающе дыбится Смиюбэльин — оленья гора с ее перевалами, продушинами и вызовами на бой.

Именно на одном из перевалов Смиюбэльина Пер Гюнт встретил Великого Увертня — призрачного великана, который окутал его липким туманом лукавых слов: уступи, не противься, не ввязывайся в борьбу ради достижения цели. «Иди в обход, Пер!»

Увертню соответствует Дух Компромисса, с которым другой ибсеновский герой, Бранд, боролся и которого победил, тогда как Пер увильнул, обошел кругом. В этих драмах Ибсена идея суровая, как сами горы. Память, возвращающая твои ранние годы, помогает вновь пережить, как сильно эта идея захватила юную душу, когда ты впервые с ней встретился. Не идти на сделку, на компромисс, не уступать — вот требование, вот ориентир, которого надлежит придерживаться, хотя бы он привел тебя к вратам ада.

На своем жизненном пути ты не всегда умел равняться на этот ориентир. Бывали ситуации, когда ты предпочитал идти в обход или останавливаться на полпути. Горы Рондане напоминают не только о мечтах, но и о поражениях.

Поражениях личных. И поражениях целого поколения.

Ты принадлежишь поколению, на глазах которого картина мира расширилась, открылись новые горизонты, поколению, которое начало по-новому понимать окружающий мир и его взаимосвязи, однако не сумело избавиться от запечатленных норм поведения и оставить ставший рутинным жизненный путь.

Одни провозглашали идеи, другие, не в силах мириться с происходящим, выходили на демонстрации против ядерного вооружения, третьи блокировали речные долины, которым угрожала «серая» технология. Что-то сдвинулось с места, формировались новые оценки, но выражались они лишь от случая к случаю. Твое поколение не смогло обратить свои опасения в весомые действия. Само подрывало свою уверенность.

Иной раз, словно открутили назад некую киноленту, тебе представляется, что ты вместе с мореплавателями прошлого очутился в плохо изученных водах. Твоя каравелла — одинокая планета в пути между звездами в просторах космоса и темным простором океана с его ночными огоньками; внутри корабля жмутся друг к другу люди, объединенные страхом перед штормами, рифами, морскими чудовищами, зависимые друг от друга, отрезанные от собратьев, подчиненные воле тех, кто стоит на капитанском мостике, расходясь, быть может, во мнениях о верности проложенного курса.

Вот и мы жмемся друг к другу на планете, расположенной у края одной из галактик. Кто стоит у руля? Кто прокладывает курс? Есть ли у стоящих на мостике морская карта или они плывут наугад?

Наша слабость заключалась в том, что мы дали увлечь себя к неизвестному месту назначения, когда слишком многое предупреждало о грозящей аварии. Что мы не подняли бунт и не заставили стоящих на мостике избрать более осмотрительный курс. Засомневавшись, мы должны были действовать последовательно, не ограничиваясь глухим ворчанием.

В конце долгого странствия Пер Гюнта родился вопрос: как ты прожил свою жизнь? Пустота в душе, когда вроде бы знал, что следует делать, и ничего не сделал,— обвинительный акт поколению, которое, з н а я, проявляло безволие, нерешительность, слишком часто отступало перед необходимостью выбора.

Ты видишь своих полных жажды открытий товарищей по походам. Отчетливо слышишь их негромкий разговор, когда они спускаются по склону, свободные от страхов и шатаний, хотя им ведомы мрачные обстоятельства.

Во время горных походов тебя преследовал вопрос — какое будущее выпадет на долю твоих сопутников. Но ведь будущее не ждет нас где-то на тропе впереди. Оно заложено в нас самих как продукт нашей воли и наших сомнений, решимости и уверток.

Глядя на сопутников, ты говоришь себе, что скоро они окажутся перед необходимостью выбора. Встретят Великого Увертня. Возможно, именно их поколению предстоит решить судьбу вида.

И как же горячо ты надеешься, что новые познания и, возможно, новое мышление помогут им и всему их поколению встретить вызов времени с большей прозорливостью и мудростью, чем это выпало на долю твоего поколения. Чтобы им достало воли и отваги там, где ты и твое поколение остановились на полпути.

Быть может, сама угроза гибели станет источником более глубокого осознания тайн жизни и почтения к законам планеты Океан...

Радуга в долине растаяла. С запада наплывает тяжелая завеса облаков. Хребет Смиюбэльина скрывается в серой мгле.

Где-то в безмолвии еще отдается далекое эхо утренней песни варакушки. Тише, тише... И вот уже вовсе сгинуло с ветром.

Перевел со шведского Л. ЖДАНОВ.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ОТКРОВЕНИЯ ОТ НАШЕГО ИМЕНИ

Эту книгу[1] должен был написать я или кто-то еще из наших теперь уже многочисленных отечественных экологов.

Но ее написал американец Дуглас Вайнер, специализирующийся на истории русской биологии советского времени, в частности экологии. Для него это логично, поскольку он воспринимает экологию как часть биологии. Я понимаю Дугласа: он обосновывает свой взгляд на вещи уже тем, что не только обнаруживает, но и углубляет социальные темы в мире животных и растений, для него они не только там существуют, но и обосновывают социологию человеческого общества. Еще бы! Если уж социальны растительные сообщества, если и там существуют эксплуатация одних другими, покровительство одних другим — существуют антагонизм и содружества,— ясно, что такой общественный индивидуум, как человек, без социальных проблем никогда не обойдется. Тем более что он ведь все еще остается существом природным, тем более что, избавляясь от многих своих изначальных и природных качеств, он не только не избавляется от природных противоречий, но и усугубляет их в своем развитии самим фактом своего существования. Дело доходит, дошло уже, до того, что социальный, и нравственный, и всякий иной антагонизм в отношениях между собой люди перенесли на свои отношения с природой, а этот последний факт как раз и является предметом экологии как науки и как практики нашего современного бытия. Должен сказать, что здесь я не совсем согласен с Дугласом Вайнером, мне кажется, что социальные проблемы в мире животных и растений слишком отличаются от таковых в мире человеческом: первые эволюционны, вторые революционны (касается ли это чисто социальных или научно-технических революций — дела не меняет), первые в конце концов приводят к надежному равновесию, вторые могут углубляться без конца, первые являются локальными и уже поэтому не угрожают существованию природы, вторые все больше и больше приобретают значение глобальное и результат при этом все тот же — обостряется шекспировское «быть или не быть?».

Но, в общем, это отнюдь не принципиальное расхождение, ни один из его доводов у меня нет намерения опровергнуть, наоборот, каждый из этих доводов так или иначе подкрепляет мое собственное экологическое (и не только экологическое) мировоззрение, просто в той шкале ценностей, без которых не обходится ни одно мировоззрение, одни и те же факты, не очень уж и отдаленные друг от друга, порой занимают разные места. Не без иронии замечу: все-таки почти всю свою жизнь я прожил в качестве советского человека, вот я и социализирован до предела, Дуглас же Вайнер, как я понимаю, во-первых, весьма американизирован, во-вторых, профессионализирован. Наверное, так и есть, но это ничуть не мешает мне повторить: его книга — это моя исповедь. И еще беру на себя смелость сказать: не только моя, но и наша.

А это убеждение лишний раз подчеркивает истинный в самом лучшем смысле слова интернационализм экологии. Грустно, конечно, что он, этот экологический интернационализм, такой славный, такой искренний, все еще всерьез не доступен ни дипломатии, ни коммерции, ни международной политике, которые решают проблемы нашего сегодняшнего существования. И только когда дело доходит до экологии, в которой, что ни говорите, неизменно (и чем дальше, тем отчетливее) прослушивается Шопен, одна из шопеновских широкоизвестных мелодий, вот тут-то мы и находим общий язык.

Вернемся, однако же, к соотношению «экология — социология» в толковании Дугласа Вайнера. Итак, он отмечает, что социология и «социальные» противоречия в природе — факт обоюдоострый для марксизма-ленинизма. Почему? Да потому что если «социальное» и межвидовое неравенство существует в мире растений и животных, так марксизм-ленинизм безусловно прав в том, что человечество — это клубок социальных противоречий, это неизбежная классовая борьба, иначе и не может быть! Но — дальше? А дальше вот что: если эта борьба свойственна самой природе, то для того, чтобы прийти к бесклассовому обществу, надо победить саму природу. А еще

---

[1] Дуглас Вайнер (Уинер). Экология в Советской России. Архипелаг свободы: заповедники и охрана природы. Перевод с английского Е. П. Крюковой. Послесловие и редакция Ф. Р. Штильмарка. «Прогресс». 1991. 398 стр.

дальше: раз нужно, значит, нужно, и «нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!». Если эта крепость — сама природа, то и она большевикам нипочем, и ее они должны взять. И брали: «не можем ждать милостей от природы...», выполним план «великого преобразования природы» — и вот уже борьба человека с природой возводится на уровень классовой борьбы, а что может быть более высоким, более насущным, более святым, чем борьба классов?

И вот уже природа, во-первых, бездуховна, а во-вторых, она — материальная база коммунизма и ничего больше. Склад необходимых стройматериалов, который заодно и без единой жертвы захвачен при штурме Зимнего. Склад этот богат и подвергается небывалому разграблению опять-таки заодно с разграблением помещичьих усадеб, церковных и художественных ценностей, народа и всего того, что вкладывается в понятие народности. Даже если грабеж и освящен политикой, все-таки лучше говорить о нем пореже. И не говорим, избегаем. «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны», а «техника... решает все!» — вот и все, природа с ее законами и порядками если даже и союзник, так очень даже коварный, что-то вроде правой оппозиции, которую если вовремя не разгромить и не репрессировать, так будешь сам репрессирован. Нужна бдительность да бдительность! На каждом шагу! Нужен Горький, чтобы его глазами народ видел великого Сталина: «Сталин держит карандаш. Перед ним карта края. Берега пустынны. Глухие деревеньки. Целинные земли покрыты валунами. Нетронутые леса. Пожалуй, чересчур много лесов, они захватили лучшие почвы. А болота? Болота ползут, упираются в самое жилье человека. Пожирают дороги, делают жизнь неопрятной и тусклой. Увеличить пашни. Болота осушить... Карельская республика желает прийти в бесклассовое общество как республика заводов и фабрик. И Карельская республика войдет в бесклассовое общество, переменив свою природу». Иначе говоря, начинается строительство Беломорско-Балтийского канала, наверное, уже построены и бараки для заключенных.

Горький по-сталински недоволен коллегами писателями и поэтами, они почти все как один хранили молчание относительно «скверных выходок» природы, тогда как поэт должен вдохновлять «борьбу коллективно организованного разума против стихийных сил природы и вообще против «стихийности» воспитания... человека...».

А вот уже и соответствующий лозунг ГУЛАГа: «Природу научим — свободу получим!» И ведь сбылось: и научили, и получили. Впрочем, так всегда и бывало: самыми жестокими исполнителями репрессий становятся те же репрессированные. Многим и многим из них уже все равно, кого истязать. Природу так природу!

Боже мой, неужели все это было с нами?! И сознаешься перед самим собой: было! И все это обо мне и ко мне взывает: думай и делай! Как умеешь, так и спасай то, что еще можно спасти сегодня,— завтра будет поздно!

А книгу Дугласа Вайнера я прочитываю не только как экологическую, но и в гораздо более широком плане, о котором автор, может быть, и не подозревает.

Он пишет о заповедниках, если говорить строго профессионально — так прежде всего о них. Но вот в чем дело: слово «заповедник» означает «участок земли либо водного пространства», который «полностью и навечно изъят из хозяйственного использования и находится под охраной государства». Это легко сказать, но в какие же битвы за осуществление на практике такого вот энциклопедического понятия посвящает нас Дуглас Вайнер, в какие человеческие судьбы, в какие научные и антинаучные направления, которые возникали в те времена, когда биологией правил «академик» Лысенко, а его соратник Презент призывал сделать из заповедников «природные лаборатории», в которых испытывались бы все мыслимые и немыслимые приемы акклиматизации растений и животных! Иначе говоря — снова и снова бороться с угнетательницей природой, населяя заповедник заморскими животными, которые, по всей вероятности, должны быть продуктивнее аборигенов и активнее «работать» на социализм? Или намерение сдать все заповедники... охотсоюзу? Или — распахать их ради приобретения опыта в освоении целины? И все это при том, что Россия создала первый в мире заповедник и определила его назначение как лаборатории для постижения опыта и эволюции самой природы без вмешательства в ее процессы человека!

Больше того: заповедник — это еще и нечто заповедное, нерушимое не только в природе, но и в самом человеке, это еще и заповедь — значит, вот вокруг каких понятий шла борьба вокруг заповедников, да и сейчас еще идет.

При всем при этом Дуглас Вайнер озаглавил свою книгу: «Экология в Советской России» — и тут же дал ей подзаголовок: «Архипелаг свободы: заповедники и охрана природы». Это имеет очевидный смысл: заповедники оставались как бы островками свободы в том лагерном мире, который позже был обозначен как Архипелаг ГУЛАГ.

Так оно и было, и Дуглас Вайнер воскрешает имена людей, которые отстояли эти островки за многие десятилетия борьбы. Это зоолог Николай Феофанович

Кащенко (1855—1935), ботаник Иван Парфентьевич Бородин (1847—1930), «лидер движения за заповедники как эталоны природы» Григорий Александрович Кожевников (1866—1933), «забытый гигант советской экологии» Владимир Владимирович Станчинский (1882—1942), «руководитель природоохранного движения в его самые черные годы» Василий Никитич Макаров (1887—1953) и еще и еще многие-многие имена воскрешаются автором из небытия. Имена и облики (в книге собран целый ряд фотографий), и восхищаешься: какие одухотворенные лица!

Впрочем, автор не стесняется назвать и имена «покорителей природы», человека и человеческого духа — здесь и Т. Д. Лысенко, и И. И. Презент, и многие другие.

Дуглас Вайнер изучил материал досконально, во всех его оттенках и гранях — тут и общественные движения, и бюрократические структуры, и материалы всяческих совещаний и съездов, и тексты всякого рода постановлений.

Наши годы перебросок стока, чудовищного загрязнения вод и атмосферы, чернобыльской и челябинских катастроф по прочтении этой книги воспринимаются как все тот же экологический тоталитаризм, как криминогенный кризис в наших отношениях с природой, «героями» которого и продолжателями дела Лысенко есть и будут водохозяйственники Н. Ф. Васильев, Г. В. Воропаев, академик Н. М. Жаворонков и многие атомщики и промышленники.

Аналогии между нашим прошлым и нашим же настоящим возникают при чтении этой книги на каждой ее странице. И в самом деле, природе все равно, кто творит над нею насилие — диктаторы или демократы. Да и может ли быть подлинная демократия антиприродной?

Кого-то из читателей эта книга воодушевит, кого-то уличит, еще кого-то повергнет в уныние, а кто-то воспримет ее как откровение. Но она неизбежно должна была явиться на свет — и вот явилась.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.

О СОМНИТЕЛЬНОМ И НЕДОСТОВЕРНОМ В ИСТОРИОСОФИИ Н. А. БЕРДЯЕВА

«Истоки и смысл русского коммунизма», появившиеся на английском пятьдесят пять лет назад, скорее, видимо, заслуживают юбилейной статьи, нежели злободневного отклика, да и с легального возвращения этой книги на ее историческую родину (М. «Наука». 1990) тоже прошло уже два года. Однако парадоксам нашего исторического сознания в посткоммунистическую эпоху должны соответствовать и парадоксы жанра. За два прошедших года место Бердяева в духовной жизни общества определилось по-новому и с совершенно новой значимостью. С каждым месяцем он все в большей степени становится классиком посткоммунистической философии, и если так пойдет дело и дальше, то в один прекрасный день мы обнаружим его в школьной программе, а студенты начнут списывать друг у друга конспекты бердяевских работ перед очередным экзаменом по философии. Бердяев, конечно, достаточно оригинальный и любопытный мыслитель, порой неожиданный и побуждающий заново пересмотреть привычные мировоззренческие постулаты, так что замена Маркса на Бердяева демонстрирует некоторое улучшение вкуса и благопристойный прогресс интеллектуальной культуры, приличествующий демократическому государству. Боюсь, однако, как бы он (в силу известных умственных привычек российской интеллигенции) не превратился в учителя жизни и светоча официозной идеологии — роль, мало подходящая не только для Бердяева, но и для мыслителей большего масштаба. Между тем ссылки на Бердяева и цитаты из него все чаще встречаются в речах наших государственных деятелей, а у журналистов и вовсе стали дежурным клише, равно пригодным для статей о музеях и о фермерских хозяйствах. При таком повороте дела открытие Бердяева оказывается одновременно и закрытием множества спорных и болезненных вопросов истории русского общественного сознания, обойденных Бердяевым или решенных им с публицистической поверхностностью. В особенности это относится к «Истокам и смыслу русского коммунизма». Именно поэтому целесообразно перечесть эту работу насвежо, оценивая полновесность каждого звена ее историософского построения. Это тем более важно, что поставленная Бердяевым задача — осмыслить исторический путь, дабы идти дальше с открытыми глазами,— стоит сейчас перед всем нашим обществом.

Книга Н. А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» стоит в ряду работ, написанных русскими мыслителями, оказавшимися в эмиграции и там предприняв-

шими попытку осмыслить случившееся в России и тем самым понять собственное духовное развитие и собственную судьбу. У них были, таким образом, очень схожие задачи с теми, которые сейчас стоят перед нами, и отсюда понятен живой интерес, с которым в последние годы читаются эти книги: дело не только в том, что они стали доступны, но и в их созвучности нынешним проблемам. Характер эмигрантских историософских опытов в существенной степени определялся мировоззренческими установками авторов, сложившимися до революции, в рамках тех категорий, которые сформировались у них раньше, еще тогда, когда они были близки к освободительному движению (а именно из этого движения — прямо или косвенно — вышло большинство авторов, участвовавших в так называемом русском философском ренессансе). Это в наибольшей степени, возможно, относится именно к Бердяеву, стремившемуся синтезировать новое религиозное мышление с идеями социальной эволюции и исторического творчества. Здесь скорее всего и находится причина нынешней симпатии к Бердяеву: не преодоленные Бердяевым постулаты радикальной историософии не преодолены и нашим обществом, воспитанным — пусть и не по своей воле — на идеях (отфильтрованных и догматизированных) интеллигентских властителей дум прошлого столетия. Книга была написана для западного читателя, и в ней существенно сказалась приверженность Бердяева стереотипам прогрессистской мысли, которые он не слишком удачно, но вполне приемлемо для западных интеллектуалов 1930-х годов прилагает к русскому материалу.

Бердяев в первых главах книги пытается определить специфику русского историко-культурного развития. В этой специфике, на его взгляд, и заключен особый характер русского коммунизма, отличающий его от западных образцов и превращающий западные социальные идеи в действенный механизм социального преобразования. Уже во введении, названном «Русская религиозная идея и русское государство», утверждается, что коммунизм в одном из своих аспектов есть «явление русское и национальное» (стр. 7). Соответственно русскому религиозно-культурному сознанию во всей его исторической длительности приписываются «некоторые устойчивые свойства: догматизм, аскетизм, способность нести страдания и жертвы во имя своей веры, какова бы она ни была, устремленность к трансцендентному, которое относится то к вечности, к иному миру, то к будущему, к этому миру» (стр. 9). Эти архетипы сознания связаны с особым географическим пространством России и со спецификой ее положения на границе Европы и Азии; самый характер бердяевского дискурса свидетельствует в данном случае об определенном влиянии евразийских идей (вероятнее всего, Л. П. Карсавина).

Вместе с тем Бердяев утверждает мессианизм русской религиозности, обнаружение которого он видит прежде всего в концепции «Москва — третий Рим», а надрыв — в расколе. Темой раскола были, на его взгляд, не обрядовые частности (это справедливо), а вопрос «о том, есть ли русское царство истинно православное царство, т. е. исполняет ли русский народ свое мессианское призвание» (стр. 10). Уже в этом рассуждении бросается в глаза натянутость бердяевской схемы и его исторический дилетантизм. Достаточно вспомнить, что у старообрядцев отсутствовала и идея теократического царства, спасающего мир, и какая-либо связь учения о спасении с национальной идеей. Более того, именно в истории старообрядчества полнее всего изживается имперский (теократический) соблазн и церковная община становится подлинным центром и основой религиозной жизни. Старообрядческая духовность не подтверждает, а опровергает бердяевские исторические построения.

Вслед за этим Бердяев говорит о петровских преобразованиях как исходном моменте того нравственного и культурного разрыва русской общественной жизни, который предопределяет основные последующие противостояния: народа и власти, народа и интеллигенции,— и тем самым создает основу для революции как разрешения этих противостояний. Здесь вполне явственно просматриваются отголоски славянофильской аргументации. При этом, однако, петровская реформа рассматривается как необходимая инновация, неизбежная в силу исчерпания того пути, по которому шла Россия допетровская. И в этом тезисе не менее отчетливо ощущается воздействие прогрессистской историографии (Милюкова, Пыпина и других), которая и предопределяет основные схемы, прилагаемые Бердяевым к русской истории. Вообще исторические экскурсы Бердяева основаны на вторичном и, как правило, достаточно поверхностном материале, заимствуемом из общих работ прогрессистско-позитивистского направления. Сколь бы критически ни относился автор к философским основам этого направления, он не задумываясь повторяет его общие места, и это во многом предопределяет его понимание истоков коммунизма.

Действительно, сказав во введении о разрыве религиозно-культурного сознания русского общества, о взгляде народа на образованный класс как на чужих, «иностранных» людей, Бердяев в следующих главах к народному мировосприятию больше не возвращается (видимо, понимая его как константу), а рассматривает этап за этапом так называемое русское освободительное движение — по той стандартной схеме,

которая утвердилась в русской радикальной и либеральной публицистике в предреволюционную эпоху: от декабристов к западникам и славянофилам, от последних к разночинной интеллигенции (шестидесятникам), затем к народникам, а от них к русскому марксизму. Конечно, оценки Бердяева не совпадают с теми интеллигентскими стереотипами, которые были характерны для радикальной публицистики, он принципиально их отвергает, развивая те мысли об интеллигентской беспочвенности и нигилизме, которые он сам в свое время высказывал в «Вехах». Тем не менее прежняя схема сохраняется, и, что еще важнее, сохраняются тесные рамки интеллигентского исторического кругозора. Это приводит Бердяева к ряду противоречий.

В первой главе «Образование русской интеллигенции и ее характер. Славянофильство и западничество» Бердяев подчеркивает несходство русской интеллигенции «с тем, что на Западе называют intellectuels». Он пишет: «Совершенно другое образование представляет собой русская интеллигенция, к которой могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интеллектуальные. И многие русские ученые и писатели совсем не могли быть причислены к интеллигенции в точном смысле слова» (стр. 17). Четко обозначив это характерное для России несовпадение интеллигенции и образованного класса, Бердяев затем образованную часть русского общества, не принадлежавшую к интеллигенции, полностью в своих рассуждениях игнорирует. Это относится и к русской общественной мысли (скажем, ни разу не упомянуты Катков, Любимов или Страхов, практически обойден молчанием Лев Тихомиров), и к русским историческим деятелям (например, Витте или Столыпину). Так создается ложная картина, в которой интеллектуально бессильному правительству противостоит «народ» со свойственным ему тоталитарным мировоззрением и интеллигенция с другим, но не менее тоталитарным взглядом на мир. Соединение двух последних групп и приводит с неизбежностью к большевистской революции, которая — в силу тенденциозного социологического анализа — оказывается явлением специфически русским. Уникальность революции напрямую связывается с уникальностью русского общества, но при этом определение его особых черт никак не соответствует реальным фактам, что делает сомнительной и постулируемую Бердяевым причинную связь.

Согласно бердяевской концепции в России как бы отсутствует «третья сила», но отсутствует она именно потому, что Бердяев ее игнорирует. Не случайно, говоря о 1860-х годах, Бердяев пишет: «Очень важно отметить, что либеральные идеи были всегда слабы в России и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы моральный авторитет и вдохновляли. Деятели либеральных реформ 60-х годов имели, конечно, значение, но их либерализм был исключительно практическим и деловым, часто чиновничьим, они не представляли собой никакой идеологии, *в которой всегда нуждалась русская интеллигенция*» (стр. 30; курсив мой.— *В. Ж.*). Сомнительно здесь утверждение о том, что у либералов не было идеологии, но еще более значимо то обстоятельство, что Бердяев продолжает смотреть на либерализм глазами радикальной интеллигенции, поскольку только для нее идеология была главной жизненной основой. Бердяев утверждает этот взгляд на идеологию как само собой разумеющийся, хотя очевидно, что для многих общественных групп жизненной основой была не идеология, а позитивная деятельность. Радикальная интеллигенция и в самом деле оказалась к либерализму невосприимчива, в частности, видимо, и потому, что у него не было броских идеологических лозунгов. Означает ли это, однако, неплодотворность русского либерализма? Ясно, что такой вывод можно сделать лишь в том случае, если свести русское историческое развитие к развитию освободительного движения и отождествить русское общество как субъекта истории с интеллигенцией. Только в рамках подобной тенденциозной схемы можно упустить из виду развитие земства, мирового посредничества и т. д., которые были именно результатом либеральных реформ и несомненно накладывали на жизнь страны в целом (и на жизнь широкого образованного слоя, в частности) куда более сильный отпечаток, чем революционные бредни петербургского разночинного студенчества.

Вторая глава книги посвящена русскому социализму и нигилизму. Бердяев повторяет здесь ряд наблюдений, прозвучавших уже в «Вехах», о специфическом характере русского радикализма, для которого материализм и отрицание становятся своего рода верой. Этот религиозный характер нигилизма прослеживается и в отношении к обществу, и в отношении к культуре, и в отношении к любой традиции вообще. Бердяев видит в этой религиозности радикализма специфически русскую черту, хотя нетрудно привести западные аналоги, например религиозный момент в бланкизме или связь социального утопизма радикальных чартистов с сектантским протестантским утопизмом XVII века. Бердяев полагает, что русский нигилизм «есть вывернутая наизнанку православная аскеза, безблагодатная аскеза. В основе русского нигилизма, взятого в чистоте и глубине, лежит православное мироотрицание, ощущение мира лежащим во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли» (стр. 38).

Эта новая попытка связать революционное движение с русской национальной психологией, или с «русской идеей», не представляется убедительной. С одной стороны, православие взято здесь лишь в одном своем ракурсе, причем вряд ли в доминирующем: как известно, в православии преимущественно перед другими христианскими конфессиями выражен именно момент утверждения благодатности творения, и православная аскеза может быть не только мироотвергающей, но и мироприемлющей (та традиция, которая связывается еще с преп. Феодосием Печерским; именно ее так верно почувствовал Достоевский, создавая образ старца Зосимы). С другой стороны, столь же оправданным было бы установить связь нигилистической религиозности с любой другой (неправославной) аскезой, недаром в дальнейшем Бердяев говорит о Нечаеве как о «чем-то вроде Исаака Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы революционного социализма» (стр. 52; возникает подозрение, что Исаака Сирина Бердяев не читал). Если в предтечи русского революционного движения можно зачислить Лойолу, то при чем здесь православие? В конце концов дело сводится к тривиальной мысли о том, что любой фанатизм может порождать своего рода аскезу (тогда как не всякая аскеза связана с фанатизмом), и при такой редукции никакой специальной связи с «русской идеей» не просматривается.

В третьей главе книги «Русское народничество и анархизм» делается попытка обобщить разные направления русского радикализма 1870—1880-х годов. Автор сразу же заявляет, что «народничество есть столь же характерно русское явление, как и нигилизм, как и анархизм» (стр. 48), то есть продолжает выявлять русскую специфику революционного движения. Вместе с тем, понимая народничество как попытку преодолеть отрыв от народа, порожденный «расколом Петровской эпохи» (стр. 49), Бердяев видит в нем (равно как и в русском анархизме) «русскую дионисическую стихию» (стр. 53), ранее воплотившуюся в Стеньке Разине и Пугачеве. Трудно сказать, насколько приложимы культурологические категории, предложенные Вяч. Ивановым («дионисийство» и т. п.), для описания истории русского бунта, но сам диалектический ход бердяевской мысли заслуживает в этом случае пристального внимания. Так, возникает вопрос, насколько подлинным было это утверждаемое Бердяевым сродство, учитывая тот определяющий момент (который Бердяев отнюдь не игнорирует), что народничество не встретило понимания со стороны «народа». Следует ли думать, что это отторжение произошло оттого, что «народ» не смог опознать родную «дионисийскую» стихию под внешне чуждыми ему формами, или все же сродство не было столь глубоким, как кажется Бердяеву?

В своих дальнейших рассуждениях Бердяев вовсе уходит от этой проблемы. Он пытается поставить в ту же намеченную им линию П. Лаврова и Н. Михайловского, у них, во всяком случае, влияние европейского либерализма существенно сильнее, чем «русский дионисизм», который явно не сочетается с идеями индивидуализма и нравственной оценки, развивавшимися этими мыслителями. В тот же ряд попадает и П. Н. Ткачев, успешно преодолевший комплекс вины перед народом (что, впрочем, Бердяев отмечает), рассматривавший его как материал для революции и в этом своем подходе никак с «русской идеей» не связанный. Завершается эта глава утверждением, что «история русских революционеров есть мартиролог» (стр. 62). Оно как бы выплывает из бердяевского интеллигентского подсознания и воскрешает интеллигентский культ героев и властителей дум (см. его четкую оценку в статье С. Н. Булгакова в «Вехах» — «Героизм и подвижничество»). Если мартиролог состоит из народовольцев (страдальцев, конечно, но все же не мучеников), то для их жертв места в нем нет, и этот ущербный нравственный выбор, по существу, лишает Бердяева религиозной основы при построении историософии.

Основываясь на этой не слишком адекватной картине истории русской общественной мысли, Бердяев переходит к рассмотрению русского марксизма. Он противопоставляет его марксизму европейскому, пятая глава так и названа — «Классический марксизм и марксизм русский». Ряд соображений, высказанных в этой главе, к сегодняшнему дню сделался общим достоянием, хотя выводы историософского характера вряд ли могут быть приняты в полном объеме. Бердяев показывает, как трансформируется в русских условиях экономический детерминизм марксизма и учение о революционной роли пролетариата. Поскольку экономический детерминизм уводил Россию от революции, он был русскими радикальными (или ортодоксальными, как их называет Бердяев) марксистами (Лениным и другими большевиками) поставлен на второй план; на первый план они выдвигали «не детерминистическую, эволюционную, научную сторону марксизма, а его мессианскую, мифотворческую, религиозную сторону, допускающую экзальтацию революционной воли, выдвигающую на первый план революционную борьбу пролетариата, руководимую организованным меньшинством, вдохновленным сознательной пролетарской идеей» (стр. 88). Закономерность победы «ортодоксального» марксизма в исторических условиях России показана убедительно.

При этом, однако, Бердяев полагает, что данная трансформация была чужда марксизму в его чистом виде. Он считает, что «Ленин... совершал революцию во имя Маркса, но не по Марксу. Коммунистическая революция в России совершалась во имя тоталитарного марксизма, марксизма как религии пролетариата, но в противоположность всему, что Маркс говорил о развитии человеческих обществ... И это оказалось согласным с русскими традициями и инстинктами народа» (там же). В этом рассуждении Бердяев игнорирует то обстоятельство (которое он сам в другом месте отмечает), что марксизм у Маркса также не был однороден и наряду с экономическим детерминизмом содержал прагматическое, активистское учение о революции, соответствующее общему философскому прагматизму Маркса (учению о преобразовании действительности в «Тезисах о Фейербахе»). Неясно поэтому, что мешает рассматривать ленинизм как вполне закономерную линию развития марксизма, потенциально заложенную в его истоках (см. в этой связи проницательные замечания Р. Гальцевой в ее статье «Н. А. Бердяев».— «Литературная газета», 2.8.89). При таком подходе ничего специально «русского» в большевизме не оказывается, кроме благоприятствовавших ему русских исторических условий, а именно — относительно ограниченного развития капиталистических отношений.

Бердяев, однако, подобный подход сознательно отвергает, поскольку он не может быть согласован с его трактовкой революции как русского национального явления по преимуществу. Обоснованию этого тезиса посвящена шестая глава книги «Русский коммунизм и революция». Построив вполне здравую историософскую типологию революций, Бердяев пытается вычленить общий революционный компонент из русской революции и существо ее увидеть в специфическом остатке. Эта специфика для Бердяева оказывается не влиянием частных условий на общий процесс, а подлинной основой революционных событий. Он утверждает: «Бесспорно в русской революции есть родовая черта всякой революции. Но есть также единичная, однажды совершившаяся, оригинальная революция, она порождена своеобразием русского исторического процесса и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть другого рода явление» (стр. 109). Как мы знаем теперь, после ряда марксистских революций в других странах, нежели Россия, с совсем иной национальной психологией и спецификой экономических отношений, этот тезис вряд ли выдерживает критику. Однако именно на нем основывает Бердяев свой анализ послереволюционного развития.

Бердяев неоднократно подчеркивает сходство большевистской власти в России с традиционными формами власти в России дореволюционной, «большевистской религии» с народным православием и т. п. Он утверждает, например, что большевики «создали полицейское государство, по способам управления очень похожее на старое русское государство» (стр. 99), хотя в чем именно состоит это специфическое сходство, отсутствующее у других полицейских государств, остается неясным; террор как способ управления, явно все же не свойственный старому государству, Бердяев игнорирует. Такой же натяжкой выглядит и утверждение, что «русским крестьянам всегда были чужды понятия римского права о собственности... Общинное, коллективное владение землей было более свойственно русскому народу, особенно великороссам, благодаря существованию общины» (стр. 112). По мнению Бердяева, большевики действовали в соответствии с этими народными представлениями. Логика сомнительная. Рассуждая подобным образом, можно сказать, что и грабитель с большой дороги исходит из идей общинной собственности. Римская юридическая доктрина действительно чужда и русскому крестьянству и большевизму, но велика ли значимость этого негативного момента? Общинное устройство исключало индивидуальную земельную собственность, но свои права на землю (не вообще, а на конкретную пашню, выпасы, лес, которыми данная община владела) крестьянский мир рассматривал как неотчуждаемые, а отнюдь не как условное право, зависящее от пролетарского государства. И эти права были связаны с общинным самоуправлением, идея которого была для большевиков одиозной. Наконец, оставалась собственность не земельная, которая тоже что-нибудь да значила; и уж здесь большевики с их продразверсткой никак в единомышленники русскому крестьянству не годились.

Не стоит, впрочем, возвращаться к спорам об общине. Важнее даже не тенденциозность Бердяева в этом вопросе, а тот факт, что он совершенно не учитывает положительный опыт столыпинской реформы, показавший, что понятие о земельной собственности достаточно хорошо усваивается русским крестьянством. Бердяев просто воспроизводит расхожие публицистические суждения о русском крестьянстве, фактически устаревшие к его времени. Около четверти крестьянских хозяйств функционировало к 1915 году вне общинного землевладения (различные статистические оценки можно найти в работе Д. Аткинсона, посвященной концу земельной общины /Стэнфорд, 1983/), и эти социально-хозяйственные изменения не могли не преобразовать самым существенным образом традиционные юридические представления. И здесь вновь автор обнаруживает свою родовую связь с радикальной интеллигенцией,

отвергшей предреволюционную аграрную реформу (сразу же приостановленную Временным правительством) и в своем протесте просмотревшей становление нового народного сознания.

Отсюда вырастает и бердяевская оценка результатов революции. Он говорит о преобразовании народной психологии, об усвоении коммунизма как своего рода мессианской религии, о новом поколении «молодежи, которое оказалось способным с энтузиазмом отдаться осуществлению пятилетнего плана, которое понимает задачу экономического развития не как личный интерес, а как социальное служение» (стр. 119), о перспективах индустриального развития России и т. д. Он совершенно не отдает себе отчета в социологических параметрах этих процессов, в ограниченности их социальной базы, в размерах протеста, в значимости государственного принуждения. Можно думать, что эти неадекватные оценки обусловлены уже тем, что Бердяев судил о них из эмиграции, не обладая ни достоверной информацией, ни личными наблюдениями, хотя, конечно, от русского религиозного мыслителя можно было бы ожидать более проницательного взгляда, чем от левых французских газет.

Думается, однако, что причины лежат глубже. Бердяев сохраняет отвращение к буржуазному миру и ощущение обреченности старой цивилизации. Парламентская демократия западноевропейского типа оставалась для него ущербной формой социального существования, которая стоит на пути человечества к царству духа. Подобные убеждения в той или иной модификации были общими для очень значительной части европейской интеллигенции после первой мировой войны, традиции европейской государственности казались реликтом уходящей эпохи, а элементы иного социального устройства (пусть уродливые и непривычные, как в большевистской России или фашистской Италии) воспринимались как предвестие нового мирового порядка, основанного на органической государственности. Этот порядок может быть для Бердяева неприемлем, он дает ему достаточно суровую нравственную оценку, но тем не менее связывает с ним будущее. И в этих своих представлениях он также наследует психологические основы интеллигентского сознания начала века.

По прошествии пятидесяти пяти лет стало вполне ясно, что интеллигентские ожидания нового мира не осуществились. Мировой порядок изменился, но совсем не в том направлении, которое виделось уставшими от буржуазной цивилизации intellectuels. Предсказания Бердяева не сбылись, и это означает, что вся его историософская концепция определилась как неосновательная и недостоверная. Она требует пересмотра с начала до конца и никак не может служить фундаментом для возрождения нашего исторического самопознания. Она увела в сторону целое поколение западных историков, и было бы нелепым для нас повторять заблуждения полувековой давности, заблуждения, ставшие особенно очевидными с концом коммунистической империи и успешно преодолеваемые мировой исторической наукой. Конечно, на ошибках учатся, и именно в силу этого книга Бердяева заслуживает внимательного чтения и профессионального анализа.

Историософия Бердяева — это прежде всего историософия идеологическая. Духовная история общества из истории идей и коллективных представлений превращается у него в историю наиболее громких идеологов. За шумом радикальной публицистики Бердяев упускает реальную историю России. Он упускает из виду тот каждодневный труд, который совершался многочисленными врачами, инженерами, заводчиками, богословами, статистиками, юристами, которые часто колебались в своих идеологических пристрастиях, но инстинктивно ощущали созидательный характер своей деятельности. В начале нашего века большинство образованного класса с радикальной интеллигенцией как таковой связано не было, они создавали новую Россию — не западническую, не славянофильскую, не марксистскую, но деятельную, просвещенную, экономически преуспевающую, и вопрос о власти был для них второстепенным. В своем большинстве они не эмигрировали, но остались в России, и не потому, что как-либо симпатизировали большевикам, но потому, что ценность своего дела привыкли рассматривать вне политических страстей и противостояний. Они строили новую жизнь в императорской России и продолжали ее строить при большевиках. Большевики ненавидели их не меньше, чем своих идеологических противников, и уничтожали их с привычной для них жестокостью. И именно тот залог будущего процветания, который они несли, который столь легкомысленно игнорировал Бердяев и столь предусмотрительно истребляли адепты нового тоталитаризма, вновь становится актуальным сегодня. Для будущего России это здоровое жизнестроительство имеет решающее значение, и горе нам, если мы им пренебрежем — каковы бы ни были для этого основания: коммунистической утопии или бердяевского псевдоспиритуализма.

ВИКТОР ЖИВОВ.

В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО

*

ЭРА ПУСТЯКОВ,

ИЛИ

КАК МЫ НАКОНЕЦ ПРИШЛИ К ЛЕГКОЙ МУЗЫКЕ И КУДА, ВОЗМОЖНО, ПОЙДЕМ ДАЛЬШЕ

В XX веке среди прочих мифов, «внедренных в практику», реализовалась давняя (сформулированная, в частности, у Боэция) мифологема «мировой музыки». Musica mundana, издаваемая вращением небесных сфер, звучит неумолчно и вечно. Люди не слышат ее — привычное ухо не замечает звучания, которое всегда в нем. Заменим сферы небесные на земные, социальные. Они постоянно озвучивают себя как бы стихийно сменяющими друг друга волнами популярной музыки. Советская социальность создала почти не слышимый нами песенный фон. То есть мы, конечно, слышим наши песни, но почти не вслушиваясь, не внимая.

Да и чему тут внимать? — не Моцарт как-никак, не Чайковский. Песня так проста, что даже специально сфокусированное внимание аналитика нередко проскальзывает сквозь ее прозрачную ясность — куда-нибудь в синхронные идеологические контексты, в них находя искомый предмет для анализа. Между тем песенное воплощение этих контекстов — уже не они сами. Можно негодовать на прозвучавшее в 1937 году: «Над страной весенний ветер веет, / С каждым днем все радостнее жить, / И никто на свете не умеет / Лучше нас смеяться и любить!» Какое фарисейство, какое лизоблюдское цитирование вождя («...жить стало веселей»)! Однако песня («Широка страна моя родная» И. Дунаевского) могла ручаться за свои слова. В ней — в ее просторном, привольном, уравновешенном и физиологически предельно удобном мелодическом дыхании[1], в ее одновременно сентиментальной (идущей от шантанного романса) и энергичной (идущей от маршевой ритмики) интонации — действительно «радостно жить»...

Вообще советская песня классической поры (примерно до конца 60-х, когда в массовой музыке началась «перестройка» — задолго до политики и экономики) — это единственная, видимо, сфера, в которой оказался построенным обещанный «наш новый мир», а «кто был никем», стал-таки «всем». Ее стиль наделен органичностью

Т. В. Чередниченко — музыковед, доктор искусствоведения, автор книги «Тенденции современной западной музыкальной эстетики» (М. «Музыка». 1989) и ряда других работ, в числе которых — отклик «Полиграмота легкого жанра» на статью Е. Лебедева «Кое-что об ошибках сердца. Эстрадная песня как социальный симптом», опубликованную в № 10 «Нового мира» за 1988 год (см. этот отклик в сборнике «Эстрада без парада» / М. 1991, стр. 360—367/). В настоящее время в издательстве «Культура» готовится к печати новая книга Т. В. Чередниченко об истории и сегодняшнем дне нашей музыкальной эстрады.

[1] Большинство фраз буквально озвучивает дыхательную моторику: скачок вверх (на самые удобные для голоса интервалы) и его плавное заполнение — вдох и выдох. Поистине: «Я другой такой страны (то есть песни) не знаю, / Где так вольно дышит человек»... *(Здесь и далее примечания автора.)*

и завершенностью[2], если и не оправдывающими идеологические мифы, что вдохновляли песню, то, во всяком случае, способными заставить переживать последующее развенчание мифов как жизненно-смысловой провал, болезненную психологическую ампутацию.

Тем более что «новые песни», которые теперь «придумала жизнь», если и «лучше» с идеологической точки зрения, то с собственно песенной точки — точки слушания (а слушание есть также скрытое рефлекторное пение) — много, много «хуже». «Ты уехала в знойные степи, / Я ушел на разведку в тайгу» — это можно петь, это можно хотеть петь. А вот «Желтые тюльпаны, / Вестники разлуки» или «Музыка нас, а-а, связала...» — это можно только нехотя танцевать, даже нет, всего только отбивать такт ногой. Певческая открытость, когда внутреннее акустически вырывается наружу, заполняя собой мир, кончилась. Осталась телесная замкнутость: танцующий человек ведь пластически артикулирует свои контуры, границы между собой и миром. Тем более что и танцы теперь непарные (парный танец — нарушение предварительно заданной отграниченности отдельного тела), никаких стилизованно-зашифрованных объятий в них нет, каждый вытаптывает свое место под дискотечными солнцами, очерчивает автономную капсулу шириной в размах рук, высотой в прыжок, глубиной в угол наклонных вращений...

Но обо всем по порядку.

Привычная синонимия выражений «эстрадная песня» и «легкая музыка» у нас имела своеобразный смысл. Советская эстрада несла на себе груз идеологической серьезности, ее поверяли агитпроповскими критериями, тяжесть которых нависала «санкциями». В то же время, при всех сакрализаторски-карательных претензиях агитпропа, его роль воспитывающего «массовика» фатально тянула за собой амплуа «затейника». В картонных панно, украшавших облезлые торцы домов изображениями тружеников-энтузиастов, традиции фрески сползали в стилистику комикса, хотя и гиперболизированного. В фильмах на производственную тему газетные передовицы расписывались на реплики персонажей кукольного представления: в консервативном директоре угадывался Карабас Барабас, в молодом инженере-новаторе — Буратино, а в покровительствующем ему парторге — папа Карло. Симфонические увертюры, кланявшиеся «соцреализму — партийности — народности» названиями вроде «Радость труда» (из трех разделов: по краям минорно-маршевый перестук колес, символизирующий «работу» и «вперед», в середине — лирический полдник на рабочем месте с пакетом мажорно-мелодического молока), компоновались из песенного материала, который провоцировал на примитивное использование большого оркестра. Песня же в нашей массовой культуре стала главным транслятором «мировоззрения». Это означало как ее серьезность, так и легкость доктринального содержания, способного без ущерба для глубины уложиться в три-четыре куплета, да еще срифмоваться по типу «папа — шляпа». Если песня не «опускалась» до легкой

---

[2] Органичностью — несмотря на поразительную эклектику (а может быть, благодаря ей), на скомбинированность из объедков, нападавших с самых разных по степени изысканности столов. В частности, И. Дунаевский, один из главных разработчиков советского песенного канона, смешивал не только шантанный надрыв с революционной шагистикой (как в «Широка страна...»), но и гармонические «вкусности» из голливудского киношлягера с лапидарным гимном (в жанровых истоках — протестантским хоралом), например в песенке из кинофильма «Весна», где после джазовых каденций на словах «пень», «день» заключительная фраза («Весна идет, весне дорогу») — это почти Гимн Советского Союза. А в «Марше трактористов» («Ой вы, кони, вы, кони стальные...») находим амальгаму из воспоминаний о «Я ехала домой, душа была полна...», из крестьянской протяжной и маршей гражданской войны типа «По долинам и по взгорьям». Дунаевскому ничего не стоило соединить водевильный куплет и переклички в духе «Дубинушки» (из «Волги-Волги»: «Точно небо, высока ты, / Точно море, широка ты» — это типичная комическая водевильная скороговорка; но зато потом: «Эй, грянем / Сильнее, / Подтянем / Дружнее...»). Импортное и почвенное, травестированное и возвышенное, валяющееся под ногами и искусно стилизованное — все лишено собственного смысла, все уравнено на правах интонационной ясности и легкости для голоса и слуха. Так петь можно, не имея за плечами никакой традиции, ибо это «песни вообще» (значит, некоторым образом песни «в их собственном понятии»). Советский песенный стиль вырос как бы по слову поэта: «Когда б вы знали, из какого сора...» Вырос неким коровяком скипетровидным — есть такое ботаническое название; прошу читателя вслушаться в ассоциативную нестыкуемость буквального звучания его составляющих и в то же время в их ритмико-артикуляционную цельность. Советская классическая песня — это такой вот коровяк скипетровидный: нечто низко-элементарное и вместе с тем мощно обобщенное, почти высокое.

музыки, то зато идеи, которым она служила, не возвышались до особой духовной сложности. Простота была их общим девизом. В газетных призывах к очередной торжественной дате эта простота оборачивалась скукой, которая и обозначала «серьезность», на концертной сцене — большей или меньшей увлекательностью, которая обозначала «легкость». Но и в мире песни были своя скука и своя увлекательность, воспроизводившие генеральное отношение газеты и куплета. Скука концентрировалась в первых, увлекательность — во вторых отделениях тех сборных концертов, без которых еще недавно не обходились официальные праздники.

Первые отделения торжественных концертов в Кремлевском Дворце съездов (КДС) отличались от вторых как «один» от «другого» в нанайской борьбе, где кладут на лопатки себя самого. Развлекательная лирика, занимавшая вторые отделения, выступала антиподом-близнецом бравурных маршей-гимнов, звучавших сразу после официальных речей.

Гражданственные песни восславляли вождей, партию, армию, комсомол, пионерскую организацию, революцию, трудовые свершения, труд вообще, так что адресаты здравиц стилистически сливались в некое абстрактно-победное «мы». Его мощь выражалась гиперболизмом текстов (из поздних образцов, текст А. Дементьева: «Встает рассвет над Волгою, / Над праздничной Вселенной...»; «Вселенная» далее рифмуется с «Ленин»), широтой мелодической фразы (на одном дыхании — не меньше двух тактов), тенденцией к медленному темпу (примечательно, что в 30-х «Широка страна моя родная» звучала в темпе строевой походной, тогда как в 70-х почти застыла на месте, замедлившись даже сильнее, чем требуется для похоронной процессии), вокальным стилем, ориентированным на стенобитную громкость (главным исполнителем официальных здравиц стал Краснознаменный ансамбль, звучание которого эволюционировало от послевоенной лихой удали с гиканьем и посвистом к статуарному forte, словно проглотившему аршин).

Через группу песен, в которых абстрактно-победное «мы» приближалось к слушателю в виде «мы» повседневного (работников «родного завода», «девчонок», что «танцуют, танцуют на палубе» по дороге на комсомольскую стройку, «держись-геологов» и «крепись-геологов», «дорогих моих москвичей», соседей «у нас во дворе» и т. п.), здравица переходила в лирику, но особую: такую, в которой тепло личного эквивалентно уюту коммунальности. Часто символом лирического растворения в общности становилась сама песня: «Мы для песни рождены, / Наша дружба — навсегда...» Петь, переживать дышащую открытость миру и слышать хоровое согласие, вбирающее эту открытость, стало своего рода медитативной практикой погружения в «советский коллективизм». Песня сама свидетельствовала о своей магической функции: «Нам песня строить и жить... жить и любить помогает, / Она как друг и зовет, и ведет...»[3]. Певческое самозабвение превратилось в способ социализации, в субститут общения, в знак идейности. Поэтому когда отдельный индивид поет о сугубо личном: «Любовь нечаянно нагрянет... / И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, / И ты поешь...», «Ты моя мелодия, / Я твой преданный Орфей», «Ты найдешь себя, любимый мой... И мы еще споем...» — то неслышимым эхом отдается: «Нам песня строить и жить, жить и любить...»

В сочетании с «жить и любить» песня утверждала коллективистский монументализм еще и от противного. От «И кто его знает, зачем он моргает...» (деревенского скромника 30-х) до «Я гляжу ей вслед, / Ничего в ней нет...» (неприметной городской девчонки 60-х) лирическая эстрада умилялась заурядности своих героев. Условием любви выставлялась ординарность человека, следовательно — его безостаточная интеграция в массовидное целое. «Мы» настолько выше и важнее «я», что последнее могло петь только нарочито маленьким, домашним голосом, как бы расписываясь в отсутствии претензий на высокую самооценку. От Л. Утесова к М. Бернесу, от К. Шульженко к М. Кристалинской лирический вокал тяготел к непритязательному декламированию. Как раз в этом заключалось его обаяние: чем повседневней звучит голос, тем дальше песня от «краснознаменной» официальности. Но именно обиходный речевой голос обозначал пребывание в статусе «маленького человека», за счет которого утверждалась грандиозность «общественного».

Скромная напевность эстрадной лирики, отрицавшая все большое (включая большую страсть), сентиментально погружавшаяся в прозрачную простоту внутреннего мира песенных героев (где нет места никаким глубинам, в том числе темным глубинам чувственности), аранжировала главную лирическую тему — «любовь» — в

[3] Мерцание «любить» сквозь «строить» и обратно в переменных строчках припева симптоматично. К синонимии сводятся общественное деяние и личное состояние.

духе целомудренной дружбы: «Давай пожмем друг другу руки, / И в дальний путь на долгие года». Недаром в пред- и первые послевоенные годы особой популярностью в амплуа героя-любовника пользовался В. Бунчиков — тенор с галантерейно-«бесполой» интонацией, а в начале 60-х среди первых звезд была Т. Миансарова, обладательница звонкого сопрано, стилизовавшая в певческой манере инфантильную шаловливость.

Мифология, питавшая классические советские песни, носила мобилизационный характер: она «звала и вела». В этом ее отличие от мифа западной эстрады, который никуда не зовет и не ведет, но просто окрашивает быт грезой праздничности и комфорта. Удивительным образом, однако, свой комфорт был и в нашей песенной мобилизации: ее цель — «светлое завтра» — своеобразно оправдывала необходимость напряжения сил и сообщала ему радость как бы уже достигнутого счастья.

Ситуация на эстраде изменилась, напомню, в 70-х годах, после того как в официальной песне был освоен опыт печали, а «магнитофонными нелегалами» — опыт протеста.

Оба настроения проникли в песню еще во время войны: например, в «Темной ночи» Н. Богословского соединяются ностальгическое танго и суровый марш. За интонациями танго закрепилась семантика сладкой боли воспоминаний, за минорным маршем — семантика противостояния. Послевоенный опыт печали актуализировал первую из этих составляющих фронтовой лирики.

Особое направление «оплакивающей памяти» явили собой песни о деревне и России (или о деревне как России), заполнившие эстраду с того же момента, когда заявила о себе проза деревенщиков. Исполнительницы этих песен — Л. Зыкина, О. Воронец, А. Стрельченко — выделили в фольклорном вокале интонационное начало, свойственное заплачке и причету. Накладываясь на сценический образ «традиционной» женщины, окруженный аурой страдания и терпения, причитающий вокал превратился в знак оплакивания народно-родного, словно утраченного, ушедшего в прошлое. В песнях «Издалека долго течет река Волга», «Гляжу в озера синие» и в им подобных сохранялась величавость, ассоциирующаяся с победной коллективностью, но, с другой стороны, звучало сострадание, шедшее вразрез с гражданственными песенными идеалами.

В то время как народные артистки «оплакивали» народ, в несанкционированном музыкальном обиходе копились бардовская сатира и рок-агитационность. Первая восходила к стилистике фронтового романса и «криминального» трехаккордового минорного куплета — музыкальной приметы послевоенных вокзалов, где просили подаяния увечные ветераны; вторая — к комплексу интонационно-ритмических идиом, так или иначе обыгрывающих эротическую провокацию. Печаль, «аутсайдерское» умонастроение, скепсис, чувственность — качества, в которых было отказано герою официальных здравиц и лирических песен, завладевали слухом публики, заставляли отказаться от идентификации с образом «простого советского человека». На этот отказ госэстрада отозвалась двояко: постепенным отмиранием в 70-е годы жанра гражданственного марша-гимна и пафосной романтизацией лирической песни. Процессы эти взаимосвязаны.

Расстаться сразу с монументалистикой типа «Партия — наша надежда и сила...» было трудно, но в качестве предиката «мы» (которое рассыпалось на протестующе-критичные или пассивно-скептические частицы) она уже не проходила. Поэтому мощь и размах, ранее закрепленные за агитпропрепертуаром, откочевали в личную сферу. «Я» стало вдруг громадным, события его личной жизни обрели космический масштаб. С оперным разворотом корпуса, напрягая все вокальные силы, почти «краснознаменно» интонировал М. Магомаев: «А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, / И кони эту свадьбу вдаль несли, / Широкой этой свадьбе было места мало / И неба было мало и земли». Однако для накачки пафоса мало было не только «неба и земли», но и самой «свадьбы». Лирическая исповедь должна была оправдать свое исполинство душевными терзаниями. По мере продвижения от бабаджаняновской «Свадьбы» (она сама задавала направление минорной «слезой», увлажняющей ее пафосную ширь) к «Ночному рандеву на бульваре роз» (в котором матримониальное благополучие перечеркнуто рифмой «час разлуки — шанс от скуки») песня теряет безоблачную удовлетворенность жизнью и впадает в одинокую тоску. В свою очередь, минорное одиночество, поданное с катастрофическим размахом, окрашивается в тона вызова затухающему коллективизму. На эстраде появляется эмансипированно-неприкаянная женщина — воплощение свободы и несчастья: несчастья свободы.

Показателен имидж А. Пугачевой 1976—1984 годов. Актриса подавала себя как собрание гипертрофий, восходящих к эстетике клоунады. Недаром первый ее хит «Арлекино» (1975) низводит на эстрадные подмостки тип ранимого эксцентрика из «Паяцев» Леонкавалло или «Петрушки» Стравинского. Пугачевские гиперболы (легко пародируемая прическа, нестыковка нарядов и телосложения, слухи о скандалах и чрезмерностях, циркулировавшие среди ее поклонников и противников, скандирующая артикуляция, резкие вокальные контрасты — например, глумливо-вызывающего и щемяще-беззащитного звучания) означали смелость быть собой. Особое качество этой смелости придавала целенаправленно оттачиваемая пошлость, которую певица сумела превратить в «чистый стиль», в эстетически завершенную манеру. Пугачева культивировала переигрывание, выставляя напоказ ничем не ограниченный темперамент, как бы даже бесстыдную стихию самости. Слушатели улавливали в этом самовыплеске идеологический контекст: противостояние пресловутому «не высовывайся». Но «высунутость» каралась самою же исполнительницей. Сюжеты ее песен да и интонация ее голоса рисуют героиню, томящуюся между страстной надеждой и усталым разочарованием. Отпав от советской коммунальности, «женщина, которая поет», в конце концов оказывается беспросветно одинока и цинична: в шлягере конца 80-х «Казанова» она попадает на южную танцплощадку, где сердцеедствует местный герой-любовник и где для ее смелости-свободы остается только такое выражение: «Все это для меня не ново, / А тайне взгляда колдовского / Я научу тебя сама». Шлягер «несчастья свободы» косвенно тосковал по былому несвободному счастью...

Свобода на эстраде конца 70-х — начала 80-х окрасилась страданием по контрасту с прежней парадигмой уютной общности. Страдание же имело «женское лицо» не только по традиции, трактующей женскую долю в печальных тонах, а печаль — как женскую прерогативу, но еще и потому, что прежнее победное «мы» репрезентировалось главным образом мужскими голосами. В интонации «глубокого удовлетворения» пели у нас И. Кобзон, Л. Лещенко, Э. Хиль, Ю. Гуляев, а из женщин разве только Л. Лядова, но ее вокал имел скорее армейскую лепку. Стремясь отмежеваться от мужеской верноподданности, эстрадные солисты выстроились в очередь за Пугачевой. Первым среди них стал В. Леонтьев — певец, в пластике, костюмерии и вокальном стиле обыгрывавший феминизированные черты. И на рок-эстраде возобладал стонуще-изнывающий фальцет, сквозь «подростковость» которого просвечивали признаки слабого пола.

Покуда волевая женственность и безвольная мужественность экспонировали грандиозные всплески одиночества, словно перекладывая на плечи «я» героические почины распавшегося «мы» (достаточно сравнить «А ты такой холодный, как айсберг в океане...» с «Если надо, значит, надо, / Значит, будут и здесь сады. / Пусть метели бушуют рядом, / Надо будет — растопим льды»), рок-подполье приняло «встречный план». В нем феминизированно-страдающее личное дешифровалось как истерически-взвинченное общественное: музыкальный эротический призыв подтекстовывался социальным протестом.

Перестроечная пресса объявила отечественный рок борцом с застоем и бюрократией. «Борьба», однако, повторяла диспозиции официальной эстрады. На рок-сцене была своя идеологическая серьезность, переворачивавшая благостную здравицу в глумливое проклятье. Победное «мы» в рок-агитках освободилось от лучезарного энтузиазма ради агрессивной энергии («Победа — это два пальца вверх! И это — два пальца в глаза!» /«ДДТ»/). Одинокое «я» в рок-интерпретации возвело тоскливое страдание в ранг мученичества, самораспада, психологических корчей. Сформировался отряд рок-юродивых (например, П. Мамонов из «Звуков Му»), рок-бичей (участники групп «Монгол Шуудан» или «Сектор Газа»), рок-сомнамбул (В. Цой, В. Бутусов), невнятно, но пугающе повествующих о душевной истерзанности, расхристанности, безнадежности.

Рок продолжил традиции официальной эстрады и довел их до предела, за которым всякие идеологические сверхзадачи и эмоциональные порывы заканчиваются. От сценографии и звучания рок-музыки неотъемлемы карнавальная пестрота и моральная провокация. Рок — игра в шок, праздник «дозволенности недозволенного». Он исключает искреннюю идентификацию публики со своими героями, которая в квазиреализме шлягерных исповедей или в правоверных гражданственных гимнах подразумевается, хотя и с подспудными поправками на условность развлекательного или церемониального жанра. Только в сознании политически озабоченных журналистов и поверивших по молодости лет в свое социальное избранничество музыкантов могли укрепиться наивные идеи рок-комментария к теле- и радиоразоб-

лачениям или рок-обороны Белого дома. Музыка и шоу в рок-стилистике противятся гражданственной или лирической серьезности. Не случайно уже в первые годы легализации рока его агитационность и исповедальность то и дело выпадали осадком смеха. Ансамбль «АВИА» напористо маршировал под припев «Я не люблю тебя» (да еще выстраивал свой увесистый кордебалет в пирамиды из физкультурных зрелищ 30-х); группа «ДК», смешивая рок-юродство с пионерской добропорядочностью, пела голосами отличников заводной рок-н-ролл о «борматее»...

Поначалу рок-смех сохранял связи с мессианизмом «рока-борца»: был саркастичным, сатирическим. Но вскоре эволюционировал в направлении к шутке, а там и к улыбчиво-безобидным танцевальным «развлекушкам».

Первый шаг от мессианизма к шутке — абсурдистский смех. Сюжетика песен снимает идею социальной ангажированности, но стиль хранит ее следы. «Сидит сантехник на крыше, / Сидит и думает так: / „Эх, мне бы водные лыжи, / Уж я бы точно тогда..."» — что «тогда», так и остается неясно («Бригада С»). Или вот только название: «Полет Гагарина к ... фене» («До мажор» и Андрей Сучилин). Большей частью абсурдистский рок-смех сродни бранным частушкам, в которых разорванность сообщения существует для того, чтобы в логические «дыры» эффектнее вставить ругательства.

Но вот другое явление. Фальстафоподобный увалень в геройской форменной фуражке, с массой невнятных значков — сверху; в отечественном белье для мужчин, прозванном «семейным»,— снизу; в темных очках (важная деталь! — знак непроницаемо-холодного эстетизма в роке новой волны). Кентавр шоу-блеска и кухонной будничности, которого читатели, быть может, запомнили по нескольким телеклипам,— С. Крылов придал рок-абсурдизму новое, демонстративно «несоветологическое» измерение в песенке Ю. Чернавского «Какаду». Вот небольшая выдержка из текста: «На большой сиреневой горе / Сидит зеленая большая птица — / Какаду. И на его зеленой голове / Торчит такой большой зеленый — / Хохолок... Не надо смеяться, / Куда же деваться... / Ты что грустишь, какаду? / Смотри, как весело сегодня в городском саду...» Пелось это форсированным рок-звуком с чувственными нажимами на «заводные» синкопы. Принципиальная бессмыслица текста превращалась в псевдоважность, а это «псевдо» ложилось печатью и на «протестные» аксессуары рок-звучания. Агрессивно, но педантично певец очищал легкомыслие развлечения от «мировоззренческих» напластований.

Вероятно, как имя С. Крылова, так и имена следующих исполнителей многим читателям «Нового мира», да и вообще людям, еще не поменявшим «мыслю, следовательно, существую» (Декарт) на «танцую, следовательно, существую» (Маркузе), известны меньше, чем присяжным зрителям телевизионных топ-хит-гоп-стоп-парадов. Однако маршрут наш пролегает через эти полубезымянные для читающей публики области. Собственно, полуанонимность принадлежит к коренным чертам нового наполнения эстрады — изобильного, стереотипного, как западный прилавок, едва вмещающий сходные по функции, но различные по этикеткам товары. Никто не в состоянии запомнить все этикетки, да это и не нужно. Достаточно помнить цвет флакона полюбившегося шампуня и картинку на коробке, чтобы к собственному удовольствию реализовать свои потребительские намерения.

Итак, следующий шаг на пути к шутке: «Какаду» из репертуара С. Крылова летит прочь от концептуальности, когда, теряя свой «большой зеленый хохолок», оказывается в «далекой бухте Тимбукту», воспетой ансамблем «Секрет». В песне фигурируют имена Сары Бара-бу, птицы Марабу и коровы Му, тасуемые, как в детской считалке. От подозрений в радикальном абсурдизме освобождает и мягкая атмосфера ретро-бита, и имидж ансамбля — адаптация образа «The Beatles» к чертам примерных советских студентов начала 80-х. «Какаду», превратившийся в «Марабу» при перелете из «городского сада» в «далекую бухту», перевел абсурдистский смех в регистр игрового юмора.

Следующий шаг — «далекая бухта Тимбукту», теряя условно-сказочные очертания, превращается во вполне реальные, хотя опять же недосягаемо далекие Гавайские острова, о которых поют «Веселые ребята»: «На Гавайских островах / Утопает все в цветах, / А Гавайи утопают в океане...» Географическая экзотика разворачивается в исключительно милый курортный сюжет: герой признается в любви некой Марианне, так чудесно рифмующейся с «океаном». И все это на фоне не слишком заводного, не особенно горячего, но бодрящего и теплого танца. Если бы не заведомая несбыточность «гавайских грез», то песня не имела бы шуточного колорита, а была бы пустячком лирическим.

Показательно, что пространством деидеологизированной шутливости становятся в песнях далекие острова или бухты с удивительными попугаями. Показательно также и то, что волшебно-экзотические места, где возможна шутка, увидены в песнях как бы детски-бесхитростным взглядом. (По-взрослому уносятся в прекрасные дали лишь рафинированные участники группы «Квартал»: «Парамариво, Парамариво, Парамариво — город утренней зари...») Детство — это тоже отдаленность от «здесь и теперь», но не в пространстве, а во времени. Детство примыкает к «Гавайским островам» и к «бухте Тимбукту» через сказочность; и само детство — своего рода сказка и экзотика для культуры, все время взнуздывающей себя судьбоносными решениями и строящей не один, так другой «наш новый мир».

Поэтому, идя дорогой детства, можно переместиться с «Гавайских островов» в обыкновенный городской двор, где отчаянно фальшиво поет мальчик Вася из песни-сценки ансамбля «Кукуруза». А там можно подняться и в городскую квартиру, где малолетний душевед из песни «Веселых ребят» уверяет мучимую ревностью тетю: «Ой, напрасно, тетя, / Вы таблетки пьете / И все смотрите в окно. / Вы поверьте, тетя, / Дядя на работе, / А не с кем-нибудь в кино...»

«Далеко» как «детство» и «детство» как «далеко» — это условия, в которых возможна шутка. Она невозможна в здешнем взрослом мире, молчаливо констатирует эстрада. Тут возникает сразу и созвучие, и разнозвучие с прежними установками советской массовой культуры. С одной стороны, настораживает симметричность давнему: «Мы можем[4] петь и смеяться, как дети». Но те «дети» находились в жестких рамках тогдашней взрослости — «среди упорной борьбы и труда», а не в сказочно-отдаленном мире. Конечно, непосредственное тепло, излучаемое «детством», ощущалось и в пении тех «детей». Однако звучало оно как компенсирующая добавка к «упорной борьбе и труду», как трогательно-инфантильная приправа к «идеологической зрелости». Время провело черту между «пионером — всем ребятам примером» и Хрюшей из «Спокойной ночи, малыши». И нынешний прорыв к шутке на эстраде ориентирован как раз на «Хрюшу», то есть на область, сказочно свободную от всякой «борьбы и труда», от любой «идеологической зрелости». Правда, нельзя не обратить внимания на тот факт, что пространство это возникает на телеэкране под девизом «Спокойной ночи...».

Впрочем, сон, как известно, лечит (по крайней мере в так называемой медленной фазе). Хотя и чудовищ тоже рождает (во всяком случае, в фазе сновидений — в «быстрой фазе»). И если задавленные вопросами «кто виноват? что делать?» взрослые не шутят, то погрузиться в дрему, замедляющую жизненные процессы, могут и они. Детские шутки на сон грядущий переходят на нашей эстраде в успокоительное расслабление для взрослых. Очищенное от шутливости, легкомыслие теряет тут второй свой корень («мысль»), оставаясь при первом (при «легкости»). В массовой культуре расширяется зона лирико-танцевальной развлекательности, подчиненной тому, что можно назвать поэтикой пустяка.

Еще в начале 80-х, до легализации рока, когда разговоры о «песнях протеста» не так явственно отдавали провинциальной безвкусицей, чуткая Пугачева в содружестве с автором крыловского «Какаду» Ю. Чернавским записала очень странный тогда шлягер — «Белая панама». Сюжетно он напоминал излюбленную на советской эстраде песню воспоминаний о детстве, только «рушник вышивальный», что мама «на счастье дала», заменен непочвенно-курортной панамой. Песни про мамин завет и отчий дом традиционно окружены атмосферой особо теплой душевности: если поют мужчины, то в интонации обязательна скупая слеза; если женщины — то грусть повторения незаладившейся материнской судьбы. Текст и мелодия песенки Чернавского дистанцированы от этих (и каких бы то ни было) чувств настолько, что слова и попевки превращены в голые счетные единицы, они всего лишь артикулируют танцевальный рисунок. «Мама, панама-мама, ах, панама-мама, белая панама»,— гласит, например, припев. Пугачева с холодной расчетливостью акцентировала узлы метрической сетки, вплетала свой голос в технически-лощеную аранжировку как бы на правах одного из эффектов. В интонацию при этом вносился легкий привкус издевки. Смелость певицы транспонирована в область вызывающего равнодушия.

Тогда такой «авангардизм» еще не мог пройти — впереди ждал «Миллион роз», увлекавший слушательниц трагической возможностью мести за многолетнее унижение однодневным режимом поклонения — тремя гвоздиками на 8 Марта. Впрочем, и в «Розах» Р. Паулса — А. Вознесенского, несмотря на душераздирающую историю

---

[4] В фильме поется «будем», в позднейших изданиях — «можем». Эта редактура имеет свой смысл (светлое будущее стало настоящим).

о рыцарской жертвенности «художника одного» и абсолютной неприступности актрисы одной, пространство песни, хотя и прикрытое цветочным изобилием, тоже заполнялось индифферентными ударами метронома («Миллион, миллион, миллион...» в повторяемом припеве на повторяемую попевку есть не что иное, как музыкально-поэтическое перекладывание из стороны в сторону счетных палочек).

Зато в конце 80-х — начале 90-х артикуляция пустоты, размеренной на танцевальные доли, на эстраде доминирует. По характеру пустяки на нашей эстраде делятся на «тепленькие-сладкие» и «холодные-терпкие». А по выполнению — на топорные и артифициальные (то есть стремящиеся к самоценному художественному эффекту).

Лирические песенки без претензии на то, чтобы задеть слушательское внимание, попросту создающие ощущение досуга и комфорта, атмосферу полной необязательности не то что каких-то действий, но и каких бы то ни было сопереживаний,— это теплые-сладкие пустяки. Таковы, например, шлягеры И. Корнелюка про «билет на балет» или «подожди-дожди-дожди». В последнем речь идет вроде бы о любви. Но тема — только внешний повод для языковой инерции, столь же бездумной, как инерция танцевального притоптывания в ритм музыке. Тепла и сладка — лишена всякой «крутизны» — и исполнительская манера певца. Вялая пластика, слабенький голос приятны, так как противостоят повседневным перегрузкам жизни. Принципиален также «разжиженный», эклектичный имидж артиста. Прическа под Пугачеву — Леонтьева, в конце 80-х обретшая вторичность такого же сорта, как представления о моде среди учащихся провинциального ПТУ, слегка комично сочетается с рыхлой фигурой «маменькина сынка», с «интеллигентскими» очками, заставляющими ожидать «занудной» образованности. Это сочетание, помимо невнятного намека на клоунаду, содержит на разные лады обозначенную безобидность — качество, очевидно, актуальное на фоне то путчей, то либерализаций цен. Во всяком случае, «безобидных» на эстраде сейчас, в противоположность еще недавнему засилью рок-брутальности, подавляющее большинство. Ведь имидж безобидности подразумевает отсутствие шокирующих деталей, а в пределе — всякой яркости. Поэтому и тиражировать его можно вполне безликим исполнителям. И выстраиваются на телеэкране шеренги танцующих Дим, Кать, Наташ, Жень (детские имена на афишах — способ подчеркнуть все ту же безобидность) как унифицированные рисунки пластически-поэтически-музыкальных обоев, наклеенных ни на что. Вместо тяжеловесных фронтонов песенной гражданственности, вместо водопадов и пожаров пафосной лирики окружает нас теперь пустота, прикрытая «желтыми тюльпанами», «яблоками на снегу, розовыми на белом», «девочками моими синеглазыми» и прочими разноцветными бликами.

Тепло-сладкие пустяки, как правило, сработаны кое-как, ведь их главная функция — развлекать незаметно, «не будить». Ближе к отточенному стилю шлягеры типа «Ням-ням-ням, весело стало нам» из репертуара А. Пугачевой 1991 года. Атакующая интонация певицы, поданная на нынешнем возрастном этапе ее карьеры в духе всезнающей холодности, придает тексту — перечислению запасов застойных холодильников — бесстрастно-орнаментальное, но в то же время слегка издевательское звучание. При этом задеваются не столько те, «кто виноват» в нынешней пустоте холодильников, сколько те, кто жаждет услышать про «кто виноват» и «что делать». Эта игра в разрыв идентификации с публикой сразу и придает пустяку «терпкость», и резко охлаждает слушательское восприятие, и вместе с тем акцентирует пустяк как именно пустяк и ничего сверх пустяка. То же самое в другом хите Пугачевой последних лет — «Я тебя поцеловала». Заключительные эротические чмоканья микрофона здесь звучат нисколько не более лирично, чем гастрономические чмоканья в «Ням-ням».

Между терпко-холодными и сладко-тепленькими пустяками располагаются различные «коктейли». «Эскадрон» с «Есаулом» О. Газманова — терпко-теплый вариант, щекочущий засыпающую политизированность слушателей «побелевшей» гражданственностью, но, впрочем, тут же уводящий внимание к атлетическому танцевальному движению. Напротив, «Зурбаган» или «Колодец» в исполнении В. Преснякова-младшего — сладко-холодный вариант, отмеченный к тому же заостренным маньеризмом. Об этом несколько подробнее.

Имидж артиста стилизует одну из самых шокирующих двусмысленностей, утвердившихся в шоу-бизнесе после «сексуальной революции» конца 60-х, а именно: бисексуальность. Среди предшественников Преснякова-младшего, например, Бой Джордж, который в хит-парадах начала 80-х занимал первые места и в разряде певцов и в разряде певиц. Сохранившиеся на отечественной сцене реликты классического советского целомудрия не позволяют пока что нашим солистам появляться в женской

одежде и с соответствующим макияжем. Однако то, чего не видят глаза, могут услышать уши.

Стержневая черта сценического образа В. Преснякова-младшего состоит в сочетании энергичного атлетизма и субтильной эротики. Манера танца, жестикуляция и костюмерия напоминают о панк-агрессивности, о рокерах на мотоциклах, о качалках и прочих идеалах вестернизированных подростков. Зато «сопрановый» вокальный стиль, тонко нюансирующий фальцетные краски, открывает сферу изысканного чувственного томления, экзальтированной «девственности», томительно-пассивного эротического ожидания. Однако эта смесь не ранит этических привычек. Пресняков-младший как бы предлагает публике отстраниться от сопереживания песне и собственному образу, зафиксировать внимание на стилевой отшлифованности, например, переходов от чувственной взвинченности к опустошенным постаниваниям в его пении. В сущности, артист моделирует ситуацию, сложившуюся у нас в области рекламы. Совершенство тел, одежд и предметов на рекламной картинке в наших условиях означает не столько их потребительскую привлекательность, сколько — их недоступность. Реклама существует как бы сама для себя, фигуры фотомоделей и вещи на ней как бы сами себя жаждут и потребляют, а мир комфорта, который они репрезентируют, закрыт для входа не менее прочно, чем, скажем, музейное пространство куртуазных досугов на полотнах Ватто. Нарциссизм рекламы, столь явный на фоне маломощной покупательной способности нашего населения, превращает обыкновенные утилитарные предметы в своего рода священные реликвии стиля. Нарциссизм стиля у В. Преснякова заставляет вместо обычной слушательской идентификации с лирической темой и образом артиста пережить невозможность этой идентификации. Отсюда — «дозволительность» андрогинного имиджа, ведь он подан не как образец для подражания, но как недосягаемо далекая стильность; отсюда и сама андрогинная игра: певец, не желая отождествления с собой публики, сам «сливается» с собой, представляет сам себе лирическую «пару». Эта манерная дистанцированность от «нормального» шлягерного подыгрывания житейским переживаниям порождает впечатление холодной пустоты песен, но в то же время их волнующей загадочности.

За исключением маньеристических образцов, шлягерные пустяки так или иначе примыкают к шуточной песне. Но юмористическое начало в них смазано. Не остроумие, которое подразумевает мгновенное напряжение восприятия, но, так сказать, радостно-нейтральное пустоумие, которое катится по рельсам рифменной инерции типа «подожди—дожди» или «ням—нам», по колее повторяемых попевок («Танцуй, пока молодой, / Танцуй, пока молодой...»).

Судя по господству пустяков на нынешней массовой сцене, радикальное расслабление сознания сегодня притягательно. Причины тут, видимо, те же, что определили достаточно массовую потребность уснуть под речитацию А. Кашпировского или А. Чумака у экрана телевизора. Но если впадение в дрему под счет психотерапевта оценивалось как «лечение» и потому сопровождалось настроем аудитории на нечто важное и серьезное, то песня-пустяк (а она своими структурными единицами тоже всего лишь считает время — длительность, лишенную событий) — это, так сказать, легкомысленная, точнее, легко-безмысленная дрема: такой сон, во время которого ощущается бодрая аэробическая легкость жизни (ведь под «Танцуй, пока молодой» и впрямь танцуют — или воображают себя танцующими).

Итак, наконец-то наша эстрадная музыка стала легкой. Заодно с прежней идейностью и эмоциональностью она, однако, сбросила с себя вообще всякую осмысленность, отказалась даже от — вроде бы необходимого для популярности — слушательского самоотождествления с песенным героем. Она погрузилась в манящую прострацию пустого отсчета времени.

Сознание, жившее как бы полной жизнью то в процессе энтузиастического насаждения яблонь на Марсе, то в «протестном» выкликании «Дайте огня! Дайте огня!», то в тепле всеобщей дружбы, расцветавшей улыбками, «полными задора и огня», то в нестерпимом одиночестве и мольбах к утопическому «другому»: «Верни мелодию любви», «Верни мне музыку, без музыки тоска...», — сознание, столь странно бодрое среди химер, погрузилось теперь в безмятежный сон, теперь, когда жизнь сурово-реалистична.

Мобилизационная мифология, питавшая образный мир советской эстрады 20—70-х годов, трансформируется в систему компенсаторных установок. Эти установки сейчас еще не оформились в новую мифологию, скорее они составляют лишь

субстрат для нее: умонастроение, готовое усвоить компенсационный миф. Самого же мифа еще нет. Если только...

Если только не увидеть его очертаний в возвращаемой нынче в радиоэфир (пока что лишь туда) советской песенной классике. Вот сегодня, когда я заканчиваю эти заметки, Радио России отметило День пограничника трансляцией песни 30-х: «Три танкиста, три веселых друга...» И это несмотря на намерения властей урегулировать вопрос с пресловутыми островами (напомню, в песне были и такие слова: «В эту ночь решили самураи / Перейти границу у реки...»). Конечно, сегодня «Три танкиста», «Первым делом самолеты», «Отчего, отчего, отчего мне так светло», «Не кочегары мы, не плотники» и прочие образцы 30—60-х звучат уже не коммунальной радостью, не призывом «на труд и на подвиг», не «законной гордостью советского человека», а неким знаком примирения с прошлым — с его художественным бытом. Отняв массовую уверенность в завтрашнем дне, возвращают уверенность в дне вчерашнем (в начале «перестройки» было наоборот), правда всего лишь в песенном его наполнении.

Парадокс, но он возможен: в постсоветской массовой культуре компенсаторный миф может отстроиться из материала мобилизационного мифа классической советской культуры. «Эпоха тоталитаризма» способна возвратиться в качестве утопии «сплоченности-героизма-сердечности», по своему утешительному воздействию аналогичной шлягерному раю «молодости-любви-комфорта» на западной развлекательной сцене.

Пока что более явственны тенденции вестернизации нашей эстрады; в частности, наши пустяки очень похожи на зарубежные, хотя хранят связь с отечественным наследием, прежде всего с пафосной лирикой 70-х — начала 80-х, тем, что выдержаны в миноре; эта чуть плаксивая интонационная гримаса отличает их от истинной беззаботности западных танцевально-любовных шлягеров, всегда мажорных. Но доморощенный «Запад» на наших развлекательных подмостках способен (по принципу противодействия) оживить старосоветскую мифологию, причем не в ностальгическом переосмыслении, а в изначальном и даже усиленном, мобилизационном звучании. Символические нити будничного художественного потребления, знаменующие пребывание в своей стране, оборвутся, чужие стереотипы и традиции начнут тогда казаться захватчиками родной территории. Рядом с дискомфортом изгнанничества, который особенно остро будут переживать люди старшего возраста, может развиться стремление отстоять рубежи родного культурного пространства. При оборванности фольклорных традиций место исконно своего займет советский культурный арсенал. Вряд ли все бросятся перечитывать «Бруски». Но песня в более выгодном положении. И хотя пока это трудно представить, но если не «Ленин в твоей весне, / В каждом счастливом дне», то уж «Широка страна моя родная» может зазвучать призывным набатом. От статуарности церемониального шага она может вернуться к темпу походного марша...

Возможно также, что нас ожидает новая эпоха «серьезной» легкой музыки. Тем более что сохраняются широкие социально-политические предпосылки этого феномена. Тот как бы высокий идейный смысл, который вкладывался в повседневную музыкально-поэтическую пищу для масс, служил противовесом крайне невысоких стандартов всякого иного повседневного потребления. Чем больше песни льстили труженикам, втаскивая их на постаменты непобедимых героев и ласково поощряя в них целомудренную праведность и сентиментальную наивность, тем беззастенчивее относились к населению власти, загоняя людей если не в гулаги, то в очереди. Нынешнее время тоже не отличается бережным отношением к обывателям. Поэтому эра пустяков скорее всего не продлится долго. Пустяками не уравновесить нищеты. Так что, видимо, не случайно появляются модернизированные «гражданственные» песни, в которых партийно-социалистическое «мы» заменено на соборно-православное; и недаром наблюдается возрождение пафосной лирики, причем с «досоветским» поворотом: в виде жестокого романса. На место красных стягов ставятся церковные свечи, а позицию «твоего преданного Орфея» занимают «их благородия» с не столь давним мифологическим прошлым... Очень может статься, что пара «Эй, зажгите свечи... / В этот священный вечер...» и «Корнет Оболенский, налейте вина...» плавно унаследует «Партии — нашей надежде и силе» вкупе со «Сняла решительно пиджак наброшенный...»; и к новым торжественным датам (например, к пятилетию отпуска цен на энергоносители) будет чем заполнить оба отделения концерта в КДС...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИВАН ЕСАУЛОВ

*

ПРАЗДНИКИ. РАДОСТИ. СКОРБИ

Литература русского зарубежья как завершение традиции

Итоги русского (по ту сторону советского) XX века уже подводились — задолго до его хронологического завершения — в знаменитой книге Г. Струве «Русская литература в изгнании» (1956) и в не менее известном сборнике статей Г. Адамовича «Одиночество и свобода» (1955). Последний хотя и горестно констатировал: «Мы стоим на берегу океана, в котором исчез материк»,— однако заключил в ином тоне: «...эмигрантская литература сделала свое дело потому, что осталась литературой христианской».

Хотелось бы — в самом эскизном приближении — взглянуть на поэтику столь разных русских писателей, как В. Набоков и И. Шмелев, под этим обозначенным Адамовичем углом зрения, взглянуть на них и как на наследников той отечественной традиции, которую счел нужным подчеркнуть («...осталась литературой христианской» — «вопреки ликвидации христианства») критик, и как на авторов, каждый по-своему завершающих эту линию русской классической литературы. Названные имена словно напрашиваются на сопоставление: в эмигрантской критике (довоенной и послевоенной) расхожим было убеждение в сугубой «русскости» произведений И. Шмелева и вызывающей «нерусскости» В. Набокова. Вот и названные мной авторитеты не избежали этой темы. Может, сегодня пришло время, когда век уже действительно подошел к концу, еще раз вернуться к старым спорам?

Попробуем сосредоточить свое читательское внимание на самих «молекулах» художественного мира наших авторов, на самых как будто бы случайных и произвольных деталях их произведений. Нередко ведь именно в такого рода частицах поэтического космоса только и можно обнаружить истинное отношение автора к миру.

По мнению В. Ходасевича, «ключ ко всему Сирину» в том, что «его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют... Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами»[1].

Но, может быть, интереснее всего даже не то обстоятельство, что Набоков открыто манифестирует («выставляет наружу») авторские приемы, а Шмелев их «прячет», делает незаметными для неискушенного читателя, а какие именно здания строят эти крошечные «эльфы» у каждого из наших авторов...

Так, игровая атмосфера романа «Защита Лужина» настолько плотно пропитывает собой весь текст, что уже с первых страниц еще вовсе не знакомый с шахматной комбинаторикой маленький Лужин тем не менее уже играет: «Наплакавшись вдоволь, он *поиграл*[2] с жуком, нервно поводившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст».

Грозящий герою «невозможный, неприемлемый мир», упомянутый Набоковым чуть выше, проникает и в процитированную микроструктуру предложения — слезами мальчика. Мотив же игры, во-первых, изначально связан с властно-режиссерской склонностью героя, пытающегося взять реванш у неприемлемого космоса путем произвольного комбинирования различных вариантов жизненного поведения (личных возможностей, которые отменили бы реальность «невозможного» мира), и, во-вторых, здесь же окрашен смертью живого существа, ставшего невольной жертвой заигравшегося героя. Представление о жизни, уже чреватой смертью и

---

[1] Цит. по изданию: Струве Г. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж. 1984, стр. 286.

[2] Здесь и далее курсив в цитатах мой. — *И. Е.*

словно ждущей смерти, вмещается в «сдобный хруст» раздавленного жука. Кстати, тут и мучившее позднее Лужина-шахматиста (как и многих набоковских героев) роковое удвоение жизненных ситуаций (либо грозящая возможность таких удвоений, как в «Машеньке»), удвоение, порождаемое, как оказывается, своеволием героя: маленький Лужин неудачно пытается повторить смерть жука, вторично «вкусно» умертвить природное существо. На персонализацию и, так сказать, одушевленность жука указывает личностный атрибут — нервность. Что, впрочем, лишь подчеркивает последующее шокирующее превращение его в сдобно хрустнувший предмет, мертвую вещь — для героя.

Окружающая героя агрессия коварного миропорядка (незадолго до казни жука «страшные» мальчики «на мосту окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники») преодолевается и заменяется игровой агрессией героя по отношению к миру. Итогом такой замены в набоковском космосе становится эстетическое умерщвление бытия.

Годунов-Чердынцев из «Дара», перечитывая свои стихи, посвященные «одной теме — детству», «вновь *пользовался* всеми *материалами*, уже однажды собранными памятью для *извлечения* из них *данных* стихов». Последнее слово в этой фразе самое неожиданное. Ведь оно завершает принципиально непоэтическую лексическую цепочку («...пользовался... материалами... для извлечения... данных»). Словно речь идет о решении чисто интеллектуальной математической задачи. Странно, однако предлагаемый читателю конструктивный механизм добывания «данных стихов» больше напоминает воспетый Маяковским («...изводишь... тысячи тонн словесной руды»), нежели «органический» вариант их рождения (например, пушкинский — «стихи свободно потекут», либо ахматовский — «стихи растут»).

Пушкинское творчество безусловно — некий идеальный ориентир для Годунова-Чердынцева. Но и здесь за «спортивной» метафоричностью можно уловить примесь утилитарного отношения к заряду, получаемому от пушкинского гения: «...в течение всей весны продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина,— у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме»; «...закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами «Пугачева», выученными наизусть».

Набоков будто бы блистательно и хладнокровно извлекает нектар из цветка, но отказывается передать сам запах этого цветка. На хладнокровность операции и указывает остраненная от поэтического вдохновения авторская лексика. Я вовсе не утверждаю, что эстетические принципы Набокова нехороши по существу, а хочу лишь обратить внимание на необычность столь методичного отбора жизненного «материала» для русской классической традиции.

Так, обычное для русской литературы «золотое детство» (даже у Некрасова в «Крестьянских детях» упомянуто «красное детство») не то чтобы опровергается Набоковым, но просто как бы переводится в иную систему координат (с совершенно другими критериями оценок). Например, у того же Годунова-Чердынцева «*удавшееся* детство». Но и благополучный герой «Дара» иной раз как бы с некоторым подозрением относится к миру детских воспоминаний. Он словно опасается до конца довериться им, признать их истинность, замечая, «каким *восковым* становится воспоминание, как *подозрительно* хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад».

Сам знаменитый набоковский детский «рай», очертания которого восстанавливаются в «данных стихах» (напомню, стихи Годунова-Чердынцева — одновременно и стихи Сирина), имеет оттенок все той же строгой упорядоченности и математической рассудочности. Вспомним хотя бы «домовый музей» отца героя «Дара», где «стояли рядами узкие дубовые шкафы с выдвижными стеклянными ящиками, полными *распятых бабочек*... где пахло так, как пахнет, должно быть, *в раю*, и где у столов вдоль цельных окон работали *препараторы*». Можно до самозабвения любить великолепный космос Набокова, но нельзя все-таки не подивиться местоположению рая, словно бы окруженного «распятыми бабочками» и распинающими их «препараторами». А ведь это своего рода лобное место названо «*срединным* очагом, освещавшим снутри весь наш петербургский дом», а в другом пассаже подано как «душа дома», сохранившая в период революционного крушения «неуязвимость, присущую святыням».

Но это «святыня» особого рода, «святыня» именно для героя. Здесь преподаются особые уроки отношения к миру («Сладость уроков!» — восклицает Годунов-Чердынцев). В частности, «препарирование генитальной арматуры для определения видов, по внешности неразличимых».

При этом иной подход к миру, основанный на началах, противоположных препарированию элементов, вызывает полупрезрительный иронический комментарий: «Русский простолюдин знает и любит родную природу. Сколько насмешек,

сколько предположений и вопросов мне доводилось слышать, когда, превозмогая неловкость, я шел через деревню со своей сеткой! „Ну, это что,— говорил отец,— видел бы ты физиономии *китайцев*, когда я однажды коллекционировал на *какой-то священной горе*...”».

Нельзя не признать, что тончайшая и мастерская работа «препараторов» и «коллекционеров» очень напоминает создание стихов Годуновым-Чердынцевым (и использование им биографии Чернышевского). В том и другом случаях из мира реальности «извлекается» филигранным хирургическим образом «материал», заинтересовавший субъекта «игралища», и используется весьма прихотливо.

По жесткому определению Адамовича, «у Набокова перед нами расстилается мертвый мир, где холод и безразличие проникли так глубоко, что оживление едва ли возможно. Будто пейзаж на луне, где за отсутствием земной атмосферы даже вскрикнуть никто не был бы в силах. И тот, кто нас туда приглашает, не только сохраняет полное спокойствие, но и расточает все чары своего дарования, чтобы переход совершился безболезненно. Разумеется, «переход» здесь надо понимать фигурально, только как приобщение к духовному состоянию, перед лицом которого даже былые сологубовские сны показались бы проявлением здорового, юношеского кипучего энтузиазма»[3].

Именно ради приобщения к охарактеризованному Адамовичем «духовному состоянию» эльфы и гномы набоковских приемов «пилят, режут, приколачивают, малюют». Между тем отдельные фрагменты книг другого выдающегося русского писателя XX века, И. Шмелева, также приобщая к авторскому видению мира, способны в такой же степени шокировать читателя, хотя и по другой причине.

«Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки, вылавливает — не боится — и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками, и... тюк! — таракана нет. Но я лучше *люблю смотреть*, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много, к прибыли — говорят. Проснешься ночью, и видно *при лампадке* — ползает чернослив как будто. Ловят их в таз на хлеб, а старая Домнушка *жалеет*. Увидит — и скажет ласково, как цыпляткам: «Ну, ну... шши!» И они тихо уползают».

За жалостью Домнушки и любовью маленького героя «Лета Господня» скрывается совершенно иное, нежели у Набокова, отношение к сущему — в чем бы оно ни проявлялось. Перевернув набоковскую фразу, можно сказать: мир, рисуемый Шмелевым, единственно возможный для него и единственно приемлемый. Далеко не случайно и «черные тараканы» освещены, как бы освящены лампадкой (превращаясь при этом в чернослив). Так они тоже приобщены к самому Лету Господню, занимая там хотя и весьма скромное, но свое место.

В этом же эпизоде появляется и другое живое существо: «Отец... запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватое его брюхо лоснится». И ребенку видится, как обитатели земли и воды соединяются в радостном отклике на благожелательное человеческое внимание к ним: тараканы, послушные «шши» Домнушки, «тихо уползают», а налим «словно хвостом виляет». Рука отца, опускаемая в этой сцене купанья соловьев поочередно в банку от варенья и в ведро с ледышками, обретает здесь уже не столько семейно-бытовое, сколько сакральное значение.

Обращенные к его доброму ангелу Горкину слова ребенка: «Тебя Бог в рай возьмет», завершающие весь эпизод, являются своего рода благой вестью (глава «Благовещение»). Летящие соловьи, ползущие тараканы и плавающие рыбы здесь как бы благословляются автором.

Одновременно эти обитатели трех стихий, оказавшиеся в человеческом жилище (ковчеге), в день Благовещения обретают освобождение, волю. Тараканов «Горкин вытряхивает из банки в форточку: свежие приползут»; «...налим — прыг из оставленного ведра и запрыгал по лестнице»; «...я разжимаю пальцы и слышу — пырхх... Пускают и отец и Горкин... Денис подскакивает, берет птичку, как *камушек* (вспомним камень набоковского героя.— *И. Е.)*, и запускает в небо, совсем необыкновенно». Сравнение птички с камушком подчеркивает единосущность и тварность живого и неживого, их взаимодополнительность для Божьего универсума. В финале главы голос отца итожит приобщение героя к миру: «А иди-ка ты, *чижик*, спать?» В этой фразе, подобно рассмотренной выше фразе Набокова, незримо присутствует

[3] Адамович Г. Одиночество и свобода. Париж. 1955, стр. 217.

уже смерть. Дело не только в том, что сон — древний аналог смерти, но и в композиционном построении текста: «Благовещение» завершает главы, повествующие о Великом Посте — смерти. Следующая глава («Пасха») начинается, словно преодолевая смертное оцепенение: «Пост уже на исходе, идет весна».

Неожиданно набоковский и шмелевский миры сближает своеобразная перестановка, «обратная перспектива». Играющий и убивающий жука герой Набокова обречен погибнуть сам — вследствие игры некоего более могущественного, нежели он, режиссера его судьбы. Отец же у Шмелева, отправляющий спать ребенка, *«потирает лоб»* — впоследствии смертельно ушибленный после падения с лошади.

Однако сколь различен итог! Для кончающего самоубийством Лужина «вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты», то есть коварно обращается в чудовищное подобие гигантской шахматной доски, отчего и происходит полная посмертная аннигиляция героя. «Никакого Александра Ивановича не было» — и не оттого только, что выпавший из окна самоубийца оставляет пустой комнату. В первый и последний раз звучащее, имя Лужина для того и появляется именно в финальной фразе романа, чтобы зафиксировать окончательное уничтожение всякой надежды на идентификацию Лужина (шахматиста, вынужденного сменить режиссерские властные функции демиурга на актерское угадывание враждебного чужого замысла) и Александра Ивановича, живущего частным образом в мире других. Распад бездны на контрастные квадраты лишь символизирует итоговый распад сознания героя, словно попадающего в трещину шахматной доски («доска с трещиной» — первое в романе упоминание о шахматной атрибутике).

В шмелевском же мире торжествует как раз христианская философия надежды: кончину и похороны отца героя венчает (как и само произведение) православный тропарь, дающий надежду на жизнь вечную: «Слышу:

...Свя-ты-ый... Бес-сме-э-эртный...
По-ми- - -и- -луй...
на- -а- -ас...»

Соборное «мы», преодолевающее расчлененность мира и человека, равноудаленное от коллективизма «толпы» и от индивидуализма «я», вовсе чуждо набоковскому космосу. Даже Мартын из «Подвига», наиболее человечный в галерее героев набоковского «метаромана», и он мыслит лишь категориями «победы» и «поражения», пытаясь «изловить счастье». А рассказчик в романе «Отчаяние», желающий быть «хозяином своей жизни» и «деспотом своего бытия» (однако не случайно ставший «хозяином» и «деспотом» жизни чужой, убивая своего двойника), с надрывом исповедует философию, коренящуюся еще в фихтеанском резком противопоставлении «я» и «не-я»: «Я не могу, не хочу в Бога верить еще и потому, что сказка о нем — *не моя, чужая, всеобщая* сказка...»

Глубоко символично, что «свечечка» — христианский аналог человеческой жизни — предстает в воспоминаниях Лужина «умиравшей от разрыва сердца, когда на углу улицы налетал ветер с Невы».

В руках героя Шмелева свеча не гаснет:

«Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу — доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике.

— Он теперь никак при хресте не может. Спаси Христос...— крестясь, говорит она».

За противоположностью погибельного «ветра с Невы» и «тихой ночи» стоят принципиально разные образы мира, разные типы духовной ориентации. По наблюдению З. Шаховской, «как будто с годами Набоков все более становился агностиком — и даже воинствующим антицерковником»[4]. Шмелев же, напротив, от произведений 10-х годов, продолжающих, условно говоря, «демократическую» линию русской литературы, переходит к совершенно иному мироощущению, которое можно назвать торжествующим христоцентризмом. По словам И. Ильина, в «Лете Господнем» «Россия и православный строй ее души показаны... силою ясновидящей любви»[5].

«Чего автор хочет? — вопрошает чрезмерно пристрастный и не всегда корректный по отношению к шмелевскому пафосу, но зато весьма точный в определениях Г. Адамович.— Воскрешения «святой Руси», притом вовсе не углубленно-подспудного, таинственного, очищенного, обновленного, но громкого, торжественно-задорного, на-

[4] Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М. 1991, стр. 84.
[5] Цит. по изданию: Шмелев И. С. Сочинения в 2-х тт. М. 1989. Т. 1. стр. 25.

глядного, осязаемо-реального! Чтобы вновь зазвонили все московские колокола, заблистали звездами синеглавые соборы бесчисленных русских монастырей <...> Если впереди тьма, будем хранить свет прошлый, единственный, который у нас есть, и передадим его детям нашим <...>

Где это у Шмелева... Можно было бы ответить: везде, в замысле, в языке, в каждом случайном авторском замечании <...> Все искусство и все дарование художника направлено к тому, чтобы создать мираж и, вызвав из небытия исчезнувший мир, какой-то заклинательной волей водворить его на месте мира настоящего»[6].

Однако если воссоздаваемый Шмелевым мир и является миражем, он во всем противоположен игровым миражам Набокова. «Заклинательная воля» Шмелева подобна силе православных молитв, густо рассыпанных в его поздних произведениях. И, надо признать, Шмелеву удается-таки (по крайней мере в «Лете Господнем» и «Богомолье») именно этой волей, этой силой художественно воскресить воцерковленную Россию и тем самым передать ее нам. Если только современный читатель готов — в отличие от Г. Адамовича — «принять идеал традиционный как идеал живой»[7]. Ведь шмелевская «скрытая, приглушенно-страстная борьба за прошлое»[8] — именно борьба с небытием, когда исчезнувшая как будто навсегда Россия (утратившая даже само имя свое, подобно набоковскому герою) вдруг вся целиком, по выражению И. Ильина, «от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного Спаса, от «розговин» до крещенского купанья в проруби»[9], Россия с ее праздниками, радостями и скорбями эстетически вызывается «из небытия» — на место «мира настоящего», то есть советского во времена Адамовича, а для нас уже постсоветского.

Тогда как, по убеждению З. Шаховской, «философская установка Набокова... кажется метафизикой небытия»[10], Г. Струве, написавший исследование о Набокове, приходит в итоге к грустному выводу, созвучному мнению З. Шаховской: «У персонажей Сирина просто „нет души". Это в конце концов и было увидено теми, кто чувствовал, что какое-то „неблагополучие" завелось как червоточина в этом несравненном по блеску таланте. Это именно имел в виду Б. Зайцев, когда он писал, что Сирин — писатель, у которого „нет Бога, а может быть, и дьявола"»[11].

Здесь же Г. Струве приводит поразительное суждение Г. Адамовича по поводу набоковского «Посещения музея»: «Согласен на какие угодно лестные, даже лестнейшие эпитеты,— но ищу того, что на моем, на нашем языке называется жизнью». Как полагает другой крупнейший критик русского зарубежья, В. Ходасевич, «у него (Сирина) отсутствует, в частности, столь характерная для русской литературы любовь к человеку»[12]. Можно говорить о пристрастности и предубежденности процитированных мною авторов, попеняв, что они преимущественно указывают на отсутствие чего-то в прозе Набокова, вместо того чтобы интерпретировать то, что там есть, судить автора по законам его поэтики. Однако же перед нами особый случай: критики, по-видимому, не находят главного, что позволило бы талантливейшему писателю без всяких оговорок войти именно в океан русской литературы.

В этом смысле художественный мир Шмелева, напротив того, как бы вбирает в себя (не вырастает из, но именно собирает в себе) и древнерусскую книжную установку на воцерковление человека, и свойственную классической русской литературе XIX века имплицитную ориентацию на высший нравственный идеал, каким является Иисус Христос. По сути дела, читатель присутствует при том «возвращении к религиозной первооснове жизни», к которому призывал Г. Федотов[13].

«Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки — пришел Христос. И все — для него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни — страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями — и ничего, потому что везде Христос».

Живое, а отнюдь не просто символическое присутствие Христа, свойственное именно православной традиции, придает шмелевским героям и шмелевскому космосу осмысленную духовную жизнеустойчивость. Христос одновременно везде и «на нашем дворе». Христос пришел в идиллический мирок домашнего двора. Приход

---

[6] Адамович Г. Указанное сочинение, стр. 72—74.
[7] Там же, стр. 73.
[8] Там же, стр. 75.
[9] Цит. по изданию: Шмелев И. С. Сочинения в 2-х тт., т. 1, стр. 25.
[10] Шаховская З. Указанное сочинение, стр 83.
[11] Струве Г. Указанное сочинение, стр. 287.
[12] Там же, стр. 286.
[13] См.: Г. П. Федотов, «Борьба за искусство» («Вопросы литературы», 1990, № 2, стр. 223).

реализован именно сейчас и здесь — в настоящем, «живом» времени жизни героя. Но для того чтобы это произошло, необходимо мое личное участие: черный крестик «от моей свечки», убереженной мной и донесенной непогасшею из храма.

В «Голубой звезде», наиболее значительном дореволюционном произведении Б. Зайцева, писателя, по своей манере «акварельного» письма внешне совершенно далекого от плотной живописи Шмелева, обнаруживается тот же мотив. «Она несла домой зажженную свечу, слегка прикрывая ее ладонью... Тысяча людей так же шли, и весь город был полон весеннего тумана; сверху светили звезды, а внизу растекались по переулкам золотые огоньки. Машура загадала, что, если до дому свеча не потухнет, все будет правильно, как надо. Ночь была очень тиха. Свеча не погасла».

Вспомним, что ощущение присутствия Христа в собственной жизни характерно не только для шмелевских и зайцевских персонажей, но и, например, для героев толстовских. Так, в «Войне и мире» шахматный мотив тоже присутствует (кстати, в «Защите Лужина» повествователь отмечает присущий матери героини «след смутных и извращенных реминисценций из „Войны и мира"»), однако связан он с мыслями... Наполеона, считающего себя гроссмейстером накануне Бородинского сражения: «Шахматы поставлены, *игра* начнется завтра».

С другой же стороны, сражению предшествует подробно описываемый церковный ход с иконой Смоленской Божией Матери: «За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных». Дьячки поют: «Спаси от бед рабы твоя, Богородице» (и ведь спасает — позже). Сам Кутузов «тяжело опустился на колена, кланяясь в землю... Наконец он встал и с детски-наивным вытягиванием губ *приложился к иконе* и опять поклонился, дотронувшись рукой до *земли*». Таким образом, и здесь земное и небесное соединяются (подобно звездам и свечам у Зайцева) в молебне о спасении России.

Наташа Ростова после кризиса, связанного с Анатолем, «таяла»; говорили уже о «безуспешном медицинском лечении», однако же после приезда Аграфены Ивановны Беловой, когда Наташа, несмотря на запрещение доктора, говела «целую неделю, не пропуская ни одной вечерни, обедни или заутрени», болезнь навсегда отступает. Графиня, надеявшаяся, что «молитва поможет ей больше лекарств», оказывается права.

«Перед иконой Божией матери <...> новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым охватывало ее <...> Надо только верить и отдаваться Богу, который в эти минуты — она чувствовала — управлял ее душою». Напомню, что чувствует Наташа всегда верно.

Нельзя не упомянуть и об общей, то есть соборной молитве, на которой присутствует Наташа: «„Миром Господу помолимся". „Миром, все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братскою любовью — будем молиться",— думала Наташа <...> И ей казалось, что Бог слышит ее молитву».

Наконец, в тексте романа имеется и прямое, непосредственное «осуществление молитвы» Николая Ростова, к тому времени уже совершенно огрубевшего гусара. «Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! — начал он вдруг молиться... Начал молиться так, как он давно не молился. Слезы были у него на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка <...> Он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился... было исполнено». Все мы помним, что «Война и мир» — реалистический роман... Но может быть, перед нами проявления «религиозного реализма» (С. Булгаков), характерного для православного видения мира? Всем известно, что Толстой на протяжении всей жизни имел весьма сложные отношения с православной церковью, что он в итоге даже был отлучен от церкви. Но в высшей степени показательно, что ощутимые в тексте романа глубинные токи православной духовной традиции проявились и у этого «рационалиста», будто бы отвергающего всякую «мистику» (в том числе и православную).

В русской классической литературе нравственный и социальный критицизм возникал вследствие того, что «реальная» жизнь героев так или иначе проецировалась на «идеальную» жизнь героя Нового завета, даже если такая проекция и не осознавалась до конца самими авторами произведений. Наложение христианского идеала (морального абсолюта в его православной чистоте и «ортодоксальности») на реальную жизнь в России оттеняло как бы неизбежную неполноту этой жизни.

Однако после страшных испытаний XX века, после революций и мировых войн не только И. Шмелев и Б. Зайцев, но и И. Бунин, М. Осоргин совсем-совсем иначе — именно «на расстоянье» — смогли увидеть ту Россию, которая была ими (и нами) потеряна, или же, точнее, у нас отобрана. И лишь после этого потрясения оказалось возможно как бы обозреть жизнь в ее целом, как бы попытаться подвести «предварительные итоги» тысячелетней православной традиции... Поэтому теперь и извечная неустроенность, мнимая бесформенность российской мирской

жизни уже не представляется объектом сатирического осмеяния, но принимается, получает христианское оправдание — как богоданная «оболочка», сквозь которую можно и нужно узреть вечную и нетленную сущность России.

Фигурально выражаясь, если раньше — до февральской и октябрьской катастроф — акцентировались все больше «расхлябанные колеи», то теперь наконец обратили внимание и на «спицы расписные». При этом порой происходила и полемическая эстетизация отвергавшейся в прошлом «низкой данности», будто бы не отвечавшей «высокой заданности» России.

Если, по мнению рассматривающего географический атлас набоковского героя, «в общем все это (мир.— *И. Е.*) можно было бы *устроить пикантнее*... Нет тут идеи, нет пуанты», то в воссоздаваемом на пепелище мире шмелевской России даже как будто совершенно бесполезная лужа, осмеянная когда-то Гоголем, находит свое утерянное место:

«На заднем дворе... начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут ее — не дождутся вышедшие на волю утки... Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:

— Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текет, так уж *устроилось* <...>

— И не трожь ее лучше, Вася...— советует и Горкин.— *Спокон веку она живет.* Так уж ей тут положено. Кто ее знает... может, так, ко двору *прилажена*!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка...

Я рад. *Я люблю нашу лужу*, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.

— И до нас была, Господь с ней... о-ставь. <...>

— Была как — пущай и будет так! — решает Василь Василич.— Так и скажу хозяину...

Подкрякивают и утки: радостным — так-так... так-так... И капельки с сараев радостно тараторят наперебой: кап-кап-кап... И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне: так-так. И безмятежно отстукивает сердце: так-так».

Традиционалистское мироощущение, стоящее за фразой «Так уж устроилось», противостоит набоковскому пафосу эстетического вторжения в мир и эстетического же соревнования с его Создателем («...можно было бы устроить пикантнее»). Уныние набоковского героя, переносимое на мир («Он считал, что экватору не везет,— все больше идет по морю»), резко контрастирует с радостным приятием сущего шмелевскими персонажами, с безмятежной, счастливой звукописью, когда голоса героев («и будет так», «так уж устроилось», «так-так») идиллически сопрягаются в единый согласный хор (созвучно «тараторят» капельки и «подкрякивают утки»). Художественное убеждение в ценности стабильного существования («...была... и будет») проистекает именно от согласного, соборного решения оставить живое жить.

Добрая воля не обособившихся от мира героев и упоминаемый здесь же «спокойный старый двор» заставляют вспомнить пушкинскую формулу русского менталитета: «покой и воля» («Лето Господне» имеет пушкинский эпиграф). Но здесь — «на свете» Шмелева — соединение этих двух начал радостно и вовсе не противопоставляется «счастью». Пушкинский текст, избранный для эпиграфа («Два чувства дивно близки нам...»), с его любовной адресованностью к «родному пепелищу» и к «отеческим гробам» объемлет весь космос Шмелева. Поэтому герой, не боясь насмешек, и может сказать: «Я люблю нашу лужу, как и Горкин».

Опора на Другого вообще, может быть, наиболее характерная особенность шмелевского видения мира. Другой — это и Горкин (свой Другой), и ушедшие («...и до нас было»). Конечно, это и Бог («Господь с ней»), и его тварный мир (капельки; утки; сама лужа, которая «ко двору прилажена»). Эпиграф к «Богомолью» весьма показателен: «О, вы, напоминающие о Господе,— не умолкайте!»

Любовь, излучаемая в мир, рождает ответный импульс: герой любим и благословляем миром («И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно...»). Это и есть «сердца пища», о которой напоминает пушкинский эпиграф.

Для Набокова искусственный и искусный космос комбинаторных возможностей призван заместить мир реальности («весь мир потух, как будто повернули выключатель», поскольку он как бы заведомо неконкурентоспособен параллельному универсуму, рожденному интеллектом). Живая реальность тем самым овнешняется: «он эту *внешнюю жизнь* принимал как нечто неизбежное, но совершенно незанимательное», тогда как «стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь».

Жизнь же не подлинная безусловно и открыто враждебна герою: «...он решал <...> следить за каждой секундой жизни, ибо всюду мог быть *подвох*» (ср. с убеждением шмелевского героя, что все на него «глядит... любовно»). Настоящим открытием героев Набокова становится игровой механизм этой внешней ему

жизни. Если в шахматном мире «легко... *властвовать*», поскольку «все... слушается его воли и покорно его замыслам», то в жизни идет «игра, не им затеянная... с ужасной силой направленная *против него*».

Феномен Набокова — это феномен неоромантического сознания, доказавший всю законность давних опасений Гегеля относительно романтической эстетики. «Подлинным содержанием романтического,—полагал он,— служит *абсолютная* внутренняя жизнь, а соответствующей формой — духовная субъективность <...> В романтическом искусстве перед нами... два мира. С одной стороны, духовное царство, завершенное в себе... С другой стороны, перед нами царство внешнего как такового, освобожденного от прочного единства с духом; *внешнее становится теперь целиком эмпирической действительностью*, образ которой не затрагивает души». Романтиками «внешнее рассматривается как некий безразличный элемент»[14].

Как можно заметить, и в космосе Набокова «царство духа», целиком и без остатка относимое лишь ко «внутренней жизни» героя, обездушивает и мертвит тем самым все остальное, превращая его во «внешнее как таковое», в «безразличный», не обладающий собственным «духом» и смыслом материал.

Справедливости ради следует заметить, что Набоков только блистательно завершает исторический путь особого типа мировосприятия. Разработанное европейской романтической эстетикой окончательное «освящение» права «я» на использование «внешнего», мне «безразличного элемента», зависящего лишь от авторской «духовной субъективности», права навязать ему иной «дух» и смысл, для многих писателей русского «серебряного века» являлось уже как бы самоочевидным.

Ведь и для романтического сознания «внешнее, поскольку оно существует и обладает наличным бытием, образует лишь *случайный мир*»[15]. В этой связи упреки Набокову со стороны многих виднейших эмигрантских критиков в «нерусскости», приводимые Г. Струве, бьют мимо цели: в принципе любая (а не только российская) «внешняя жизнь» для творящего «я» при подобной установке представляет собой нечто «совершенно незанимательное», став «неким безразличным элементом», экспериментальным строительным материалом, «случайным миром». Что и происходит, например, с биографией Чернышевского в «Даре» или же с жизнью Лолиты для Гумберта. Но именно оттого, что подобного рода искусство (в этом отношении оно не отличается от искусства авангарда) предельно безответственно по отношению к «случайной» жизни, оно перед этой жизнью «виновно».

Мир других у Набокова — это не христианский мир ближних, но (когда он не пустая декорация) мир соперников, мир победителей и побежденных, не имеющий никакой высшей сверхличной тайны. Это не Божий мир, исполненный благодати, а как бы семантический текст, подобный «Вавилонской библиотеке» Борхеса. Мир комбинаций, соперничества и интеллектуальной вражды. Здесь Набоков пошел намного дальше романтиков. Для этого мира понятие души в самом деле избыточно (напомню известное бунинское определение набоковского мира: «блеск, сверкание и отсутствие полное души»).

«Тайну», «непрозрачность» может иметь лишь сам герой, но не оппонирующий ему Другой («Приглашение на казнь»). Поступок героя, нарушающего правила (вероломно переставляющий стрелки часов Ганин в «Машеньке»; Лужин, выделяющийся именно «пренебрежением основными как будто законами шахмат»), приемлем, ибо «законы» существуют лишь для исполнения их другими. Но попытка Другого поступить точно так же, однако уже по отношению к герою, попытка превратить героя в «другого», в «безразличный элемент», воспринимается в мире Набокова как вероломство и неблагодарность. Так происходит с Турати, нарушившим «правила игры», то есть пренебрегшим защитой Лужина: тем самым Лужин оскорбительно для себя переведен в измерение «других», он как бы объективирован и овнешнен.

Далеко не случайно фамилия *Тура*ти и его способ игры с выдвижением ладей в начале партии, то есть с окружением противника, как бы дублируют окруживших на мосту маленького Лужина страшных мальчишек. В том и другом случае особое «вероломство» других в том, что они объективируют, о-пределяют героя как объект игры собственной.

Между тем абсолютная свобода «я» по отношению к миру других совершенно необходимым образом переходит в абсолютную свободу других по отношению к рефлектирующему «я». Так, «Приглашение на казнь», по сути дела, представляет собой апофеоз свободы, но не героя, а других, где «эмпирической действительностью», с которой можно поступать по своему игровому усмотрению (произво-

[14] Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М. 1969. Т. 2, стр. 233, 241, 240.
[15] Там же, стр. 240.

лу), становится уже не мир, а сам Цинциннат Ц. Неизбежная метаморфоза. Такого рода превращениями чревата вселенная Набокова, покоящаяся на столпах «победы» и «поражения».

Любопытно, что Вик. Ерофеев, интересно рассмотревший механизм набоковского «метаромана», упускает, пожалуй, главное: неминуемый конечный проигрыш всех без исключения набоковских героев. Так, в «Машеньке» будто бы победивший соперника Ганин незаметно для себя (но не для читателя) превращается в «вещь» устами Алферова. Вначале, когда соперник путает имя и отчество героя, это вызывает у того энергичный протест как принципиально оскорбительное для личного достоинства, неверное, чужое определение, покушающееся на личную уникальность: «Меня зовут Лев. Постарайтесь запомнить». Но позже, по мере нарушения героем «правил игры», Алферов называет его последовательно Леб Лебовичем, а затем уже и вовсе Лебом. Герой же, увлекаемый близящимся реваншем, уже готов согласиться. «Будильник... забормотал он... *Леб*,— там на столе будильник... На половину восьмого поставь.— *Ладно*,— сказал Ганин». За миражной победой героя, сумевшего помешать встрече Алферова и Машеньки, в первом романе Набокова проступает уже та гибельная «трещина» (отступничество от собственного имени как репетиция духовного само-убийства), которая будет лишь углубляться в романах последующих.

Герой Набокова в итоге жертвует реальной Машенькой, ибо «он до конца *исчерпал* свое воспоминанье, до конца *насытился им*, и образ Машеньки остался... *там*, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем».

Для понимания поэтики Шмелева проблема времени, которая уже была отчасти затронута, также является одной из важнейших. Каковы истоки обратного набоковскому живого и неуничтожимого присутствия прошлого в настоящем, присутствия, которое в шмелевском мире невозможно отнести в «дом теней», «насытиться им» и «исчерпать» его? Ведь, скажем, старая дедовская тележка в «Богомолье» совершенно неожиданно для героев вблизи Лавры Сергия Радонежского словно сама находит сделавшего ее мастера. Иногда же до неразличимости сближено также время рассказа и время рассказывания:

«Идешь и думаешь: *сейчас услышу* ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый...— и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Воссия мирови Свет Разума...

И почему-то кажется, что *давний-давний* тот напев священный... *был* всегда. И *будет*».

Как указывает А. Панченко, «человеческое бытие... трактовалось в Древней Руси как эхо прошедшего — точнее, тех событий прошедшего, которые отождествлялись с вечностью... Церковный год... был не простым повторением, а именно отпечатком, „обновлением", эхом <...> Человек с точки зрения православной культуры Древней Руси также был „эхом"»[16].

Отметив это, вновь обратимся к «Лету Господню». Вот отправляющиеся на Постный рынок герои запрягают Кривую, которая «уже «на спокое», и ее очень уважают». Крайне важно, что «Кривая очень стара. Возила еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает...». Присутствие давно усопшей прабабушки постоянно ощущается в настоящем: «Горкин дает ей (Кривой.— *И. Е.*) мякиша с горкой соли, а то не сдвинется, прабабушка так набаловала». Лошадь останавливается и «у Николая Чудотворца, у Каменного моста: прабабушка свечку ставила...». Дорога на Постный рынок преображается в трансисторический путь героя, укореняющий его в определенной духовной традиции — православной.

«На середине моста Кривая опять становится.

— Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая все помнит! Поглядим и мы <...> Самое наше святое место, святыня самая <...> Кажется мне, что там — Святое... Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо... Золотые кресты сияют — священным светом. Все — в золотистом воздухе, в дымно-голубоватом свете: будто кадят там ладаном.

...Это *мое*, я знаю. И стены, и башни, и соборы... и дымные облачка за ними, и эта *моя* река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов...— *были во мне всегда*. И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром — *я знаю*. И щели в стенах — знаю. Я глядел из-за стен... когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат...— все помню!»

Поразительно, но герой Шмелева, писателя XX века, подобно древнерусскому человеку, является «эхом прошедшего», именно таким необходимым эхом, которое

---

[16] Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л. 1984. стр. 48—49.

способно возродить святое и грозное прошлое Кремля, не позволить ему «исчерпаться». В этом художественном мире воистину «не человек владеет историей, а история владеет человеком», а потому, как и для человека Древней Руси, православная культура для Шмелева — «это сумма вечных идей, некий феномен, имеющий вневременной и вселенский смысл»[17]. Маленький герой осознает себя не обособившейся, оторвавшейся частью православного космоса, а скорее некой мистической результирующей «святыни» Кремля. Поэтому он и вправе сказать, что атрибуты воцерковленной русской истории «были во мне всегда».

Итак, художественное время Шмелева циклично. Однако это не полуязыческий круговорот времен года в беловском «Ладе», где практически утеряно живое присутствие, в центре этого круга, Христа, одухотворяющего и этизирующего извечный земледельческий цикл. Время Белова погребено в настоящее, оно и не пытается выйти за пределы земной жизни малого социума. Время Шмелева не просто прорывается к вечности через густой, осязаемый быт, но и само является именно эхом православной вечности, освящающей каждое мгновение цикличного земного года. «Я смотрю на Распятие. *Мучается* Сын Божий» — не в давнопрошедшем времени христианской истории, а именно сейчас, рядом со мной и за меня.

Соответственно противоположный тип хроноса — быстро текущее время линейного существования, на художественном освоении которого построена не только вся советская литература (с культом «политических новостей», «исторических встреч» и «героических свершений»), но и западный экзистенциализм, захвативший в свои объятия и прозу В. Набокова,— отторгается шмелевским миром.

Линейный «прогресс», весь устремленный в будущее, которое всегда впереди, требует «выпрямления» круглой человеческой жизни — как бы в качестве жертвоприношения за культ новизны. Для Шмелева же абсолютной ценностью обладает не нечто «беспрецедентное» (уникум, не имеющий прецедентов в циклическом времени), а то, что сопровождает человека от рождения до могилы. То, что сопровождало жизненный путь его отца. Не «новость», забываемая на другой день, а то, что противостоит забвенью. Не случайно «Лето Господне» начинается с зовущего благовеста: «...по-мни... по-мни...» В эстетическом любовании этими ценностями, в осмыслении их, в приобщении к ним и проявляется христианское смирение. Только так, вероятно, и можно вырвать целое человека из смертных объятий линейного времени. Причем абсолютные ориентиры (Великий пост, Благовещение, Рождество, Святки, Крещение — все это главы шмелевской книги), оставаясь вечно значимыми для христианского мира, никогда не «исчерпываются». Они всегда «новые», всегда живые. Это то, что, всегда повторяясь и соединяя тем самым людей в сущностном единстве жизни-смерти, радости и скорби, всегда неповторимо. Повторяются — значит, обладают абсолютной ценностью не только для меня, но и для всего христианского космоса; неповторимы — оттого что наполняют мою, именно мою жизнь единым и единственным смыслом.

Противоположное же видение мира, основанное на убеждении в принципиальной заместимости человека (в его овнешнении, превращении в «вещь»), далеко не случайно возникает в недрах именно необратимого линейного времени. Резкий индивидуализм ego странным образом порождает как раз абсолютный, нетворческий повтор, зеркальное удвоение. Многочисленные двойники набоковского мира наследуют именно «двойничеству» романтиков.

Ведь и романтическая вера в сугубую необыкновенность собственной духовной жизни, и отвращение к «низкой» жизни других людей («обывателей» и «толпы»), необходимой романтику в качестве выгодного контрастного фона для парения духа, не случайно во всех европейских литературах завершались мотивом «утраченных иллюзий». Поздние романтики с ужасом обнаружили неискоренимость «обыкновенья» жизни, поскольку презираемый ими с не меньшим набоковскому накалом «другой» оказался не вне, а внутри романтической личности.

Герой «лабораторного» рассказа «Ужас» признается: «Мне страшно, что со мной в комнате другой человек, мне страшно само понятие: *другой человек*»; «Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе,— и *в этом мире смысла не было*». Вероятно, та «беспомощная боязнь существования», к которой приходит в финале герой (творец, работающий «за письменным столом»), и его финальная же убежденность, что «мне спасения не будет», глубоко закономерны для искусства XX века. Достаточно вспомнить хотя бы хрестоматийную формулу Сартра: «Ад — это другие» — и вытекающую из этой установки убежденность в роковой безблагодатности мира. Приходится признать, что обольстительная проза В. Набокова, увы, вполне

[17] Там же, стр. 50.

в русле общего процесса дехристианизации культуры, с особой брутальностью протекающего именно в XX столетии. Одновременно, возвращаясь к приведенному выше суждению Адамовича, можно, по-видимому, констатировать: если понимать эмигрантскую литературу первой волны как литературу христианскую, то творчество Набокова не просто вне этой литературы; оно как бы направлено против этой магистральной духовной традиции (и следовательно, против христоцентричного вектора русской литературы как таковой). И тогда суждения о «нерусскости» Набокова — лишь неудачно сформулированное непосредственное читательское ощущение критиков, ищущих и не находящих в книгах Сирина родного и не забытого еще первой эмиграцией хотя бы малейшего отзвука христианской аксиологии.

Кроме Шмелева, художественно непревзойденные образцы православной соборности, противостоящей «исторической мистерии богоборчества» нашего века (Р. Гальцева), можно обнаружить у Б. Зайцева. Г. Струве счел нужным особо подчеркнуть ту «общую религиозную, христианскую окрашенность, которую в зарубежный период приобретает все творчество Зайцева»[18]. Да и сам писатель однажды заметил, что «Россию «Святой Руси» <...> без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда».

Однако уже в 1905 году в рассказе «Священник Кронид» повествователь находит некую точку, доступную и героям, откуда можно увидеть Россию в ее целом: «...славная страна лежит вокруг, как золотое блюдо»; «громаднейшее всемужицкое тело <...> ждет яркого и особенного дня» — Пасхи. Наконец, здесь же Зайцев рисует особо значимую для православного человека[19] пасхальную службу: «Кронид ведет древнее служение <...> звезд вверху без счету; они неожиданно встают от горизонта, заполняют тьму над головой и так же сразу пропадают у другого края неба. В минуту, когда двери растворяются и выступает из церкви хор, кажется, что светлая волна опоясывает в мраке церковь, под слитный бой колоколов, с пением, и снова вливается внутрь. Теперь у всех в руках свечи <...> временами через плечи идет из рук в руки вперед свечечка; перед иконами блестят целые пуки». Эта «свечечка», идущая «из рук в руки», и единит все огромное «всемужицкое тело» России.

Спустя полвека, встречая в Вандее пятидесятилетие своего «писания», Б. Зайцев горестно обронил: «Москва, Россия, все наши поля, леса, благоухания покосов, зорь, весенней тяги, благовест сельской церкви, смиренность кладбища какой-нибудь Поповки тульской...— все это град Китеж, Китеж! Даже имени Россия (разрядка автора.— *И. Е.)* больше нет».

Как заметил Г. Адамович, «среди писателей, покинувших родину ради свободы, Зайцев — один из тех, кому свобода действительно оказалась нужна, ибо никак, никакими способами, никакими уловками не мог бы он там выразить того, что говорит здесь. Не у всех есть это оправдание. Если мы вправе толковать о духовном творчестве в эмиграции, то лишь благодаря таким писателям, как он»[20]. Маленький штрих к этому соображению. Четырехтомник Набокова в «Библиотеке „Огонька"» благополучно вышел у нас еще в 1990 году почти двухмиллионным тиражом. Наконец-то и слава Богу! Но вот вершинное произведение Б. Зайцева «Путешествие Глеба» до сих пор не издано на родине писателя...

Что может быть легче сейчас надрывных упреков «этой стране» за как бы нарастающую на глазах катастрофичность судеб миллионов ее граждан? Но многие ли из нас наберутся мужества смиренно повторить за Б. Зайцевым: «Верю, что все происходит не напрасно, планы и чертежи жизней наших вычерчены не зря и для нашего же блага. А самим нам — не судить о них, а принимать беспрекословно»?

---

[18] Струве Г. Указанное сочинение, стр. 262.

[19] «Воскресение Христово есть праздник всего христианского мира, но нигде оно не является таким светлым и таким небесным, как в Православии, и нигде оно, добавлю, не празднуется так, как в России, на русской земле, вместе с нежной и прозрачной, светлой и торжествующей весной. Пасхальная ночь с ее ликующей радостью уносит нас в жизнь будущего века, в новую радость, радостей радость навеки» (Булгаков С. Православие: Очерки учения православной церкви. М. 1991, стр. 283).

[20] Адамович Г. Указанное сочинение, стр. 208.

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ

*

УТОПИЯ ОДИНОЧЕСТВА

Владимир Набоков и метафизика

Я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно...

Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека...

В. Набоков, «Приглашение на казнь».

Он был одиноким и ясновидящим зрителем многообразного, преходящего и почти невыносимо отчетливого мира.

Х. Л. Борхес, «Фунес, чудо памяти».

Когда-то Мережковский писал, что главный вопрос русской литературы — это вопрос о бытии Бога. Владимир Владимирович Набоков был первым гениальным русским писателем, которому вопрос о бытии Бога — по крайней мере он все сделал, чтобы создать такое впечатление, — заменили язык, бабочки и шахматные задачи. И не только этот вопрос, но и вообще практически все «вопросы», которыми болела отечественная литература, как будто отсутствуют в его книгах. Не только социальность, моральная проповедь и проекты мирового переустройства, но и все религиозные, мистические, символистские темы конца XIX — начала XX века, идеологические и историософские споры и, наконец, то, что всегда более всего ценилось в мировой литературе — способность к универсальным обобщениям, — почти все выносится им за скобки. Совершенно осознанно он бросил вызов духу времени, предпочтя единичное, неповторимое, случайное всеобщему и универсальному; узор на крыльях бабочки — «мировым проблемам». Все, чем занималась и занимается во всем мире интеллигенция — объяснение бытия, создание метафизических или социальных учений, — для него словно не существует, их содержание для него подчас безразлично: он готов поставить на одну доску и своих собратьев-эмигрантов, и их противников по ту сторону железного занавеса. Мир для него бесконечно таинствен, изначально необъясним, он может быть только увиден... Когда эмиграция мучительно переживала гибель России, спорила, пытаясь понять и объяснить, как и почему это произошло, один из его персонажей-двойников, гуляющий по Берлину (рассказ «Письмо в Россию»), мог ошеломить своего безымянного адресата таким признанием: «Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое — вызов... Прокатят века — школьники будут скучать над историей наших потрясений, все пройдет, все пройдет, но счастье мое... останется — в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество».

Если у молодого берлинского писателя Сирина Бог еще присутствует в стихах и рассказах, то со временем Набоков подобно выдуманному им мыслителю Делаланду, отказавшемуся обнажить голову перед смертью, откажется сделать это и перед Богом. И напишет, например, так: «К писанию прозы и стихов не имеют никакого отношения добрые человеческие чувства, или турбины, или религии, или духовные запросы, или «отзыв на современность»...» (из письма Зинаиде Шаховской). То есть

«турбины» соцреализма, «добрые чувства», «духовные запросы» и «религии» — все это вещи одного порядка, не имеющие ничего общего с подлинной литературой. Можно, конечно, сказать, что это очередная набоковская маска, крайность, провокация и этому нельзя доверять. Отчасти оно и так, но настойчивость, с которой он повторяет это в разных вариантах снова и снова, все же не оставляет сомнений: все «постороннее» должно исчезнуть в вихре набоковских метафор, чтобы осталось лишь самое существенное для него — вещи и слова.

Ролан Барт в одном из эссе говорит о двух типах отношения к слову — о «писателях» и «пишущих». Пишущие — «это люди транзитивного типа». «Они ставят себе некоторую цель (свидетельствовать, объяснять, учить)... для них слово несет в себе дело, но само таковым не является». Для писателя, напротив, слово самоценно; если «определяющей чертой пишущего является наивность», он стремится «прояснить в мире нечто неопределенное», используя большей частью первичные, стандартные значения слов, то писатель, говорит Барт, отказывается от двух главных для пишущего типов слова — «во-первых, от учительства... во-вторых, от свидетельства, ибо, отдавшись слову, писатель утрачивает наивность. Крик нельзя подвергать обработке — иначе кончится тем, что главным в сообщении станет не сам этот крик, а его обработка».

В этом смысле Набоков, отказавшийся учительствовать, объяснять и свидетельствовать, является по преимуществу писателем, тогда как не любимый им Достоевский максимально приближается к типу пишущего. Все, что связано с транзитивным использованием слова, Набоковым изначально отвергается; напрасно искать в его книгах «правду-истину» и «правду-справедливость», учительства о том, как можно «жить не по лжи», или свидетельств «о духе времени». Автор «Защиты Лужина» существует вне, или, лучше сказать, по ту сторону, этих категорий. Ролан Барт проницательно замечает, что «отождествляя себя со словом, писатель утрачивает всякие права на истину, ибо язык — если он не сугубо транзитивен — это структура, цель которой (по крайней мере со времен греческой софистики) — нейтрализовать различие между истиной и ложью».

В вулканической стихии языка вопрос о «правде или лжи», о соответствии или несоответствии реальности неуместен. «Реальность, — говорит Набоков, — бесконечная вереница шагов, уровней понимания и, следовательно, она недостижима. Поэтому мы и живем, окруженные более или менее таинственными предметами». Язык же творит с предметами все что хочет: он может оживлять мертвые вещи или, наоборот, превращать живых людей в кукол-марионеток; потому для Набокова реальности, равной себе, не существует, и он прямо говорит о том, что не может использовать это слово, кроме как взяв его в кавычки. Какая может быть единая «реальность», когда, скажем, большинство людей видят, как по вечерам хозяин выводит выгуливать свою собаку, но для Набокова все иначе — это пес выводит на прогулку своего хозяина. С точки зрения «реальности» грузчики из фургона выгружают зеркальный шкаф, тогда как Набоков глазами Годунова-Чердынцева видит, как «из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба... по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей». Примеры столь свободного обращения с «реальностью» можно продолжать едва ли не до бесконечности...

У Х. Л. Борхеса в рассказе «Фунес, чудо памяти» изображен персонаж, обладавший потрясающей способностью созерцания и воспроизведения единичного. Он мог, например, увидеть и затем в любой момент восстановить в памяти стену соседнего дома с сотнями мельчайших подробностей, стирающихся в обычном сознании, он мог увидеть и запечатлеть все единичное, уникальное.

Дар Набокова во многом схож с даром Фунеса: он видел прежде всего бесконечное многообразие единичного, десятки и сотни деталей, восхитительных именно своей неповторимостью. В этом сначала скрытый, а затем и явный конфликт Набокова с эпохой и, если угодно, с историей, где «всеобщее», «соборное», «коллективное» всегда доминировало над единичным, где философия, идеология, религия, общественное мнение, как правило, терроризируют все уникальное, навязывая несчастному индивидууму свои универсальные и безличные законы[1]. Терроризм

[1] Здесь можно привести характерный фрагмент из повести «Соглядатай»: «Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму с его двумя бедными «у», безнадежно аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет — зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж — все зыбко, все от случая...»

общих идей и идеологий в конце концов и привел к кошмарному изобретению XX столетия — идеократиям, в которых индивидуальное подлежит безжалостной нивелировке. И если за философией с ее общими понятиями Набоков еще готов признать право на существование в силу ее «бесполезности», то идеологию как прикладную философию, стремящуюся извлечь из «общих идей» практическую выгоду, идеологию, некогда изгнавшую его из рая, он не переносит уже ни в каком виде...

Кстати, что такое знаменитая «пошлость» в набоковской характеристике? Это как раз и есть обобщение: переведение единичного во всеобщее. Рассказывая в «Даре» трагическую историю Яши, Рудольфа и Оли («треугольник, вписанный в круг»), Набоков как бы вскользь замечает: «Иной мыслящий пошляк, беллетрист в роговых очках, — домашний врач Европы и сейсмограф социальных потрясений, нашел бы в этой истории... нечто в высшей степени характерное для „настроений молодежи в послевоенные годы"». Этот воображаемый писатель, талантлив он или бездарен, образован или нет, почему именно «пошляк», и притом «мыслящий»? Да потому что трагическую, единственную в своем роде историю он хочет сделать предметом исследования и обобщить, переведя ее в литературный или социологический этюд.

В «Подвиге» умирает старый эмигрант Иоголевич: некролог о нем пошл именно потому, что состоит из общих мест: «пламенел любовью к России», «всегда держал высоко перо», — и подходит для очень многих. Мартыну же «больше всего было жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, — его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке... Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик».

В этом мире люди ценятся опять-таки за «всеобщие заслуги», но их подлинный, неповторимый лик никого не интересует. Идеологии, став идеократиями, породили тоталитарные режимы, но, придется повторить, содержание идеологии Набокова мало волнует, поэтому люди, между которыми, казалось бы, нет ничего общего — Оруэлл или Чернышевский, Достоевский или Фрейд, Платон или Ленин, — для него неприемлемы по одной причине: все они идеологи или идеократы. Что же касается власти, то «индивидуальные причуды властителя говорят более глубокую истину о его времени, чем вульгарные обобщения вроде классовой борьбы и пр.» (из письма Э. Уилсону). Отсюда в «Истреблении тиранов» немного намеков на идеологический характер режима, он вполне может быть не только коммунистическим, но и нацистским или каким-либо еще, но зато «индивидуальные причуды властителя» выписаны особенно подробно. «Художник видит именно разницу. Сходство видит профан» — этот далеко не бесспорный афоризм из романа «Отчаяние», выражающий набоковское кредо, многократно варьируется в других его книгах.

Где-то здесь скрыты и причины набоковского отношения к «венской делегации». Психоанализ, некогда возникнув как локальное психофизическое учение, к середине века превратился в мощную и довольно агрессивную форму идеологии, претендующую подобрать ключи ко всем тайникам психеи и исцелить больное человечество. Естественно, это не может вызывать у Набокова симпатий. Ведь «венская делегация» с изрядной долей самоуверенности стремится перевести уникальную тайну души на язык универсальных психоаналитических схем, роется в самом священном — воспоминаниях детства, пытаясь вытащить наружу беспредельность душевной жизни, объективировать ее и сделать открытой для доступа. Поэтому ответ маэстро не должен вызывать удивления: «Пусть верят легковерные и пошляки, что все скорби лечатся ежедневным прикладыванием к детородным органам древнегреческих мифов. Мне все равно» (из интервью Альфреду Аппелю).

Зинаида Шаховская считает Набокова агностиком, причем его агностицизм усиливался с годами, распространяясь все дальше и глубже, в конце концов дойдя «до какого-то потустороннего страха или отвращения от всего, что связано с христианством». Она приводит немало убедительных примеров, и похоже, что это на самом деле так: по крайней мере отсутствие креста на могиле писателя — немыслимое для русской эмиграции — свидетельствует именно об этом[2]. Бог, чей образ еще мерцает в юношеских стихах и рассказах Сирина, со временем исчезнет полностью, так как отпечаток нивелирующей «всеобщности» лежит и на нем. «Я не могу, не хочу в Бога верить, — читаем мы в романе «Отчаяние»,— еще и потому, что сказка о нем — не моя, чужая, всеобщая сказка, — она пропитана неблаговонными испарениями миллионов других людских душ (?! — *П. К.*), повертевшихся в мире и лопнувших».

---

[2] Набоков редко позволяет себе прямые высказывания, но в романе «Пнин» есть непосредственный и весьма ироничный выпад. Там говорится о Православной Церкви как о «благостной общине, так мало требующей от совести по сравнению с теми утешениями, которые она сулит».

Никакая «соборность» в набоковском мире невозможна, и, если, скажем, А. С. Хомяков посвятил свою жизнь доказательству того, что истина недоступна отдельному человеку, она может открыться лишь соборно, в Церкви, то Набоков был убежден в совершенно обратном. Если у него и был Бог — тот, кто «окружает так щедро человеческое одиночество», Бог, изредка приоткрывающий избранным «восхитительную подкладку» бытия, — то это Бог абсолютно личный: мой Бог и никогда ничей другой, не имеющий ничего общего с богами всех мировых и национальных религий...

Борхес, рассказывая о своем Фунесе, замечает, что этот человек, обладавший невероятной памятью, «был почти совершенно не способен к общим Платоновым идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя «собака» охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм; ему не нравилось, что собака в три часа четырнадцать минут (видимая в профиль) имеет то же имя, что собака в три часа пятнадцать минут (видимая анфас)». И далее: «Он (Фунес.— *П. К.*) без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозреваю, что он был не очень способен мыслить. Мыслить — значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фунеса были только подробности, к тому же лишь непосредственно данные».

Конечно, Фунес — это предел, гипербола, с такой памятью и с таким видением жить невозможно: недаром у Борхеса он умирает совсем молодым. Набоков же, существуя долгие годы в мире «слепцов» и «прозрачных людей», волей-неволей пользуется абстракциями и обобщениями, ему приходится надевать маски, скрываться, играть, поэтому «общие идеи», «духовные запросы» и даже «отзывы на современность» проникают в его книги, причем иногда в изобилии, но всегда с заднего хода, контрабандным путем. По необходимости ему приходится быть не только «писателем», но и «пишущим». В одном месте он прямо говорит о том, что мог бы назвать себя сторонником «искусства для искусства», если бы эта теория опять-таки давно не стала общим местом.

Итак, идеологии подобны шорам на глазах людей XX столетия: человек стремится постигнуть и объяснить «реальность» с помощью социальных или религиозно-философских обобщений, но это стремление, по Набокову, оборачивается поразительной слепотой к единичному — к вещам, природе, к той же человеческой личности. Проходной персонаж в «Даре», литератор Ширин («...он был слеп, как Мильтон, и глух, как Бетховен»), написавший роман о «мировых проблемах», стоя час в зоопарке у клетки с гиеной, занятый литературно-партийными распрями, не заметил ни клетки, ни гиены, тогда как Сирин — Набоков увидел бы в них десятки деталей и оттенков. Этот его дар не имеет себе равных; им же он наделяет и своих избранных персонажей. «Не только глаза мои другие, и слух, и вкус, — пишет в тюрьме Цинциннат, — не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, но главное: дар сочетать все это в одной точке...»

Однако все оказывается не так просто. Образы «слепца» и «ясновидящего» проходят через все набоковские тексты — но ка́к видеть и что́?.. Автор «Дара», говоря все о том же Ширине, отваживается на обобщения — все же без них не обойтись! — и мимоходом рисует образ русского литератора-середняка с присущей ему «святой ненаблюдательностью», «полной неосведомленностью об окружающем мире» и «полной неспособностью что-либо именовать», литератора, которому «неким благотворным роком» отказано в благодати чувственного познания. Но, словно чувствуя недостаточность своего обобщения, автор тут же оговаривается, вспоминая о том, что «бывает... в таком темном человеке играет какой-то собственный фонарик» и «известны случаи, когда по прихоти находчивой природы... такой внутренний свет поразительно ярок — на зависть любому краснощекому таланту». И далее следует внезапный выпад в адрес Достоевского — он «всегда как-то напоминает комнату, в которой днем горит лампа». Этот «снижающий» образ на самом деле поразительно точен — здесь сокрыто самое существенное. Какое видение мира истинно — внешнее или внутреннее? Что дает подлинную картину бытия: внутренняя интуиция или чувственное созерцание?.. Набоков, вроде бы полностью чурающийся метафизических тем, выводит нас на вечные, хотя, впрочем, довольно архаичные темы философского гнозиса, возвращающие нас к мистическим спорам средневековья, к полемике номиналистов и реалистов, или эмпириков и метафизиков — в Новое время...

Тут уместно будет провести еще одну параллель. У Сэлинджера в одной из повестей о семействе Глассов приводится даосская притча (помимо всего прочего она выражает и эстетику американского писателя). Некий князь Му, повелитель Цзинь, сказал Бо Лэ: «Ты обременен годами. Может ли кто-нибудь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя?» Бо Лэ отвечал: «Хорошую лошадь

можно узнать по ее виду и движениям. Но несравненный скакун — тот, что не касается праха и не оставляет следа, — это нечто таинственное и неуловимое, неосязаемое, как утренний туман... Однако есть у меня друг, по имени Цзю Фангао... он не хуже меня знает толк в лошадях...» Князь послал Цзю Фангао на поиски лошади. Тот через три месяца привел ему ее, сказав, что это гнедая кобыла. Но оказалось, что на самом деле это черный жеребец... Рассерженный князь вызвал к себе Бо Лэ: «Что твой друг понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел?» Бо Лэ вздохнул с глубоким облегчением: «Неужели он и вправду достиг этого?.. Тогда он стоит десяти тысяч таких, как я... Ибо он проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит...» И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет себе равных...

В нашем контексте эта притча имеет очевидный «антинабоковский» смысл. Эстетика создателя «Лолиты» прямо противоположна: его как будто совершенно не волнует то, к чему испокон веков стремились не только все метафизики и мистики, но и многие художники, поэты, — проникнуть за покрывало Майи, увидеть за обманчивой красотой чувственного мира иное, скрытое, как говорили платоники, истинно-сущее бытие. Иногда даже кажется, что как-то незаметно из демиурга, свободно и полновластно творящего из «реальности» все, что он захочет, Набоков превращается в пленника собственного дара, своего поразительного видения, своей памяти, пленника, что намертво прикован к беспредельности и многообразию «вещного мира», не отпускающего его ни на минуту и не дающего ему уснуть...

Но все опять-таки намного сложнее, и всевозможные авторские маски еще больше запутывают и читателя и исследователя. Разумеется, ни молодой русский писатель Сирин, ни респектабельный американский литератор Набоков никогда не был тем «абсолютным эмпириком» и «номиналистом», каким он хотел бы порой казаться. Некое тайное знание, привкус потустороннего постоянно проступает сквозь ткань набоковских текстов: за пределами дольнего мира существует другой — призрачный и непостижимый. Его избранные персонажи сполна обладают этим тайным знанием, как Адам Фальтер из «Ultima Thule», но, увы, невыразимым и не передаваемым человеческой речью; ведь чтобы передать знание, надо единичное обобщить в форме мысли, сделать достоянием хотя бы двух-трех человек, то есть объективировать, как сказал бы Бердяев. «Я знаю, я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо!» — твердит в своей тюрьме Цинциннат. А весь сложный и многообразный язык, тысячелетиями создававшийся для этого пророками, поэтами, богословами и мистиками в разных частях земного шара, его не удовлетворяет, ибо это не им созданный, а чужой, отвлеченный язык, и в результате Набоков — если воспользоваться ненавистным ему общим понятием — приходит к полному солипсизму и оказывается наедине со своей тайной перед молчащей вселенной. С годами его внутреннее отчуждение от человеческого мира становится все сильней. Автор «Ады» и «Бледного огня» видит то, чего не видят другие, но не видит того, что видят они. Встреча «Я» и «Ты» все менее возможна в его мире, и в результате всевидящий Набоков в отношении к Другому оказывается все чаще слепым. Как художник он хотел бы оставаться только им, все сполна находя в том «восхитительном обмане», что именуется искусством, но, как любой гений, он выходит за рамки относительного и претендует на абсолютное — на всевидение, прорывается к метафизике и религии, вместе с тем не принимая ни того, ни другого, ибо чувствует, что их обобщенный язык и универсализм таят в себе угрозу для его искусства. Религиозно-философское творчество часто разрушает художественное — пример ценимых Набоковым Гоголя и Толстого у всех на виду; и здесь еще раз обнажается глубокая драма между метафизикой и религией, с одной стороны, и искусством — с другой: видение единичного ведет к забвению всеобщего, метафизика грозит уничтожить искусство, искусство страшится метафизики, ибо понимание и объяснение бытия может быть несовместимо с его созерцанием и именованием. Когда читаешь набоковскую лекцию о Достоевском — авторе «сентиментальных» и «детективных» романов, поражает то, что Набоков искренне не понимает, о чем идет речь, ибо для него как заслоняет уже абсолютно все: религиозно-метафизические темы автора «Бесов» для него не существуют[3]. В результате от всех «Братьев Карамазовых» — как в

[3] К тому же редкие политические высказывания Набокова всегда остаются в рамках либеральных «общих мест», оппозиции, «прогрессивное — реакционное». В этом смысле Достоевский для него помимо всего прочего — писатель с «реакционными взглядами».

воображаемом диалоге с Кончеевым в «Даре» (кстати, и это очень важно, любой диалог для Набокова может быть только воображаемым) — остается лишь деталь: крохотный след от мокрой рюмки на садовом столе[4]... Но в конце концов кто был подлинным «ясновидящим»: Набоков или Достоевский, в самом деле порой неспособный отличить «гнедую кобылу» от «черного жеребца», но обладавший таким внутренним видением, которое проникало в глубинную тайнопись мироздания?..

Если же говорить о Набокове и Борхесе, то вопреки широко распространенному мнению их сходство сильно преувеличено. Да, их творчество насквозь «литературно», оба они воспринимали искусство как «божественную игру», у того и у другого легко обнаружить черты, сближающие их с постмодернизмом, но писателей с такими характеристиками немало в XX столетии. Различия же меж ними фундаментальны: Борхес, которому провидение отказало в «благодати чувственного познания», проведший во тьме большую часть своей жизни, всегда шел от общего к частному, он был в равной степени как «писателем», так и «пишущим», это как раз тот заостренный до предела случай, когда физически слепой человек благодаря своему «внутреннему свету» создал то, что в самом деле и не снилось никакому «краснощекому таланту». И подобно тому как Камю напоминает героев Достоевского, Набоков иногда выглядит одним из персонажей, блуждающих в борхесовских лабиринтах, что, конечно, нисколько не умаляет его значения... Вообще говоря, ответ на все эти вопросы, казалось бы, предельно прост — его можно обнаружить в любом учебнике по эстетике: чувственное познание должно сочетаться с внутренней интуицией, художественное творчество — с метафизическим и мистическим, одиночество — со способностью к коммуникации; но в нашем не терпящем совершенства мире такое встречается крайне редко — чаще всего дар всевидения соседствует со слепотой, а гениальность с поразительной ограниченностью.

Впрочем, «объясняя Набокова» и используя язык в транзитивном смысле, я тут же отдаю себе отчет, что нелепо объяснять того, кто считал этот мир принципиально необъяснимым: всякое объяснение убивает тайну — то, что автор «Приглашения на казнь» ценил превыше всего; когда исчезает тайна, мир становится прозрачным. Его же тайна, сколько бы ее ни объясняли, видимо, останется тайной навсегда. К тому же, беспрестанно меняя обличья, ракурсы, точки отсчета[5] и заметая следы, он, более чем кто-либо другой, не желал, чтобы тайна его внутренней жизни посмертно стала всеобщим достоянием. Для ее выражения ему был необходим другой, нечеловеческий язык, подобный «земляндскому» языку в «Бледном огне» (или тому, который у Борхеса создает Фунес), — его гордость воистину беспредельна.

«Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал Набокову когда-то Бунин. Мне трудно судить, как это произошло, но похоже, что пророчество Бунина не оправдалось. Однако в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» биограф главного героя, писателя, создает после его смерти книгу «Трагедия Себастьяна Найта», и там мы читаем следующее: «Не перенося грубости мира, раненный этой грубостью, Найт скрывал за маской свою боль, но маска эта превратилась в чудовищную реальность». Надпись, начертанная когда-то на груди Себастьяна Найта: «Я одинокий художник», — была изменена чьими-то «невидимыми перстами» на «Я слеп»...

Возможно, это и не имеет к трагедии создателя «Себастьяна Найта» непосредственного отношения, но так или иначе, для того чтобы рассказать о своей трагедии, Набоков, подобно своему другому любимцу — Цинциннату, должен был покинуть этот мир и отправиться «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

Чувство абсолютной уникальности собственного мира, сопутствующее детству и отрочеству всякого человека, но с годами, как правило, постепенно стирающееся, похоже, изначально определило все творчество Владимира Набокова. Он смог сохранить его до конца, непреклонно сопротивляясь бесчисленным способам «обоб-

---

[4] В эссе «Литература против здравого смысла» (русский перевод — журнал «22», 1984, № 35) Набоков, пожалуй, наиболее полно раскрывает эту основную грань своего метафизического кредо — ее можно определить как в своем роде «антихолизм», то есть «отвержение целостности». Здесь опять-таки речь идет «о превосходстве детали над общим, части, более живой, чем целое, той малости, которую замечает человек и приветствует дружеским духовным кивком в момент, когда окружающая толпа влечется общим импульсом к некоей общей цели». Более того, говорит Набоков, «эта способность дивиться мелочам, несмотря на грозящую опасность, эти побочные явления духа, эти примечания к книге жизни — суть высшие формы сознания...».

[5] А. Пятигорский в статье «Чуть-чуть о философии Владимира Набокова» («Континент», 1978, № 5) называет мироощущение писателя философией бокового зрения.

щения», благодаря которым существует любое общество. Если его современник, православный христианин и экзистенциальный философ Николай Бердяев писал в «Самопознании»: «Иногда кажется, что мой человеческий мир не похож на другие человеческие миры и что мой Бог не похож на Бога других людей. Общим же, скажем, наиболее понятным является наиболее банальное, лишенное индивидуальности, отвлеченно-общее», — то Набокову так «не казалось», он был в этом, без сомнения, убежден. И хотя с этим высказыванием Бердяева он бы согласился, трудно сказать, принял ли бы он вторую его часть: «Великая задача, к которой нужно стремиться, это достигнуть общности, общения, понимания в наиболее индивидуальном, оригинальном, единственном...» Своеобразный гностический эзотеризм[6] — да позволительно будет так обозначить то, что исповедовал Набоков,— при любом общении, при соприкосновении «Я» и «Ты», рано или поздно обрывается молчанием: общение хотя бы без частичного отказа от собственной уникальности немыслимо...

Противники и критики набоковского творчества обычно видят в нем неглубокого сноба, капризного эстета, «стилиста», «талантливого пустопляса», или же «чудовище», «безбожника», порвавшего с традициями отечественной литературы, лишенного какой-либо метафизической и религиозной глубины. Его почитатели в этих же чертах усматривают неоспоримые достоинства и ни с чем не сравнимую словесную стихию его книг предпочитают всем «безднам» и «глубинам», столь присущим русской литературе. Но и тут и там как-то исчезает таинственный айсберг, тщательно сокрытый писателем и от своих читателей, и от критиков, и от поклонников. Еще в самом начале, в 1924 году, им было написано стихотворение «Шекспир», столь существенное по своему смыслу, что его хотелось бы частично напомнить:

...и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя
с наклеенными усиками; Лир
бушующий... Ты здесь, ты жив — но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете...

Набоков восхищается Шекспиром прежде всего потому, что тайна его личности скрыта от потомков. В стихотворении авторский голос вопрошает:

...Отвечай,
кого любил? Откройся, в чьих записках
ты упомянут мельком? Мало ль низких,
ничтожных душ оставили свой след —
каких имен не сыщешь у Брантома!
Откройся, бог ямбического грома,
стоустый и немыслимый поэт!..

Века по-прежнему молчат, но автор стихотворения здесь невольно выдает и собственное желание: сокрыть свою личность от современников и потомков, подобно тому как скрыта от нас личность великого англичанина:

Нет! В должный час, когда почуял — гонит
тебя Господь из жизни, — вспоминал
ты рукописи тайные и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие... И вдаль ушел с улыбкой.

---

[6] Гностические мотивы в романе «Приглашение на казнь» отмечали многие комментаторы, в частности, Г. Адамович и Дж. Мойнэхен. В послесловии к однотомнику Набокова (М. «Книга». 1989) А. Долинин называет романы Набокова гносеологическими. После того как данная статья уже была написана, в журнале «Логос» (1991, № 1) появилось исследование С. Давыдова «„Гносеологическая гнусность" Владимира Набокова», в котором «Приглашение на казнь» интерпретируется целиком и полностью как гностическое произведение, причем Набоков, как считает автор, возможно, специально изучал гностические тексты. Мне кажется, что это лишь одна из многочисленных трактовок романа: гностицизм Набокова стихийный, а никак не сознательный; и уж совершенно невероятно, чтобы Набоков мог намеренно следовать какому-либо религиозно-философскому учению и специально изучать его для этих целей.

У позднего Набокова это желание, по всем признакам, стало еще сильнее — вслед за своим Цинциннатом он словно хочет уже реально совершить ту «гносеологическую гнусность», за которую судили его персонажа: посмертно остаться столь же «непрозрачным» и непроницаемым, как и его герой. Это стремление более чем понятно, однако в условиях современной цивилизации подобное непозволительно — эпоха «смесительного упрощения», или «восстания масс», как называли ее Константин Леонтьев и Ортега, во второй половине XX столетия переходит в сверхинформационное общество, где господствует «экстаз коммуникации» (Ж. Бодрийар), когда все хотят иметь информацию обо всем, но не знать ничего по существу. Цивилизация становится «непристойной» именно потому, что таинственного, святого для нее более не существует. Для «экстаза коммуникации» нет ничего интимного или недоступного: частная жизнь писателя, операции наркомафии, самоубийство кинозвезды, голод в Африке — все это вещи одного порядка, все будет выброшено на информационный рынок. Так что стремление автора «Приглашения на казнь» становится в самом деле похожим на преступную по отношению к духу времени «гносеологическую гнусность» — скрыться можно было в XVII столетии, но не сегодня: в цивилизации, где люди все более одиноки, вместе с тем подлинное одиночество оказывается все менее осуществимым. И настойчивые попытки Набокова сохранить в себе и вокруг себя живое пространство, где еще реальны созерцание, тишина, тайна, свобода, можно назвать утопией одиночества — об этом сегодня много пишут на Западе; во все более прозрачной действительности для сохранения этого пространства требуются нечеловеческие усилия, и то, что еще недавно было уделом и бременем всех, ныне становится кастовой привилегией, в самом деле утопией, тем состоянием, которому в этом мире больше места нет.

Санкт-Петербург.

Читайте в 1993 году:

АЛЕКСЕЙ ПУРИН

Набоков и Евтерпа

С иным, нежели у Павла Кузнецова и Ивана Есаулова, взглядом на творческий мир Набокова читатель познакомится в заметках петербургского критика.

Уважаемые читатели!

В сентябрьском номере «Нового мира» за этот год были напечатаны фрагменты из книги **ДМИТРИЯ ГАЛКОВСКОГО** «БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК». Завершить эту публикацию мы намерены в ближайших номерах журнала.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ТРУДНОЕ ПРОЩАНИЕ

Казенная эстетика умирает, но не сдается

Начну с детского вопроса: без остатка ли мы принадлежим своему времени? Говоря иначе, насколько верен афоризм про личность как «продукт эпохи»?

Для идеологов тоталитарного мира подобный вопрос и вздорен и крамолен, ибо им удобней всего пасти гражданина с ясно обозначенными «продуктовыми» свойствами. О таком удобстве хлопочет и служилая культура, которую идеологи держат на поводке и которая конвойно сопровождает колонны граждан к месту ударных работ. Скажут: та пора отошла и по спецкультуре социализма уже справлены шумные поминки. Есть, однако, сомнение, не удрала ли она тайком с собственных поминок для сверхурочных трудов.

Вчерашним своим воспитанникам спецкультура по сей день многое продолжает внушать. К примеру, давние максимы про человека-«продукт» и про деятелей служилой культуры, среди которых-де, помимо приспособленцев, были и горячие сердца, мечтатели, романтики светлой идеи. Есть ли у нас возражения против затронутых максим? Сколько угодно. Прежде всего, по свидетельству додирективного искусства, мир, к счастью, стар, хотя любит молодиться, и новоприбывшая сюда личность, пусть она и не желает помнить родства,— сменщица длинной череды предков. Искусству особенно интересен человек, которому, помимо аврального часа, внятен и «темный времени полет» (Блок), а политику-реформатору угодней торопыга, бегун наперегонки с секундой.

Искусство и бегуна любит ловить на спотыканиях о различные внезапности, но не быта — бытия, когда бодрячок вдруг глянет на нас Гамлетом. Подобные выходки искусства гневят крутую власть, которой не Гамлет и не Печорин нужен, а ясноглазый функционер, убежденный, что старца Хроноса уже спрыснули живой водой и теперь он ровесник Октября. Об отряде таких функционеров нынешние ценители и защитники «кровного, завоеванного» рекомендуют судить поаккуратней: ведь ими же двигала святая вера, мечта, пусть, как выяснилось, несбыточная, но внушенная самой эпохой.

В свое время Ницше едко иронизировал над попытками объявлять «цель», «жизненное призвание» истинной причиной людских поступков, в которых, как ему виделось, обнаруживал себя «некий квантум скопившейся силы, ждущей случая как-нибудь и куда-нибудь выйти». По его же мнению, «„вера" была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру». Примерно через полвека уже сам срыватель завес и мантий Ницше попал на заметку нашему Н. А. Бердяеву, по мысли которого, «у Ницше была огромная потребность в энтузиазме, в экстазе». Отчего бы на сей раз не допустить, что, резко сдергивая мантии, немецкий мыслитель давал выход такой потребности? Во всяком случае, говоря о своем предшественнике, чьи главные поступки суть его суждения, русский философ не суждениям отдает дань, не примерам из жизненной практики, где обнаружили бы себя экстаз или энтузиазм, а скрытым запросам, внерациональным склонностям, ибо те залегают глубже любых выкладок ума, а возможно, и распоряжаются ими.

Есть, значит, перед глазами примеры, когда аналитик готов за поступком, объявленной программой, «верой» различать «квантум скопившейся силы», тягу к экстатическим разворотам и взлетам; мы же, сбежавшие, кажется, с политсеминаров, и об энтузиастах-экстатиках революционной ломки предпочитаем судить по агитсхеме: «Ими двигала возвышенная идея...» В первом случае мысль динамична, не согласна останавливаться на полпути, во втором явно страдает одышкой, мечтая о близком финише.

Природу революционного энтузиазма хорошо постигать на ярких литературных примерах. Творческая судьба Маяковского не один ли из самых наглядных? Критик В. Перцовский в статье «Сквозь революцию как состояние души» («Новый мир», 1992, № 3) сочувственно, даже с пиететом отзывается об известной работе Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского», стремясь, впрочем, на свой манер скорректировать позицию ее автора. Следя за мягкими движениями В. Перцовского-полемиста,

видишь, как ширится зазор, нет, не между двумя трактовками одной темы — между двумя укладами сознания. И этот зазор невольно притягивает взгляд.

В чем, собственно, необычность подхода Ю. Карабчиевского к наследию канонизированного поэта? Вспомним, как Ницше резким движением вывернул «веру» Лютера душевной изнанкой наружу. Похожую операцию производит и Карабчиевский, поворачивая обкатанную тему «Маяковский и революция» под непривычным углом: «А зачем Маяковскому революция?» То есть отчего именно в эту сторону обратил все надежды неприкаянный гигант, буян и бунтарь с его рокочущим басом? Так ведь с иной стороны помощи не предвиделось, а стихия революции открывала перед ним масштабное, даже планетарное поприще, разом выручая от многих внутренних неурядиц. Примерно таков ответ Ю. Карабчиевского.

И В. Перцовский не спорит: верно, мол, инстинкт подсказывал поэту, «что единение с этой могучей силой (революцией.— *В. К.*) дает ему шанс удержаться в жизни и, быть может, добиться столь недоступного для него счастья». Не остерегся В. Перцовский от данайского дара коллеги, для которого вполне естествен экзистенциальный подход к замусоленной агитпропом теме. Менее всего склонен Ю. Карабчиевский видеть в убеждениях, строе мыслей поэта самый властный посыл для его воли; убеждения, на взгляд исследователя, производны от душевной и духовной ситуации, в которой оказалась вот эта личность посреди пространства жизни, «дара случайного», по Пушкину. Как он воспринят? В каком тоне прозвучит рефлексия поэта о полученном даре?

Некогда звучало: «...и каждый час уносит / Частичку бытия». Или: «Я б хотел забыться и заснуть». Теперь: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!» Вот это форсаж, вот это раскаты! Но чтобы так штурмовать небесное ухо с «клещами звезд», нужен все-таки акустический усилитель. Революция? Ничего лучше не найти. Но изначальна ситуация тяжбы микрокосма души с неотзывчивым мировым пространством, для которого «голос единицы тоньше писка».

Ю. Карабчиевский располагает свою исследовательскую площадку на таком возвышении над эмпирикой, откуда видны и рокочущий гигант, сомкнувший ладони рупором у рта, и вселенское ухо. Соглашаясь с Карабчиевским, Перцовский занял, однако, совсем иную смотровую площадку.

Каков, собственно, лейтмотив статьи «Сквозь революцию как состояние души»? Он нам хорошо знаком хотя бы по шумной дискуссии вокруг выступления Вик. Ерофеева «Поминки по советской литературе». Тогда (1990) у большинства ерофеевских оппонентов так и рвался с языка (в одном случае даже вырвался в заголовок) популярный афоризм про грязную воду и ребенка в ванночке: осторожней выплескивайте! И В. Перцовский остерегается от размахов при выплескивании, внушая радикальным коллегам, что, во-первых, мобилизованные революцией авторы запечатлели (с искажениями, но все же...) неповторимое время, во-вторых, многие из них заблуждались искренне, а в-третьих, как же нам, воспитанным на «традиционных авторитетах», разом менять знак их оценки на противоположный...

Все эти «во-первых» и далее успели уже примелькаться, равно как доводы в пользу термина «советская литература», который, по В. Перцовскому, законно объединяет разрешенных авторов с «задержанными». Есть, однако, у нашего автора линия, по которой он движется один, не ступая в следы других защитников «искренней», но официозной словесности. Путеводна на этой линии блоковская формула «крушение гуманизма», звучащая, кстати, откликом русского серебряного века на ницшеанскую ревизию христианства.

О Ницше, впрочем, В. Перцовский не вспомнил, но задержался на явных признаках «бунта против христианской гуманности и умиротворения» у Блока, Горького, Маяковского, затем у Фадеева, Федина, Пильняка, Сейфуллиной, Олеши... Спрашивается: а как, собственно, мечтателям о радикальном обновлении мира и человека сберечь и взрастить эту мечту, не отступив от заповедей гуманизма, от Христа к демону? Да, затруднительно. И отступали. Многие — ломая себя. «Таково,— заключает В. Перцовский,— было преобладающее состояние человеческого духа в революционную эпоху, и оно породило совершенно особую художественную идею, которую есть основания определить как антигуманистическую — антинравственную, антихристианскую; при всей своей моральной «ложности» это была, однако, сильная, органическая, по-своему вдохновенная идея...» Перечитывая процитированное место, выискиваю, с чем бы тут согласиться. Ага, вот: вдохновенная, но морально ложная (без кавычек) идея способна подсказать художнику, тому же Маяковскому, темпераментные, яркие строки. Роман или повесть с заведомо ложной, антигуманной идеей в основе долго не проживут, скособочатся, рухнут, как строение, возведенное против инженерных правил. А стихотворным строкам, наэлектризованным сильной гражданской страстью, удается «громаду лет» прорвать: в поэзии образ доподлинного, тем

паче пламенного переживания (без риторических примесей) — уже документ души, а оттого жизнестоек и самодостаточен (в прозе этого мало).

А действительно ли образ «бунта против христианской гуманности» выражал «преобладающее состояние человеческого духа в революционную эпоху»? Распространенное — да. Но куда же отнести массу антибольшевистски и попросту контрреволюционно настроенных россиян? Версия о преобладании порывов «даешь коммунию!» и «отречемся от старого мира!» удобна победившей партии, которая вручает себе представительный мандат: за мною — народ! А чьи же настроения выражали такие современники Фадеева и Безыменского, как Бунин, Замятин, Цветаева, Ахматова, Ходасевич, Кржижановский, Осоргин, Роман Гуль, философы, изгнанные в 1922-м? В одном согласен с В. Перцовским: не политикой раньше всего определялся раскол литературных сил, а капитальной альтернативой: Христос или демон, князь Мышкин или матрос Швандя. Но отсюда вытекает, что термину «советская литература» расколотые лагери под одну крышу не собрать.

Давайте теперь оценим вопрос В. Перцовского, поставленный в тоне опережающего торжества над коллегами-путаниками: «Ну а как же «возвращенные» произведения, поразившие нас своей идейной и художественной силой? Уж они-то, казалось бы, должны поднять авторитет литературы и писателя периода, именуемого советским?» Кому же, стоит поинтересоваться, такое «казалось»? Педологу рубежа 20—30-х, принимавшему у Петрова или Сидорова зачет за всю учебную группу («бригадный метод»)? Выходит, возвращенный Булгаков, сам о том не ведая, протягивает руку помощи соседу по «периоду» Вс. Вишневскому, а Ходасевич Демьяну Бедному... Нет, не будем изумляться подобной логике: она производна от остаточной нежности критика к термину «советская литература», без которого ему — как без перил на темной лестнице.

Но особенно интересен выстроенный В. Перцовским ряд писателей, благословивших «святую злобу» масс. Первым в ряду — Блок, затем череда трубадуров нового режима. И нам самое время порефлектировать: отчего, легко извиняя Блока, мы не согласны простить тех же настроений Фадееву или Федину? Загадка! Но дело вовсе не в нас, а в самом критике, склонном прямехонько выводить волю художника из запросов его эпохи. Кажется, ясно, что Блок, даже отступив от Христа к демону, не просто оставался «трагическим тенором эпохи», а тенором-солистом, советские же отрицатели традиционной нравственности кощунствовали как хористы — под опекой регентов в галифе. А музы ни ансамблями песни, ни казенными лирами не ведают.

Ни Фадееву, ни Федину, ни Луговскому не дано пристроиться в затылок Блоку, даже если у них и у него отыскался сходный мировоззренческий «пункт»: в отличие от Блока они проводники господствующих и утвержденных мнений, а потому угоднее начальству, чем музам, которые не поощряют повторных открытий Америки.

Необходимо долго тюкать читателя по темени, чтобы он хористов из ансамбля признал солистами и млел от их рулад. Так ведь долго и тюкали, навязывая человеку строевую, казарменную эстетику. Воля государства и воля искусства, всегда рассогласованные, соединились для согласной нивелировки личности, побуждая ее гореть и сгорать «во имя цели». Пресс этой воли и впрямь на многих давил. Перед глазами взбодренных (казенным искусством, в частности) тружеников мелькали листы календаря, а на каждом строка о начале нового летосчисления — 1917.

Скажете: ну вот, пожалуйста, был, значит, массовый психоз, а дух имморализма — одно из его проявлений. Так, да не так. Образ тогдашнего психоза (энтузиазма, порыва, угара) был целевым и дошел до нас в официозном исполнении. Ему надлежало резко обгонять реальность. Все подразделения агитпропа малевали собирательный портрет масс (хорошо ли позировали миллионы замордованных крестьян?), подрисовывая им пылающий взор. Так было надо партэлите, подводившей пристойную базу под свою авантюрность: мы, мол, как народ! А просто ли отделить теперь «преобладающее состояние человеческого духа», о котором пишет В. Перцовский, от этого плакатного образа?

На мой взгляд, В. Перцовский неточен, когда ссылается на Пильняка, Бабеля, Артема Веселого как на послушных детей «демонического» времени. Не в пример Фадееву, Вишневскому или Треневу они как раз избегали пламенеть заодно с «демонами» революции, заботясь о непредвзятости и некоторой отстраненности своих показаний: все-таки им в затылок дышала традиция, подсказывая, что эпоха в глазах политика и она же в глазах художника — разные протяженности. Тут мера не согласна с мерой.

Кремлевским лидерам требовалось исключить из употребления астрономическую меру пространства-времени (которой испокон веку пользовались художники), вручив подданным складной аршин и часы-штамповку. Если не считать упрямства «задержанных» авторов, подобная операция сошла кремлевцам с рук. Мало того, по

сей день звучат благонамеренные речи про «верность духу эпохи», «искренность» ее романтиков и наш долг чтить «традиционные авторитеты» («Искренни были зрители. Искренни были художники. Это была историческая катастрофа, но в ней жили поколения»,— внушает нам Валерий Кичин, автор статьи «Мысли — скакуны эскадронного типа».— «Столица», 1992, № 15). То есть, глотнув после 1985-го разрешенную дозу свободы, закусываем умственной бутафорией.

В чем сейчас упрекают литераторы Жданова с его командой? В цензурном гнете, поощрении тупой помпезности и сервилизма. Слом всей художественной гносеологии, ее оказенивание нам, кажется, еще предстоит осознать. Вот тот же В. Перцовский никак не порвет с бутафорской эстетикой официоза. Пробуя выровнять нестройные, к счастью, ряды послеоктябрьских литераторов, наш автор задает неотразимый, с его точки зрения, вопрос: «Но разве запрещенные произведения не создавались в одно и то же время, в одних и тех же условиях, что и «разрешенные», не вскормлены одной и той же жизнью, одним и тем же воздухом?» Спрошено задорно, но невпопад. Да, произведения Платонова и Вишневского, Ходасевича и Демьяна Бедного (а в минувшем веке книги, предположим, Пушкина и Булгарина) могли быть датированы одним и тем же месяцем, но жизнью и воздухом они вскормлены разными и по-разному. Для Вишневского с Демьяном Бедным бурные годы встрясок и перетрясок были абсолютным временем; для Пастернака («Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»), Булгакова, Кржижановского — лишь мелководьем времени, где плещутся «продукты эпохи», неприметливые к его потоку.

Для художника поток — родная стихия. И сама последовательность постижения человека строгим искусством есть последовательность перевода «стрелок», смены временных ориентиров, когда персонаж от подчиненности минуте переходит к подчиненности Большому времени.

Настоящее искусство в грош не ставит эстетических амбиций политиков (включая сюда пресловутую «теорию отражения»), с которыми у него нет ни общего языка, ни общего счета времени. А как же быть нам, еще вчера усердным чтецам пропагандистских сонников? Наверно, выбирать, чей язык нам ближе. Или полувыбирать, как вышло у В. Перцовского?..

Взяв под защиту разрешенных авторов, критик не раз ссылается на их искренность. Но ведь он же согласился с капитальным утверждением Ю. Карабчиевского, что революция раньше всего понадобилась ее Поэту как бальзам от сердечных недугов, стихия, родственная темпераменту. Спрашивается: чья искренность старше — политизированного ума или аполитичной интуиции?

Уравнять ту и другую невозможно. Разом соглашаться с Ю. Карабчиевским и с массой нынешних декламаторов про «высокую цель», «верность духу эпохи», «веру» ее трубадуров — тоже. Затверженные эти категории стоит слегка поскрести либо вывернуть психологической изнанкой наружу, и останутся этикетки, негодные к употреблению — по крайней мере в той же самой статье, где выражено согласие с Карабчиевским. Тут одно из двух — либо трактовать историко-литературную тему всерьез, либо шелестеть дефектными этикетками.

Предвидится ли предел такому шелесту, или, даже подбивая литературные итоги XX века, мы собираемся шуршать ярлыками по-вчерашнему?

ВИКТОР КАМЯНОВ.

От редакции. Мы не разделяем той оценки, которую получила в данном тексте статья В. Перцовского «Сквозь революцию как состояние души». Однако считаем необходимым опубликовать мнение В. Камянова как выразительный эпизод необъявленной дискуссии о «двух культурах» в культуре советского периода — спора, по существу, давно ведущегося на страницах всей нашей литературной прессы.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

*

И. БЕРЛИН. Четыре эссе о свободе. Пер. с англ. С. Векслер. Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1992. 395 стр.

Сэр Исайя Берлин (род. 1909), профессор Оксфордского университета, был знаком русскому читателю лишь как автор воспоминаний о встречах с А. А. Ахматовой и Б. Л. Пастернаком. Между тем его теоретические работы по философии права до сих пор оставались не переведенными на русский язык. Наиболее известные из них — «Политические идеи в двадцатом веке», «Историческая неизбежность», «Две концепции свободы» и «Джон Стюарт Милль и цели жизни» — собраны в настоящей книге. Хотелось бы надеяться, что вслед за сборником «Четыре эссе о свободе» последует русская версия серии проницательных исследований о русских мыслителях.

СИМВОЛ. № 26. Париж. 1991. 296 стр.

Очередной том журнала христианской культуры «Символ» посвящен 500-летию Святого Игнатия Лойолы, «крупнейшего представителя западной католической духовности». Юбилейный раздел «Ad majorem Dei gloriam» содержит знаменитые «Духовные упражнения» И. Лойолы и другие произведения мыслителя (впервые переведенные на русский язык), а также ряд теоретических работ, среди которых выделяются статьи Ф. Руло («Святой Игнатий Лойола и восточная духовность») и Ф. Фаруза («Иезуит: семантическая эволюция данного слова»). В рубрике «Из истории русской общественной и религиозной мысли» обнародован отрывок из «Философии культа» П. А. Флоренского, не вошедший в публикацию этой книги, осуществленную в 1977 г. в «Богословских трудах». Письма П. А. Флоренского харьковскому профессору А. В. Ветухову, подготовленные к печати С. Шоломовой, помещены в разделе «Архив». Наконец, рубрика «Патристика» включает в себя «Новые поучения» преподобного Макария Египетского и «Избранные гимны» преподобного Симеона Нового Богослова с предисловием иеромонаха Илариона (Алфеева).

Г. М. ДЕЙЧ. Еврейские предки Ленина. Неизвестные архивные документы о Бланках. «Телекс». Нью-Йорк. 1992. 34 стр.

Автор книги, известный советский историк, много лет изучавший жизнь и творчество В. И. Ленина (ныне — почетный консультант библиотеки Йельского университета), обнародует уникальные документы из советских архивов, касающиеся происхождения вождя Октябрьской революции. Приводимый комплекс архивных и библиографических материалов свидетельствует о том, что «прадед Ленина — Дмитрий Бланк и его дед — А. Д. Бланк — были евреями, но затем крестились и приняли христианскую веру». Небольшая по объему, строгая и предельно самокритичная работа Дейча смывает с запутанной генеалогической истории слой апокрифических догадок, обесценивая тем самым поверхностные публицистические спекуляции (подчас прямо противоположного толка) и доказывая независимость настоящего исторического исследования от политической конъюнктуры.

З. ЗЕМАН И В. ШАРЛАУ. Парвус — купец революции. Пер. с англ. Надежда Боданская. «Телекс». Нью-Йорк. 1991. 331 стр.

Как и брошюра Г. М. Дейча, объемистая монография З. Земана и В. Шарлау опирается на многочисленные архивные источники и имеет под собой надежную библиографическую основу. Однако биография А. Гельфанда (Парвуса) (1867—1924) столь незаурядна и захватывающа, что нарочитый объективизм авторов помогает читателю всецело отдаться головоломному сюжету книги. Уроженец России — и видный немецкий публицист, убежденный социал-демократ — и богатейший промышленник, имевший прочные связи в германских правительственных кругах,— таков размах личности Парвуса, превращенного авторами из «живой легенды» в реальную историческую фигуру. Ограничимся лишь одной цитатой из работы Земана и Шарлау: «Среди секретных документов, относящихся ко времени первой мировой войны, значительная часть была непосредственно связана с именем Александра Гельфанда. Выяснилось, что он был центральной фигурой тщательно законспирированной связи имперского правительства с российской социал-демократической партией, и в частности с большевистским крылом этой партии, возглавлявшимся Лениным. Таким образом, предположение о том, что правительство Германской империи принимало активное участие в распространении революционного движения в России во время войны, нашло теперь документальное подтверждение».

Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.

SUMMARY

This issue opens with Alexander Solzhenitsyn's narrative «April 1917», the fourth and final «knot» of his historical epopee «Red Wheel».

This issue also contains the first part of a new novel, «The Damned and the Dead», a tragic narrative about World War II (Book One — «The Devil's Hole») by the well Known Russian writer Victor Astafiev. It likewise includes the conclusion to Semen Lipkin's novel «The Notes of an Inhabitant».

The poetry section features poems by Inna Lisnianskaya, Vladimir Leonovich and Sergey Vasiliev.

Excerpts from Rolf Edberg's book «Drops of Water and Drops of Time» (translated from Swedish by Lev Zhdanov) concern current ecological problems.

In the «Comments» section, Editor-in-Chief Sergey Zalygin discusses «Ecology in Soviet Russia», a book by American scientist Douglas Weiner. Victor Zhivov writes about recent new editions of Nikolay Berdyaev's philosophical works and their role in social consciousness.

«The art World» contains an article by musicologist Tatiana Cherednichenko, «The Era of Nonsense, or How We Finally Arrived at Pop Music and Where We Go from Here», a discussion of contemporary pop concert music.

In his article «Holidays, Joys, Grief», critic Ivan Esaulov writes about the prose works of Russian emigre writers Vladimir Nabokov and Ivan Shmelev, while Pavel Kuznetsov discusses the theme of Nabokov and metaphysics in his article «The Utopia of Solitude».

Victor Kamianov debates the fate of art under totalitarianism with critic V. Pertsovsky, whose article appeared earlier this year in Novy Mir (No. 3).

In the regular column «Russian Books Abroad», K. Postoutenko offers short reviews of new publications in Russian literature abroad.

Производственный отдел Издательского центра «Новый мир»
приглашает к сотрудничеству издательские организации.
Предлагаем качественный набор и изготовление оригинал-макетов книг и журналов.
С предложениями обращаться по телефону 946-14-49.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), **А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 29.06.92 г. Подписано к печати 3.08.92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108И6 . Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 700 экз. Зак. 2931. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Индекс 70636

РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

RUSSIAN-ITALIAN JOINT VENTURE

СП «СИНЕРГИЯ» —
это качество и компетентность, оперативность и деловая этика, опыт и профессионализм, обширная сфера деятельности

— международная школа бизнеса,
— русский деловой язык для зарубежных бизнесменов,
— проведение консультаций и маркетинговых исследований на внутреннем и международном рынках,
— обеспечение экспортно-импортных операций для отечественных производителей,
— инжиринг и проектирование, обмен новейшими технологиями, «ноу-хау», комплексное инженерное обследование любых проектов промышленного и гражданского строительства,
— международные конференции, встречи, симпозиумы с обеспечением переводчиками,
— комплексные решения в области передовых информационных технологий, консультации, разработка и реализация проектов по оснащению компьютерной техникой предприятий; разработка прикладного математического обеспечения; продажа программных продуктов известных фирм; обучение пользователей,
— зарубежный отдых, туризм,
— выезды за границу (оформление загранпаспортов и иностранных виз, бронирование и оформление билетов на самолеты различных авиакомпаний),
— персональное и групповое (до 14 человек) транспортное обслуживание зарубежных и отечественных бизнесменов.

«СИНЕРГИЯ» широко осуществляет организацию и финансирование программ по обучению молодых отечественных предпринимателей

СП «СИНЕРГИЯ»: РФ, 113054 Москва, Стремянный пер., 28
Контактные телефоны: (7-095) 235-25-95, 236-42-84, 237-20-06, 237-13-52
Факс: (7-095) 237-85-11

«СИНЕРГИЯ» не ищет спонсоров. Ей нужны надежные, деловые партнеры

ISSN 0130—7673 Новый мир, 1992, № 10, 1 — 256.